Мир приключений

Русская фантастическая проза XIX – начала XX века

Мир приключений

Русская фантастическая проза XIX - начала XX века

МОСКВА · ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1989

84 Р I
Р 89

Составление, послесловие и примечания
Ю. М. Медведева

Иллюстрации
И. Н. Мельникова

Р $\frac{4702010100-1908}{080(02)-89}$ 1908—89

Осип СЕНКОВСКИЙ

Большой выход у Сатаны

В недрах земного шара есть огромная зала, имеющая, кажется, 99 верст вышины: в «Отечественных записках» сказано, будто она вышиною в 999 верст; но «Отечественным запискам» ни в чем — даже в рассуждении ада — верить невозможно.

В этой зале стоит великолепный престол повелителя подземного царства, построенный из человеческих остовов и украшенный вместо бронзы сухими летучими мышами. Это должно быть очень красиво. На нем садится Сатана, когда дает аудиенцию своим посланникам, возвращающимся из поднебесных стран, или когда принимает поздравления чертей и знаменитейших проклятых, коими зала при таких торжественных случаях бывает наполнена до самого потолка.

Если вам когда-либо случалось читать мудрые сочинения патера Бузенбаума, иезуитского богослова и философа, то вы знаете — да как этого не знать? — что черти днем почивают, встают же около заката солнца, когда в Риме отпоют вечерню. В то же самое время просыпается и Сатана. Проснувшись, он надевает на себя халат из толстой конвертной бумаги, расписанный в виде пылающего пламени, и который получил он в подарок из гардероба испанской инквизиции: в этих халатах у нас, на земле, люди сожигали людей. Засим выходит он в залу, где уже его ожидает многочисленное собрание доверенных чертей, подземных вельмож, адских льстецов, адских придворных и адских наушников: тут вы найдете пропасть еретиков, заслуженных грешников и прославленных извергов вместе с теми,

которые их прославляли в предисловиях и посвящениях — словом, все *знаменитости* ада.

Заскрипела чугунная дверь спальни царя тьмы; Сатана вошел в залу и сел на своем престоле. Все присутствующие ударили челом и громко закричали: *виват!* — но голоса их никто б из вас не услышал, потому что они тени, и крик их только тень крика. Чтобы услышать звуки этого рода, надо быть чертом или доносчиком.

Лукулл, скончавшийся от обжорства, исправляет при дворе его должность обер-гофмейстерскую: он заведует кухнею, заказывает обед и сам подает завтрак. Как скоро утих этот неудобослышимый шум торжественного приветствия, Лукулл выступил вперед, держа в руках колоссальный поднос, на котором удобно можно было бы выстроить кабак с библиотекою для чтения: на нем стояли два больших портерные котла, один с кофеем, а другой со сливками; римская слезная урна, служащая вместо чашки; египетская гранитная гробница, обращенная в ящик для сахара, и старая сороковая бочка, наполненная сухарями и бисквитами для завтрака грозному обладателю ада.

Сатана вынул из гробницы огромную глыбу квасцов — ибо он никакого сахару, даже и свекловичного, даже и постного, терпеть не может — и положил ее в урну; налил из одного котла чистого смоленского дегтю, употребляемого им вместо кофейного отвара, из другого подбавил купоросного масла, заменяющего в аду сливки, и черную исполинскую лапу свою погрузил в бочку, чтобы достать пару сухарей.

Но в аду и сухари не похожи на наши: у нас они печеные, а там — печатные. Попивая свой адский кофе, царь чертей, преутонченный гастроном, страстно любил пожирать наши несчастные книги в стихах и прозе, толстые и тонкие различного формата произведения наших земных словесностей; томы логик, психологий и энциклопедий; собрания разысканий, коими ничего не отыскано; историй, в коих ничего не сказано; риторик, которые ничему не выучили, и рассуждений, которые ничего не доказали, особенно всякие большие поэмы, описательные, повествовательные, нравоучительные, философские, эпические, дидактические, классические, романтические, прозаические и проч., и проч. С некоторого времени, однако ж, он приметил,

что этот род пирожного обременял его желудок, и потому приказал подавать к завтраку только новые повести исторические, писанные по последней моде; новые мелодрамы; новые трагедии в шести, семи и девяти картинах; новые романы в стихах и романы в роде Вальтера Скотта; новые стихотворные размышления, сказки, мессенияны и баллады,— как несравненно легче первых, обильно переложенные белыми страницами, набранные очень редко, растворенные точками и виньетками и почти столь же безвредные для желудка и головы, как и обыкновенная белая бумага. Сухари эти прописал ему придворный его лейб-медик, известный доктор медицины и хирургии, Иппократ, убивший на земле своими рецептами 120000 человек и за то возведенный людьми в сан отцов врачебной науки — впрочем, умный проклятый, который доказывает, что в нынешнем веке мятежей и трюфлей весьма полезно иметь несколько свободный желудок.

Сатана вынул из бочки четыре небольшие тома, красиво переплетенные и казавшиеся очень вкусными, обмакнул их в своем кофе, положил в рот, раскусил пополам, пожевал и — вдруг сморщился ужасно.

— Где черт фон Аусгабе? — вскричал он с сердитым видом.

Мгновенно выскочил из толпы дух огромного роста, плотный, жирный, румяный, в старой трехугольной шляпе, и ударил челом повелителю. Это был его библиотекарь, бес чрезвычайно ученый, прежде бывший немецкий Gelehrter[1], который знал наизусть полные заглавия всех сочинений, мог высказать наперечет все издания, помнил, сколько в какой книге страниц, и презирал то, что на страницах, как пустую словесность — исключая опечатки, кои почитал он, одни лишь изо всех произведений ума человеческого, достойными особенного внимания.

— Негодяй! Какие прислал ты мне сухари? — сказал гневный Сатана.— Они черствы, как дрова.

— Ваша мрачность! — отвечал испуганный бес.— Других не мог достать. Правда, что сочинения несколько старые, но зато какие издания! — самые новые: только что из печати.

[1] Учитель-схоласт *(нем.)*.

— Сколько раз говорил я тебе, что не люблю вещей разогретых?.. Притом же я приказал подавать себе только легкое и приятное, а ты подсунул мне что-то такое жесткое, сухое, безвкусное...

— Мрачнейший повелитель! Смею уверить вас, что это лучшие творения нашего времени.

— Это лучшие творения нашего времени?.. Так ваше время ужасно глупо!

— Не моя вина, ваша мрачность: я библиотекарь, глупостей не произвожу, а только привожу их в порядок и систематически располагаю. Вы изволите говорить, что сухари не довольно легки — легче этих и желать невозможно: в целой этой бочке, в которой найдете вы всю прошлогоднюю словесность, нет ни одной твердой мысли. Если же они не так свежи, то виноват ваш пьяный Харон, который не далее вчерашнего дня сорок корзин произведений последних четырех месяцев во время перевозки уронил в Лету...

Между тем как библиотекарь всячески оправдывался, Сатана из любопытства откинул обертку оставшегося у него в руках куска книги и увидел следующий остаток заглавия:

«...... ЕЦ... ОМАН..... ТОРИЧ....., СОЧИН... Н..... 830».

— Что это такое? — сказал он, пяля на него грозные глаза. — Это даже не разогретое?.. Э?.. Смотри: 1830 года?..

— Видно, оно не стоило того, чтобы разогревать, — примолвил толстый бес с глупою улыбкой.

— Да это с маком! — воскликнул Сатана, рассмотрев внимательнее тот же кусок книги.

— Ваша мрачность! Скорее уснете после такого завтрака, — отвечал бес, опять улыбаясь.

— Ты меня обманываешь, да ты же еще и смеешься!.. — заревел Сатана в адском гневе. — Поди ко мне ближе.

Толстый бес подошел к нему со страхом. Сатана поймал его за ухо, поднял на воздух как перышко, положил в лежащий подле него шестиаршинный фолиант сочинений Аристотеля на греческом языке, доставшийся ему в наследство из библиотеки покойного Плутона, затворил книгу и сам на ней уселся. Под тяжестью гигантских членов подземного властелина не-

счастный смотритель адова книгохранилища в одно мгновение сплюснулся между жесткими страницами классической прозы наподобие сухого листа мяты. Сатана определил ему в наказание служить закладкою для этой книги в продолжение 1111 лет: Сатана надеется в это время добиться смысла в сочинениях Аристотеля, которые читает он почти беспрерывно. Пустое!..

— Приищи мне из проклятых на место этого педанта кого-либо поумнее,— сказал он, обращаясь к верховному визирю и любимцу своему, Вельзевулу.— Я намерен сделать, со временем, моим книгохранителем того великого библиотекаря и профессора, который недавно произвел на севере такую ужасную суматоху. Когда он к нам пожалует, ты немедленно введи его в должность: только не забудь приковать его крепкою цепью к полу библиотеки, не то он готов и у меня, в аду, выкинуть революцию и учредить конституционные бюджеты.

— Слушаю! — отвечал визирь, кланяясь в пояс и с благоговением целуя конец хвоста Сатаны.

Царь чертей стал копаться в бочке, ища лучших сухарей. Он взял «Гернани», «Исповедь», «Петра Выжигина», «Рославлева», «Шемякин суд» и кучу других отличных сочинений; сложил их ровно, помочил в урне, вбил себе в рот, проглотил и запил дегтем. И надобно знать, что как скоро Сатана съест какую-нибудь книгу, слава ее на земле вдруг исчезает, и люди забывают об ее существовании. Вот почему столько плодов авторского гения, сначала приобревших громкую известность, впоследствии внезапно попадают в совершенное забвение: Сатана выкушал их с своим кофе!.. О том нет ни слова ни в одной истории словесности, однако ж это вещь официальная.

Повелитель ада съел таким образом в один завтрак словесность нашу за целый год: у него тогда был чертовский аппетит. Кушая свой кофе, он бросал беспокойный взор на залу и присутствующих. Что-то такое беспокоило его зрение: он чувствовал в глазах неприятную резь. Вдруг, посмотрев вверх, он увидел в потолке расщелину, чрез которую пробивались последние лучи заходящего на земле солнца. Он тотчас угадал причину боли глаз своих и вскричал:

— Где архитектор?.. Где архитектор?.. Позовите ко мне этого вора.

Длинный, бледный, сухощавый проклятый пробился сквозь толпу и предстал пред его нечистою силой. Он назывался Дон Диего да Буфало. При жизни своей строил он соборную церковь в Саламанке, из которой украл ровно три стены, уверив казенную юнту, имевшую надзор над этою постройкою, что заготовленный кирпич растаял от беспрерывных дождей и испарился от солнца. За сей славный зодческий подвиг он был назначен, по смерти, придворным архитектором Сатаны. В аду места даются только истинно достойным.

— Мошенник! — воскликнул Сатана гневно (он всегда так восклицает, рассуждая с своими чиновниками).— Всякий день подаешь мне длинные счеты издержкам, будто употребленным на починку моих чертогов, а между тем куда ни взгляну — повсюду пропасть дыр и расщелин?..

— Старые здания, ваша мрачность! — отвечал проклятый, кланяясь и бесстыдно улыбаясь.— Старые здания... ежедневно более и более приходят в ветхость. Эта расщелина произошла от последнего землетрясения. Я уже несколько раз имел честь представлять вашей нечистой силе, чтоб было позволено мне сломать весь этот ад и выстроить вам новый, в нынешнем вкусе.

— Не хочу!..— закричал Сатана.— Не хочу!.. Ты имеешь в предмете обокрасть меня при этом случае, потом выстроить себе где-нибудь адишко из моего материала, под именем твоей племянницы, и жить маленьким сатаною. Не хочу!.. По-моему, этот ад еще весьма хорош: очень жарок и темен, как нельзя лучше. Сделай мне только план и смету для починки потолка.

— План и смета уже сделаны. Вот они. Извольте видеть: надобно будет поставить две тысячи колонн в готическом вкусе: теперь готические колонны в большой моде; сделать греческий фронтон в виде треугольной шляпы: без этого нельзя же!.. переменить архитраву; большую дверь заделать в этой стене, а пробить другую в противоположной; переложить пол; стены украсить кариатидами; сломать старый дворец для открытия проспекта со стороны тартара; построить два новые флигеля и лопнувшее в потолке место замазать

алебастром — тогда солнце отнюдь не будет беспокоить вашей мрачности.

— Как?.. Что?.. — воскликнул Сатана в изумлении. — Все эти постройки и перестройки по поводу одной дыры?

— Да, ваша мрачность! Точно, по поводу одной дыры. Архитектура предписывает нам, заделывая одну дыру, немедленно пробивать другую для симметрии...

— Послушай, плут! Перестань обманывать меня! Ведь я тебе не член испанской Строительной юнты.

Проклятый поклонился в землю, плутовски улыбаясь.

— Велю замять тебя с глиною и переделать на кирпич для починки печей в геенне...

Он опять улыбнулся и поклонился.

— Да и любопытно мне знать, сколько все это стоило б по твоим предположениям?

— Безделицу, ваша мрачность. При должной бережливости, производя эти починки хозяйственным образом, с соблюдением казенного интереса, они обойдутся в 9 987 408 558 777 900 009 675 999 червонцев, 99 штиверов и 49 ½ пенса. Дешевле никто вам не починит этого потолка.

Сатана сморщился, призадумался, почесал голову и сказал:

— Нет денег!.. Теперь время трудное, холерное...

Он протянул руку к бочке: все посмотрели на него с любопытством. Он вытащил из нее две толстые книги: *УМОЗРИТЕЛЬНУЮ ФИЗИКУ В **** и *КУРС УМОЗРИТЕЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ ШЕЛЛИНГА;* раскрыл их, рассмотрел, опять закрыл и вдруг швырнул ими в лоб архитектору, сказав:

— На!.. Возьми эти две книги и заклей ими расщелину в потолке: чрез эти умозрения никакой свет не пробьется.

Метко брошенные книги пролетели сквозь пустую голову тени бывшего архитектора точно так же, как пролетает полный курс университетского учения сквозь порожние головы иных баричей, не оставив после себя ни малейшего следа — и упали позади на пол. Архитектор улыбнулся, поклонился, поднял глубо-

комудрые сочинения и пошел заклеивать ими потолок.

Немецкий студент, приговоренный в Майнце к аду за участие в Союзе добродетели, шепнул *** ову, известному любителю Канта, Окена, Шеллинга, магнетизма и пеннику:

— Этот скряга, Сатана, точно так судит о философии и умозрительности, как *** ой о древней российской истории.

— Неудивительно!..— отвечал *** ов с презрением.— Он враг всякому движению умственному...

— Что?..— вскричал сердито Сатана, который везде имеет своих лазутчиков и все слышит и видит.— Что такое вы сказали?.. Еще смеете рассуждать!.. Подите ко мне, шуты! Научу я вас делать свои замечания в моем аду!

Черти, смотрящие за порядком в зале, привели к нему дерзких питомцев любомудрия. Сатана схватил одного из них за волосы, поднял на воздух, подул ему в нос и сказал:

— Поди, шалун, в геенну — чихать два раза всякую секунду в продолжение 3333 лет, а ты, отчаянный философ,— промолвил он, обращаясь к *** ову,— сиди подле него и приговаривай: «Желаю вам здравствовать!» Подите прочь, дураки!

Засим обратился он к визирю своему, Вельзевулу, и спросил о дневной очереди. Визирь отвечал, что в тот вечер должны были докладывать ему обер-председатель мятежей и революций, первый лорд-дьявол журналистики, великий черт словесности и главноуправляющий супружескими делами.

* * *

Предстал черт старый, гадкий, оборванный, изувеченный, грязный, отвратительный, со всклокоченными волосами, с одним выдолбленным глазом, с одним сломанным рогом, с когтями, как у гиены, с зубами без губ, как у трупа, и с большим пластырем, прилепленным сзади, пониже хвоста. Под мышкою торчала у него кипа бумаг, обрызганных грязью и кровью; на голове — старая кучерская лакированная шляпа,

трехцветная кокарда; за поясом — кинжал и пара пистолетов; в руках — дубина и ржавое ружье без замка. Карманы его набиты были камнями из мостовой и кусками бутылочного стекла.

Всяк, и тот даже, кто не бывал в Париже, легко угадал бы по его наружности, что это должен быть злой дух мятежей, бунтов, переворотов... Он назывался Астарот.

Он предстал, поклонился и перекувырнулся раза три на воздухе, в знак глубочайшего почтения.

— Ну что?..— вопросил царь чертей.— Что нового у тебя слышно?

— Ревность к престолу вашей мрачности, всегда руководившая слабыми усилиями моими, и должная заботливость о пользах вверенной мне части...

— Стой! — воскликнул Сатана.— Я знаю наизусть это предисловие: все доклады, в которых ни о чем не говорится, начинаются с ревности к моему престолу. Говори мне коротко и ясно: сколько у тебя новых мятежей в работе?

— Нет ни одного порядочного, ваша мрачность, кроме бунта паши египетского против турецкого султана. Но об нем не стоит и докладывать, потому что дело между басурманами.

— А зачем нет ни одного? — спросил грозно Сатана.— Не далее как в прошлом году восемь или девять мятежей было начатых в одно и то же время. Что ты с ними сделал?

— Кончились, ваша мрачность.

— По твоей глупости, недеятельности, лености; по твоему нерадению...

— Отнюдь не потому, мрачнейший Сатана. Вашей нечистой силе известно, с каким усердием действовал я всегда на пользу ада, как неутомимо ссорил людей между собою: доказательством тому — сломанный рог и потерянный глаз, который имею честь представить...

— Об этом глазе толкуешь ты мне 800 лет кряду: я читал, помнится, в сочинениях белландистов, что его вышиб тебе башмаком известный Петр Пустынник во время первого крестового похода, а рог ты сломал еще в начале XVII века, когда, подружившись с иезуитами, затеял на севере глупую шутку прикинуться несколько раз кряду Димитрием...

— Конечно, мрачнейший Сатана, что эти раны немножко стары; но, подвизаясь непрестанно за вашу славу, теперь вновь я опасно ранен, именно: в стычке, последовавшей близ Кракова, когда с остатками одной *достославной* революции принужден был уходить бегом на австрийскую границу. Если, ваша мрачность, не верите, то, с вашего позволения, извольте посмотреть сами...

И, обратясь спиною к Сатане, он поднял рукою вверх свой хвост и показал пластырь, прилепленный у него сзади. Сатана и все адское собрание расхохоталось как сумасшедшие.

— Ха, ха, ха, ха!.. Бедный мой обер-председатель мятежей!..— воскликнул повелитель ада в веселом расположении духа.— Кто же тебя уязвил так бесчеловечно?

— Донской казак, ваша мрачность, своим длинным копьем. Это было очень забавно, хотя кончилось неприятно. Я порасскажу вам все, как что было, и в нескольких словах дам полный отчет в последних революциях. Во-первых, вашей мрачности известно, что года два тому назад я произвел прекрасную суматоху в Париже. Люди дрались и резались дня три кряду, как тигры, как разъяренные испанские быки: кровь лилась, дома горели, улицы наполнялись трупами, и никто не знал, о чем идет дело...

— Ах, славно!.. Вот славно!.. Вот прекрасно!..— воскликнул Сатана, потирая руки от радости.— Что же далее?

— На четвертый день я примирил их на том условии, что царь будет у них государем, а народ царем...

— Как?.. Как?..

— На том условии, ваша мрачность, что царь будет государем, а народ царем.

— Что это за чепуха?.. Я такого условия не понимаю.

— И я тоже. И никто его не понимает. Однако люди приняли его с восхищением.

— Но в нем нет ни капли смысла.

— Поэтому-то оно и замысловато.

— Быть не может!

— Клянусь проклятейшим хвостом вашей мрачности.

— Что ж из этого выйдет?

— Вышла прекрасная штука. Этою сделкой я так запутал дураков-людей, что они теперь ходят как опьяневшие, как шальные...

— Но мне какая от того польза? Лучше бы ты оставил их драться долее.

— Напротив того, польза очевидна. Подравшись, они перестали бы драться, между тем как на основании этой сделки они будут ссориться ежедневно, будут непрестанно убивать, душить, расстреливать и истреблять друг друга, доколе царь и народ не сделаются полным царем и государем. Ваша мрачность будете от сего получать ежегодно верного дохода по крайней мере 40 000 погибших душ.

— Bene[1]! — воскликнул Сатана и от удовольствия нюхнул в один раз три четверти и два четверика железных опилок вместо табаку. — Что же далее?

— Далее, ваша мрачность, есть в одном месте, на земле, некоторый безыменный народ, живущий при большом болоте, который с другим, весьма известным народом, живущим в болоте, составляет одно целое. Не знаю, слыхали ль вы когда-нибудь про этот народ или нет?

— Право, не помню. А чем он занимается, этот безыменный народ?

— Прежде он крал книги у других народов и перепечатывал их у себя; также делал превосходные кружева и блонды и был нам, чертям, весьма полезен, ибо за его кружева и блонды множество прекрасных женщин предавались в наши руки. Теперь он ничего не делает; разорился, обеднел, и не впрок ни попу, ни черту — только мелет вздор и сочиняет газеты, которых никто не хочет читать.

— Нет, никогда не слыхал я о таком народе!.. — примолвил Сатана и... чих!.. громко чихнул на весь ад. Все проклятые тихо закричали: *«Ура!!!»*, а в брюссельских газетах на другой день было напечатано, что голландцы ночью подъехали под Брюссель и выстрелили из двухсот пушек.

— Этот приболотный народ, — продолжал черт мятежей, — жил некоторое время довольно дружно с упо-

[1] Хорошо! *(лат.)*

мянутым народом болотным; но я рассорил их между собою и из приболотного народа сделал особое приболотное царство, в котором тоже положил правилом, чтобы известно было, кто царь, а кто государь. Вследствие сего, ваша мрачность, можете надеяться получить оттуда еще 10 000 погибших годового дохода.

— Gut[1],— сказал Сатана.— Что ж далее?

— Потом я пошевелил еще один народ, живший благополучно на сыпучих песках по обеим сторонам одной большой северной реки. Вот уж был истинно забавный случай! Никогда еще не удавалось мне так славно надуть людей, как в этом деле: да, правду сказать, никогда и не попадался мне народ такой легковерный. Я так искусно настроил их, столь вскружил им голову, запутал все понятия, что они дрались как сумасшедшие в течение нескольких месяцев, гибли, погибли и теперь еще не могут дать себе отчета, за что дрались и чего хотели. При сей оказии я имел счастие доставить вам с лишком 100 000 самых отчаянных проклятых.

— *Барзо добже!*[2] — примолвил Сатана, который собаку съел на всех языках.— Что же далее?

— После этих трех *достославных* революций я удалился в Париж, главную мою квартиру, и от скуки написал ученое рассуждение *«О ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ САПОЖНИКОВ, ПОДЕНЩИКОВ, НАБОРЩИКОВ, ИЗВОЗЧИКОВ, НИЩИХ, БРОДЯГ И ПРОЧ.»*, которое желаю иметь честь посвятить вашей мрачности.

— Посвяти его своему приятелю, человеку обоих светов,— возразил Сатана с суровым лицом.— Мне не нужно твоего сочинения; желаю знать, чем кончилась та революция, которую затеял ты где-то на песках, над рекою, на севере.

— Ничем, ваша мрачность. Она кончилась тем, что нас разбили и разогнали и что, в замешательстве, брадатый казак, который вовсе не знает толку в *достославных* революциях, кольнул меня жестоко а posteriori[3], как вы сами лично изволили свидетельствовать.

---

[1] Хорошо *(нем.)*.
[2] Очень хорошо! *(польск.)*
[3] Впоследствии *(лат.)*.

— Что же далее?

— Далее ничего, мрачнейший Сатана. Теперь я увечный, инвалид, и пришел проситься у вашей нечистой силы в отпуск за границу на шесть месяцев, к теплым водам, для излечения раны...

— Отпуска не получишь,— вскричал страшный повелитель чертей,— во-первых, ты недостоин, а во-вторых, ты мне нужен: дела дипломатические, говорят, все еще запутаны. Но возвратимся к твоей части. Ты рассказал мне только о трех революциях: куда же девались остальные? Ты еще недавно хвастал, будто в одной Германии завел их пять или шесть.

— Не удались, ваша мрачность.

— Как не удались?

— Что же мне делать с немцами, когда их расшевелить невозможно!.. Извольте видеть: вот и теперь есть у меня с собою несколько десятков немецких возбудительных прокламаций, речей, произнесенных в Гамбахе, и полных экземпляров газеты «Die deutsche Tribune»[1]. Я раскидываю их по всей Германии, но немцы читают их с таким же отчаянным хладнокровием, с каким пьют они пиво со льдом и танцуют вальс под музыку: «Mein lieber Augustin»[2]. Несколько сумасшедших студентов и докторов прав без пропитания кричат, проповедуют, мечутся, но это не производит никакого действия в народе. Мне уже эти немцы надоели: уверяю вашу мрачность, что из них никогда ничего не выйдет. Даже и проклятые из них ненадежны: они холодны до такой степени, что вам всеми огнями ада и разогреть их не удастся, не то чтоб сжарить как следует.

— Что же ты сделал в Италии?

— Ничего не сделал.

— Как ничего!.. когда я приказал всего более действовать в Италии и даже обещал щепотку табаку, если успеешь перевернуть вверх ногами Папские владения.

— Вы приказали, и я действовал. Но итальянцы — настоящие бабы. В начале сего года учредил я между ними прекрасный заговор: они поклялись, что отвагою и мятежническими доблестями превзойдут

[1] «Немецкая трибуна» *(нем.)*.
[2] «Мой любимый Августин» *(нем.)*.

древних римлян, и я имел причину ожидать полного успеха, как вдруг, ночью, ваша мрачность изволили слишком громко... с позволения сказать... кашлянуть, что ли?.. так, что земля маленько потряслась над вашею спальнею. Мои герои, испугавшись землетрясения, побежали к своим капуцинам и высказали им на исповеди весь наш заговор — и все были посажены в тюрьму. Я сам находился в ужасной опасности и едва успел спасти жизнь: какой-то капуцин гнался за мною, с кропилом в руке, чрез всю Болонью. К Риму подходить я не смею: вам известно, что еще в V веке заключен с нами договор, подлинная грамота коего, писанная на бычачьей шкуре, хранится поныне в Ватиканской библиотеке между тайными рукописями — этим договором черти обязались не приближаться к стенам Рима на десять миль кругом...

— У тебя на все своя отговорка,— возразил недовольный Сатана,— по твоей лености выходит, что в нынешнее время одни лишь черти будут свято соблюдать договоры. Ну, что в Англии?

— Покамест ничего, но будет, будет!.. Теперь прошел билль о реформе, и я вам обещаю, что лет чрез несколько подниму вам в том краю чудесную бурю. Только потерпите немножко!..

— Итак, теперь решительно нет у тебя ни одной революции?

— Решительно ни одной, ваша мрачность! Кроме нескольких текущих мятежей и бунтов по уездам в конституционных государствах, где это в порядке вещей и необходимо для удостоверения людей, что они действительно пользуются свободою, то есть что они беспрепятственно могут разбивать друг другу головы во всякое время года.

— Однако, любезный Астарот, я уверен, что ежели ты захочешь, то все можешь сделать,— присовокупил царь чертей.— Постарайся, голубчик! Пошевелись, похлопочи...

— Стараюсь, бегаю, хлопочу, ваша мрачность! Но трудно: времена переменились.

— Отчего же так переменились?

— Оттого что люди не слишком стали мне верить.

— Люди не стали тебе верить? — воскликнул изумленный Сатана.— Как же это случилось?

— Я слишком долго обманывал их обещаниями блистательной будущности, богатства, благоденствия, свободы, тишины и порядка, а из моих революций, конституций, камер и бюджетов вышли только гонения, тюрьмы, нищета и разрушение. Теперь их не так легко надуешь: они сделались чрезвычайно умны.

— Молчи, дурак! — заревел Сатана страшным голосом. — Как ты смеешь лгать предо мною так бессовестно? Будто я не знаю, что люди никогда не будут умны?

— Однако уверяю вашу мрачность...

— Молчи!

Черт мятежей по врожденной наглости хотел еще отвечать Сатане, как тот в ужасном гневе соскочил с своего седалища и бросился к нему с пылающим взором, с разинутою пастью, с распростертыми когтями, как будто готовясь растерзать его.

Астарот бежать — Сатана за ним!..

Проклятые со страха стали прятаться в дырках и расщелинах, влезать на карнизы, искать убежища на потолке. Суматоха была ужасная, как во французской камере депутатов при совещаниях о водворении внутреннего порядка или о всеобщем мире.

Сатана гонялся за Астаротом по всей зале, но оберпредседатель революций, истинно с чертовскою ловкостью, всегда успевал ускользнуть у него почти из рук. Это продолжалось несколько минут, в течение коих они пробежали друг за другом 2000 верст в разных направлениях. Наконец повелитель ада поймал коварного министра своего за хвост...

Поймав и держа за конец хвоста, он поднял его на воздух и сказал с адскою насмешкой:

— А!.. Ты толкуешь мне об уме людей!.. Постой же, негодяй!.. Смотри, чтобы немедленно произвел мне где-нибудь между ними революцию под каким бы то ни было предлогом: иначе, я тебя!.. Guos ego![1], как говорит Вергилий...

И, в пылу классической угрозы, повертев им несколько раз над головою, он бросил его вверх со всего размаху.

Бедный черт мятежей, пробив собою свод ада, вылетел в надземный воздух и несколько часов кряду ле-

[1] Я вас! *(лат.)*

тел в нем, как бомба, брошенная из большой Перкинсовой мортиры. Астрономы направили в него свои телескопы и, приметив у него хвост, приняли его за комету: они тотчас исчислили, во сколько времени совершит она путь свой около солнца, и для успокоения умов слабых и суеверных издали ученое рассуждение, говоря: «Не бойтесь! Это не черт, а комета». Г. Е.*** напечатал в «Северной пчеле», что хотя это, может статься, и не комета, а черт, но он не упадет на землю: напротив того, он сделается луною, как то уже предсказано им назад тому лет двадцать.

Теперь, после изобретения Фрауэнгоферова телескопа, и летучая мышь не укроется в воздухе от астрономов: они всех их произведут в небесные светила.

Между тем черт мятежей летел, летел, летел и упал на землю, с треском и шумом,— в самом центре Парижа. Но черти — как кошки: падения им не вредны. Астарот мигом приподнялся, оправился и немедленно стал кричать во все горло: «Долой министров! — Долой короля! — Да здравствует свобода! — Виват Республика! — Виват Лафайет! — Ура Наполеон II!» — стал бросать в окна каменьями и бутылками, коими были наполнены его карманы, стал бить фонари и стрелять из пистолетов,— и в одно мгновение вспыхнул ужасный бунт в Париже.

Сатана, выбросив Астарота на землю, важно возвратился к своему престолу, воссел, выпыхался, понюхал опилок и сказал:

— Видишь, какой бездельник!.. Чтоб ничего не делать, он вздумал воспевать передо мною похвалы уму человеческому!.. Покорно прошу сказать, когда этот прославленный ум был сильнее нашего искушения?.. Люди всегда будут люди. Ох, эти любезные, дорогие люди!.. Они на то лишь и годятся, что ко мне в проклятые... Кто теперь следует к докладу?

* * *

Представьте себе чертенка — ведь вы чертей видали? — представьте себе чертенка ростом с обыкновенного губернского секретаря, 2 аршина и 1/2 вершка, с петушиным носом, с собачьим челом,

с торчащими ушами, с рогами, с когтями и с длинным хвостом; одетого — как всегда одеваются черти! — одетого по-немецки, в чулках, сшитых из старых газет, в штанах из старых газет, в длинном фраке из старых газет, с высоким, аршин в девять, остроконечным колпаком на голове, склеенным из журнальных корректур в виде огромного шпица, на верхушке коего стоит бумажный флюгерок, вертящийся на деревянном прутике и показывающий, откуда дует ветер — и вы будете иметь понятие о забавном лице и форменном наряде пресловутого Бубантуса, первого лорда-дьявола журналистики в службе его мрачности.

Бубантус — большой любимец повелителя ада: он исправляет при нем двойную должность — придворного клеветника и издателя ежедневной газеты, выходящей однажды в несколько месяцев под заглавием: «Лгун из лгунов». В аду это официальная газета: в ней, для удовлетворения любопытства царя тьмы, помещаются одни только известия неосновательные, ибо основательные он находит слишком глупыми и недостойными его внимания. И дельно!..

С совиным пером за ухом, с черным портфелем под мышкою, весь запачканный желчью и чернилами, подошел он к седалищу сурового обладателя подземного царства и остановился — остановился, поклонился, сделал пируэт на одной ноге и опять поклонился и сказал:

— Имею честь рекомендоваться!..

Сатана примолвил:

— Любезный Бубантушка, начинай скорее свой доклад, только говори коротко и умно, потому что я сердит и скучаю...

И он зевнул ужасно, раскрыв рот шире жерла горы Везувия: дым и пламя заклубились из его горла.

— Мой доклад сочинен на бумаге,— отвечал нечистый дух журналистики.— Как вашей мрачности угодно его слушать: романтически или классически?.. то есть снизу вверх или сверху вниз?

— Слушаю снизу вверх,— сказал Сатана.— Я люблю романтизм: там все темно и страшно и всякое третье слово бывает непременно *мрак* и *мрачный* — это по моей части.

Бубантус начал приготовляться к чтению. Сатана присовокупил:

— Садись, мой дорогой Бубантус, чтоб тебе было удобнее читать.

Бубантус оборотился к нему задом и поклонился в пояс: под землею это принятый и самый вежливый образ изъявления благодарности за приглашение садиться. Он окинул взором залу и, нигде не видя стула, снял с головы свой бумажный, шпицеобразный колпак, поставил его на пол, присел, сжался, прыгнул на десять аршин вверх, вскочил и сел на самом флюгерке его; сел удивительно ловко — ибо вдруг попал он своим rectum[1] на конец прутика и воткнулся на него ровно, крепко и удобно, принял важный вид, вынул из портфеля бумагу, обернул ее верх ногами, чихнул, свистнул и приступил к чтению с конца, на романтический манер:

«И проч., и проч. слугою покорнейшим вашим пребыть честь Имею, невозможно людьми управлять иначе...»

— И проч., и проч.!..— воскликнул Сатана, прерывая чтение.— Визирь, слышал ли ты это начало? И проч., и проч.!.. Наш Бубантус, право, мастер сочинять. Доселе статьи романтические обыкновенно начинались с *И*, с *Ибо*, с *Однако ж*, но никто еще не начал так смело, как он, с *И проч.* Романтизм — славное изобретение!

— Удивительное, ваша мрачность,— отвечал визирь, кланяясь.

— На будущее время я не иначе буду говорить с тобою о делах, как романтически, то есть наоборот.

— Слушаю, ваша мрачность! — примолвил визирь.— Это будет гораздо вразумительнее. В самом деле, истинно адские понятия никаким другим слогом не могут быть выражены так сильно и удобно, как романтическим.

— Как мы прежде того не догадались! — сказал царь чертей.— Я, вероятно, всегда любил романтизм?..

— Ваша мрачность всегда имели вкус тонкий и чертовский.

— Читай,— сказал Сатана, обращаясь к злому духу

[1] Задом *(лат.)*.

журналистики,— но повтори и то, что прочитал: мне твой слог нравится.

Бубантус повторил:

«И проч., и проч., слугою покорнейшим вашим пребыть честь Имею...»

— Как?.. Только слугою? — прерывал опять Сатана.— Ты в тот раз читал умнее.

— Только слугою, ваша мрачность,— возразил черт журналов,— я и прежде читал слугою и теперь так читаю. Я не могу более подписываться: вашим верноподданным.

— Почему?

— Потому что мы, в Париже, торжественно протестовали против этого слова почти во всех журналах: оно слишком классическое, мифологическое, греческое, феодальное...

— Полно, так ли, братец?

— Точно так, ваша мрачность! Со времени учреждения в Западной Европе самодержавия черного народа, все люди — цари: так говорит г. Моген. Я даже намерен заставить предложить в следующее собрание французских Палат, чтобы вперед все частные лица подписывались: *Имею честь быть вашим милостливым государем,* а один только король писался бы *покорнейшим слугою.*

— Странно! — воскликнул Сатана с весьма недовольным видом.— Неужели все это романтизм!

— Самый чистый романтизм, ваша мрачность. В романтизме главное правило, чтобы все было странно и наоборот.

— Продолжай!

Бубантус продолжал:

«...невозможно людьми управлять иначе: в искушение вводить и обещаниями лживыми увлекать, дерзостью изумлять, искусно их надувать уметь надобно, изволите сие знать, мрачность ваша, как в дураках остались совершенно они, чтоб, стараясь, ибо...»

— Стой! — закричал Сатана, и глаза у него засверкали как молнии.— Стой!.. Полно! Ты сам останешься у меня в дураках. Как ты смеешь говорить, что моя мрачность?.. Не хочу я более твоего романтизма. Читай мне классически, сверху вниз.

— Но здесь дело идет не о вашей мрачности, а о людях,— возразил испуганный чертенок.— Слог ро-

мантический имеет то свойство, что над всяким периодом надобно крепко призадуматься, пока постигнешь смысл оного, буде таковой на лицо в оном имеется.

— А я думать не хочу! — сказал грозный обладатель ада. — На что мне эта беда?.. Я вашего романтизма не понимаю. Это сущий вздор: не правда ли, мой верховный визирь?

— Совершеннейшая правда! — отвечал Вельзевул, кланяясь. — Слыханное ли дело, читая думать?..

— Сверх того, — присовокупил царь чертей, — я примечаю в этом слоге выражения чрезвычайно дерзкие, неучтивые, которых никогда не встречал я в прежней классической прозе, гладкой, тихой, покорной, низкопоклонной...

— Без сомнения! — подтвердил визирь. — Романтизм есть слог мотов, буянов, мятежников, лунатиков, и для таких больших вельмож, как вы, слог классический гораздо удобнее и приличнее: по крайней мере он не утруждает головы и не пугает воображения.

— Мой верховный визирь рассуждает очень здраво, — сказал Сатана с важностью, — я большой вельможа. Читай мне классически, не утруждая моей головы и не пугая моего воображения.

Бубантус, обернув бумагу назад, стал читать сначала:

«ДОКЛАД

Мрачнейший Сатана!

Имею честь донести вашей нечистой силе, что, стараясь распространять более и более владычество ваше между родом человеческим, для удобнейшего запутания означенного рода в наши тенета, подведомых мне журналистов разделил я на всей земле на классы и виды, и каждому из них предписал особенное направление. В одной Франции учредил я четыре класса журналописцев, не считая пятого. Первый класс назван мною журналистами движения, второй — журналистами сопротивления, третий — журналистами уклонения, четвертый — журналистами возвращения. Пятый именуется среднею серединой. Одни из них тащат умы вперед, другие тащат их назад, те тащат направо, те налево, тогда как последователи средней середины увертываются между ними, как бесхвостая лиса, — и все кричат, и все

шумят, все вопиют, ругают, стращают, бесятся, грозят. льстят, клевещут, обещают, все предвещают и проповедуют бунты, мятежи, бедствия, кровь, пожар, слезы, разорение — только слушай да любуйся! Читатели в ужасе не знают, что думать, не знают, чему верить и за что приняться: они ежечасно ожидают гибельных происшествий, бегают, суетятся, укладывают вещи, прячут пожитки, заряжают ружья, хотят уйти и хотят защищаться и не разберут, кто враг, кто приятель, на кого нападать и кого покровительствовать, днем они не докушивают обеда, ввечеру боятся искать развлечений, ночью внезапно вскакивают с постели: одним словом, беспорядок, суматоха, буря умов, волнение умов и желаний, вьюга страстей, грозная, неслыханная, ужасная — и все это по милости газет и журналов, мною созданных и руководимых!

Не хвастая, ваша мрачность, я один более проложил людям путей к пагубе, чем все прочие мои товарищи. Я удвоил общую массу греха. Прежде люди грешили только по старинному, краткому списку грехов; теперь они грешат еще по журналам и газетам: по ним лгут, крадут, убивают, плутуют, святотатствуют, по ним живут и гибнут в бесчестии. Мои большие печатные листы беспрерывно колют их в бок, жгут в самое сердце, рвут тела их клещами страстей, тормошат умы их обещаниями блеска и славы, как собаки кусок старой подошвы; подстрекают их против всех и всего, прельщают и, среди прельщения, забрызгивают им глаза грязью; возбуждают в них деятельность и, возбудив, не дают им ни есть, ни спать, ни работать, ни заниматься выгодными предприятиями. Сим-то образом, создав, посредством моих листов, особую стихию политического мечтательства, — стихию горькую, язвительную, палящую, наводящую опьянение и бешенство, — я отторгнул миллионы людей от мирных и полезных занятий и бросил их в пучины сей стихии: они в ней погибнут, но они уже увлекли с собою в пропасть целые поколения и еще увлекут многие.

Коротко сказать, при помощи сих ничтожных листов я содержу все в полном смятении, заказываю мятежи на известные дни и часы, ниспровергаю власти, переделываю законы по своему вкусу и самодержавно управляю огромным участком земного шара: Франци-

ею, Англиею, частью Германии, Ост-Индиею, Островами и целою Америкою. Если ваша мрачность желаете видеть на опыте, до какой степени совершенства довел я на земле адское могущество журналистики, да позволено мне будет выписать из Франции, Англии и Баварии пятерых журналистов и учредить здесь, под землею, пять политических газет: ручаюсь моим хвостом, что чрез три месяца такую произведу вам суматоху между проклятыми, что вы будете принуждены объявить весь ад состоящим в осадном положении; вашей же мрачности велю сыграть такую пронзительную серенаду на кастрюлях, котлах, блюдах, волынках и самоварах,— где вам угодно, хоть и под вашею кроватью,— какой ни один член средней середины...»

— Ах ты, негодяй!..— закричал Сатана громовым голосом и — хлоп! — отвесил ему жестокий щелчок по носу — щелчок, от которого красноречивый Бубантус, сидящий на колпаке, на конце прутика, поддерживающего флюгер, вдруг стал вертеться на нем с такою быстротою, что, подобно приведенной в движение шпуле, он образовал собою только вид жужжащего, дрожащего, полупрозрачного шара. И он вертелся таким образом целую неделю, делая на своем полюсе по 666 поворотов в минуту,— ибо сила щелчка Сатаны в сравнении с нашими паровыми машинами равна силе 1738 лошадей и одного жеребенка.

— Странное дело,— сказал Сатана визирю своему Вельзевулу,— как они теперь пишут!.. Читай как угодно, сверху вниз или снизу вверх, классически или романтически: все выйдет та же глупость или дерзость!.. Впрочем, Бубантус добрый злой дух: он служит мне усердно и хорошо искушает; но, живя в обществе журналистов, он сделался немножко либералом, наглым, и забывает должное ко мне благоговение. В наказание пусть его помелет задом... Позови черта словесности к докладу.

* * *

Визирь кивнул рогом, и великий черт словесности явился. Он не похож на других чертей, он черт хорошо воспитанный, хорошего тона, высокий,

тонкий, сухощавый, черный — очень черный — и очень бледный: страждает модною болезнию, гастритом, и лицо имеет оправленное в круглую рамку из густых бакенбард. Он носит желтые перчатки, на шее у него белый атласный галстук. Невзирая на присутствие Сатаны, он беззаботно напевал себе сквозь зубы арию из «Фрейшюца» и хвостом выколачивал такт по полу. Он имел вид франта, и еще ученого франта. С первого взгляда узнали бы вы в нем романтика. Но он романтик не журнальный, не такой, как Бубантус, а романтик высшего разряда, в четырех томах, с английскою виньеткою.

— Здоров ли ты, черт Точкостав? — сказал ему Сатана.

— !.. !!.... Слуга покорнейший...!!!?...!!!! вашей адской мрачности!!!!..!..

— Давно мы с тобой не видались.

— Увы!...!!!..??..?!..!!!!!!!..! я страдал...!!!... я жестоко страдал!!!!..!..!..!..? Мрачная влажность проникла в стены души моей, гробовая сырость ее вторгнулась, как измена, в мозг, и мое воображение, вися неподвижно в сем тяжелом, мокром, холодном тумане болезненности, мерцало только светом слабым, бледным, дрожащим, неровно мелькающим, похожим на ужасную улыбку рока, поразившего остротою свою добычу,— оно мерцало светом лампады, внесенной рукою гонимого в убийственный воздух ужаса и смрада, заваленной гниющими трупами и хохочущими остовами...

— Что это значит? — воскликнул изумленный Сатана.

— Это значит??.!!!..?!!!!!.!.! Это значит, что у меня был насморк,— отвечал Точкостав.

— Ах ты, сумасброд! — вскричал царь чертей с нетерпением.— Перестанешь ли ты когда-нибудь или нет морочить меня своим отвратительным пустословием и говорить со мною точками да этими кучами знаков вопросительных и восклицательных?.. Я уже несколько раз сказывал тебе, что терпеть их не могу, но теперь для вящей безопасности от скуки и рвоты решаюсь принять в отношении к вам общую, великую, государственную меру...

— Что такое?..— спросил встревоженный черт.

— Я отменяю,— продолжал Сатана,— уничтожаю формально и навсегда в моих владениях весь романтизм и весь классицизм, потому что как тот, так и другой — сущая бессмыслица.

— Как же теперь будет?..— спросил нечистый дух словесности.— Каким слогом будем мы разговаривать с вашею мрачностью?.. Мы умеем только говорить классически или романтически.

— А я не хочу знать ни того, ни другого! — примолвил Сатана с суровым видом.— Оба эти рода смешны, ни с чем несообразны, безвкусны, уродливы, ложны — ложны, как сам черт! Понимаешь ли?.. И ежели в том дело, то я сам, моею властию, предпишу вам новый род и новую школу словесности: вперед имеете вы говорить и писать не классически, не романтически, а шарбалаамбарабурически.

— Шарбалаамбарабурически?..— спросил черт.

— Да, шарбалаамбарабурически,— присовокупил Сатана,— то есть писать *дельно.*

— Писать дельно?..— воскликнул великий черт словесности в совершенном остолбенении.— Писать дельно!.. Но мы, ваша мрачность, умеем только писать романтически или классически.

— Писать дельно, говорят тебе! — повторил Сатана с гневом.— Дельно, то есть здраво, просто, естественно, сильно, без натяжек, ново, без трупов, палачей и шарлатанства, приятно — без причесанных a la Titus[1] периодов и одетых в риторический парик оборотов, разнообразно — без греческой мифологии и без Шекспирова чернокнижия, умно — без старинных антитез и без нынешнего плутовства в словах и мыслях. Понимаешь ли?.. Я так приказываю: это моя выдумка.

— Писать здраво, просто, умно, разнообразно!..— повторил с своей стороны нечистый дух словесности в жестоком смятении.— У вашей мрачности всегда бывают какие-то чертовские выдумки. Мы умеем только писать классически или ром...

— Слышал ли ты мою волю или нет?

— Слышал, ваша мрачность, но она неудобоисполнима.

— Почему?..

---

[1] подобно Титу Флавию *(фр.).*

— Потому что я и подведомые мне словесники умеем излагать наши мысли только классически или романтически, то есть по одному из двух готовых образцов, по одной из двух давно известных, определенных систем: писать же так, чтоб это не было ни *сглупа,* по-афински, ни *сдурна,* по-староанглийски,— того на земле никто исполнить не в состоянии. Ваша нечистая сила полагаете, что у людей такое же адское соображение, как у вас: они — клянусь грехом! — умеют только скверно подражать, обезьянничать... Прежде они подражали старине греческой, которую утрировали, коверкали бесчеловечно: теперь она им надоела, и я подсунул им другую пошлую старину, именно великобританскую, на которую они бросились, как бешеные, и которую опять стали утрировать и коверкать. Они сами видят, что прежде были очень смешны: но того не чувствуют, что они и теперь очень смешны, только другим образом, и радуются, как будто нашли тайну быть совершенно новыми. Притом, что пользы для вашей мрачности, когда люди станут писать умно и дельно?

— Как что пользы?.. Я, по крайней мере, не умру от скуки, слушая подобные глупости.

— Но владычество ваше на земле исчезнет.

— Отчего же так?

— Оттого что когда они начнут сочинять дельно, о чертях и помину не будет. Ведь мы притча!..

— Ты думаешь?..

— Без сомнения!.. Теперь вы самодержавно господствуете над всею земною словесностью, вы царствуете во всех изящных произведениях ума человеческого. Все его творения дышат нечистою силой, все бредят дьяволом. Греческий Олимп разрушен до основания: Юпитер пал, и на его престоле теперь сидите вы, мрачнейший Сатана. Я все так устроил, что смертные писатели воспевают только ад, грех, порок и преступление...

— Неужели?..— воскликнул царь тьмы с удовольствием.

— Ей-ей, ваша мрачность. Главные пружины нынешней поэзии суть: вместо Венеры — ведьма, вместо Аполлона — страшный, засаленный, вонючий шаман, вместо нимф — вампиры: она завалена трупами, черепами, скелетами, из каждой ее строки каплет гнойная

материя. Проза сделалась настоящею помойною ямой: она толкует только о крови, грязи, разбоях, палачах, муках, изувечениях, чахотках, уродах; она представляет нищету со всею ее отвратительностью, разврат со всею его прелестью, преступление со всею его мерзостью, со всею наготою, соблазн и ужас со всеми подробностями. Она с удовольствием разрывает могилы, как алчная гиена, и забавляется, швыряя в проходящих вырытыми костями; она ведет бедного читателя в мрачные гробницы и, шутя, запирает его в гроб вместе с червивым трупом: ведет в смрадные тюрьмы и, так же шутя, сажает его на грязной соломе, подле извергов, разбойников и зажигателей, с коими поет она неистовые песни, ведет в дома распутства и бесчестия и, для потехи, бросает ему в лицо все откопанные там нечистоты: ведет на лобные места, подставляет под эшафоты и в шутку обливает его кровью обезглавленных преступников. Она придумывает для него новые страдания, хохочет над его страданиями. Она мучит его всем, чем только мучить возможно — предметом, тоном повествования, слогом — этим-то слогом моего изобретения, свирепым, ядовитым, изломанным в зигзаг, набитым шипами, удушливым, утомительным до крайности...

— Все это очень хорошо и похвально,— прервал Сатана,— но непрочно. Я знаю, что твой слог имеет все эти достоинства, но думаешь ли ты, что читатели долго дозволят вам мучить их таким несносным образом? Ведь это хуже, чем у меня в аду!..

— Конечно, недолго,— отвечал черт Точкостав,— но между тем какое удовольствие, какая отрада мучить людей порядком и еще под видом собственного их наслаждения!..

— И то дело! — сказал Сатана.— Мучь же крепко, любезный Точкостав, своею романтическою прозою и поэзиею!

— Рад стараться, ваша мрачность.

— Если у вас, на земле, недостанет чернил на точки и знаки восклицательные, то обратись ко мне. Мы можем уделить вам полтора или два миллиона бочек нашего адского перегорелого дегтю.

— Не премину воспользоваться вашим великолепным предложением.

— Что это у тебя в руке?

— Новый роман для вашей нечистой силы и вчерашние парижские афишки.

— Ну, что вчера представляли на театрах в Париже?

— Все романтические пьесы, ваша мрачность. На одном театре представляли чертей поющих, на другом чертей пляшущих, на третьем чертей сражающихся, на четвертом виселицу, на пятом гильотину, на шестом мятеж, на седьмом Антонио, или прелюбодеяние...

— Неужели?..— воскликнул Сатана.— Ну что, как, хорошо ли представляли прелюбодеяние?

— Очень хорошо, ваша мрачность: очень натурально.

— И это ты выучил их всему этому?

— Я, ваша мрачность.

— Хват, мой Точкостав!.. Вот тебе за то фальшивый грош на водку. Какой это роман?

— Роман Жюль Жанена под заглавием *Барнав,* произведение самое адское...

— Поди поставь его в моей избранной библиотеке. Сегодня я его прочитаю, а завтра съем, и будет ему конец.

* * *

— Подайте мне трубку,— сказал Сатана.

Султан Магомет II, покоритель Константинополя, исправляет при дворе его нечистой силы знаменитую должность *чубукчи-баши:* он чистит и набивает огромную медную его трубку, сделанную из отбитой головы баснословного родосского колосса. В эту трубку, обыкновенно, кладется целый воз гнилого подрядного сена: это любимый табак Сатаны — он даже другого не употребляет.

Черти, зная вкус своего повелителя, по ночам крадут для него этот табак из разных провиантских магазинов. От этого именно иногда происходит у людей недочет в казенном сене.

Магомет II церемониально поднес набитую трубку. Сатана принял ее одною рукой, а другую внезапно простер в сторону и схватил ею за голову одного из блистоящих проклятых, прежде бывшего издателя чужих

сочинений с вариантами и своими замечаниями, высохшего, как лист бумаги, над сравнением текстов и помешавшегося на вопросительном знаке, поставленном в одной рукописи по ошибке, вместо точки с запятою. Он смял его в горсти, придвинул к своему носу и чихнул; искры обильно посыпались из ноздрей его. Сухой толкователь чужих мыслей мгновенно от них загорелся. Сатана зажег им трубку: остальную же часть его он бросил на пол и затушил ногою. Недогоревший кусок ученого словочета представляет собою вид — (;) точки с запятою!..

Все проклятые были опечалены горестною его судьбою и поражены жестоким своенравием их обладателя. Но Сатана спокойно курил свое сено.

* * *

— Не угодно ли вам выслушать еще доклад главноуправляющего супружескими делами? — сказал адский верховный визирь.

— С удовольствием! — отвечал Сатана. — Я люблю соблазнительные летописи.

И черт супружеских дел явился.

Я не стану описывать его наружности, потому что три четверти женатых читателей моих лично с ним знакомы; я скажу только, что черт Фифи-Коко есть злой дух презлой, прековарный, но вместе с тем очень любезный — смирный, покорный, услужливый, как иной столоначальник перед своею директоршею, и хитрый, как преступная жена, и плут хуже всякого подьячего, и проворный искуситель, и в большом уважении у Сатаны. Он-то привел во искушение первую нашу прародительницу, сообщив ей великую тайну всего доброго и всего злого: в то время это была великая тайна, но в наш просвещенный век даже все горничные знают ее наизусть и без его содействия.

Но гораздо важнее то, что он знает тайны всех замужних красавиц, и самой даже Сатанши. Сатана имеет крепкое на него подозрение, но... но не говорит ни слова: Сатана знает приличия.

— Что нового? — спросил черный повелитель. — Как идут дела по твоей части?

— Отменно хорошо, ваша мрачность. Часть моя никогда еще не бывала в столь цветущем состоянии, как теперь. В супружествах господствует необыкновенная скука; мужья и жены большею частью ссорятся дважды и трижды в день; требования утешений непрестанны. У меня подлинно голова кружится от множества дел.

— Я знаю твою деятельность и ревность,— примолвил Сатана важно.— Покажи мне свою табель.

Фифи-Коко подал ему на длинном листе бумаги табель супружеских происшествий за последний месяц на всей поверхности земного шара. Сатана, держа трубку в зубах, начал рассматривать ее с большим вниманием и, при всякой статье, то восклицал от удовольствия, то от радости испускал огромные клубы табачного дыма ртом, носом и ушами.

— Сколько измен!.. Сколько ссор!.. Какая пропасть драк! — приговаривал он, читая табель.— Да какое множество любовных писем в течение одного месяца!.. Скажи, пожалуй, неужели столько расстроил ты супружеств в столь короткое время?.. 777 777? Это ужас!..

— Именно столько, ваша мрачность,— отвечал черт.

— Славно! Славно!..— воскликнул Сатана, продолжая смотреть в бумагу.— Я должен сказать откровенно, что изо всех отраслей моего правления твой департамент отличается наилучшим порядком.

— Ваша мрачность слишком ко мне милостивы...

— Дела текут у тебя чрезвычайно скоро.

— Женщины, ваша нечистая сила, не любят, чтобы они долго оставались на справке.

— И после масленицы у тебя нерешенных дел почти не остается.

— Это самое удобное время к очистке сего рода.

— Притом же твоя часть чрезвычайно обширна и едва ли не самая важная: она приносит мне наиболее пользы.

Фифи-Коко поклонился.

— Ни один из моих верных служителей не доставляет мне такого числа проклятых, как ты. Сколько у нас в аду великих мужей, глубокомудрых философов, мудрецов, святошей, фанатиков, которых никто из моих чертей не мог соблазнить; а ты принялся за де-

ло, женил их и — глядь — через несколько времени привел их ко мне — и не одних... мужа и жену вместе.

— Когда их, ваша милость, так легко поймать на приманку сладкого греха! — примолвил черт, скромно потупив глаза.

— Как бы то ни было, но я умею ценить твои дарования и поставляю себе в обязанность наградить тебя блистательным и приличным образом, — сказал Сатана с торжественным видом. — Вельзевул! В воздаяние знаменитых подвигов и беспримерной деятельности моего главнокомандующего на земле супружескими делами вели вызолотить ему рога.

Черти, содержащие стражу, схватили Фифи-Коко, отнесли его в геенну, всунули головою в печь и, раскалив ему рога до надлежащей степени, вызолотили их прочно и богато; потом пустили его в свет посевать дальнейшие раздоры между двумя полами рода человеческого.

* * *

Сатана отдал трубку, встал с престола, зевнул, потянулся и сказал:

— Уф!.. Как я устал!.. Как скучно управлять с благоразумием людскими глупостями!.. Теперь пойду гулять между огней в геенне, чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться приятным зрелищем, как жарятся люди.

И он ушел.

17 июня 1832

Ученое путешествие на Медвежий Остров

Итак, я доказал, что люди,
жившие до потопа, были гораздо умнее
нынешних: как жалко, что
они потонули!..

Барон Кювье

Какой вздор!..

Гомер в своей «Илиаде»

. . . . 14 апреля (1828) отправились мы из Иркутска в дальнейший путь, по направлению к северо-востоку, и в первых числах июня прибыли к Берендинской станции, проехав верхом с лишним тысячу верст. Мой товарищ, доктор философии Шпурцманн, отличный натуралист, но весьма дурной ездок, совершенно выбился из сил и не мог продолжать путешествие. Невозможно представить себе ничего забавнее почтенного испытателя природы, согнутого дугой на тощей лошади и увешанного со всех сторон ружьями, пистолетами, барометрами, термометрами, змеиными кожами, бобровыми хвостами, набитыми соломою сусликами и птицами, из которых одного ястреба особенного рода, за недостатком места за спиною и на груди, посадил он было у себя на шапке. В селениях, через которые мы проезжали, суеверные якуты, принимая его за великого странствующего шамана, с благоговением подносили ему кумысу и сушеной рыбы и всячески старались заставить его хоть немножко пошаманить над ними. Доктор сердился и бранил якутов по-немецки; те, полагая, что он говорит с ними священным тибетским наречием и другого языка не понимает, еще более оказывали ему уважения и настоятельнее просили его изгонять из них чертей. Мы хохотали почти всю дорогу.

По мере приближения нашего к берегам Лены вид страны становился более и более занимательным. Кто

не бывал в этой части Сибири, тот едва ли постигнет мыслию великолепие и разнообразие картин, которые здесь, на всяком почти шагу, прельщают взоры путешественника, возбуждая в душе его самые неожиданные и самые приятные ощущения. Все, что Вселенная, по разным своим уделам, вмещает в себе прекрасного, богатого, пленительного, ужасного, дикого, живописного: съеженные хребты гор, веселые бархатные луга, мрачные пропасти, роскошные долины, грозные утесы, озера с блещущею поверхностью, усеянною красивыми островами, леса, холмы, рощи, поля, потоки, величественные реки и шумные водопады — все собрано здесь в невероятном изобилии, набросано со вкусом или установлено с непостижимым искусством. Кажется, будто природа с особенным тщанием отделала эту страну для человека, не забыв в ней ничего, что только может служить к его удобству, счастию, удовольствию; и, в ожидании прибытия хозяина, сохраняет ее во всей свежести, во всем лоске нового изделия. Это замечание неоднократно представлялось нашему уму, и мы почти не хотели верить, чтоб, употребив столько старания, истощив столько сокровищ на устройство и украшение этого участка планеты, та же природа добровольно преградила вход в него любимому своему питомцу жестоким и негостеприимным климатом. Но Шпурцманн, как личный приятель природы, получающий от короля ганноверского деньги на поддержание связей своих с нею, извинял ее в этом случае, утверждая положительно, что она была принуждена к тому внешнею силою, одним из великих и внезапных переворотов, превративших прежние теплые края, где росли пальмы и бананы, где жили мамонты, слоны, мастодонты, в холодные страны, заваленные вечным льдом и снегом, в которых теперь ползают белые медведи и с трудом прозябают сосна и береза. В доказательство того, что северная часть Сибири была некогда жаркою полосою, он приводил кости и целые остовы животных, принадлежащих южным климатам, разбросанные во множестве по ее поверхности или вместе с деревьями и плодами теплых стран света погребенные в верхних слоях тучной ее почвы. Доктор был нарочно отправлен Геттингенским университетом для собирания этих костей и с восторгом показывал на слоновый зуб или винную ягоду, превращенные в камень, которые

продал ему один якут близ берегов Алдана. Он не сомневался, что до этого переворота, которым мог быть всеобщий потоп или один из частных потопов, не упомянутых даже в св. Писании, в окрестностях Лены вместо якутов и тунгусов обитали какие-нибудь предпотопные индийцы или итальянцы, которые ездили на этих окаменелых слонах и кушали эти окаменелые винные ягоды.

Ученые мечтания нашего товарища сначала возбуждали во мне улыбку; но теории прилипчивы, как гнилая горячка, и таково действие остроумных или благовидных учений на слабый ум человеческий, что те именно головы, которые сперва хвастают недоверчивостью, мало-помалу напитавшись летучим их началом, делаются отчаянными их последователями и готовы защищать их с мусульманским фанатизмом. Я еще спорил и улыбался, как вдруг почувствовал, что окаянный немец, среди дружеского спора, привил мне свою теорию; что она вместе с кровью расходится по всему моему телу и скользит по всем жилам; что жар ее бьет мне в голову; что я болен теориею. На другой день я уже был в бреду: мне беспрестанно грезились великие перевороты земного шара и сравнительная анатомия, с мамонтовыми челюстями, мастодонтовыми клыками, мегалосаурами, плезиосаурами, мегалотерионами, первобытными, вторичными и третичными почвами. Я горел жаждою излагать всем и каждому чудеса сравнительной анатомии. Быв нечаянно застигнут в степи припадком теории, за недостатком других слушателей, я объяснял бурятам, что они, скоты, не знают и не понимают того, что сначала на земле водились только устрицы и лопушник, которые были истреблены потопом, после которого жили на ней гидры, драконы и черепахи и росли огромные деревья, за которыми опять последовал потоп, от которого произошли мамонты и другие колоссальные животные, которых уничтожил новый потоп; и что теперь они, буряты, суть прямые потомки этих колоссальных животных. Потопы считал я уже такою безделицею — в одном Париже было их четыре! — такое, говорю, безделицею, что для удобнейшего объяснения нашей теории тетушке, или, попросту, в честь великому Кювье, казалось, я сам был бы в состоянии, при маленьком пособии со стороны при-

роды, одним стаканом пуншу произвесть всеобщий потоп в Торопецком уезде.

Наводняя таким образом обширные земли, искореняя целые органические природы, чтоб на их месте водворить другие, переставляя горы и моря на земном шаре, как шашки на шахматной доске, утомленные спорами, соображениями и походом, прибыли мы на Берендинскую станцию, где светлая Лена, царица сибирских рек, явилась взорам нашим во всем своем величии. Мы приветствовали ее громогласным — ура! Доктор Шпурцманн снял с шапки своего ястреба, поставил в два ряда на земле все свои чучелы и окаменелости, повесил барометры на дереве и, улегшись на разостланном плаще, объявил решительно, что верхом не поедет более ни одного шагу. Я тоже чувствовал усталось от верховой езды и желал несколько отдохнуть в этом месте. Прочие наши товарищи охотно согласились со мною. Один только достопочтенный наш предводитель обербергпробирмейстер 7-го класса, Иван Антонович Страбинских, следовавший в Якутск по делам службы, негодовал на нашу леность и понуждал нас к отъезду. Он не верил ни сравнительной анатомии, ни нашему изнеможению и все это называл пустою теорией. В целой Сибири не видал я ума холоднее: доказанной истины для него было недовольно; он еще желал знать, которой она пробы. Его сердце, составленное из негорючих ископаемых веществ, было совершенно неприступно воспламенению. И когда доктор клялся, что натер себе на седле оконечность позвоночной кости, он и это причислял к разряду пустых теорий, ни к чему не ведущих в практике и по службе, и хотел наперед удостовериться в истине его показания своей пробирною иглою. Иван Антонович Страбинских был поистине человек ужасный!

После долгих переговоров мы единогласно определили оставить лошадей и следовать в Якутск водою. Иван Антонович, как знающий местные средства, принял на себя приискать для нас барку, и 6-го июня пустились мы в путь по течению Лены. Берега этой прекрасной, благородной реки, одной из огромнейших и безопаснейших в мире, обставлены великолепными утесами и убраны беспрерывною цепью богатых и прелестных видов. Во многих местах утесы возвышаются отвесно и представляют взорам обманчивое подобие

разрушенных башен, замков, храмов, чертогов. Очарование, производимое подобным зрелищем, еще более укрепило во мне понятия, почерпнутые из рассуждений доктора, о прежней теплоте климата и цветущем некогда состоянии этой чудесной страны. Предаваясь влечению утешительной мечты, я видел в Лене древний сибирский Нил и в храмообразных ее утесах развалины предпотопной роскоши и образованности народов, населявших его берега. И всяк, кто только одарен чувством, взглянув на эту волшебную картину, увидел бы в ней то же. После каждого наблюдения мы с доктором восклицали, восторженные: «Быть не может, чтоб эта земля с самого начала всегда была Сибирью!» — на что Иван Антонович всякий раз возражал хладнокровно, что с тех пор, как он служит в офицерском чине, здесь никогда ничего, кроме Сибири, не бывало.

Но кстати о Ниле. Я долго путешествовал по Египту и, быв в Париже, имел честь принадлежать к числу усерднейших учеников Шампольона-Младшего, прославившегося открытием ключа к иероглифам. В короткое время я сделал удивительные успехи в чтении этих таинственных письмен; свободно читал надписи на обелисках и пирамидах, объяснял мумии, переводил папирусы, сочинял иероглифические каймы для салфеток, иероглифами писал чувствительные записки к француженкам и сам даже открыл половину одной египетской, дотоле неизвестной буквы, за что покойный Шампольон обещал доставить мне бессмертие, упомянув обо мне в выноске к своему сочинению. Правда, что г. Гульянов оспаривал основательность нашей системы и предлагал другой, им самим придуманный способ чтения иероглифов, по которому смысл данного текста выходит совершенно противный тому, какой получается, читая его по Шампольону; но это не должно никого приводить в сомнение, ибо спор, заведенный почтенным членом Российской Академии с великим французским египтологом, я могу решить одним словом: метода, предначертанная Шампольоном, так умна и замысловата, что, ежели египетские жрецы в самом деле были так мудры, какими изображают их древние, они не могли и не должны были читать своих иероглифов иначе, как по нашей методе; изобретенная же г. Гульяновым иероглифическая азбука так нехи-

тра, что если где и когда-либо была она в употреблении, то разве у египетских дьячков и пономарей, с которыми мы не хотим иметь и дела.

В проезд наш из Иркутска до Берендинской станции я неоднократно излагал Шпурцманну иероглифическую систему Шампольона-Младшего; но верхом очень неловко говорить об иероглифах, и упрямый доктор никак не хотел верить в наши открытия, которые называл он филологическим мечтательством. Как теперь находились мы на барке, где удобно можно было чертить углем на досках всякие фигуры, я воспользовался этим случаем, чтоб убедить его в точности моих познаний. Сначала мой доктор усматривал во всем противоречия и недостатки; но по мере развития остроумных правил, приспособленных моим наставником к чтению неизвестных письмен почти неизвестного языка, недоверчивость его превращалась в восхищение, и он испытал над собою то же волшебное действие вновь постигаемой теории, какое недавно произвели во мне его сравнительная анатомия и четыре парижские потопа. Я растолковал ему, что, по нашей системе, всякий иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, изображающая известное понятие, или вместе буква и фигура, или ни буква, ни фигура, а только произвольное украшение почерка. Итак, нет ничего легче, как читать иероглифы: где не выходит смысла по буквам, там должно толковать их метафорически; если нельзя подобрать метафоры, то позволяется совсем пропустить иероглиф и перейти к следующему, понятнейшему. Шпурцманн, которому и в голову никогда не приходило, чтобы таким образом можно было дознаваться тайн глубочайшей древности, почти не находил слов для выражения своего восторга. Он взял все, какие у меня были, брошюры разных ученых об этом предмете и сел читать их со вниманием. Прочитавши, он уже совершенно был убежден в основательности сообщенной мною теории и дал мне слово, что с будущей недели он начнет учиться чудесному искусству читать иероглифы; по возвращении же в Петербург пойдет прямо к Египетскому мосту, виденному им на Фонтанке, без сомнения, неправильно называемому извозчиками Бердовым и гораздо древнейшему известного К. И. Берда, и, не полагаясь на чужие толки, будет сам лично разбирать находящиеся на нем иероглифические

надписи, чтоб узнать с достоверностью, в честь какого крокодила и за сколько столетий до Р<ождества> Х<ристова> построен этот любопытный мост.

Наконец увидели мы перед собою обширные луга, расстилающиеся на правом берегу Лены, на которых построен Якутск. Июня 10-го прибыли мы в этот небольшой, но весьма красивый город, изящным вкусом многих деревянных строений напоминающий царскосельские улицы, и остановились по разным домам, к хозяевам которых имели мы рекомендательные письма из Иркутска. Осмотрев местные достопримечательности и отобедав поочередно у всех якутских хлебосолов, у которых нашли мы сердце гораздо лучше их «красного ротвейну», всякий из нас начал думать об отъезде в свою сторону. Я ехал из Каира в Торопец и, признаюсь, сам не знал, каким образом и зачем забрался в Якутск; но как я находился в Якутске, то, по мнению опытных людей, ближайший путь в Торопец был — возвратиться в Иркутск и, уже не связываясь более ни с какими натуралистами и не провожая приятелей, следовать через Тобольск и Казань на запад, а не на восток. Доктор Шпурцманн ехал без определенной цели — туда, где, как ему скажут, есть много костей. Иван Антонович Страбинских отправлялся к устью Лены, имев поручение от начальства обозреть его в отношениях минералогическом и горного промысла. Мой натуралист тотчас возымел мысль обратить поездку обербергпробирмейстера 7-го класса на пользу сравнительной анатомии и вызвался сопутствовать ему под 70-й градус северной широты, где еще надеялся он найти средство проникнуть и далее, до Фадеевского Острова и даже до Костяного пролива.

Утром курил я сигарку в своей комнате, наблюдая с ученым вниманием, как табачный дым рисуется в сибирском воздухе, когда Шпурцманн вбежал ко мне с известием, что завтра отправляется он с Иваном Антоновичем в дальнейший путь на север. Он был вне себя от радости и усердно приглашал меня ехать с ним туда, представляя выгоды этого путешествия в самом блистательном свете — занимательность наших ученых бесед — случай обозреть величественную Лену во всем ее течении и видеть ее устье, доселе не посещенное ни одним филологом, ни натуралистом — удовольствие плавать по Северному океану, среди ледяных гор и бе-

лых медведей, покойно спящих на волнуемых бурею льдинах — счастье побывать за 70-м градусом широты, в Новой Сибири и Костяном проливе, где найдем пропасть прекрасных костей разных предпотопных животных — наконец, приятность совокупить вместе наши разнородные познания, чтоб сделать какое-нибудь важное для науки открытие, которое прославило б нас навсегда в Европе, Азии и Америке. Чтоб подстрекнуть мое самолюбие, тонкий немец обещал доставить мне лестную известность во всех зоологических собраниях и кабинетах ископаемых редкостей, ибо, если в огромном числе разбросанных в тех странах островов удастся ему открыть какое-нибудь неизвестное в ученом свете животное, то, в память нашей дружбы, он даст этому животному мою почтеннейшую фамилию, назвав его мегало-брамбеусотерион, велико-зверем-Брамбеусом или как мне самому будет угодно, чтоб ловче передать мое имя отдаленным векам, бросив его вместе с этими костями голодному потомству. Хотя, сказать правду, и это весьма хороший путь к бессмертию, и многие не хуже меня достигли им громкой знаменитости, однако ж к принятию его предложения я скорее убедился бы следующим обстоятельством, чем надеждою быть дружески произведенным в предпотопные скоты. Доктор напомнил мне, что вне устья Лены находится известная пещера, которую, в числе прочих, Паллас и Гмелин старались описать по собранным от русских промышленников известиям, весьма сожалея, что им самим не случилось видеть ее собственными глазами. Наши рыбаки называют ее «Писанною Комнатою», имя, из которого Паллас сделал свой Pisanoi Komnat[1] и которое Рейнеггс перевел по-немецки das geschriebene Zimmer[2]. Гмелин предлагал даже снарядить особую экспедицию для открытия и описания этой пещеры. Впрочем, о существовании ее было уже известно в средних веках. Арабские географы, слышавшие о ней от харасских купцов, именуют ее *Гар эль-китабе,* то есть «Пещерою письмен», а остров, на котором она находится, *Ард эль-гар*, или «Землею пещеры»[3]. Китайская Всеобщая

[1] Pallas Reise. т. II. p.108.

[2] Reineggs, Reise, p. 218.

[3] Origines Russes, extraits de divers manuscrits orientaux, par Hammer, p. 56. — Memoriae populorum. p. 317.

География, приводимая ученым Клапротом, повествует об ней следующее: «Недалеко от устья реки Ли-но есть на высокой горе пещера с надписью на неизвестном языке, относимою к веку императора Яо. Мын-дзы полагает, что нельзя прочитать ее иначе, как при помощи травы ши, растущей на могиле Конфуция»[1]. Плано Карпини, путешествовавший в Сибири в XIII столетии, также упоминает о любопытной пещере, лежащей у последних пределов севера, in ultimo septentrioni, в окрестностях которой живут, по его словам, люди, имеющие только по одной ноге и одной руке: они ходить не могут и, когда хотят прогуляться, вертятся колесом, упираясь в землю попеременно ногою и рукою. О самой пещере суеверный посол папы присовокупляет только, что в ней находятся надписи на языке, которым говорили в раю.

Все эти сведения мне, как ученому путешественнику, кажется, давно были известны; но оно не мешало, чтобы доктор повторил их мне с надлежащею подробностью, для воспламенения моей ревности к подвигам на пользу науки. Я призадумался. В самом деле, стоило только отыскать эту прославленную пещеру, видеть ее, сделать список с надписи и привезти его в Европу, чтоб попасть в великие люди. Приятный трепет тщеславия пробежал по моему сердцу. Ехать ли мне или нет?.. Оно немножко в сторону от пути в Торопец!.. Но как оставить приятеля?.. Притом Шпурцманн не способен к подобным открытиям: он в состоянии не приметить надписи и скорее все испортит, чем сделает что-нибудь порядочное. Я — это другое дело!.. Я создан для снимания надписей; я видел их столько в разных странах света!

— Так и быть, любезный доктор! — вскричал я, обнимая предприимчивого натуралиста.— Еду провожать тебя в Костяной пролив.

На другой день поутру (15 июня) мы уже были на лодке и после обеда снялись с попутным ветром. Плавание наше по Лене продолжалось с лишком две недели, потому что Иван Антонович, который теперь совершенно располагал нами, принужден был часто останавливаться для осмотра гор, примыкающих во многих

---

[1] Klaproth, Abhandlungen über die Sprache und Schrift der Uiguren, p. 72. См. также: Описание Джунгарии и Монголии, о. Иакинфа.

местах к самому руслу реки. Доктор прилежно сопровождал его во всех его официальных вылазках на берег; я оставался на лодке и курил сигарки. В продолжение этого путешествия имели мы случай узнать покороче нашего товарища и хозяина: он был не только человек добрый, честный, услужливый, но и весьма ученый по своей части, чего прежде, сквозь казенную его оболочку, мы вовсе не приметили. Мы полюбили его от всего сердца. Жаль только, что он терпеть не мог теорий и хотел пробовать все на своем оселке.

Время было ясное и жаркое. Лена и ее берега долго еще не переставали восхищать нас своею красотою: это настоящая панорама, составленная со вкусом из отличнейших видов вселенной. По мере удаления от Якутска деревья становятся реже и мельче; но за этот недостаток глаза с избытком вознаграждаются постепенно возрастающим величием безжизненной природы. Под 68-м градусом широты река уже уподобляется бесконечно длинному озеру, и смежные горы принимают грозную альпийскую наружность.

Наконец вступили мы в пустынное царство Севера. Зелени почти не видно. Гранит, вода и небо занимают все пространство. Природа кажется разоренною, взрытою, разграбленною недавно удалившимся врагом ее. Это поле сражения между планетою и ее атмосферою, в вечной борьбе которых лето составляет только мгновенное перемирие. В непрозрачном тусклом воздухе над полюсом висят растворенные зима и бури, ожидая только удаления солнца, чтоб во мраке, с новым ожесточением, броситься на планету; и планета, скинув свое красивое растительное платье, нагою грудью сбирается встретить неистовые стихии, свирепость которых как будто хочет она устрашить видом острых, черных, исполинских членов и железных ребр своих.

2 июля бросили мы якорь в небольшой бухте, у самого устья Лены, ширина которого простирается на несколько верст. Итак, мы находились в устье этой могущественной реки, под 70-м градусом широты; но ожидания наши были несколько обмануты: вместо пышного, необыкновенного вида мы здесь ничего не видали. Река и море, в своем соединении, представили нам одно плоское, синее, необозримое пространство вод, при котором великолепие берегов совершенно исчезло. Даже Ледовитый океан ничем не обрадовал нас по-

сле длинного и скучного путешествия: ни одной плавучей льдины, ни одного медведя!.. Я был очень недоволен устьем Лены и Ледовитым океаном.

Доктор остановил мое внимание на особенном устройстве этого устья, которое кажется будто усеченным. Берега здесь не ниже тех, какие видели мы за сто и за двести верст вверх по реке; из обоих же углов устья выходит длинная аллея утесистых островов, конец которой теряется из виду на отдаленных водах океана. Нельзя сомневаться, что это продолжение берегов Лены, которая в глубокую древность долженствовала тянуться несравненно далее на север; но один из тех великих переворотов в природе, о которых мы с доктором беспрестанно толковали, по-видимому, сократил ее течение, передав значительную часть русла ее во владение моря. Шпурцманн очень хорошо объяснял весь порядок этого происшествия, но его объяснения нисколько меня не утешали.

— Если б я управлял этим переворотом, я бы перенес устье Лены ближе к Якутску,— сказал я.

— И вы бы были таким вандалом, портить такую прекрасную реку! — сказал доктор.

Мы нашли здесь несколько юрт тунгусов, занимающихся рыбною ловлею: они составляли все народонаселение здешнего края. Два большие судна, отправленные одним купцом из Якутска для ловли тюленей, стояли у островка, закрывающего вход в нашу бухту. По разным показаниям мы уже знали с достоверностью, что Писанная Комната находится на так называемом Медвежьем Острове, лежащем между Фадеевским Островом, Новою Сибирью и Костяным проливом. Как Антон Иванович намеревался пробыть здесь около десяти дней, то мы с доктором вступили в переговоры с приказчиком одного судна о перевезении нас на Медвежий Остров. Смелые промышленники в полной мере подтвердили сведения, сообщенные нам в разных местах по Лене, о предмете нашего путешествия, уверяя, что сами не раз бывали на этом острову и в Писанной Комнате. Заключив с ними условие, 4 июля простились мы с любезным нашим хозяином, который душевно сожалел, что должен был расстаться с нами, тогда как и сам он очень желал бы посетить столь любопытную пещеру. Он обещал дожидаться нашего возвращения в устье Лены и, когда мы поднимали паруса,

прислал еще сказать нам, что, быть может, увидится он с нами на Медвежьем Острову, ежели мы долго пробудем в пещере и ему нечего здесь будет делать.

Миновав множество мелких островов, мы выплыли в открытое море. Безветрие удержало нас до вечера в виду берегов Сибири. Ночью поднялся довольно сильный северо-западный ветер, и на следующее утро мы уже неслись по Ледовитому океану. Несколько отдельно плавающих льдин служили единственною вывескою грозному его названию. После трехдневного плавания завидели мы вправо низкий остров, именуемый Малым; влево высокие утесы, образующие южный край Фадеевского Острова. Скоро проявились и нагруженные ледяными горами неприступные берега Новой Сибири, за юго-западным углом которой приказчик судна указал нам высокую пирамидальную массу камня со многими уступами. Это был Медвежий Остров.

Мы прибыли туда 8 июля, около полудня, и немедленно отправились на берег. Медвежий Остров состоит из одной, почти круглой, гранитной горы, окруженной водою, и от Новой Сибири отделяется только небольшим проливом. Вершина его господствует над всеми высотами близлежащих островов, возвышаясь над поверхностью моря на 2260 футов, по барометрическому измерению доктора Шпурцманна. Пещера, известная под именем Писанной Комнаты, лежит в верхней его части, почти под самою крышею горы. Один из промышленников проводил нас туда по весьма крутой тропинке, протоптанной, по его мнению, белыми медведями, которые осенью и зимою во множестве посещают этот остров, отчего произошло и его название. Мы не раз принуждены были карабкаться на четвереньках, пока достигли небольшой площадки, где находится вход в пещеру, заваленный до половины камнями и обломками гранита.

Преодолев с большим трудом все препятствия, очутились мы наконец в знаменитой пещере. Она действительно имеет вид огромной комнаты. Сначала недостаток света не дозволил нам ничего видеть; но когда глаза наши привыкли к полумраку, какое было наше восхищение, какая для меня радость, какое счастье для доктора открыть вместе и черты письмен, и кучу окаменелых костей!.. Шпурцманн бросился на кости как голодная гиена; я засветил карманный фонарик и стал

разглядывать стены. Но тут именно и ожидало меня изумление. Я не верил своим взорам и протер глаза платком, я думал, что свет фонаря меня обманывает и три раза снял со свечки.

— Доктор!

— Мм?

— Посмотри сюда, ради бога!

— Не могу, барон. Я занят здесь. Какие богатства!.. Какие сокровища!.. Вот хвост плезиосауров, которого недостает у Геттингенского университета...

— Оставь его и поди скорее ко мне. Я покажу тебе нечто, гораздо любопытнее всех твоих хвостов.

— Раз, два, три, четыре... Четыре ляжки разных предпотопных собак — canis antediluvianus... И все новых, неизвестных пород!.. Вот, барон, избирайте любую: которую породу хотите вы удостоить вашего имени?.. Эту, например, собаку наречем вашею фамилиею; эту моею; этой можно будет дать имя вашей почтеннейшей сестр...

Я не мог выдержать долее, побежал к Шпурцманну и, вытащив его насильно из груды костей, привел за руку к стене. Наведя свет фонаря на письмена, я спросил, узнает ли он их. Шпурцманн посмотрел на стену и на меня в остолбенении.

— Барон!.. это, кажется?..

— Что такое?.. Говорите ваше мнение.

— Да это иероглифы!..

Я бросился целовать доктора.

— Так точно! — вскричал я с сердцем, трепещущим от радости,— это они, это египетские иероглифы! Я не ошибаюсь!.. Я узнал их с первого взгляда: я могу узнать египетские иероглифы везде и во всякое время, как свой собственный почерк.

— Вы также можете и читать их, барон?.. ведь вы ученик Шампольона? — важно присовокупил доктор.

— Я уже разобрал несколько строк.

— Этой надписи?

— Да. Она сочинена на диалекте, немножко различном от настоящего египетского, но довольно понятна и четка. Впрочем, вы знаете, что иероглифы можно читать на всех языках. Угадайте, любезный доктор, о чем в ней говорится?

— Ну, о чем?

— О потопе.

— О потопе!..— воскликнул доктор, прыгнув в ученом восторге вверх на пол-аршина.— О потопе!! — И, в свою очередь, он кинулся целовать меня, сильно прижимая к груди, как самый редкий хвост плезиозавров.— О потопе!!! Какое открытие!.. Видите, барон: а вы не соглашались ехать сюда со мною в устье Лены, хотели наплевать на Ледовитый океан?.. Видите, сколько еще остается людям сделать важных для науки приобретений. Что вы там смотрите?..

— Читаю надпись. Судя по содержанию некоторых мест, это описание великого переворота в природе.

— Возможно ли?..

— Кажется, будто кто-то, спасшийся от потопа в этой пещере, вздумал описать на стенах ее свои приключения.

— Да это клад!.. Надпись единственная, бесценная!.. Мы, вероятно, узнаем из нее много любопытных вещей о предпотопных нравах и обычаях, о живших в то время великих животных... Как я завидую, барон, вашим обширным познаниям по части египетских древностей!.. Знаете ли, что за одну эту надпись вы будете членом всех наших немецких университетов и корреспондентом всех ученых обществ, подобно египетскому паше?..

— Очень рад, что тогда буду иметь честь именоваться вашим товарищем, любезный доктор. Благодаря вашей предприимчивости, вашему ученому инстинкту, мы с вами сделали истинно великое открытие; но меня приводит в сомнение одно обстоятельство, в котором никак не могу отдать себе отчета.

— Какое именно?

— То, каким непостижимым случаем египетские иероглифы забрались на Медвежий Остров, посреди Ледовитого океана. Не белые ли медведи сочинили эту надпись?..— спросил я.

— Белые медведи?.. Нет, это невозможно! — отвечал пресерьезно немецкий Gelehrter.— Я хорошо знаю зоологию и могу вас уверить, что белые медведи не в состоянии этого сделать. Но что же тут удивительного?.. Это только новое доказательство, что так называемые египетские иероглифы не суть египетские, а были переданы жрецам того края гораздо древнейшим

народом, без сомнения, людьми, уцелевшими от последнего потопа. Итак, иероглифы суть, очевидно, письмена предпотопные, Literae antediluvianae, первобытная грамота рода человеческого, и были в общем употреблении у народов, обитавших в теплой и прекрасной стране, теперь частию превращенной в Северную Сибирь, частию поглощенной Ледовитым морем, как это достаточно доказывается и самым устройством устья Лены. Вот почему мы находим египетскую надпись на Медвежьем Острову.

— Ваше замечание, любезный доктор, кажется мне весьма основательным.

— Оно по крайней мере естественно и само собою проистекает из прекрасной, бесподобной теории о четырех потопах, четырех почвах и четырех истребленных органических природах.

— Я совершенно согласен с вами. И мой покойный наставник и друг, Шампольон, потирая руки перед пирамидами, на которых тоже найдены иероглифические надписи, сказал однажды своим спутникам: «Эти здания не принадлежат египтянам: им с лишком 20000 лет!»

— Видите, видите, барон! — воскликнул обрадованный Шпурцманн.— Я не египтолог, а сказал вам тотчас, что египетские иероглифы существовали еще до последнего потопа. Двадцать тысяч лет?.. Ну а потоп случился недавно!.. Итак, это доказано. Правда, я иногда шутил над иероглифами; но мы в Германии, в наших университетах, очень любим остроумие. В сердце я всегда питал особенное к ним почтение и могу вас уверить, что египетские иероглифы я уважаю наравне с мамонтовыми клыками. Как я сожалею, что, будучи в Париже, не учился иероглифам!..

Объяснив таким образом происхождение надписи и осмотрев с фонарем стены, плотно покрытые сверху донизу иероглифами, нам оставалось только решить, что с нею делать. Срисовать ее всю было невозможно: на это потребовалось бы с лишком двух месяцев, с другой стороны, у нас не было столько бумаги. Как тут быть?.. По зрелом соображении мы положили, возвратясь в Петербург, убедить Академию Наук к приведению в действие Гмелинова проекта, отправлением нарочной ученой экспедиции для снятия надписи в подлиннике сквозь вощеную бумагу, а между тем самим

перевесть ее на месте и представить ученому совету в буквальном переводе. Но и это не так-то легко было бы исполнить. Стены имеют восемь аршин высоты и вверху сходятся неправильным сводом. Надпись, хотя и крупными иероглифами, начинается так высоко, что, стоя на полу, никак нельзя разглядеть верхних строк. Притом строки очень не прямы, сбивчивы, даже перепутаны одни с другими и должны быть разбираемы с большим вниманием, чтоб при чтении в переводе не перемешать порядка иероглифов и сопряженных с ними понятий. Надобно было непременно наперед построить леса кругом всей пещеры и потом, при свете фонарей или факелов, одному читать и переводить, а другому писать по диктовке.

Рассудив это и измерив пещеру, мы возвратились на судно, где собрали все ненужные доски, бревна, багры и лестницы и приказали перенести в Писанную Комнату. Трудолюбивые русские мужички за небольшую плату охотно и весело исполнили наши наставления. К вечеру материал уже был на горе; но постройка лесов заняла весь следующий день, в течение которого Шпурцманн копался в костях, а я отыскивал начало надписи и порядок, по которому стены следуют одни за другими. На третий день поутру (10-го июля) мы взяли с собою столик, скамейку, чернила и бумагу и, прибыв в пещеру, немедленно приступили к делу.

Я взлез на леса с двумя промышленниками, долженствовавшими держать предо мною фонари; доктор уселся на скамейке за столиком; я закурил сигарку, он понюхал табаку, и мы начали работать. Зная, какой чрезмерной точности требует ученый народ от списывающих древние исторические памятники, мы условились переводить иероглифический текст по точным правилам Шампольоновой методы, от слова до слова, как он есть, без всяких украшений слога, и писать перевод каждой стены особо, не изобретая никакого нового разделения. В этом именно виде ученые мои читатели найдут его и здесь.

Но при первом слове вышел у нас с доктором жаркий спор о заглавии. Питомец запачканной чернилами Германии не хотел и писать без какого-нибудь загадочного или рогатого заглавия. Он предлагал назвать наш труд: *Homo diluviitestis* — «Человек был свидетелем потопа», потому что это неприметным образом состояло бы

в косвенной, тонкой, весьма далекой и весьма остроумной связи с системою Шейхцера, который, нашед в своем погребу кусок окаменелого человека, под этим заглавием написал книгу, доказывая, что этот человек видел из погреба потоп собственными глазами, в опровержение последователей учению Кювье, утверждающих, что до потопа не было на земле ни людей, ни даже погребов. Я предпочитал этому педантству ясное и простое заглавие:

«ЗАПИСКИ ПОСЛЕДНЕГО ПРЕДПОТОПНОГО ЧЕЛОВЕКА».

Мы потеряли полчаса дорогого времени и ни на что не согласились. Я вышел из терпения и объявил доктору, что оставлю его одного в пещере, если он будет долее спорить со мною о таких пустяках. Шпурцманн образумился.

— Хорошо! — сказал он. — Мы решим заглавие в Европе.

— Хорошо! — сказал я. — Теперь извольте писать.

СТЕНА I

«Подлейший раб солнца, луны и двенадцати звезд, управляющих судьбами, Шабахубосаар сын Бакубарооса: сына Махубелехова, всем читающим это желаем здравия и благополучия.

Цель этого писания есть следующая:

Мучимый голодом, страхом, отчаянием, лишенный всякой надежды на спасение, среди ужасов всеобщей смерти, на этом лоскутке земли, случайно уцелевшем от разрушения, решился я начертать картину страшного происшествия, которого был свидетелем.

Если еще кто-либо, кроме меня, остался в живых на земле; если случай, любопытство или погибель привлечет его или сынов его в эту пещеру; если когда-нибудь сделается она доступною потомкам человека, исторгнутого рукою судьбы из последнего истребления его рода, пусть прочитают они мою историю, пусть постигнут ее содержание и затрепещут.

Никто уже из них не увидит ни отечеств, ни величия, ни пышности их злосчастных предков. Наши прекрасные родины, наши чертоги, памятники и сказания покоятся на дне морском, или под спудом новых огромных гор. Здесь, где теперь простирается это бур-

ное море, покрытое льдинами, еще недавно процветало сильное и богатое государство, блистали яркие крыши бесчисленных городов, среди зелени пальмовых рощ и бамбуковых плантаций...»

— Видите, барон, как подтверждается все, что я вам доказывал об удивительных исследованиях Кювье? — воскликнул в этом месте Шпурцманн.

— Вижу, — отвечал я и продолжал диктовать начатое.

«...двигались шумные толпы народа, и паслись стада под светлым и благотворным небом. Этот воздух, испещренный гадкими хлопьями снега, замешанный мрачным и тяжелым туманом, еще недавно был напитан благоуханием цветов и звучал пением прелестных птичек, вместо которого слышны только унылое карканье ворон и пронзительный крик бакланов. В том месте, где сегодня, на бушующих волнах, носится эта отдаленная, высокая ледяная гора, беспрестанно увеличиваясь новыми глыбами снега и окаменелой воды, — в том самом месте, в нескольких переездах отсюда, пять недель тому назад возвышался наш великолепный Хухурун, столица могущественной Барабии и краса вселенной, огромностью, роскошью и блеском превосходившей все города, как мамонт превосходит всех животных. И все это исчезло, как сон, как привидение!..

О Барабия! о мое отечество! где ты теперь?.. где мой прекрасный дом?.. моя семья?.. любезная мать, братья, сестры, товарищи и все дорогие сердцу?.. Вы погибли в общем разрушении природы, погребены в пучинах нового океана или плаваете по его поверхности вместе со льдинами, которые трут ваши тела и разламывают ваши кости. Я один остался на свете, но и я скоро последую за вами!..

В горестном отчуждении от всего, что прежде существовало, одни лишь воспоминания еще составляют связь между мною и поглощенным светом. Но достанет ли у меня силы, чтоб возобновить память всего ужасного и смешного, сопровождавшего мучительную его кончину?.. Вода смыла с лица земли последний след глупостей и страданий нашего рода, и я не имею права нарушать тайны, которою сама природа, быть мо-

жет, для нашей чести, покрыла его существование. Итак, я ограничусь здесь личными моими чувствованиями и приключениями: они принадлежат мне одному, и я, для собственного моего развлечения, опишу их подробно с самого начала постигшего нас бедствия.

В 10-й день второй луны сего, 11789 года в северо-восточной стороне неба появилась небольшая комета. Я тогда находился в Хухуруне. Вечер был бесподобный; несметное множество народа весело и беззаботно гуляло по мраморной набережной Лены, и лучшее общество столицы оживляло ее своим присутствием. Прекрасный пол... прекрасный пол..?»

— Чем вы затрудняетесь, барон? — прервал Шпурцманн, приподнимая голову. — Переводите, ради бога: это очень любопытно.

— Затрудняюсь тем, — отвечал я, — что не знаю, как назвать разные роды древних женских нарядов, о которых здесь упоминается.

— Нужды нет; называйте их нынешними именами, с присовокуплением общего прилагательного antediluvianus, «предпотопный». Мы в сравнительной анатомии так называем все то, что неизвестно, когда оно существовало. Это очень удобно.

— Хорошо. Итак, пишите.

«Предпотопный прекрасный пол, в богатых предпотопных клоках, с щегольскими предпотопными шляпками на голове и предпотопными турецкими шалями, искусно накинутыми на плечи, сообщал этому стечению вид столь же пестрый, как и заманчивый».

— Прекрасно! — воскликнул мой доктор, нюхая табак. — И коротко и ясно.

— Но мне кажется, — примолвил я, — что было бы еще короче не прибавлять слова «предпотопный».

— Конечно! — отвечал он. — Это будет еще короче.

— Не прерывайте же меня теперь, — сказал я, — а то мы никогда не кончим.

«Лучи заходящего солнца, изливаясь розовыми струями сквозь длинные и высокие колоннады дворцов, украшавших противоположный берег реки, и озаряя волшебным светом желтые и голубые крыши храмов, восхищали праздных зрителей, более занятых своими удовольствиями, чем кометою и даже новостями из армии. Барабия была тогда в войне с двумя сильными державами: к юго-западу (около Шпицбергена и Новой Земли[1]) мы вели кровопролитную войну с Мурзуджаном, повелителем обширного государства, населенного неграми, а на внутреннем море (что ныне Киргизская Степь) наш флот сражался со славою против соединенных сил Пшармахии и Гарры. Наш царь, Мархусахааб, лично предводительствовал войсками против черного властелина, и прибывший накануне гонец привез радостное известие об одержанной нами незабвенной победе.

Я тоже гулял по набережной, но на меня не только комета и победа, но даже и величественная игра лучей солнца не производили впечатления. Я был рассеян и грустен. За час перед тем я был у моей Саяны, прелестнейшей из женщин, живших когда-либо на земном шаре,— у Саяны, с которою долженствовал я скоро соединиться неразрывными узами брака и семейного счастия,— и расстался с нею с сердцем, отравленным подозрениями и ревностью. Я был ревнив до крайности, она была до крайности ветрена. Несколько уже раз случалось мне быть в размолвке с нею и всегда оставаться виноватым; но теперь я имел ясное доказательство ее измены. Теперь я сам видел, как она пожала руку молодому (предпотопному) франту, Саабарабу. «Возможно ли,— думал я,— чтоб столько коварства, вероломства таилось в юной и неопытной девушке, и еще под такою обворожительною оболочкою красоты, невинности, нежности?.. Она так недавно клялась мне, что, кроме меня, никого в свете любить не может; что без меня скучает, чувствует себя несчастною; что мое присутствие для нее благополучие, мое прикосновение — жизнь!..» Но, может статься, я ошибаюсь:

[1] Предваряю, однажды, навсегда, что объяснения имен собственных, заключенные в скобках, прибавлены к моему переводу доктором Шпурцманном: они, без сомнения, весьма основательны, но я не диктовал их ему.

может быть, я не то видел, и она верна мне по-прежнему?.. В самом деле, я не думаю, чтобы она могла любить кого-нибудь другого, особенно такого вертопраха, каков Саабараб... Впрочем, он красавец, знатен и нагл: многие женщины от него без памяти... Да и что значила эта рука в его руке?.. Откуда такая холодность в обращении со мною?.. Она даже не спросила меня, когда мы опять увидимся!.. Я приведу все это в ясность. И если удостоверюсь, что она действительно презирает мою любовь, то клянусь солнцем и луною!..» — Тут мои рассуждения были вдруг остановлены: я упал на мостовую, разбил себе лоб и был оглушен пронзительным визгом придавленного мною человека, который кричал мне в самое ухо: «Ай!.. ай!.. Шабахубосаар!.. сумасшедший!.. что ты делаешь?.. ты меня убил!.. ты меня душишь!.. Господа!.. пособите!..»

Я вскочил на ноги, весь в пыли и изумлении среди громкого смеха прохожих и плоских замечаний моих приятелей, и тогда только приметил, что, обуреваемый страстью, я так быстро мчался по набережной, что затоптал главного хухурунского астронома, горбатого Шимшика, бывшего некогда моим учителем. Шимшик хотел воспользоваться появлением кометы на небе, чтоб на земле обратить общее внимание на себя. Став важно посреди гульбища, он вытянул шею и не сводил тусклых глаз своих с кометы, в том уповании, что гуляющие узнают по его лицу отношения его по должности к этому светилу; но в это время неосторожно был опрокинут мною на мостовую.

Прежде всего я пособил почтенному астроному привстать с земли. Мы уже были окружены толпою ротозеев. Тогда как он чистил и приводил в порядок свою бороду, я поправил на нем платье и подал ему свалившийся с головы его остроконечный колпак, извиняясь перед ним в моей опрометчивости. Но старик был чрезвычайно раздражен моим поступком и обременял меня упреками, что я не умею уважать его седин и глубоких познаний; что он давно предсказал появление этой кометы и что я, опрокинув его во время астрономических его наблюдений, разбил вдребезги прекрасную систему, которую создавал он о течении, свойстве и пользе комет. Я безмолвно выслушал его выговоры, ибо знал, что это громкое негодование имело более предметом дать знать народу, что он астро-

ном и важное лицо в этом случае, чем огорчить и унизить меня перед посторонними. Веселость зрителей, возбужденная его приключением, вдруг превратилась в любопытство, как скоро узнали они, что этот горбатый человек может растолковать им значение появившейся на небе метлы. Они осыпали его вопросами, и он в своих ответах умел сообщить себе столько важности, что многие подумали, будто он в самом деле управляет кометами и может разразить любое светило над головою всякого, кто не станет оказывать должного почтения ему и его науке.

Я знал наклонность нашего мудреца к шарлатанству и при первой возможности утащил его оттуда, хотя он неохотно оставлял поприще своего торжества. Когда мы очутились с глазу на глаз, я сказал ему:

— Любезный Шимшик, вы крепко настращали народ этою кометою.

— Нужды нет! — отвечал он равнодушно. — Это возбуждает в невеждах уважение к наукам и ученым.

— Но вы сами мне говорили...

— Я всегда говорил вам, что придет комета. Я предсказывал это лет двадцать тому назад.

— Но вы говорили также, что комет нечего бояться; что эти светила не имеют никакой связи ни с Землею, ни с судьбами ее жителей.

— Да, я говорил это; но теперь я сочиняю другую, совсем новую систему мира, в которой хочу дать кометам занятие несколько важнее прежнего. Я имею убедительные к тому причины, которые объясню тебе после. Но ты, любезный Шабахубосаар! ты рыскаешь по гульбищам, как шальной палеотерион. Ты чуть не задавил твоего старого учителя, внезапно обрушившись на него всем телом. Я уже думал, что комета упала с неба прямо на меня.

— Простите, почтенный Шимшик, я был рассеян, почти не свой...

— Я знаю причину твоей рассеянности. Ты все еще возишься с своею Саяною. Верно, она тебе изменила?

— Отнюдь не то. Я люблю ее, обожаю; она достойна моей любви, хотя, кажется, немножко... ветрена.

— Ведь я тебе предсказывал это восемь месяцев тому назад? Ты не хотел верить!

— Она... она кокетка.

— Я предсказал это, когда она еще была малюткою. Мои предсказания всегда сбываются. И эта комета...

— Я признаюсь вам, что я в отчаянии...

— Понапрасну, друг мой Шабахубосаар! Что же тут необыкновенного?.. Все наши женщины ужасные кокетки».

— Постойте, барон, одно слово! — вскричал опять мой приятель Шпурцманн.— Я думаю, вы не так переводите.

— С чего же вы это взяли? — возразил я.

— Вы уже во второй раз упоминаете о кокетках,— сказал он.— Я не думаю, чтоб кокетки были известны еще до потопа... Тогда водились мамонты, мегалосауры, плезиосауры, палеотерионы и разные драконы и гидры; но кокетки — это произведения новейших времен.

— Извините, любезный доктор,— отвечал я Шпурцманну.— Вот иероглиф, лисица без сердца: это, по грамматике Шампольона-Младшего, должно означать кокетку. Я, кажется, знаю язык иероглифический и перевожу грамматически.

— Может статься! — примолвил он.— Однако ж ни Кювье, ни Шейхцер, ни Гом, ни Букланд, ни Броньяр, ни Гумбольт не говорят ни слова об окаменелых кокетках, и остова древней кокетки нет ни в парижском Музеуме, ни в петербургской Кунсткамере.

— Это уж не мое дело! — сказал я.— Я перевожу так, как здесь написано. Извольте писать.

«Все наши женщины ужасные кокетки...»

— Постойте, барон! — прервал еще раз доктор.— Воля ваша, а здесь необходимо к слову «женщины» прибавить предпотопные или ископаемые. Боюсь, что нынешние дамы станут обижаться нашим переводом, и сама цензура не пропустит этого места, когда мы захотим его напечатать. Позвольте поставить это пояснение в скобках.

— Хорошо, хорошо! — отвечал я.— Пишите как вам угодно, только мне не мешайте.

— Уж более не скажу ни слова.

— Помните же, что говорит астроном своему воспитаннику, Шабахубосаару.

«Все наши (предпотомные или ископаемые) женщины ужасные кокетки. Это естественное следствие той неограниченной свободы, которою они у нас пользуются. Многие наши мудрецы утверждают, что без этого наши общества никогда не достигли бы той степени образованности и просвещения, на которой они теперь находятся; но я никак не согласен с их мнением. Просвещенным можно сделаться и заперши свою жену замком в спальне — даже еще скорее; а что касается до высокой образованности, то спрашиваю: что такое называем мы этим именем? — утонченный разврат, и только! — разврат, приведенный в систему, подчиненный известным правилам, председательские кресла которого уступили мы женщинам. Зато они уж управляют им совершенно в свою пользу, распространяя свою власть и стесняя наши права всякий день более и более. Могущество их над обществом дошло в наше время до своей высочайшей точки: они завладели всем, нравами, разговорами, делами, и нас не хотят более иметь своими мужьями, а только любовниками и невольниками. При таком порядке вещей общества неминуемо должны погибнуть.

— Вы, почтенный астроном, принадлежите, как вижу, к партии супружеского абсолютизма.

— Я принадлежу к партии людей благонамеренных и не люблю революций в спальнях, какие теперь происходят во многих государствах. Прежде этого не было. Пагубное учение о допущении женщин к участию в делах, о верховной их власти над обществом появилось только в наше время, и они, при помощи молодых повес, совершенно нас поработили. У нас, в Барабии, это еще хуже, чем в других местах. Наконец и правительства убедились, что с подобными началами общества существовать не могут, и повсюду принимаются меры к прекращению этих нравственных бунтов. Посмотрите, какие благоразумные меры приняты в Гарре, Шандарухии и Хаахабуре для обуздания гидры женского своенравия! Говорят, что в Бамбурии

власть мужа уже совершенно восстановлена, хотя в наших гостиных утверждают, что в тамошних супружествах еще происходят смятения и драки. Но и мы приближаемся к важному общественному перелому: надеюсь, что владычество юбок скоро кончится в нашей святой Барабии. Знаешь ли, Шабахубосаар, настоящую цель нашего похода против негров Шахшух (Новой Земли)?

— Нет, не знаю.

— Так я тебе скажу. Это большая тайна; но я узнал ее через моего приятеля, великого жреца Солнца, который давно уговаривает царя принять действительные меры к ограничению чрезмерной свободы женского пола. Мы предприняли эту войну единственно для этой цели. Все обдумано, предусмотрено как нельзя лучше. Мы надеемся поработить полмиллиона арапов и составить из них грозную армию евнухов. Они будут приведены сюда в виде военнопленных и распределены по домам, под предлогом квартиры, по одному человеку на всякое супружество. При помощи их, в назначенный день, мы схватим наших жен, запрем их в спальнях и приставим к дверям надежных стражей. Тогда и я с великим жрецом, хоть старики, имеем в виду жениться на молодых девушках и будем вкушать настоящее супружеское счастие. Но заклинаю тебя, не говори о том никому в свете, ибо испортишь все дело. Ежели мы этого не сделаем, то — увидишь! — не только с нами, но и со всем родом человеческим, и с целою нашею планетою может случиться из-за женщин величайшее бедствие!..

— Вы шутите, любезный Шимшик?

— Не шучу, братец. Я убежден в этом: женщины нас погубят. Но мы предупредим несчастие: скоро будет конец их самовластию над нравами. Советую и тебе, Шабахубосаар, отложить свою женитьбу до благополучного окончания войны с неграми.

Я смеялся до слез, слушая рассуждения главного астронома, и для большей потехи нарочно подстрекал его возражениями. Как ни странны были его мнения, как ни забавны сведения, сообщенные ему по секрету, но они, по несчастию, были не без основания. С некоторого времени все почти народы были поражены предчувствием какого-то ужасного бедствия; на земле провозглашались самые мрачные пророчества. Род че-

ловеческий, казалось, предвидел ожидающее его наказание за повсеместный разврат нравов; и как сильнейшие всегда сваливают вину на слабых, то все зло было, естественно, приписано людьми женскому их полу. Повсюду принимались меры против неограниченной свободы женщин, хотя мужчины не везде оставались победителями. Это было время гонения на юбки: все супружества в разбранке; в обществах господствовал хаос.

Шимшик расстался со мною очень поздно. Его причуды несколько рассеяли мою грусть. Как я был сердит на Саяну, то озлобление старого астронома против прекрасного пола отчасти заразило и мое сердце, и, ложась спать, я даже сотворил молитву к Луне об успехе нашего оружия против негров.

На другой день я застал город в тревоге. Все толковали о комете, Шимшике, его колпаке и его предсказаниях. Итак, маленькое небесное тело и маленький неуклюжий педант, о которых прежде никто и не думал, теперь сделались предметом общего внимания! И все это потому, что я этого педанта сшиб с ног на мостовой!!. О люди! о умы!..

Я побежал к своей любезной с твердым намерением в душе наказать ее за вчерашнюю ветреность самым холодным с нею обращением. Сначала мы даже не смотрели друг на друга. Я завел разговор о комете. Она обнаружила нетерпение. Я стал рассказывать о моем приключении с Шимшиком и продолжал казаться равнодушным. Она начала сердиться. Я показал вид, будто этого не примечаю. Она бросилась мне на шею и сказала, что меня обожает. Ах, коварная!.. Но таковы были все наши (ископаемые[1]) женщины: слава Солнцу и Луне, что они потонули!..

Я был обезоружен и даже сам просил прощения. Наступили объяснения, слезы, клятвы; оказалось, что вчера я не то видел; что у меня должен быть странный порок в глазах; и полная амнистия за прошедшее была объявлена с обеих сторон. Я был в восторге и решился принудить ее родителей и мою мать к скорейшему окончанию дела, тем более что женитьба, во всяком

[1] Прибавление Шпурцманна.

случае, почиталась у нас (т. е. до потопа[1]) вернейшим средством к прекращению любовных терзаний.

Хотя брак мой с прекрасною Саяной давно уже был условлен нашими родителями, но приведение его в действие с некоторого времени встречало разные препятствия. Отец моей любезной занимал при дворе значительное место: он был отчаянный церемониймейстер и гордился тем, что ни один из царедворцев не умел поклониться ниже его. Он непременно требовал, чтоб я наперед как-нибудь втерся в дворцовую переднюю и подвергнул себя испытанию, отвесив в его присутствии поклон хоть наместнику государства, когда тот будет проходить с бумагами: опытный церемониймейстер хотел заключить, по углу наклонения моей спины к полу передней при первом моем поклоне, далеко ли пойдет зять его на поприще почестей. С другой стороны, моя мать была весьма недовольна будущею моею тещею: последняя считала себя не только знаменитее родом, но и моложе ее, тогда как матушка знала с достоверностью, что моя теща была старее ее шестьюдесятью годами: ей тогда было то двести пятьдесят пять лет, а той уже за триста!.. Они часто отпускали друг на друга презлые остроты, хотя в обществах казались душевными приятельницами. Матушка не советовала мне спешить с свадьбою под предлогом, что, по дошедшим до нее сведениям, дела родителей Саяны находились в большом расстройстве. Мать моей невесты желала выдать ее за меня замуж, но более была занята собственными своими удовольствиями, чем судьбою дочери. Но главною преградою к скорому совершению брака был мой дядя, Шашабаах. Он строил себе великолепный дом, с несколькими сотнями огромных колонн, и, по своему богатству, был чрезвычайно уважаем как отцом, так и матерью Саяны. Любя меня как родного сына, он объявил, что никто, кроме его, не имеет права пекшись о моем домашнем счастии, и решил своею властью, что нельзя и думать о моей свадьбе, пока не отделает он своей большой залы и не развесит своих картин, ибо теперь у него негде дать бал на такой торжественный случай. Судя по упрямству дяди Шашабааха и по раболепному благоговению наших родных перед его причудами, это пре-

[1] Тоже пояснение Шпурцманна.

пятствие более всех прочих казалось непреодолимым. Я не знал, что делать. Я был влюблен и ревнив. Саяна меня обожала; но, пока дядя развесил бы свои картины, самая добродетельная любовница успела бы раз десять изменить своему другу. Положение мое было самое затруднительное: я признал необходимым выйти из него во что бы то ни стало.

Я побежал к матушке, чтоб понудить ее к решению моей судьбы, и поссорился с нею ужасно. Потом пошел к отцу Саяны: тот вместо ответа прочитал мне сочиненную им программу церемониала для приближающегося при дворе праздника и отослал меня к своей жене. Будущая моя теща, быв накануне оставлена своим любовником, встретила меня грозною выходкою против нашего пола, доказывая, что все мужчины негодяи и не стоят того, чтобы женщины их любили. Я обратился к дяде Шашабааху, но и тут не мог добиться толку: он заставил меня целый день укладывать с ним антики в новой великолепной его библиотеке; на все мои отзывы о Саяне, о любви, о необходимости положить конец моим мучениям отвечал длинными рассуждениями об искусстве обжигать горшки у древних и прогнал меня от себя палкою, когда я, потеряв терпение и присутствие духа, уронил из рук на землю и разбил в куски большой фаянсовый горшок особенного вида, древность которого, по его догадкам, восходила до двести пятнадцатого года от сотворения света. Я плакал, проклинал холодный эгоизм стариков, не постигающих пылкости юного сердца, но не унывал. После многократных просьб, отсрочек, споров и огорчений наконец успел я довести родных до согласия; но когда они сбирались объявить нам его в торжественном заседании за званым обедом, я вдруг рассорился с Саяною за то, что она слишком сладко улыбалась одному молодому человеку. Все рушилось; я опять был повергнут в отчаяние.

Я поклялся никогда не возвращаться к коварной и целых трое суток свято сдержал свой обет. Чтоб никто не мешал мне сердиться, я ходил гулять в местах уединенных, где не было ни живой души, где даже не было изменниц. Однажды ночь застигла меня в такой прогулке. Нет сомнения, что размолвка с любезною есть удобнейшее время для астрономических наблюдений, и самая астрономия была, как известно, изобрете-

на в IV веке от сотворения света одним великим мудрецом, подравшимся ввечеру с женою и прогнанным ею из спальни. С досады я стал считать звезды на небе и увидел, что комета, которую, хлопоча о своей женитьбе, совсем выпустил из виду, с тех пор необыкновенно увеличилась в своем объеме. Голова ее уже не уступала величиною луне, а хвост бледно-желтого цвета, разбитый на две полосы, закрывал собою огромную часть небесного свода. Я удивился, каким образом такая перемена в наружном ее виде ускользнула от моего ведома и внимания. Пораженный странностью зрелища и наскучив одиночеством, я пошел к приятелю Шимшику потолковать об этом. Его не было дома; но мне сказали, что он на обсерватории, и я побежал туда. Астроном был в одной рубахе, без колпака и без чулок, и стоял, прикованный правым глазом к астролябии, завязав левый свой глаз скинутым с себя от жары исподним платьем. Он подал мне знак рукою, чтоб я не прерывал его занятия. Я простоял подле него несколько минут в безмолвии.

— Чем вы так заняты? — спросил я, когда он кончил свое дело и выпрямился передо мною, держась руками за спину.

— Я сделал наблюдения над хвостом кометы,— отвечал он с важностью.— Знаете ли вы его величину?

— Буду знать, когда вы мне скажете.

— Она простирается на 45 миллионов миль: это более чем дважды расстояние Земли от Солнца.

— Но объясните мне, почтеннейший Шимшик, как это сделалось, что он так скоро увеличился. Помните ли, как он казался малым в тот вечер, когда я опрокинул вас на набережной?

— Где же вы бывали, что не знаете, как и когда он увеличился? Вы все заняты своею вздорною любовию и не видите, не слышите того, что происходит вокруг вас. Полно, любезнейший!.. при таком ослеплении вы и того не приметите, как ваша любезная поставит вам на лбу комету с двумя хвостами длиннее этих.

— Оставьте ее в покое, г. астроном. Лучше будем говорить о том, что у нас перед глазами.

— С удовольствием. Вот, изволите видеть: тогда как вы не сводили глаз с розового личика Саяны, эта комета совсем переменила свой вид. Прежде она казалась маленькою, бледно-голубого цвета; теперь, по ме-

ре приближения к Солнцу, со дня на день представляется значительнее и сделалась желтою с темными пятнами. Я измерил ее ядро и атмосферу: первое, по-видимому, довольно плотное, имеет в поперечнике только 189 миль; но ее атмосфера простирается на 7000 миль и образует из нее тело втрое больше Земли. Она движется очень быстро, пролетая в час с лишком 50 000 миль. Судя по этому и по ее направлению, недели через три она будет находиться только в 200 000 милях от Земли. Но все эти подробности давно известны из моего последнего сочинения.

— Я в первый раз об них слышу,— сказал я.

— И неудивительно! — воскликнул мудрец.— Куда вам и думать о телах небесных, завязши по шею в таком белом земном тельце! Когда я был молод, я тоже охотнее волочился за красотками, чем за хвостом кометы. Но вы, верно, и того не знаете, что постепенное увеличение этой кометы поразило здешних жителей ужасным страхом?..

— Я не боюсь комет и на чужой страх не обращал внимания.

— Что царский астроном, Бурубух, мой соперник и враг, для успокоения встревоженных умов издал преглупое сочинение, на которое я буду отвечать?..

— Все это для меня новость.

— Да!.. он издал сочинение, которое удовлетворило многих, особенно таких дураков и трусов, как он сам. Но я обнаружу его невежество; я докажу ему, что он, просиживая по целым утрам в царской кухне, в состоянии понимать только теорию обращения жаркого на своей оси, а не обращение небесных светил. Он утверждает, что эта комета, хотя и подойдет довольно близко к Земле, но не причинит ей никакого вреда; что, вступив в круг действия притягательной ее силы, если ее хорошенько попросят, она может сделаться ее спутником, и мы будем иметь две луны вместо одной: не то она пролетит мимо и опять исчезнет; что, наконец, нет причины опасаться столкновения ее с земным шаром, ни того, чтоб она разбила его вдребезги, как старый горшок, потому что она жидка, как кисель, состоит из грязи и паров, и прочая, и прочая. Можете ли вы представить себе подобные глупости?..

— Но вы сами прежде были того мнения, и, когда я учился у вас астрономии...

— Конечно!.. Прежде оно в самом деле так было, и мой соперник так думает об этом по сю пору; но теперь я переменил свой образ мыслей. Я же не могу быть согласным в мнениях с таким невеждою, как Бурубух? Вы сами понимаете, что это было бы слишком для меня унизительно. Поэтому я сочиняю новую теорию мироздания и при помощи Солнца и Луны употреблю ее для уничтожения его. По моей теории, кометы играли важную роль в образовании солнц и планет. Знаете ли, любезный Шабахубосаар, что было время, когда кометы валились на землю, как гнилые яблоки с яблони?

— В то время, я думаю, опасно было даже ходить по улицам,— сказал я с улыбкою.— Я ни за что не согласился бы жить в таком веке, когда, вынимая носовой платок из кармана, вдруг можно было выронить из него на мостовую комету, упавшую туда с неба.

— Вы шутите! — возразил астроном.— Однако ж это правда. И доказательство тому, что кометы не раз падали на землю, имеете вы в этих высоких хребтах гор, грозно торчащих на шару нашей планеты и загромождающих ее поверхность. Все это обрушившиеся кометы, тела, прилипшие к Земле, помятые и переломленные в своем падении. Довольно взглянуть на устройство каменных гор, на беспорядок их слоев, чтоб убедиться в этой истине. Иначе поверхность нашей планеты была бы совершенно гладка: нельзя даже предположить, чтоб природа, образуя какой-нибудь шар, первоначально не произвела его совсем круглым и ровным и нарочно портила свое дело выпуклостями, шероховатостями...

— Поэтому, любезный мой Шимшик,— воскликнул я, смеясь громко,— и ваша голова первоначально, в детских летах, была совершенно круглым и гладким шаром, нос же, торчащий на ней, есть, вероятно, постороннее тело, род кометы, случайно на нее упавшей...

— Милостивый государь! — вскричал разгневанный астроном.— Разве вы пришли сюда издеваться надо мною? Подите, шутите с кем вам угодно. Я не люблю шуток над тем, что относится к кругу наук точных.

Я извинялся в моей непочтительной веселости, однако ж не переставал смеяться. Его учение казалось мне столь забавным, что, даже расставшись с ним, я думал более об его носе, чем о вероломной Саяне. Про-

снувшись на следующее утро, прежде всего вспомнил я об его теории: я опять стал смеяться, смеялся от чистого сердца и кончил мыслию, что она в состоянии даже излечить меня от моей несчастной любви. Но в ту минуту отдали мне записку от... Кровь во мне закипела: я увидел почерк моей мучительницы. Она упрекала меня в непостоянстве, в жестокости!.. уверяла, что она меня любит, что она умрет, ежели я не отдам справедливости чистой, пламенной любви ее!.. Все мои обеты и теории Шимшика были в одно мгновение ока, подобно опрокинутой, по его учению, комете, смяты, переломаны, перепутаны в своих слоях и свалены в безобразную груду. Она права!.. я виноват, я непостоянен!.. Она так великодушна, что прощает меня за мою ветреность, мое жестокосердие!.. Через полчаса я уже был у ног добродетельной Саяны и, спустя еще минуту, в ее объятиях.

Я опять был счастлив и с новым усердием начал хлопотать о своем деле. Надобно было снова сблизить и согласить родных, разгневанных на меня и, при сей верной оказии, перессорившихся между собою; вынести их упреки и выговоры, склонить матушку, выслушать все рассуждения дяди Шашабааха и польстить теще, которая столь же пламенно желала освободиться от присутствия дочери в доме, сколько и надоесть ее свекрови и помучить меня своими капризами. Прибавьте к тому приготовления к свадьбе, советы старушек, опасения ревнивой любви, мою нетерпеливость, легкомысленность Саяны и тучи сплетней, разразившихся над моею головою, как скоро моя женитьба сделалась известною в городе,— и вы будете иметь понятие об ужасах пути, по которому должен я был пробираться к домашнему счастию.

Этот ад продолжался две недели. К довершению моих страданий, события сердца беспрестанно сплетались у меня с хвостом кометы. Я должен был в одно и то же время отвечать на скучные комплименты знакомцев, ссориться с невестою за всякий пущенный мимо меня взгляд, за всякую зароненную в чужое сердце улыбку, и рассуждать со всеми о небесной метле, которая беспрестанными своими изменениями ежедневно подавала повод к новым толкам. И когда уже гости созваны были на свадьбу, тот же хвост еще преградил мне путь в капище Духа Супружеской Верности, с не-

терпением ожидавшего нашей присяги. Мой Шимшик, не довольствуясь изданием в свет сочинения, предсказывающего падение кометы на землю, еще уговорил своего приятеля, великого жреца Солнца, воспользоваться, с ним пополам, произведенною в народе тревогою; и в самый день моей свадьбы глашатаи известили жителей столицы, что для отвращения угрожающего бедствия колоссальный истукан небесного Рака будет вынесен из храма на площадь и что по совершении жертвоприношения сам великий жрец будет заклинать его всенародно, чтобы он священными своими клещами поймал комету за хвост и удержал ее от падения. Расчет был весьма основателен; потому что, если комета пролетит мимо, это будет приписано народом святости великого жреца, если же обрушится, то Шимшик приобретет славу первого астронома в мире. Я смеялся в душе над шарлатанством того и другого; но мой тесть, церемониймейстер, узнав о затеваемом празднестве, совершенно потерял ум. Он забыл обо мне и своей дочери и побежал к великому жрецу обдумывать вместе с ним план церемониала. Моя свадьба была отложена до окончания торжественного молебствия. Какое мучение жениться на дочери церемониймейстера во время появления кометы!..

Наконец молебствие благополучно совершилось, великий жрец исполнил свое дело, не улыбнувшись ни одного разу; умы несколько поуспокоились, и наступил день моей свадьбы, день, незабвенный во всех отношениях. Мой дом, один из прекраснейших в Хухуруне, был убран и освещен великолепно. Толпы гостей наполняли палаты. Саяна, в нарядном платье, казалась царицею своего пола, и я, читая удивление во всех обращенных на нее взорах, чувствовал себя превыше человека. Я обладал ею!.. Она теперь принадлежала мне одному!.. Ничто не могло сравниться с моим блаженством.

Однако ж и этот вечер, вечер счастия и восторга, не прошел для меня без некоторых неприятных впечатлений. Саяна, сияющая красотою и любовию, почти не оставляла моей руки: она часто пожимала ее с чувством, и всякое пожатие отражалось в моем сердце небесною сладостью. Но в глазах ее, в ее улыбке по временам примечал я тоску, досаду: она, очевидно, была опечалена тем, что брачный обряд положил преграду

между ею и ее бесчисленными обожателями; что для одного мужчины отказалась она добровольно от владычества над тысячею раболепных прислужников. Эта мысль приводила меня в бешенство. Из приличия старался я быть веселым и любезным даже с прежними моими соперниками; но украдкою жалил острыми, ревнивыми взглядами вертевшихся около нас франтов и в лучи моих зениц желал бы пролить яд птеродактиля, чтоб в одно мгновение ока поразить смертью всех врагов моего спокойствия, чтоб истребить весь мужской род и одному остаться мужчиною на свете, в котором живет Саяна...

Ночь была ясна и тиха. После ужина многие из гостей вышли на террасу подышать свежим воздухом. Шимшик, забытый всеми в покоях, выскочил из угла и стремглав побежал за ними. Саяна предложила мне последовать за ним, чтоб позабавиться его рассуждениями. Наши взоры устремились на комету. До тех пор была она предметом страха только для суеверной черни; люди порядочные — у нас почиталось хорошим тоном ни во что не верить, для различия с чернию — люди порядочные, напротив, тешились ею, как дети, гоняющие по воздуху красивый мыльный пузырь. Для нас комета, ее хвост, споры астрономов и мой приятель Шимшик представляли только источник острот, шуток и любезного злословия; но в тот вечер она ужаснула и нас. С вчерашней ночи величина ее почти утроилась; ее наружность заключала в себе что-то зловещее, невольно заставлявшее трепетать. Мы увидели огромный, непрозрачный, сжатый с обеих сторон шар, темно-серебристого цвета, уподоблявшийся круглому озеру посреди небесного свода. Этот яйцеобразный шар составлял как бы ядро кометы и во многих местах был покрыт большими черными и серыми пятнами. Края его, очерченные весьма слабо, исчезали в туманной, грязной оболочке, просветлявшейся по мере удаления от плотной массы шара и наконец сливавшейся с чистою, прозрачною атмосферою кометы, озаренною прекрасным багровым светом и простиравшеюся вокруг ядра на весьма значительное расстояние: сквозь нее видно даже было мерцание звезд. Но и в этой прозрачной атмосфере, составленной, по-видимому, из воздухообразной жидкости, мелькали в разных местах темные пятна, похожие на облака и, вероятно, проис-

ходившие от сгущения газов. Хвост светила представлял вид еще грознейший: он уже не находился, как прежде, на стороне его, обращенной к востоку, но, очевидно, направлен был к Земле, и мы, казалось, смотрели на комету в конец ее хвоста, как в трубу; ибо ядро и багровая атмосфера помещались в его центре, и лучи его, подобно солнечным, осеняли их со всех сторон. За всем тем можно было приметить, что он еще висит косвенно к Земле: восточные его лучи были гораздо длиннее западных. Эта часть хвоста, как более обращенная к недавно закатившемуся солнцу, пылала тоже багровым цветом, похожим на цвет крови, который постепенно бледнел на северных и южных лучах круга и в восточной его части переходил в желтый цвет, с зелеными и белыми полосами. Таким образом, комета с своим кругообразным хвостом занимала большую половину неба и, так сказать, всею массою своею тяготила на воздух нашей планеты. Светозарная материя, образующая хвост, казалась еще тоньше и прозрачнее самой атмосферы кометы: тысячи звезд, заслоненных этим разноцветным, круглым опахалом, просвечиваясь сквозь его стены, не только не теряли своего блеску, но еще горели сильнее и ярче; даже наша бледная луна, вступив в круг его лучей, внезапно озарилась новым, прекрасным светом, довольно похожим на сияние зеркальной лампы.

Несмотря на страх и беспокойство, невольно овладевшие нами, мы не могли не восхищаться величественным зрелищем огромного небесного тела, повисшего почти над нашими головами и оправленного еще огромнейшим колесом багровых, розовых, желтых и зеленых лучей, распущенным вокруг него в виде пышного павлиньего хвоста, по которому бесчисленные звезды рдели, подобно обставленным разноцветными стеклами лампадам. Мы долго стояли на террасе в глубоком безмолвии. Саяна, погруженная в задумчивость, небрежно опиралась на мою руку, и я чувствовал, как ее сердце сильно билось в груди.

— Что с тобою, друг мой? — спросил я.

— Меня терзают мрачные предчувствия,— отвечала она, нежно прижимаясь ко мне.— Неужели эта комета должна разрушить надежды мои на счастие с тобою, на долгое, бесконечное обладание твоим сердцем?

— Не страшись, мой друг, напрасно,— примолвил я с притворным спокойствием духа, тогда как меня самого угнетало уныние.— Она пролетит и исчезнет, как все прочие кометы, и еще мы с тобою...

В ту минуту раздался в ушах моих голос Шимшика, громко рассуждавшего на другом конце террасы, и я, не кончив фразы, потащил туда Саяну. Он стоял в кругу гостей, плотно осаждавших его со всех сторон и слушавших его рассказ с тем беспокойным любопытством, какое внушается чувством предстоящей опасности.

— Что такое, что такое говорите вы, любезный мой наставник?..— спросил я, остановясь позади его слушателей.

— Я объясняю этим господам настоящее положение кометы,— отвечал он, пробираясь ко мне поближе.— Она теперь находится в расстоянии только 160 000 миль от Земли, которая уже плавает в ее хвосте. Завтра в седьмом часу утра последует у нас от нее полное затмение солнца. Это очень любопытно.

— Но что вы думаете насчет направления ее пути?

— Что же тут думать!.. Она прямехонько стремится к Земле. Я давно предсказывал вам это, а вы не хотели верить!..

— Право, нечего было спешить с доверенностью к таким предсказаниям! Но скажите, ради Солнца и Луны, упадет ли она на Землю или нет?

— Непременно упадет и наделает много шуму в ученом свете. Этот невежда, Бурубух, утверждал, что кометы состоят из паров и жидкостей; что они неплотны, мягки, как пареные сливы. Пусть же он, дурак, укусит ее зубами, ежели может. Вы теперь сами изволите видеть, как ядро ее темно, непрозрачно, тяжело: оно, очевидно, сделано из огромной массы гранита и только погружено в легкой прозрачной атмосфере, образуемой вокруг ее парами и газами, наподобие нашего воздуха.

— Следственно, падением своим она может произвести ужасные опустошения? — сказал я.

— Да!.. может! — отвечал Шимшик.— Но нужды нет: пусть ее производит. Круг ее опустошений будет ограничен. Ядро этой кометы, как я уже имел честь излагать вам, в большем своем поперечнике простирается только на 189 миль. Итак, она своими развалинами едва может засыпать три или четыре области — поло-

жим, три или четыре царства; но зато какое счастье!.. мы с достоверностью узнаем, что такое кометы и как они устроены. Следственно, мы не только не должны страшиться ее падения, но еще пламенно желать подобного случая, для расширения круга наших познаний.

— Как? — воскликнул я. — Засыпать гранитом три или четыре царства для расширения круга познаний?.. Вы с ума сходите, любезный Шимшик!..

— Отнюдь нет! — возразил астроном хладнокровно; потом, взяв меня за руку и отведя в сторону от гостей, он примолвил с презабавным жаром: — Вы мне приятель! вы должны наравне со мною желать, чтоб она упала на Землю! Как скоро это случится, я подам царю прошение, обнаружу невежество Бурубуха и буду просить о назначении меня на его место царским астрономом, с оставлением и при настоящей должности. Надеюсь, что вы и ваш почтеннейший тесть поддержите меня при этом случае. Попросите и вашу почтенную супругу, чтоб она также похлопотала при дворе в мою пользу: женщины — знаете! — когда захотят... Притом же и сам царь не прочь от такого хорошенького личика...

Я остолбенел.

— Как!.. вы хотите!.. чтоб Саяна!.. чтоб моя жена!.. — вскричал я гневно и, вырывая от него мою руку с негодованием, толкнул его так, что горбатый проныра чуть не свалился с террасы. Прибежав к Саяне, я схватил ее в мои объятия и пламенно, страстно прижал ее к сердцу. Она и все гости желали узнать, что такое сказал мне астроном, полагая, наверное, что он сообщил мне важный секрет касательно предосторожностей, какие должно принимать во время падения комет; но я не хотел входить в объяснения и предложил всем воротиться в комнаты.

Тщетно некоторые из моих молодых приятелей старались восстановить в обществе веселость и расположение к забавам. Все мои гости были встревожены, расстроены, печальны. Столь внезапное увеличение кометы сообщало некоторую основательность пророчествам Шимшика и приводило их в ужасное беспокойство. Я желал, чтоб они скорее разъехались по домам, оставив меня одного с женою; но, в общем волнении умов, никто из них не думал об удовольствиях хозяина. Многочисленные группы мужчин и женщин стояли во

всех покоях, рассуждая с большим жаром о предполагаемых следствиях столкновения двух небесных тел. Одни ожидали красного снега; другие — рыбного дождя; иные, наконец, читавшие сочинения знаменитого мудреца Бурбуруфона, доказывали, что комета разобьет Землю на несколько частей, которые превратятся в небольшие шары и полетят всякий своим путем кружить около Солнца. Некоторые уже прощались со своими друзьями на случай, ежели при раздроблении планеты они очутятся на отдельных с ними кусках ее; и эта теория в особенности нравилась многим из супругов, которые даже надеялись в минуту этого происшествия ловко перепрыгнуть с одного куска на другой, чтоб навсегда освободиться друг от друга и развестись без всяких хлопот, без шуму, сплетен и издержек. Каждый излагал свое мнение и свои надежды, и все беспрестанно выходили на террасу и возвращались оттуда в покои с кучею известий и наблюдений. Шимшик, сделавшийся душою их споров, бегал из одной комнаты в другую, опровергал все мнения, объяснял всякому свою теорию, чертил мелом на полу астрономические фигуры и казался полным хозяином кометы и моего дома. У меня уже недоставало терпения. Я вздумал жаловаться на усталость и головную боль, намекая моим гостям, что скоро начнет светать; но и тут весьма немногие приметили мое неудовольствие и принялись искать колпаки. Наконец несколько человек простились с нами и ушли. Мой тесть также приказал подвести своего мамонта, объявив торжественно, что пора оставить новобрачных. Слава Солнцу и Луне!.. Пока что случится с Землею, а я сегодня женился и не могу первую ночь после брака посвятить одним теориям!..

Мы уже радовались этому началу, когда двое из гостей вдруг воротились назад с известием, что никак нельзя пробраться домой, ибо в городе ужасная суматоха, народ толпится на улицах, все в отчаянии, и никто не помышляет о покое. Новая неприятность!.. Я послал людей узнать о причине тревоги и через несколько минут получил донесение, что в народе вспыхнул настоящий бунт. Бурубух объявил собравшейся на площади черни, что он лично был всегда врагом зловредности комет и даже подавал мнение в пользу того, чтобы эта метла пролетела мимо Земли, не подходя к ней так

близко и не пугая ее жителей; на что главный астроном Шимшик воспротивился тому формальным образом и своими сочинениями накликал ее на нашу столицу; и потому, если теперь произойдет какое-нибудь бедствие, то единственным виновником должно признать этого шарлатана, чародея, невежду, проныру, завистника, и прочая, и прочая. Народ, воспламененный речью Бурубуха, пришел в ожесточение, двинулся огромною толпою на обсерваторию, перебил инструменты, опустошил здание, разграбил квартиру Шимшика, и его самого ищет повсюду, чтоб принести в жертву своей ярости. Невозможно представить себе впечатления, произведенного в нас подобным известием, ибо все мы предчувствовали, что бешенство черни не ограничится разрушением обсерватории; но надобно было видеть жалкое лицо Шимшика во время этого рассказа!.. Он побледнел, облился крупным потом, пробормотал несколько слов в защиту своей теории и скрылся, не дослушав конца донесения.

В печальном безмолвии ожидали мы развязки возникающей бури. Поминутно доходили до нас известия, что народ более и более предается неистовству, грабит жилища знатнейших лиц и убивает на улицах всякого, кого лишь кто-нибудь назовет астрономом. Скоро и великолепная набережная Лены, где лежал мой дом, начала наполняться сволочью. Мы с ужасом вглядывались в свирепые толпы, блуждающие во мраке и оглашавшие своим воем портики бесчисленных зданий, как вдруг град камней посыпался в мои окна. Гости попрятались за стеною и за колоннами: Саяна в слезах бросилась ко мне на шею; теща упала в обморок; дядя закричал, что ему ушибли ногу; суматоха сделалась неимоверною. Услышав, что буйный народ считает бальное освещение моего дома оскорблением общественной печали, я тотчас приказал гасить лампы и запирать ставни. Мы остались почти впотьмах, но тем не менее принимали все возможные меры к защите в случае нападения. Вид шумной толпы служителей, лошадей, слонов и мамонтов, собранных на моем дворе и принадлежавших пирующим у меня вельможам, удержал мятежников от дальнейших покушений. Спустя некоторое время окрестности моего дома несколько очистились, но в других частях города беспорядки продолжались по-прежнему.

День уже брезжился. Не смея в подобных обстоятельствах никого выгонять на улицу, я предложил моим гостям ложиться спать где кто может — на софах, на диванах и даже в креслах. Все засуетились, и я, пользуясь общим движением ищущих средства пристроиться на покой, утащил Саяну в спальню, убранную со вкусом и почти с царскою роскошью. Она дрожала и краснела; я дрожал тоже, но ободрял ее поцелуями, ободрял нежными клятвами, горел пламенем, запирал двери и был счастлив. Все мятежи земного шара и все небесные метлы не в состоянии смутить блаженство двух молодых любовников, представших впервые с глазу на глаз перед брачным ложем. Мы были одни в комнате и одни на всей земле. Саяна в сладостном смущении опоясала меня белыми, как молоко, руками и, пряча пылающее стыдом, девственное, розовое лицо свое на моей груди, сильно прижалась ко мне — сильно, как дитя, прощающееся на веки с дражайшею матерью. Я между тем поспешно выпутывал из шелковых ее волос богатое свадебное покрывало, срывал с плеч легкий, прозрачный платок, развязывал рукава и расстегивал платье сзади; и это последнее, скользя по стройному ее стану, быстро ссунулось на пол, обнаружив моим взорам ряд очаровательных прелестей. Я жадно прикрыл их горящими устами... Казалось, что никакая сила в природе не в состоянии расторгнуть пламенного, судорожного объятия, в котором держали мы тогда друг друга. Слитые огнем любви в одно тело и одну душу, мы стояли несколько минут в этом положении посредине комнаты, без дыхания, без чувств, без памяти..., как вдруг кто-то чихнул позади нас. Никогда удар молнии, с треском обрушившись на наши головы, не мог бы внезапнее вывести нас из упоения и скорее приостановить в наших сердцах пылкие порывы страсти, чем это ничтожное действие страждущего насморком носа человеческого. Саяна вскрикнула и припала к земле; я отскочил несколько шагов назад и в изумлении оглянулся во все стороны. В спальне, однако ж, никого, кроме нас, не было!.. Я посмотрел во всех углах и, не нашед ни живой души, уверял жену, что это нам только так послышалось. Едва успел я успокоить ее несколько поцелуями, как опять в комнате раздалось чихание; и в этот раз уже в определенном месте — именно под нашею кроватью. Я заглянул туда

и увидел две ноги в сапогах. В первом движении гнева я хотел убить на месте несчастного наглеца, осмелившегося нанести подобную обиду скромности юной супруги и святотатным своим присутствием поругаться над неприкосновенностью тайн законной любви: я схватил его за ногу и стал тащить из-под кровати, крича страшным голосом: «Кто тут?.. Кто?.. Зачем?.. Убью мерзавца!..»

— Я!.. я!.. Погоди, любезнейший!.. Пусти!.. Я сам вылезу,— отвечал мне незваный гость.

— Говори, кто ты таков?

— Да не сердись!.. это я. Я... твой приятель...

— Кто?.. какой приятель?..

— Я, твой друг!.. Шимшик.

У меня опали руки. Я догадался, что он, спасаясь от поиска мятежников, завернул под нашу кровать единственно со страху, и мое исступление превратилось в веселость. Несмотря на отчаяние стыдливой Саяны, я не мог утерпеть, чтоб не расхохотаться.

— Ну что ты тут делал, негодяй?..— спросил я его с притворною суровостью.

— Я?.. я, брат, ничего худого не делал,— отвечал он, трепеща и карабкаясь под кроватью.— Я хотел наблюдать затмение Солнца...

Моя суровость опять была обезоружена. Тогда как, помирая со смеху, я помогал трусливому астроному вылезти задом из этой небывалой обсерватории, Саяна, по моей просьбе накинув на себя ночное платье, выбежала в боковые двери, ведущие в комнаты моей матери. Она была чрезвычайно огорчена этим приключением и моим неуместным смехом и, выходя из спальни, кричала гневно, пополам с плачем, что это ужас!.. что, видно, я не люблю ее, когда, вместо того, чтоб поразить этого дурака кинжалом, хохочу с ним об ее посрамлении!.. что она никогда ко мне не возвратится!.. Вот откуда нагрянула беда!

СТЕНА II

Я полетел вслед за Саяною, желая усмирить ее сознанием своей вины, даже обещанием примерно наказать астронома; но у матушки было множество женщин, большею частию полураздетых; при

моем появлении в дверях ее покоев они подняли такой крик, что я принужден был уйти назад в спальню. Возвращаясь, я побожился, что непременно убью Шимшика; но едва взглянул на его длинное, помертвелое со страху лицо, как опять стал смеяться!..

Я взял его за руку и безо всяких чинов вытолкал коленом в залу, где, к моему удивлению, никто не думал о сне. Все мои гости были на ногах и расхаживали по комнатам в страшном беспокойстве. Нестерпимая духота, внезапно разливавшаяся в воздухе, не дозволила никому из них сомкнуть глаз, а плачевные известия из города, опустошаемого бесчинствующею чернью, и вид кометы, сделавшийся еще грознее при первых лучах солнца, действительно могли взволновать и самого хладнокровного. Как скоро я появился, многие из них, окружив меня, почти насильно утащили на террасу, чтоб показать мне, что делается на небе и на земле. Я оледенел от ужаса. Комета уподоблялась большой круглой туче и занимала всю восточную страну неба: она потеряла свою богатую, светлую оболочку и была бурого цвету, который всякую минуту темнел более и более. Солнце, недавно возникшее из-за небосклона, уже скрывало западный свой берег за краем этого исполинского шара. Под моими ногами город гремел глухим шумом и во многих местах возвышались массы густого дыму, в котором пылало пожарное пламя; по улицам передвигались дикие шайки грабителей, обагренных кровию и, перед лицом опасности, увлекающей всю природу в пропасть гибели, еще с жадностью уносящих в общую могилу исторгнутое у своих сограждан имение.

Спустя четверть часа солнце совершенно скрылось за ядром кометы, которая явилась нашим взорам черною, как смоль, и в таком близком расстоянии от земли, что можно было видеть на ней ямы, возвышения и другие неровности. В воздухе распространился почти ночной мрак, и мы ощутили приметный холод. Женщины начали рыдать; мужчины еще обнаруживали некоторую бодрость духа и даже старались любезничать с ними, хотя многие с натянутыми улыбками глотали слезы, невольно сталкиваемые с ресниц скрытным отчаянием. Мне удалось проникнуть до Саяны. Она разделяла общее уныние и сверх того сердилась на меня. Я взял ее руку; она вырвала ее и не хотела говорить со

мною. Я упал на колени, молил прощения, клялся в своей беспредельной любви, клялся в преданности, в послушании... Ничто не могло смягчить ее гнева. Она даже произнесла ужасное в супружестве слово — мщение!.. Холодная дрожь пробежала по моим членам, ибо я знал, чем у нас (перед потопом[1]) женщины мстили своим мужьям и любовникам. Эта угроза взбесила меня до крайности. Мы поссорились, и я бледный, с расстроенным лицом, с пылающими глазами выбежал опрометью из ее комнаты.

К довершению моего смятения я неожиданно очутился среди моих гостей. Они уже не думали ни о комете, ни о бунте, ни о пожаре столицы. Я даже удивился их веселому и счастливому виду. Отгадайте же, чем были они так осчастливлены? — моим несчастьем! Они уже сообщали друг другу на ухо о любопытном происшествии, случившемся ночью в моей спальне. Одни утверждали, что новобрачная ушла от меня с криком и плачем к своей маменьке; другие важно объясняли этот поступок разными нелепыми на мой счет догадками; иные, наконец, уверяли положительно, что Саяна вышла за меня замуж по принуждению, что она терпеть меня не может и что даже я застал ее в спальне с одним молодым и прекрасным мужчиною, ее любовником, который тотчас спрятался под кровать. Насмешливые взгляды, намеки, остроты насчет супружеского быта и кривляния ложного соболезнования, посыпавшиеся на меня со всех диванов и кресел, ясно дали мне почувствовать, что мое семейное счастие уже растерзано зубами клеветы; что мои любезные друзья, столкнув честь юной моей супруги и мою собственную в пропасть своего злословия, поспешили завалить ее осколками своего остроумия и еще стряхнули с себя на них грязь своих пороков. Я измерил мыслию эту пропасть и содрогнулся: мое прискорбие, мое негодование не знали предела. И, несмотря на это, я был принужден из приличия показывать им веселое лицо, улыбаться и дружески пожимать руки у моих убийц. О люди!.. о мерзкие люди!.. Злоба у вас сильнее даже чувства страха; вы готовы следовать ее внушениям на краю самой погибели. Общество!.. горький состав тысячи ядовитых страстей!.. жестокая пытка для неразвра-

[1] Пояснение доктора Шпурцманна.

щенного сердца!.. Ежели тебе суждено погибнуть теперь вместе с нами, то я душевно поздравляю себя с тем, что дал бал на твое погребение.

Не зная, куда деваться от людей и от самого себя, я опять вышел на террасу, сел в уединенном месте и, в моем огорчении, злобно любовался зрелищем многочисленных пожаров, которым мрак затмения сообщал великолепие отверзтого ада. Между тем утомленные разбоем и застигнутые среди светлого утра полночною темнотой мятежники мало-помалу рассеялись, и мои дорогие гости начали разъезжаться. Я уснул под раскинутою на террасе палаткою, чтоб не прощаться и не видеться с ними.

Затмение продолжалось до второго часу пополудни. Около того времени небо несколько просветлело, и узкий край солнца мелькнул из-за обращенного к западу края кометы. Я проснулся, сошел вниз и уже никого не застал в покоях. Скоро солнце засияло полным своим блеском; но в его отсутствие окружность кометы удивительно расширилась. С одной стороны значительная часть грязного и шероховатого ее диска погружалась за восточною чертою горизонта, тогда как противоположный берег упирался в верх небесного свода. Такое увеличение ее наружности, при видимом удалении ее от наших глаз к востоку, ясно доказывало, что она летит к Земле косвенно. В пятом часу пополудни она совсем закатилась.

Я застал Саяну и мою мать в слезах: не зная, что со мною сталось, они терзались печальными за меня опасениями — не вышел ли я из любопытства на улицу и не убит ли мятежною чернью за мои связи с Шимшиком. Мое появление исполнило их радости. Жена уже на меня не гневалась. Мы поцеловались с нею перед обедом; за обедом мы были очень нежны; после обеда еще нежнее...

Мы тогда были в спальне. Солнце уже клонилось к закату. Саяна сидела у меня на коленях, приклонив прелестную свою голову к моему плечу и оплетая мою шею своими руками. Я держал ее в своих объятиях и с вострогом счастливого любовника повторял ей, что теперь уже ничто не разлучит нас, ничто не смутит нашего блаженства. Она скрепила мое предсказание приложением горящего девственным стыдом долгого, долгого поцелуя, и мы, сплоченные его магнитною си-

лою, упивались чистейшей сладостью, дыша одною и тою же частицею воздуха, чувствуя и живя одною и тою же душою, как вдруг уста наши были расторгнуты внезапным потрясением всей комнаты. Казалось, будто пол поколебался под нами. Вслед за этим вторичный удар подтвердил прежнее ощущение, и пронзительный вой собак, раздавшийся в ту самую минуту, решил все догадки. Я схватил Саяну за руку и быстро потащил к дверям, говоря: «Друг мой!.. землетрясение!.. Надо уходить из комнат».

Мы пробежали длинный ряд покоев среди беспрерывных ударов потрясения, повторявшихся всякий раз чаще и сильнее. Лампы, подсвечники, статуи, картины, вазы, стулья и столики падали одни за другими кругом нас на землю; пол качался под нами, подобно палубе колеблемого волнами судна. Я кричал моим людям, чтоб они скорее спасались на двор, чтоб выводили из конюшен лошадей, мамонтов, мастодонтов, и сам с трепещущею Саяною стремглав бежал к лестнице, прыгая через опрокинутую утварь и уклоняясь от падающих со стен украшений. Едва достигли мы до сеней, как в большой зале с ужасным треском обрушился потолок, настланный из длинных и широких плит. На лестнице, где мы, слуги и невольники столпились все вместе, два новых подземных удара, поколебавшие землю в двух противоположных направлениях, свалили всех нас с ног, и мы целою громадою покатились вниз, один через другого, по лопающимся под нами ступеням, из которых последние уже не существовали. Стон раненых, крик испугавшихся и придавленных оглушили меня совершенно; но любовь сохранила во мне присутствие духа: я не выпустил руки Саяны. Таким образом мы с нею удержались на груде свалившегося у подножия лестницы народа, не попав на торчащие обломки камней, о которые многие разразились.

Но вставание было опаснее падения, ибо одновременные усилия высвободиться из кучи произвели в ней страшное замешательство. Всякий толкал или старался скинуть с себя своего соседа. При помощи одного невольника, который счастливо удержался на ступенях и схватил Саяну на руки, я успел вырваться из лежащей в беспорядке толпы, и мы втроем первые выскочили на двор. Вся остальная куча была в то же мгновение сплюснута, размозжена, смолота внезапно слетев-

шим на нее великолепным сводом сеней, и кровь, выжатая из нее, брызнула во все стороны сквозь камни, как вода от брошенного в нее бревна.

Мы были на дворе, но отнюдь не вне опасности. Мои мастодонты, мамонты, слоны, верблюды и лошади, ведомые верным инстинктом животных, при первых признаках землетрясения силою освободились из своих тюрем, разломали стойла и двери и выбежали на открытый воздух. Двор уже был наполнен ими, когда мы туда прибыли. Их беспокойство и трепет, сопровождаемые громовым ревом, умножали суматоху между спасшимися и спасающимися, которые также вопили, кричали и бегали. Положение наше было ужасно. С одной стороны — целые ряды колонн, целая стена моих великолепных чертогов валились вокруг нас на землю, как детские игрушки, тронутые потаенною пружиною, бросая нам под ноги большие глыбы камня и засыпая глаза пылью; с другой — разъяренный мамонт или мастодонт одним поворотом своих исполинских клыков, похожих на длинные и толстые костяные колоды, одним ударом своих огромных ног мог бы истребить и потоптать нас. Между тем ад бушевал под нашими стопами. Подземный гром с оглушительным треском и воем беспрерывно катился под самою почвою, которая с непостижимою упругостью то раздувалась и поднималась вверх, то вдруг опадала, образуя страшные углубления, подобно волнам океана. В то же самое время поверхность ее качалась с севера на юг, и вслед за тем черта движения переменялась, и возникало перекрестное качание с востока на запад или обратно. Потом казалось, будто почва кружится под нами: мы, верблюды и лошади падали на землю, как опьяневшие; одни мамонты и мастодонты, расставив широко толстые свои ноги и вертя хоботами для сохранения равновесия, удерживались от падения. Изо всего семейства только я, Саяна и мой меньшой брат остались в живых; прочие, мать и сестра, и большая половина нашей многолюдной дворни не успели отыскать выхода и погибли в разных частях здания.

Уже наступала ночь. Землетрясение не уменьшалось, но для нас не было столь страшным. В два часа времени мы так к нему привыкли, как будто оно было всегдашнее состояние попираемой нами почвы: всякий избрал себе самое удобное на волнующейся земле по-

ложение и в молчании ожидал конца бури. Опасение быть раздавленным падением стен и портиков не могло тревожить нас более, ибо дом был разрушен до основания и представлял одну плоскую, широкую груду развалин, заключавшую нас и весь двор в своем кругу. Брусья и колонны были перемешаны в дивном беспорядке; связь строения разорвана; каждый камень лежал особо под другим камнем или подле него: они казались одушевленными судорожною жизнию червей, сложенных в кучу: при всяком ударе землетрясения, особенно когда почва выдувалась и опадала, они двигались, ворочались, становились прямо, падали и пересыпались целыми массами с одного места на другое, выбрасывая по временам из недр своих смолотые члены раздавленных ими жителей и опять поглощая их во внутренность разрушения.

Все было потеряно. Оставалось только подумать о том, как провести ночь на зыблющейся земле, под открытым небом, на средине обширного круга движущихся развалин. Весьма немного платья и еще меньше жизненных припасов было спасено моими людьми в самом начале бедствия: мы разделили все это между собою по равным частям. Два маленькие хлеба и кусок оставшегося от обеда жареного аноплотериума[1] составили превосходный ужин для Саяны и для меня с братом. Я закутал мою невинную жену в плащ одного конюха, и мы решились просидеть до утра на том же месте.

Несмотря на внутренние терзания планеты, которая при всяком ударе должна бы, казалось, разбиться в мелкие куски, над ее поверхностью царствовала ночь, столь же прекрасная, светлая и тихая, как и вчерашняя. Луна белыми лучами сребрила печальную могилу нашей столицы. Небо пылало звездами; но, к удивлению, не было видно кометы. Мы полагали, что она взойдет позже, и не дождались ее появления. Неужто она исчезла?.. Неужели в самом деле где-нибудь обрушилась она на землю?.. Это землетрясение не есть ли следствие ее падения?.. Проклятый Шимшик! Он уверял нас,

[1] Аноплотериум, anoplotherium gracile — род предпотопной газели, из которой жаркое, с испанским соусом и солеными сибирскими бананами, по мнению ученого Шлотгейма, долженствовало быть очень вкусно.— *Примечание доктора Шпурцманна.*

что комета опустошит только то место, о которое сама она расшибет свои бока!.. Но падение свершилось, и наш Шимшик прав: он умнее Бурубуха!.. Впрочем, это только случай, заметила Саяна: один из них предсказывал, что она упадет, другой — что она пройдет мимо: то или другое было неизбежно.

Тогда как мы были заняты подобными рассуждениями, подземные удары становились гораздо слабее и реже. Гром, бушевавший в недрах шара, превратился в глухой гул, который иногда умолкал совершенно, и в этих промежутках мучений природы рыдание жен и матерей, стон раненых и умирающих, крик или, лучше сказать, вой отчаяния уцелевших от погибели, но лишенных приюта и пропитания, жестоко потрясали наш слух и наши сердца. Нам довольно было взглянуть на самих себя, чтобы постигнуть горесть других.

Наконец настал день. Мы почти не узнали вчерашних развалин. Длинные брусья и большие камни были разбиты в мелкие части и как бы столчены в иготи; город представлял вид обширной насыпи обломков. Величественная Лена, протекавшая под моими окнами, оставила свое русло и, поворотясь к западу, проложила себе новый путь по опрокинутым башням, по разостланным на земле стенам прежних дворцов и храмов. Во многих местах груды развалин запрудили ее волны и заставили их расструиться по городу в разных направлениях. На площадях, на дворах больших строений и в углублениях почвы образовались бесчисленные лужи, и вся западная часть столицы представляла слепление множества озер различной величины, из которых там и сям торчали уединенные колонны и дымовые трубы, дивною игрою природы оставленные на своих основаниях, чтоб служить могильными памятниками погребенному у их подножия городу. Наводнение не коснулось восточного берега, на котором находился мой дом; но мы приметили, что подобные лужи уже начинали появляться и по сию сторону прежнего русла реки. Землетрясение едва было ощутительно, однако не прекращалось, и от времени до времени более или менее сильный удар грозил, казалось, возобновлением вчерашних ужасов. Итак, нечего было долее оставаться на месте. Все уцелевшее народонаселение столицы спасалось на возвышениях, окружавших Хухурун с востока: мы последовали общему примеру.

Строение, в котором помещались мои конюшни и где жили мои мамонты, мастодонты и некоторые слуги, было деревянное, из прекрасного райского лесу. Мы раскидали переломанные бревна и вытащили из-под них все, что только нашли годного к употреблению. Нагрузив на одного мастодонта этот скудный остаток нашего богатства, я, Саяна, мой брат, два невольника и одна служанка сели на моего любимого рыжего мамонта; прочие служители взобрались на слонов и верблюдов или взялись вести в руках лошадей, и мы тронулись со двора, пробираясь через развалины дома. После долгих борений с преградами выехали мы на большую улицу, ведущую к восточной заставе, и слились с потоком народа, стремившегося в один и тот же путь с нами. Я не в силах передать впечатления, произведенного во мне зрелищем этого бесконечного погребального шествия, медленно и печально пробиравшегося узкою тропинкой между высокими валами обломков. Подобные нашей, длинные цепи мертвецов, восставших поутру из могилы своей родины, тянулись и по другим улицам. Не только люди, но и животные чувствовали огромность случившегося несчастия: мамонты явно разделяли нашу горесть. Эти благородные создания, первые в природе после человека, даже превыше многих людей одаренные редким умом и превосходною чувствительностью, принимали трогательное, хотя безмолвное участие в общественной печали. Мой рыжий мамонт, свободно понимавший разговоры на трех языках, колотил себя хоботом по бокам и грустно вздыхал, проходя мимо разрушенных жилищ моих приятелей, которых почитал он своими. Увидев моего дядю, расхаживающего по развалинам нового своего дома, он остановился и не хотел идти далее, пока мы не скажем старику несколько утешительных слов.

— Мои картины!.. мои антики!..— восклицал дядя жалостным голосом.— Ах, если б я мог отыскать мою сковороду второго века мира, за которую заплатил так дорого!..

— Возьмите вместо ее один кирпич из развалин вашего нового дома,— сказал я ему.— Он со вчерашнего числа уже поступил в разряд драгоценных антиков.

— Ты ничего не смыслишь в древностях!..— отвечал дядя и опять стал рыться в развалинах. Он вытащил из них какую-то тряпку и начал с жаром излагать

нам ее достоинства; но мой мамонт, видя, что дядя нимало не стал умнее от землетрясения, не хотел слушать вздору, и мы уехали.

Сожаление дяди о потере предмета столь пустой прихоти вынудило у меня улыбку; но она вдруг погасла, и я опять погрузился в мрачную думу, которая угнетала мою грудь с самого утра. Кроме скорби, возбуждаемой общим бедствием, моя любовь к Саяне была главным ее источником. Я принужден был страдать ревностью даже среди ужасов вспыхнувшего мятежа природы. Саяна плакала, не говорила со мною, отвергала мои утешения, и я по несчастию постигал причину ее горести: она грустила не о потере имения, не о погибели родных и отечества, не об истреблении нескольких сот тысяч сограждан, но о разрушении гостиных, о расстройстве общества — того избранного, шумного, блестящего общества, в котором царствовала она своею красотою; где она счастливила своими улыбками и приводила в отчаяние своими суровыми взглядами; где жили ее льстецы; где она затмевала и бесила своих соперниц. Спасение одного любовника, одного верного друга, не могло вознаградить ей отсутствия толпы холодных обожателей, рассеянного внезапною бурею роя красивых мотыльков, с которыми играла она всю свою молодость. Я для нее был ничто, или, лучше сказать, я был все — но один. Ей казалось, что нам вдвоем будет скучно!!. Я утверждал противное, доказывая, что без этих господ нам будет гораздо веселее. Легкий упрек в тщеславии, который позволил я себе сделать ей при этом случае, весьма ей не понравился. Она рассердилась, и мы поссорились верхом на мамонте. Мы оборотились друг к другу задом. Мой мамонт выпрямил свой хобот вверх, наподобие столба, и покачал им тихонько в знак того, что нехорошо так ссориться в присутствии всего города!.. Я сказал мамонту, что он дурак.

Итак, мои любовные мучения не прекратились ни супружеством, ни землетрясением!.. Это почти невероятно. Вот что значит модная женщина, воспитанная в вихре большого света!.. Надобно же, чтоб подобные женщины были прелестны собою и чтоб люди были обязаны влюбляться в них без памяти?..

Мы уже выехали из города, уже поднимались на высоты и все еще не говорили друг с другом ни слова. Почва, по которой мы проезжали, была истрескана

в странные узоры, и на пути нередко попадались широкие трещины, через которые следовало перескакивать. Холмы были разрушены: одни осыпались и изгладились; другие лежали разбитые на несколько частей. В иных местах разверзтая планета изрыгнула из своего лона кучи огромных утесов. Прежние озера иссякли, и вместо их появились другие. Но самый примечательный признак опустошения являли деревья: леса были всклочены; в роще и на поле не оставалось и двух дерев в перпендикулярном положении к земле: все стояли вкось, под различными углами наклонения и всякое в свою сторону. Многие дубы, теки, сикоморы и платаны были скручены, как липовые веточки, а некоторые расколоты так, что человек удобно мог бы пройти в них сквозь пень, как в двери. Мы долго искали цельного и не занятого другими куска земли, где бы могли временно поселиться, и наконец остановились в одной пальмовой роще. Мои люди мигом построили для нас шалаш из ветвей.

Сверх всякого чаяния, мы тут очутились в кругу наших знакомцев. Туча молодых франтов слетелась к нам изо всей рощи. Рассказы о вчерашних приключениях, шутки над минувшею опасностью, приветствия и остроты, лесть и злословие превратили наш приют в блистательную гостиную или в храм лицемерства. Саяна вдруг развеселилась. Она опять улыбалась, опять господствовала над всем мужским полом и опять была счастлива. В общей и весьма искусной раздаче приветливых взглядов и я, покорнейший муж и слуга, удостоился от нее одного, в котором большими иероглифами начертано было милостивое прощение моей неуместной ревности и преступного желания, чтоб моя жена нравилась только одному мне. Я чуть не лопнул с досады.

Но вскоре убедились мы, что опасность еще не миновала. Не одна Лена переменила свое направление: все вообще реки и потоки оставили свои русла и, встретив преграды на вновь избранном пути, начали наводнять равнины. Вода показалась в небольшом расстоянии от нашего стана и поминутно поглощала большее и большее пространство. Некоторые утверждали, что она вытекает из-под земли, и здесь в первый раз произнесено было между нами ужасное слово — потоп! Все

были того мнения, что надобно уходить в Сасахаарские горы, куда многие семейства отправились еще на заре.

Роща в одно мгновение ока оживилась повсеместным движением. Одни укладывали свои пожитки, другие седлали лошадей и слонов. Пока мои люди занимались подобными приготовлениями и моя жена заключала с вежливыми прислужниками трактат не оставлять друг друга в путешествии, я узнал случайно о спасении моей матери. Она не погибла в развалинах дома; она выскочила в окно на набережную, когда мы уходили на двор; многие видели ее недалеко от рощи, с одним знакомым нам семейством. Сердце мое сильно забилось от радости: я хотел тотчас бежать к возлюбленной родительнице, к одному истинному другу в этой горькой жизни. Но как тут быть?.. Оставить молодую, невинную супругу в кругу этих вертопрахов невозможно!.. Я предложил Саабарубу, тому самому идолу наших женщин, к которому ревновал Саяну, будучи еще женихом, и который теперь отчаянно любезничал с нею, пособить мне отыскать матушку. Он извинился каким-то предлогом, которого я не понял, но который жена нашла крайне уважительным. Я обнаружил беспокойство. Они посмотрели друг на друга и на меня и улыбнулись. Я в ту минуту готов был убить на месте их обоих; но, подумав, что женатому человеку неприлично сердиться на друзей своей супруги даже и после землетрясения, предпочел покрыть молчанием эту обидную улыбку. Они, очевидно, издевались над моею ревностью!!. Итак, я вышел из шалаша; но, уходя, бросил на Саяну страшный взгляд, от которого она содрогнулась. Я взобрался на мамонта в совершенном расстройстве духа и, приказав людям дожидаться моего возвращения, с двумя невольниками отправился искать матушку.

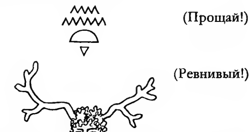
Ее уже не было в указанном месте. Я объехал все окрестности, расспросил повсюду и нигде не доискался следа ее. Эта неудача огорчила меня еще более. Около полудня воротился я в рощу, которая уже была оставлена всеми и отчасти потоплена водою. Брат и слуги находились в жестоком беспокойстве. Я рассеянно подал знак к отъезду, спрашивая, где Саяна. Мне отвечали хладнокровно, что она ушла в рощу и не возвращалась.

— Как?.. Саяна ушла?.. Она не возвращалась?..

И холодный пот выступил у меня на посиневшем челе, на дрожащих руках.

Она не возвращалась!.. Моя бедная, моя дражайшая Саяна!..

Первая мысль была о том, что она утонула. Я хотел бежать искать ее по всей роще, но служанка, безмолвно протянув руку, отдала мне записку на свернутом лоскутке папируса. Я раскрыл ее... О горе!.. там были начертаны женским почерком и даже без правописания только два следующие иероглифа:



Гнев, негодование, отчаяние, ярость вспыхнули в душе моей со всей силою огорченной любви, со всею неукротимостью обиженной чести. Итак, Саяна изменила мне!.. Она предпочла услужливость, лицемерное рабство низкого обольстителя мне, моей любви, нашему счастию!.. Вероломная, коварная!.. Уходит от своего мужа с любовником во время всеобщего потопа!.. Ах он негодяй! Клянусь Солнцем и Луною, что этот кинжал!.. Что в их преступной крови!.. И волны мести, хлынувшие из сердца, залили мне голос в горле. Я не мог произнести более ни слова: только махнул брату рукою, давая знать, что предоставляю ему людей и все имущество, и в ту же минуту поскакал за уезжающими отыскивать жену и Саабаруба. Я не сомневался, что она убежала с этим повесою.

Но как и где найти их в такой тьме народа, бегущего из городов и селений, заваливающего все переправы, покрывающего все дороги и сухие места частыми, непроницаемыми толпами?.. Я скакал взад, вперед и поперек, бросался наудачу в различные стороны, спрашивал, заглядывал, подстерегал: нигде ни следа их!.. Как будто нырнули в воду! Я хотел воротиться к брату и его не отыскал. Пожираемый жгучей гру-

стью, изнемогающий под бременем уныния, бесчестия, стыда, усталый, почти мертвый, наконец потерял я всю надежду и решился спокойно ехать вместе с прочими в горы. Там судьба счастливым случаем скорее может поблагоприятствовать моему мщению, чем здесь нарочные поиски.

В четвертом часу пополудни прибыли мы к одной переправе, образованной широко разлившимся ручьем. Бредущие в нем пешеходцы расступились, чтобы пропустить меня, один лишь крошечный, горбатый человечек, стоявший по колени в воде и который, казалось, весь дрожал со страху при виде брода не по его росту, не примечал нашего натиска и, несмотря на наш крик, никак не хотел посторониться. Мой мамонт мчался быстро, и мы уже думали, что он затопчет его в грязи, как вдруг великодушный гигант животного царства, чтоб очистить себе дорогу без угнетения пешеходцев, схватил его на бегу концом исполинского своего хобота, поднял вверх выше головы и понес через воду, как сноп соломы, воткнутый на длинные вилы. Горбатый человечек визжал, вертелся, махал ногами и руками, не постигая, что с ним случилось; мои невольники помирали со смеху; я приказывал им остановить мамонта, боясь, чтобы честная скотина из человеколюбия не задушила его в своих объятиях, когда он, нечаянно поворотив к нам голову, увидел меня на седле и вскричал радостным голосом:

— Ах!.. Вы здесь?.. Как я рад встретиться с вами в сем удобном месте...

— Шимшик!.. Шимшик!..— воскликнули мы единогласно, приветствуя его громким смехом.

— Спасите меня!..— кричал несчастный астроном.— Ай!.. Он помял мне все кости!.. Ну, что комета?.. Не говорил ли я вам?.. Ай, ай, ради Солнца!..

Пробежав брод, наш великан сам остановился и с удивительной ловкостью поставил бедного Шимшика на ноги. Мы бросили астроному веревочную лестницу, втащили его на седло и помчались далее. Шимшик рассказал мне свои приключения, я сообщил ему мои: он был сильно тронут моим несчастьем. Он спас свои сочинения, свои открытия и теории, которыми сбирался изумить современников и потомство; все его карманы были набиты славою, и, когда настигли мы его у переправы, он был в большом затруднении

и не знал, что с собою делать, не смея отставать от бегущих и боясь замочить в ручье свое бессмертие. К счастию, добрый мамонт вывел его из этого неприятного положения и сохранил для науки и чести Барабии. Узнав от меня об измене Саяны, он воскликнул: «Ну, что?.. Не предсказывал ли я вам, что если бедствие случится с землею, то единственно из-за женщин?.. По несчастию, теперь нет и средства спасти ее: говорят, что негры Шах-шух (Новой Земли), сведав о нашем намерении оскопить все их царство, дрались как мегалотерионы и разбили наших, которые теперь бегут от них к столице. Вся надежда на получение евнухов исчезла: а это было одно средство обуздать разврат женского пола и восстановить нравы!..»

Наконец достигли мы гор, проскакав на мамонте в шесть часов девяносто географических миль. Мы находились на границе нашего прекрасного отечества, отделявшей его от двух больших государств, Хабара и Каско. Остановясь, мы приметили, что земля все еще шевелится под нами. В некоторых местах каменный хребет казался еще согретым от подземного огня, незадолго пред тем пролетавшего с громом в его внутренности. Разрушение природы представлялось здесь в самом величественном и ужасном виде: гранитные стены были исписаны трещинами, из которых многие походили на пропасти; ущелия были завалены обрушившимися вершинами, толстые слои камня взорваны и взрыты, утесы вместе с росшими на них лесами опрокинуты, смяты, растасканы. Сасахаарские горы после вчерашнего землетрясения уподоблялись постели двух юных любовников, только что оставленной ими поутру в живописном беспорядке: развалины пылких страстей, еще дышащие вулканическою теплотою их сердец, среди холодных уже следов первого взрыва их любви.

Со времени поселения нашего в горах события и ужасы преследовали друг друга и нас с такою быстротою, что никакое воображение не в силах передать их другому, ни себе представить. Земля, небо, стихии, люди и их мятежные страсти были смешаны в один огромный хаос и вместе образовали мрачную, шумную, свирепую бурю.

Когда мы прибыли, горы уже были покрыты спасавшимся отвсюду народом. Противоположная их от-

логость была усеяна каменьями различных цветов и видов, в числе которых многие удивляли нас своею красотою, прозрачностью и огненным блеском, а иные своим сходством с громовыми стрелами. Но с одной подоблачной вершины беглецы из тех окрестностей указали нам в северо-восточной стороне горизонта зрелище еще любопытнейшее — предлинный хребет гор, съёженный чрезвычайно высокими и острыми массами, которого прежде там не бывало. Это была одна только оконечность развалин вчера разразившейся о Землю кометы, которая разостлалась по ней необозримою чертою с бесчисленными боковыми ветвями; которая потрясла ее в самом основании и, ядром своим загромоздив огромную полосу нашего шара, по сторонам наваленных ею исполинских громад гранитной материи, все пространство смежных земель залила и засыпала дождем из грязи и песку и сильным каменным градом, шедшими несколько часов сряду во время и после ее падения. Следы этого града, коснувшегося самой подошвы Сасахаарских гор, видели мы в тех незнакомых нам разноцветных каменьях и блестящих голышах, а беглецы представили нам образцы красного и желтого песку, составлявшего, по-видимому, почву кометы и подобранного ими на примыкающей к горам равнине. Желтый песок красивою, лоснящеюся своей наружностью в особенности чаровал наши взоры и сердца; всякий из нас хотел иметь у себя хоть несколько его зернышек. Он, видно, считался на комете весьма дорогою вещью.

По их рассказам, падению ее предшествовал...

СТЕНА III

...страшный гул с треском в возвышенных странах атмосферы и вскоре совершенный мрак, прорезываемый яркими огнями, как бы выжатыми из воздуха, придавленного ее натиском, еще увеличил ужас роковой минуты. В то самое время пятьсот тысяч воинов Хабара и Каско стояли на поле сражения, защищая кровию и жизнию честолюбие своих предводителей, тщеславие своих сограждан и неприкосновенность небольшого куска земли, бесполезного их предводителям, согражданам и им самим. Военачальники воспла-

меняли их храбрость, толкуя грозные небесные явления в смысле благополучного для них предвещания и напоминая им о нетленной славе, долженствующей скоро увенчать их великие, бессмертные подвиги; города, села, деревни, крыши домов и холмы кипели народом, ожидавшим в беспокойстве следствия огненной борьбы стихий и кровавой борьбы своих ближних; поля и луга пестрели несметными стадами, которые, остолбенев со страху, забыв о корме, в общем предчувствии погибели соединяли печальное свое мычание с ревом львов, тигров и тапиров, трепещущих в лесах и вертепах; воздух гремел смешанным криком непостижимого множества птиц, летавших густыми стаями в поминутно усиливающемся мраке — когда тяжелая масса воздушного камня с быстротою молнии хлынула на всю страну!.. Человечество и животное царство изрыгнули один внезапный, хрипливый стон, и вместе с этим стоном были размозжены слетевшими с неба горами, которые обрызганным их кровию основанием мигом сплюснули, раздавили и погребли навсегда быть надежды, гордость, славу и злобу бесчисленных миллионов существ. На необозримой могиле пятидесяти самолюбивых народов и пятисот развратных городов вдруг соорудился огромный, неприступный, гремящий смертельным эхом и скрывающий куполы свои за облаками гробовый памятник, на котором судьба вселенной разбросанными в беспорядке гранитными буквами начертала таинственную надпись: «Здесь покоится половина органической жизни этой тусклой, зеленой планеты третьего разряда».

Мы стояли на утесе и в унылом безмолвии долго смотрели на валяющийся в углу нашего горизонта бледный, безобразный труп кометы, вчера еще столь яркой, блистательной, прекрасной, вчера еще двигавшейся собственною силою в пучинах пространства и как бы нарочно прилетевшей из отдаленных миров, от других солнц и других звезд, чтоб найти для себя, возле нас смертных, гроб на нашей планете и прах свой, перемешанный с нашим прахом, соединить с ее перстью.

Между тем другое явление, происходившее над нашими головами, проникло нас новым страхом. Уже прежде того мы приметили, что солнце слишком долго не клонится к закату: многие утверждали, что оно

стоит неподвижно; другим казалось, будто оно шевелится вокруг одной и той же точки; иные, и сам Шимшик, доказывали, что оно, очевидно, сбилось с пути, не знает астрономии и забрело вовсе не туда, куда б ему следовало идти с календарем Академии в кармане. Мы объясняли это событие разными догадками, когда одним разом солнце тронулось с места и, подобно летучей звезде, быстро пробежав остальную часть пути, погрузилось за небосклоном. В одно мгновение ока зрелище переменилось: свет погас, небо зардело звездами, мы очутились в глубоком мраке, и крик отчаяния раздался кругом нас в горах. Мы полагали, что уже навсегда простились с благотворным светилом; что после истребления значительной части рода человеческого та же планета, на которой мы родились, назначена быть его остаткам темницею, где мы должны ожидать скоро смертного приговора. Невозможно изобразить горести, овладевшей нами при этой ужасной мысли. Мы провели несколько часов в этом положении; но тогда как некоторые из нас уже обдумывали средства, как бы пристроить остаток своего быта в мрачном заключении на нашей несчастной планете, волны яркого света нечаянно залили наше зрение ослепительным блеском. Мы все поверглись на землю и долго не смели раскрыть глаз, опасаясь быть поражены его лучами. Наконец мы удостоверились, что он происходит от солнца, которое непонятным образом взошло с той стороны, где незадолго пред тем совершился его внезапный закат. Достигнув известной высоты, оно вдруг покатилось на юг; потом, поворотясь назад, приняло направление к северо-востоку. Не доходя до земли, оно поколебалось и пошло скользить параллельно черте горизонта, пока опять не завалилось за него недалеко от южной точки. Таким образом, в течение пятнадцати часов оно восходило четырежды, всякий раз в ином месте; и всякий раз, исчертив его кривыми линиями запутанного пути своего, заходило на другом пункте и ввергало в ночной мрак изумленные и измученные наши взоры.

Несмотря на ужас, распространенный в нас подобным ниспровержением вечного порядка мира, нельзя было не догадаться, что не солнце так странно блуждает над нами, но что земной шар, обремененный непомерною тяжестью кометы, потерял свое равновесие, выбился из прежнего центра тяготения и судорожно

шатается на своей оси, ища в своей огромной массе, увеличенной чуждым телом, нового для себя центра и новой оси для суточного своего обращения. В самом деле, мы видели, что при каждом появлении солнца точка его восхождения более и более приближалась к северу, хотя закат не всегда соответствовал новому востоку и падал попеременно по правую и по левую сторону южного полюса. Наконец в пятый раз солнце засияло уже на самой точке севера и, пробежав зигзагом небесный свод в семь часов времени, закатилось почти правильно, на юге. Потом наступила долгая ночь, и после одиннадцати часов темноты день опять начал брезжиться на севере. Солнце взошло, по-прежнему предшествуемое прекрасною зарею: мы приветствовали его радостным кликом, льстя себя мыслию, что теперь скоро будет конец нашим страданиям, все придет в порядок, и мы возвратимся на равнины. Один только Шимшик не мог утолить своей горести после потери прежнего востока и прежнего запада. Он говорил, что не перенесет такого безбожного переворота в астрономии и географии: двести сорок пять лет своей жизни употребил он на составление таблиц долготы и широты трех тысяч известнейших городов и местечек, а теперь, при перемене полюсов, все его исчисления, вся его ученость, заслуги перед потомством и право на полный пенсион от современников не стоили старой тряпки!..

Я постигал печаль Шимшика, но он, окаянный, не умел оценить моей. Увы!.. Муж, от которого жена бежала с любовником во время падения кометы на Землю, во сто раз несчастнее всех астрономов. Ему скажут, что они взяли направление к востоку; он побежит за ними на восток, руководствуясь течением солнца; вдруг полюсы переменят свое положение, и он очутится на севере, в девяноста географических градусах от своей сожительницы. Это слишком жестоко!.. Сообразив все дело, я убедился, что в настоящих отношениях Земли к Солнцу нечего мне напрасно и искать своей жены.

Вдруг погода переменилась. Воздух стал затмеваться некоторым родом прозрачного, похожего на горячий пар, тумана, и крепкий запах серы поразил наше обоняние. Мы уже приобрели было некоторую привычку к необыкновенным явлениям и сначала мало заботи-

лись об этой перемене погоды, которая, впрочем, до тех пор удивляла нас своим постоянством. Скоро солнце сделалось тускло, кроваво, огромно, как во время зимнего заката, и в верхних слоях атмосферы начало мелькать пламя синего и красного цветов, напоминающее собою пыль зажженного спирта. Через полчаса пламя так усилилось, что мы были как бы покрыты движущимся огненным сводом.

— Воздух горит! — воскликнули многие из моих соседей.

— Воздух горит!! — раздалось по всему хребту. — Мы пропали!

Основательность этого замечания не подлежала сомнению: воздух был подожжен!.. И нетрудно даже было предвидеть, какую смерть готовила нам ожесточенная природа: мы долженствовали сгореть живыми, дышать пламенем, видеть заживо внутренности наши сожженными, превращающимися в уголь. Какое положение!.. Какая будущность!..

Пожар атмосферы принял страшное напряжение. Вместо прежних мелких и частых клочков пламени огонь пылал на небе огромными массами, с оглушительным треском; и хотя вовсе не было облаков, дождь лился на нас крупными каплями. Но пламя удерживалось на известной высоте, отнюдь не понижаясь к земле. Дыхание сделалось трудным; все лица облеклись смертельною бледностью. У многих голова начала кружиться: они падали на землю и в ужасных корчах, сопровождаемых поносом и рвотою, испускали дух, не дождавшись конца представления. Смерть окружила нас своим волшебным жезлом. В течение нескольких часов большая половина спасшегося в горах народа сделалась ее жертвою, покрыв долины и утесы безобразными, отвратительными трупами. Те, которые выдержали первый ее приступ на последнее убежище скудных остатков нашего рода, были повержены в опьянение, не чуждое даже некоторой веселости. Я упал без чувств на камень.

Не знаю, как долго оставался я в этом положении, но, очнувшись, я почувствовал в себе признаки сильного похмелья. Мои товарищи чувствовали то же, хотя из них только немногие были свидетелями моего пробуждения. Мы страдали головною болью, тошнотою и оцепенением членов и в то же время были располо-

жены к резвости. Поселение, которому я принадлежал, состоявшее только из пятидесяти человек мужчин, женщин и детей, в одно это происшествие лишилось тридцати двух душ; и мы тотчас пустились обнаруживать нашу новую и для нас самих непонятную склонность к шалостям, бросая с неистовым хохотом трупы усопших наших товарищей с обитаемого нами утеса в пропасть, лежащую у его подножия. Разыгравшись, мы хотели было швырнуть туда же и нашим астрономом, Шимшиком, и простили его потому только, что он обещал кувыркнуться три раза перед нами для нашей потехи. Но если б Саяна попалась мне тогда в руки, я бы с удовольствием перебросил ее чрез весь Сасахаарский хребет, так, что она очутилась бы на развалинах кометы.

Вместе с этою злобною веселостью в сердце ощущали мы еще во рту палящий, кислый вкус, очевидно, происходивший от воздуха, ибо, несмотря на все употребленные средства, никак не могли от него избавиться. Но гораздо изумительнейшее явление представлял самый воздух: во время нашего опьянения он очистился от туманного пара и от пылавшего в нем пламени, но совершенно переменил свой цвет и казался голубым, тогда как прежде природный цвет неба в хорошую погоду был светло-зеленый. Шимшик, у которого дело никогда не стало за причиною, объяснил нам эту перемену тем, что, кроме плотной, каменной массы ядра, комета принесла с собою на Землю свою атмосферу, составленную из паров и газов, большею частию чуждых нашему воздуху: в том числе, вероятно, был один газ особенного рода, одаренный кислым и палящим началом; и он-то произвел этот пожар в воздухе, который от смещения с ним пережегся, окис и даже преобразовал свою наружность. Шимшик, может статься, рассуждал и правильно, хотя он много врал, бездельник!..

Как бы то ни было, мы скоро удостоверились, что наш прежний, сладкий, мягкий, благодетельный, целебный воздух уже не существует; что прилив новых летучих жидкостей совсем его испортил, превратив в состав безвкусный, вонючий, пьяный, едкий, разрушительный. И в этом убийственном воздухе назначено было отселе жить роду человеческому!.. Мы с трудом вдыхали его в наши груди и, вдохнув, с отвращением

немедленно выдыхали вон. Мы чувствовали, как он жжет, грызет, съедает наши внутренности. В одни сутки все мы состарились на двадцать лет. Женщины были в таком отчаянии, что рвали на себе волосы и хлипали без умолку. Мы с Шимшиком только вздохнули при мысли, что в этом воздухе жизнь человеческая должна значительно сократиться и что людям вперед не жить в нем по пятисот и более лет[1]. Но эта мысль недолго могла огорчать нас: в два дня мы так привыкли к новому воздуху, что не примечали в нем разницы с прежним, а смерть уже стояла пред нами в новом и еще грознейшем виде.

В горах пронесся слух, что Внутреннее Море (где ныне Киргизская и Монгольская Степи[2]) выступило из своего ложа и переливается в другую землю; что оно уже наводнило все пространство между прежним своим берегом и нашими горами. Выходцы, занимавшие нижнюю полосу хребта, оставив свои поселения, двинулись толпами на наши, устроенные почти в половине его высоты, внутри самой цепи. Они принесли нам плачевное известие, что подошва его уже кругом обложена морем, вытолкнутым из пропастей своих насильственным качанием земного шара, и что мы совершенно отделены водою от всего света. Тревога, беспорядок, отчаяние сделались всеобщими: можно сказать, что с той минуты началась наша мучительная кончина. Мы расстались с надеждою.

Свирепый ветер с обильным дождем и вьюгою разметал по воздуху и пропастям непрочные наши приюты и нас самих. Десять дней сряду нельзя было ни уснуть покойно, ни развести огня, чтоб согреться и сжарить кусок мяса. Все это время держались мы обеими руками за деревья, за кусты и скалы и нередко, вместе с деревьями, кустами и скалами, были опроки-

[1] Объяснение, данное сочинителем этой надписи касательно причины пожара в воздухе, весьма основательно. Изо всего явствует, что предпотопный воздух был составлен из газов, неизвестных в нынешнем воздухе, и что в нем не было кислотвора; или если и был кислотвор, то в другой пропорции. Я теперь знаю, из чего он был составлен, и издам о том диссертацию. Кстати: написать из Якутска в Геттингенский университет об ученых заслугах гофрата Шимшика, знаменитого предпотопного химика и астронома, и предложить, чтоб его бюст был поставлен в университетской библиотеке.— *Приписка на поле рукою доктора Шпурцманна.*

[2] Пояснение доктора Шпурцманна.

дываемы в бездны. Между тем вода не переставала подниматься, волны вторгались с шумом во все углубления и ущелья, и мы взбирались на крутые стены хребта всякий день выше и выше. Верхи утесов, уступы и площадки гор были завалены народом, сбившимся в плотные кучи, подобно роям пчел, висящим кистями на древесных ветвях. Все связи родства, дружбы, любви, знакомства были забыты: чтоб проложить себе путь или очистить уголок места, те, которые находились в середине толпы, без разбора сталкивали в пропасти стоявших по краям утесов. Оружие сверкало в руках у каждого, и сопротивление слабейшего немедленно омывалось его кровию. До тех пор мы питались мясом спасенных нами животных, особенно лошадиным, верблюжьем и лофиодонтовым; но теперь и этого у нас не стало. Ежели кто-нибудь случайно сохранил малейший запас живности, другие, напав на него шайкою, похищали у несчастного последний кусок, нередко вместе с жизнью, и потом резались между собою за исторгнутую из чужих уст пищу. Разбои, убийства, насилия, мщение ежечасно целыми тысячами уменьшали количество горного народонаселения, еще не истребленного ядом повальных болезней и неистовством стихий. Казалось, будто люди поклялись искоренить свой род собственными своими руками, предоставив всеобщей погибели природы только труд стереть с планеты следы их злобы.

Наконец начали мы пожирать друг друга. . . . .
. . . .[1]

Личные мои похождения немного отличались от общего рода жизни выходцев в те дни остервенения и горя. Спасаясь с одной горы на другую, я потерял своего мамонта и разлучился с прежними товарищами. С тех пор блуждал я по разным толпам, к которым судьба меня присоединяла. Мы жили как звери, вместе терзая зубами общий кусок добычи и без предварительного знакомства считая короткими знакомцами всех, принадлежащих нашему стаду, а не принадлежащих к нему — врагами, которых следовало кусать, душить

[1] Строки, наполненные точками, означают те места надписи, которые время совсем почти изгладило и где никак нельзя было разобрать иероглифов.— *Примечание доктора Шпурцманна.*

и обращать себе на пищу. Но в одном из тех стад случилось со мною странное происшествие, которое дало моему быту несколько различное направление. У меня увидели десяток прекрасных разноцветных голышей, заброшенных в наши горы каменным дождем кометы и скоро вошедших у нас в большую цену; и как я не хотел добровольно поделиться ими, то мои злосчастные ближние, удрученные несчастием, страхом и голодом, трепещущие перед лицом неизбежного рока, чуть не разорвали меня по кускам за эти милые блестящие игрушки. Я бросил им голыши и ушел от них подальше.

Скитаясь по горам, я искал случая неприметно втереться в какую-нибудь толпу. На уступе одной горы видна была горстка народа. Она находилась в страшном замешательстве, и я поспешил пристать к ней, не обратив на себя внимания. Причиною ее тревоги было неожиданное нападение огромного тигра, который из среды ее похитил одного человека. Подобные приключения случались с нами поминутно. Львы, тигры, гиены, мегалосауры и другие колоссальные звери, вытесненные из лесов и пещер водою, поднимались на горы вместе с нами: с некоторого времени они производили в наших остатках неслыханные опустошения и уже не довольствовались нашими трупами, но искали живых людей и теплой крови. Пользуясь волнением внезапно напуганных умов, я проникнул внутрь толпы, где несколько человек, стоявших полукружием, с любопытством поглядывало на землю. На земле не было, однако, ничего особенного: женщина лежала в обмороке; подле стоял на коленях мужчина, который нежно держал ее в своих объятиях и освежал лицо ее водою. Я подошел поближе и, сложив руки назад, стал зевать на них наряду с прочими.

Как?.. Возможно ли?.. Да это она!..

— Саяна!.. Саяна!.. Жена моя!!.— заревел я в исступлении среди изумленных незнакомцев и, подобно голодному тигру, прыгнул издали на занимательную чету с обнаженным кинжалом в руке. Схватив за волосы нежного обнимателя, я отвалил голову его назад и вонзил в горло убийственное железо по самую рукоятку. Кровь брызнула из него ключом на коварную. Из свидетелей никто не сказал ни слова. Я, не дожидаясь

объяснений, поднял Саяну на руки и помчался с нею по скату горы.

Я не сомневался, что умерщвленный мною мужчина был ее обольститель. Впоследствии оказалось противное. Настоящий друг Саяны был за несколько минут до моего прибытия похищен огромным тигром, а тот, кого принес я в жертву моей мести, не имел прежде никаких с нею сношений и только из учтивости к женщинам старался восстановить в ней чувства. Итак, я убил его понапрасну?.. Очень сожалею!.. Не обнимай чужой жены, если ты ей не любовник!

Я продолжал нести Саяну. Она раскрыла глаза, вздохнула с тяжелым стоном и опять их сомкнула, не узнав во мне законного своего обладателя. Спустя некоторое время она произнесла томным голосом чье-то незнакомое мне имя. В ответ на незнакомое имя я хотел было бросить ее в наполненную водою пропасть, по краю которой пробирался. Я уже хотел бросить, бросить со всей силы, с тяжестью вечного проклятия на шее,— и вместо того сильно прижал ее к своему сердцу... Мне суждено быть несчастным!.. Я опять был влюблен, и... опять ревнив!

Таща на плечах по острым, почти непроходимым скалам бремя своих обманутых надежд, своей страсти и своей обиды, я изнемогал, обливался кровавым потом, напрягал последние силы. Я спешил за гору, надеясь там найти уединенное место; но у самого поворота увидел всю площадку утеса, образовавшего бок горы, покрытую бурным собранием народа. Зрелище ужасное!.. Утес почти параллельно висел над ущелием, уже потопленным водою, и опасно потрясался от всякого удара волн, разражавшихся об его основание; на утесе люди, в оглушительном шуме, дрались, резались и терзали друг друга — за что ж? — за горстку уже бесполезной для них персти! Комета при своем разрушении навалила на это место слой желтого блестящего песку, о котором упомянул я выше, неизвестного на земле до ее падения; и эти безумцы, воспылав жадностью к дорогому дару, принесенному им из других миров, может быть, на погибель всему роду человеческому, кинулись на него толпами; стали копаться в нем как дети в гряде или как гиены в людских могилах; исторгали его один у другого, орошали своею кровию, скользили в крови, падали на землю и, привставая, израненные

и полураздавленные, еще с восторгом приподнимали вверх пригоршни замешанного их кровию металлического песку, которые удалось им захватить под ногами других искателей. И я, уходя от людей, нечаянно очутился среди такого разъяренного алчностью и разбоем сборища!.. Я не знал, куда деваться. Опасаясь быть убитым, как посягатель на сокровища, ниспосланные им судьбою, и не видя возможности иначе пробраться через площадку на ту сторону утеса, я стал карабкаться на гору повыше площадки, с кладом своим на руках; но едва пробежал шагов двести, как вдруг зыблющийся утес с людьми и с желтым блестящим песком обрушился в ущелие. Распрыснувшиеся с шумом пучины окропили меня и всю гору пеною. Камни, покрывающие горную стену, одним разом осунулись под моими стопами; я уронил Саяну из рук и полетел вниз, катясь по жестким обломкам гранита. Испуг и боль отняли у меня чувства...

. . . .

Когда пришел я в себя, голова моя, вся заплесканная кровию, лежала на коленях у доброй моей Саяны. Она не оставила меня в опасности. Увидев, что, прокатясь значительное пространство, я уперся в низкую скалу на самом краю вновь образовавшегося провала, она благородно пожертвовала своим страхом для моего спасения, спустилась ко мне по крутому, оборванному скату, оттащила меня от пропасти и положила в удобнейшем месте. Я не помнил ни что со мною сделалось, ни где я нахожусь. Долго не смел я раскрыть глаз по причине жестокой боли от ушибов по всем членам; но мне грезилось, будто ощущаю на челе легкий, приятный щекот робких поцелуев. Вместе с дневным светом увидел я подле себя — внизу — неизмеримую бездну с гремящими волнами, по которым носилось множество человеческих трупов,— вверху, над моим лицом, милое лицо Саяны. Я взглянул на него без любви, с простым, холодным чувством признательности, и в то самое время две крупные слезы, канувшие с ресниц преступницы, закипели на моих щеках. В жгучем их прикосновении я узнал огонь раскаяния, который плавит сердца и очищает их от обиды. Все было забыто: я опять любил в ней свою любовницу, невесту, жену... Но как она переменилась! Как состарилась в этом новом воздухе! Тому три недели она сияла всеми прелестями юности,

красы, невинности, а теперь казалась она почти старушкою. Но нужды нет! Она все еще нравилась мне чрезвычайно.

Как скоро усмирилась первая боль и я мог приподняться, мы опять стали карабкаться на гору и, пособляя друг другу, достигли до одного возвышенного утеса, где решились провести ночь. Усталость и открытый в сердцах наших остаток прежнего счастия ниспослали нам крепительный сон, который застиг и оставил нас в объятиях друг у друга на жесткой каменной почве. На следующее утро я совершенно был уверен в добродетели Саяны, в чистоте ее намерений и даже в том, что в течение целых трех недель нашей разлуки она никого в свете, кроме меня, не любила. Я никак не думал, чтобы подобная уверенность могла когда-либо забраться в мое сердце!!. Однако ж это случилось: с влюбленными мужьями, особенно во время великих переворотов в природе, иногда случаются совсем невероятные вещи.

Но пора было подумать о нашем положении. Мы были довольны нашими чувствованиями, но голодны желудком и лишены всякого сообщения с людьми. Ночью вода поднялась так высоко, что цепь Сасахаарских гор была наконец вполне расторгнута: все огромное их здание потонуло в бурных пучинах; по хребтам средних высот уже свободно катились волны, и только вершины высших гор еще не были поглощены странствующим в чужие земли океаном: они посреди его образовали множество утесистых островов, представлявших вид обширного архипелага или вид кладбища скончавшихся государств прежнего мира. Всякая вершина сделалась особою страною, и судьба, играющая нами, ведшая нас по взволнованной земле, чрез отравленный воздух, чрез огонь, прямо в воду, как бы в насмешку над нашим политическим тщеславием вздумала еще согнанные в кучу остатки нашего племени разделить на несколько десятков независимых народов, дав каждому из них внаймы на короткие сроки по куску гранита для устройства мгновенных отечеств. Мы удобно могли видеть все, что происходило на ближайших вершинах, в новых обществах, созданных этою жестокою игрою: мы видели людей слабых и людей дерзких; людей, искусно ползущих вверх на четвереньках, и людей прямых, неловких, стремглав катящихся

в бездны; людей, трудящихся вотще, людей, беззаботно пользующихся чужим трудом, людей гордых, людей злых, людей несчастных и людей, истребляющих других людей. Мы видели все это собственными глазами; и как теперь людей не стало, то можем засвидетельствовать, что они были людьми до последней минуты своего существования.

Гора, на которой находился я с Саяною, была высочайшая и самая неприступная во всем Сасахаарском хребте. Кроме птиц и нескольких заблудившихся животных, только мы вдвоем, и то случайно, остались ее жителями, когда она превратилась в остров. Одиночество не столько было нам страшно, сколько обеспокоивал нас совершенный недостаток пищи. Первые мучения голода утолили мы листьями мелкого кустарника, росшего в одной трещине, и опять были довольны собою, довольны друг другом,— даже почти довольны нашею судьбою. Надежда последними своими лучами еще раз озарила наши сердца. В дарованном нам темном и пустынном уголке жизни мы с радостью увидели светлую частицу будущности, рдеющую бледным огнем древесной гнили, и при этом обманчивом свете пытались еще чертить обширные планы счастия — одного предоставленного нам счастия — умереть вместе!

Объев все листья найденного нами кустарника, мы отправились искать приюта в новом нашем отечестве и не замедлили познакомиться, по-видимому, с единственною нашею соотечественницею — гиеною. Дело само по себе было ясно: или она нас, или мы ее должны были пожрать непременно. Мой кинжал решил неравную борьбу в нашу пользу: я погрузил его в разинутую пасть гиены, когда она бросилась мне на грудь, и хищный зверь сделался нашею добычею. С каким удовольствием, после кустарных листьев, ели мы вязкое и вонючее его мясо! Мы кормились им восемь дней и находили, что, с любовью в сердце, сладка и сырая гиена.

Отыскав почти у самой вершины горы большую, удобную пещеру, ту самую, на стенах которой черчу теперь эти иероглифы, мы избрали ее нашим жилищем. Дожди с сильным ново-южным ветром продолжались без умолку, и вода все еще поднималась, всякий день поглощая по нескольку горных вершин, так что на шестое утро из всего архипелага оставалось не более пяти

островов, значительно уменьшенных в своем объеме. На седьмой день ветер переменился и подул с нового севера, прежнего запада нашего. Спустя несколько часов все море покрылось бесчисленным множеством волнуемых на поверхности воды странного вида предметов, темных, продолговатых, круглых, походивших издали на короткие бревна черного дерева. Любопытство заставило нас выйти из пещеры, чтоб приглядеться к этой плавающей туче. К крайнему изумлению, в этих бревнах узнали мы нашу блистательную армию, ходившую войною на негров, и черную, нагую рать нашего врага, обе заодно поднятые на волны, вероятно, во время сражения. Море выбросило на наш берег несколько длинных пик, бывших в употреблении у негров (Новой Земли). Я взял одну из них и притащил к себе прекрасный плоский ящик, плававший подле самой горы. Разломав его о скалу, мы нашли в нем только высокопарное слово, сочиненное накануне битвы для воспламенения храбрости воинов. Мы бросили высокопарное слово в море. Меж тем ветер подул с другой стороны, и обе армии, переменив черту движения, понеслись на восток.

Наконец последний остров потонул в море, и мы догрызали последнюю кость гиены. Одна лишь нами обитаемая вершина еще торчала из вздутых пучин. Итак, мы вдвоем остались последними жителями стран, завоеванных океаном у человека!.. Но берег моря уже был в пятидесяти саженях от нашей пещеры, и мы хладнокровно рассчитывали, сколько часов еще остается нам, законным наследникам прав нашего рода, господствовать над мятежною природою. Признаюсь . . . .

СТЕНА IV

1

По правую сторону входа

. . . .
. . . . потоп наскучил мне ужасно. Сидя голодные в пещере, от нечего делать мы начали ссориться. Я доказывал Саяне, что она меня не любит и никогда не любила; она упрекала меня в ревности, недовер-

чивости, грубости и многих других уголовных в супружестве преступлениях. Я молил Солнце и Луну, чтоб это скорее чем-нибудь да кончилось . . . .

. . . .

. . . . увидели мы заглядывающую в отверстие пещеры длинную, безобразную змеиную голову, вертящуюся на весьма высокой и прямой как пень шее. Она держала в пасти человеческий труп и с любопытством смотрела на нас большими, в пядень, глазами, в которых сверкал страшный зеленый огонь. Мы вдруг перестали ссориться. Саяна спряталась в угол; я вскочил на ноги, схватил пику и приготовился к защите. Но голова скрылась за камнями, накопленными у входа в пещеру. Мы ободрились, подошли к отверстию и с ужасом открыли пробирающегося к нам огромного плезиосаура длиною по крайней мере шагов в тридцать, на четырех чрезвычайно высоких ногах, с коротким, но толстым хвостом и двумя большими кожаными крыльями, стоящими в виде двух треугольных парусов на покрытой плотною чешуею спине. Грозное чудовище, без сомнения выгнанное водою из своего жилища, находившегося где-нибудь на той же горе, уронив труп из пасти, карабкалось по шатким камням с очевидным намерением завладеть нашим убежищем и нас самих принести в жертву своей лютости. Я почувствовал невозможность сопротивляться ему оружием; но тяжелые, неповоротливые его движения по съеженной набросанными скалами и почти отвесной поверхности внушили мне другое средство к отпору. При пособии Саяны я обрушил на него большой камень, лежавший весьма непрочно на пороге пещеры. Столкнутая с места глыба увлекла за собою множество других камней под ноги плезиосауру, и опрокинутый ими дракон скатился вместе с ними в море.

Мы нежно поцеловались с Саяною, поздравляя друг друга с избавлением от такой опасности, и снова были хорошими приятелями; мы даже произнесли торжественный обет никогда более не ссориться.

Освободясь от незваного гостя, мы подошли к трупу, который он у нас оставил в память своего посещения.

Представьте себе наше изумление: мы узнали в этом трупе почтеннейшего Шимшика! Он, видно, погиб очень недавно, ибо тело его было еще совершенно

свежо. Сказав несколько сострадательных слов об его кончине, мы решились — голод рвал наши внутренности — мы решились его съесть. Я взял астронома за ногу и втащил его в пещеру.

Этот человек нарочно был создан для моего несчастия!.. Едва приступил я к осмотру худой его туши, как вдруг мы вспомнили о приключении под кроватью, где он, наблюдая затмение, расстроил первые порывы нашего счастия, и опять рассорились. Саяна воспользовалась этим предлогом, чтоб поразить меня упреками. Ей нужен был только предлог, ибо она уже скучала со мною. Одиночество всегда было для нее убийственно, и потоп казался бы ей очень-очень милым, очень веселым, если б могла она утонуть в хорошем обществе, в блистательном кругу угодников ее пола, которые вежливо подали б ей руку в желтой перчатке, чтоб ловче соскочить в бездну. Я проникал насквозь ее мысли и желания и насказал ей кучу жестких истин, от которых она упала в обморок. Какой характер!.. Мучить меня капризами даже во время потопа!.. Как будто не довольно перенес я от предпотопных капризов!.. А всему этому причиною этот проклятый Шимшик, который и по смерти не дает мне покоя!.. С досады, с гнева, бешенства, отчаяния я схватил крошечного астронома за ноги и швырнул им в море. Пропади ты, несчастный педант!.. Лучше умереть с голоду, чем портить себе желудок худою школярщиною, просяклою чернильными спорами.

Я пытался однако ж доставить моей подруге облегчение, но она отринула все мои услуги. Пришед в себя, она плакала и не говорила со мною. Я поклялся вперед не мешать ее горести. Мы поворотились друг к другу спиною и так провели двое суток. Приятный образ провождения времени в виду довершающегося потопа!.. Между тем голод повергал меня в исступление: я кусал самого себя.

— Саяна!.. — вскричал я, срываясь с камня, на котором сидел, погруженный в печальной думе. — Саяна!.. Посмотри! вода уже потопила вход в пещеру.

Она оборотилась к отверстию и смотрела бесчувственными, окаменелыми глазами.

— Видишь ли эту воду, Саяна?.. — примолвил я, протягивая к ней руку. — То наш гроб!..

Она все еще смотрела страшно, неподвижно, молча и как будто ничего не видя.

— Ты не отвечаешь, Саяна?..

Она закричала сумасшедшим голосом, бросилась в мои объятия и сильно, сильно прижала меня к своей груди. Это судорожное пожатие продолжалось несколько минут и ослабело одним разом. Голова ее упала взничь на мою руку; я с умилением погрузил взор свой в ее глаза и долго не сводил его с них. Я видел внутри ее томные движения некогда пылкой страсти самолюбия; видел сквозь сухое стекло глаз несчастной, как в душе ее, подобно волшебным теням на полотне, проходили туманные образы всех по порядку прежних ее обожателей. Вдруг мне показалось, будто в том числе промелькнул и мой образ. Слезы прыснули у меня дождем: несколько из них упало на ее уста, и она с жадностью проглотила их, чтоб утолить свой голод. Бедная Саяна!.. Я спаял мои уста с ее устами искренним, сердечным поцелуем и несколько времени оставался без памяти в этом положении. Когда я их отторгнул, она была уже холодна, как мрамор... Она уже не существовала!

Я рыдал целый день над ее трупом. Несчастная Саяна!.. Кто препятствовал тебе умереть счастливою на лоне истинной любви?.. Ты не знала этой нежной, роскошной страсти!.. Нет, ты ее не знала, и родилась женщиною только из тщеславия!..

Я, однако же, и тогда еще обожал ее, как в то время, когда произносили мы первую клятву любить друг друга до гробовой доски. Я осыпал тело ее страстными поцелуями... Вдруг почувствовал я в себе жгучий припадок голода и в остервенении запустил алчные зубы в белое, мягкое тело, которое осыпал поцелуями... Но я опомнился и с ужасом отскочил к стене . . . .

2

По левую сторону входа

Вода остановилась на одной точке и выше не поднимается. Я съел кокетку!

. . . .

15 числа шестой луны. Вода значительно упала. Несколько горных вершин опять появилось из моря в виде островков. . . . .

. . . .

19 числа. Море, при ново-северном ветре, вчера покрылось частыми льдинами.

. . . .

26 числа. Сегодня окончил я вырезывать кинжалом на стенах этой пещеры историю моих похождений.

28 числа. Кругом образуются ледяные горы. . . .

. . . .

30 числа. Стужа усиливается. . . . .

. . . .

Постскрипт. Я мерзну, умира...»

Этими словами прекращается длинная иероглифическая надпись знаменитой пещеры, именуемой Писанною Комнатою, и мы тем кончили наш перевод. Мы трудились над ним шесть дней с утра до вечера, израсходовали пуд свечей и две дести бумаги, выкурили и вынюхали пропасть табаку, измучились, устали, чуть не захворали; но наконец кончили. Я соскочил с лесов, доктор встал из-за столика, и мы сошлись на середине пещеры. Он держал в руках два окаменелые человеческие ребра и звонил в них в знак радости, говоря:

— Знаете ли, барон, что мы совершили великий, удивительный подвиг? Мы теперь бессмертны и можем умереть хоть сегодня. Вот и кости предпотопной четы. Эта кость женина: в том нет ни малейшего сомнения. Посмотрите, как она звонка, когда ударишь в нее мужниною костью!..

Почтенный Шпурцманн был в беспредельном восхищении от костей, от пещеры, от надписи и ее перевода. Я одушевлялся тем же чувством, соображая вообще необыкновенную важность открытий, которые судьба позволила нам сделать в самой отдаленной и весьма редко приступной стране Севера; но не совсем был доволен слогом перевода. Я намекнул о необходимости исправить его общими силами в Якутске по правилам риторики профессора Толмачева и подсыпать в него несколько пудов предпотопных местоиме-

ний *сей* и *оный*, без которых у нас нет ни счастия, ни крючка, ни изящной прозы.

— Сохрани бог! — воскликнул доктор,— не надобно переменять ни одной буквы. Это слог настоящий иероглифический, подлинно египетский.

— По крайней мере, позвольте прибавить десяток ископаемых, окаменелых прилагательных *вышеупомянутый, реченный* и так далее: они удивительно облагораживают рассказ и делают его достойным уст думного дьяка.

Шпурцманн и на то не согласился.

Я принужден был дать ему слово, что без его ведома не коснусь пером ни одной строки этого перевода.

— Но что вы думаете о самом содержании надписи? — спросил я.

— Я думаю,— отвечал он важно,— что оно драгоценно для науки, для всего просвещенного света. Оно объясняет и доказывает множество любопытных и поныне не решенных вопросов. Во-первых, имеете вы в нем верное, ясное, подлинное, доселе единственное наставление о том, что происходит в потоп, как должно производить его и чего избегать в подобном случае. Теперь мы с вами знаем, что нет ничего опаснее...

— Как жениться перед самым потопом! — подхватил я.

— Нет!— сказал доктор.— Как быть влюбленным в предпотопную, или ископаемую, жену, uxor fossilis, seu antediluviana. Это удивительный род женщин!.. Какие неслыханные кокетки!.. Признаюсь вам, что по возвращении в Германию я имел намерение жениться на одной молодой, прекрасной девице, которую давно люблю; но теперь — сохрани, господи! — и думать о том не стану.

— Чего же вы боитесь? — возразил я.— Нынешние жены совсем непохожи на предпотопных.

— Как чего я боюсь?..— вскричал он.— А если, женившись, я буду влюблен в свою жену, и вдруг комета упадет на землю и произойдет потоп?.. Ведь тогда моя жена, как бы она добродетельна ни была, по необходимости сделается предпотопною?

— Правда!— сказал я улыбаясь. Моя проницательность не простиралась так далеко, и я вовсе не предусматривал подобного случая.

— А, любезный барон!..— промолвил мой товарищ.— Ученый человек, то есть ученый муж, должен все предусматривать и всего бояться. Зная зоологию и сравнительную анатомию, я в полной мере постигаю несчастное положение сочинителя этой надписи. Известно, что до потопа все, что существовало на свете, было вдвое, втрое, вдесятеро огромнее нынешнего; на земле водились животные, именно мегатерионы, которых одно ребро было толще и длиннее мачты, что на нашем судне. Возьмите же мегатерионово ребро за основание и представьте себе все прочее в природе по этой пропорции: тогда увидите, какие страшные, колоссальные, исполинские долженствовали быть предпотопные капризы и предпотопные неверности и... и... и все предпотопное. Но возвратимся к надписи. Во-вторых, эта надпись подтверждает вполне и самым блистательным образом все ныне принятые теории о великих переворотах земного шара. В-третьих, она ясно доказывает, что египетская образованность есть самая древнейшая в мире и некогда распространялась по всей почти земле, в особенности же процветала в Сибири; что многие науки, как то: астрономия, химия, физика и так далее — уже тогда, то есть до потопа, находились в здешних странах на степени совершенства; что предпотопные, или ископаемые, люди были очень умны и учены, но большие плуты, и прочее, и прочее. Все это удивительно как объясняется содержанием этой надписи. Но я не утаю от вас, барон, одного сомнения, которое...

— Какого сомнения? — спросил я с беспокойством, полагая, что он сомневается в основательности моих иероглифических познаний.

— Того, что это не есть описание всеобщего потопа?

— О! в этом я совершенно согласен с вами.

— Это, по моему мнению, только история одного из частных потопов, которых, как известно, было несколько в разных частях света.

— И я так думаю.

— Словом, это история сибирского домашнего потопа.

— И я так думаю.

— За всем тем, это необыкновенная история!..

— И я так думаю.

Мы приказали промышленникам тотчас убирать леса и кости и готовиться к немедленному отплытию в море, ибо у нас все уже было объяснено, решено и кончено.

Чтоб не оставить Медвежьего Острова без приятного в будущем времени воспоминания, я велел еще принести в пещеру две последние бутылки шампанского, купленного мною в Якутске, и мы распили их вдвоем в Писанной Комнате.

Первый тост был единогласно условлен нами в честь ученых путешествий, которым род человеческий обязан столь многими полезными открытиями. За тем пошли другие.

— Теперь выпьем за здоровье ученой, доброй и трудолюбивой Германии,— сказал я моему товарищу, наливая вторую рюмку.

— Ну, а теперь за здоровье великой, могущественной, гостеприимной России,— сказал мне вежливый товарищ, опять прибегая к бутылке.

— Да здравствуют потопы! — воскликнул я.

— Да здравствуют иероглифы! — воскликнул доктор.

— Да процветают сравнительная анатомия и все умные теории! — вскричал я.

— Да процветают все ученые исследователи, Медвежий Остров и белые медведи! — вскричал доктор.

— Многая лета мегалосаурам, мегалониксам, мегалотерионам, всем мегало-скотам и мегало-животным!!.— возопил я при осьмой рюмке.

— Всем рыжим мамонтам, мастодонтам, переводчикам и египтологам многая лета!!.— возопил полупьяный натуралист при девятой.

— Виват, Шабахубосаар!!! — заревели мы оба вместе.

— Виват, прекрасная Саяна!!!

— Ура, предпотопные кокетки!!!

— Ура, Шимшик!.. Ископаемый философии доктор, ура!.. ура!!!

Мы поставили порожние бутылки и рюмки посреди пещеры и отправились на берег. Я сполз с горы кое-как, без чужой помощи; Шпурцманна промышленники принесли вместе с шестами. Ученое путешествие совершилось по всем правилам.

Мы горели нетерпением как можно скорее прибыть в Европу с нашею надписью, чтоб наслаждаться изумлением ученого света и читать выспренные похвалы нам во всех журналах; но, по несчастию, сильный противный ветер препятствовал выйти из бухты, и мы пробыли в ней еще трое суток, скучая смертельно без дела и без шампанского. На четвертое утро увидели мы судно, плывущее к нам по направлению от Малого Острова.

— Не Иван ли Антонович это? — воскликнули мы оба в один голос.— Уж, наверное, он! Какой он любезный!..

— Вот было бы приятно повидаться с ним в этом месте, на поприще наших бессмертных открытий. Не правда ли, доктор?

— Ja wohl![1] мы могли бы сообщить ему много полезных для него сведений.

Около полудня судно вошло в бухту. В самом деле это был он — Иван Антонович Страбинских с своею пробирною иглою. Как хозяева острова в отсутствии белых медведей, мы встретили его завтраком на берегу.

Выпив две предварительных рюмки водки и закусив хлебом, обмакнутым в самом источнике соли — солонке, он спросил нас, довольны ли мы нашею экспедициею на Медвежий Остров?

— О! как нельзя более! — воскликнул мой товарищ, Шпурцманн.— Мы собрали обильную жатву самых новых и важных для наук фактов. А вы, Иван Антонович, что хорошего сделали в устье Лены?

— Я исполнил мое поручение,— отвечал он скромно,— и надеюсь, что мое благосклонное начальство уважит мои труды. Я обозрел почти всю страну и нашел следы золотого песку...

— Я знал еще до прибытия вашего сюда, что вы нашли там золотоносный песок,— сказал доктор с торжественною улыбкою.

— Как же вы могли знать это? — спросил Иван Антонович.

— Уж это мне известно! — примолвил доктор.— Поищите-ка хорошенько, и вы найдете там еще алмазы, яхонты, изумруды и многие другие диковинки.

[1] Пожалуй! *(нем.)*

Я не только знаю, что там есть эти камни и золотой песок, но даже могу сказать вам с достоверностью, кто их положил туда и в котором году.

— Ради бога, скажите мне это! — вскричал Иван Антонович с крайним любопытством.— Я сию минуту пошлю рапорт о том по команде.

— Извольте! Их навалила туда комета при своем обрушении,— важно объявил мой приятель.

— Комета-с?..— возразил изумленный оберберг-пробирмейстер 7-го класса.— Какая комета?

— Да, да! комета! — подтвердил он.— Комета, упавшая на землю с своим ядром и атмосферою в 11879 году, в 17-й день пятой луны, в пятом часу пополудни.

— В 11879 году, изволите вы говорить?..— примолвил чиновник, выпучив огромные глаза.— Какой это эры? сиречь, по какому летосчислению?

— Это было еще до потопа,— сказал равнодушно доктор,— эры барабинской.

— Эры барабинской! — повторил Иван Антонович в совершенном смятении от такого града ученых фактов.— Да!.. Знаю!.. Это у нас в Сибири называется Барабинскою Степью.

Мы захохотали. Торжествующий немецкий Gelehrter, сжалясь над невежеством почтенного сибиряка, объяснил ему с благосклонною учтивостью, что нынешняя Барабинская Степь, в которой живут буряты и тунгузы, есть, по всей вероятности, только остаток славной, богатой, просвещенной предпотопной империи, называвшейся Барабиею, где люди ездили на мамонтах и мастодонтах, кушали котлеты из аноплотерионов, сосиски из антракотерионов, жаркое из лофиодонтов, с солеными бананами вместо огурцов, и жили по пятисот лет и более. Иван Антонович не мог отвечать на то ни слова и выпил еще раз водки.

— Знаете ли, любезный Иван Антонович,— присовокупил Шпурцманн, лукаво посматривая на меня,— что некогда в якутской области по всем канцеляриям писали египетскими иероглифами так же ловко и бойко, как теперь гражданскою грамотою? Вы ничего о том не слыхали?..

— Не случалось! — сказал чиновник.

— А мы нашли египетские иероглифы даже на этому острову,— продолжал он.— Все стены Писанной Комнаты покрыты ими сверху донизу. Вы не верите?..

— Верю.

— Не угодно ли вам пойти с нами в пещеру полюбоваться на наши прекрасные открытия?

— С удовольствием.

— Вы, верно, никогда не видали египетских иероглифов!..

— Как-то не приводилось их видеть.

— Ну так теперь приведется, и вы удостоверитесь собственными глазами в их существовании в северных странах Сибири.

Мы встали и начали сбираться в поход.

— Иван Антонович! — воскликнули мы еще оба в одно слово, подтрунивая над его недоверчивостью.— Не забудьте, ради бога, вашего оселка и пробирной иглы!..

— Они у меня всегда с собою, в кармане,— примолвил он спокойно.

Мы пошли.

Прибыв в пещеру, мы вдвоем остановились на средине ее и пустили его одного осматривать стены. Он обошел всю комнату, придвинул нос к каждой стене, привздернул голову вверх и обозрел со вниманием свод и опять принялся за стены. Мы читали в его лице изумление, соединенное с какою-то минералогическою радостью, и толкали друг друга, с коварным удовольствием наслаждаясь его впечатлениями. Он поправил свечу в фонаре и еще раз обошел кругом комнаты. Мы все молчали.

— Да!.. Это очень любопытно!..— воскликнул наконец почтенный обербергпробирмейстер, колупая пальцем в стене.— Но где же иероглифы?..

— Как где иероглифы?..— возразили мы с доктором.— Неужели вы их не видите?.. Вот они!.. Вот!.. И вот!.. Все стены исчерчены ими.

— Будто это иероглифы!!.— сказал протяжным голосом удивленный Иван Антонович.— Это кристаллизация сталагмита, называемого у нас, по минералогии, «глифическим», или «живописным».

— Что?.. Как?.. Сталагмита?..— вскричали мы с жаром.— Это невозможно!

— Могу вас уверить,— примолвил он хладнокровно,— что это сталагмит, и сталагмит очень редкий. Он находится только в странах, приближенных к полюсу, и первоначально был открыт в одной пещере на острове Гренландии. Потом нашли его в пещерах Калифорнии. Действием сильного холода, обыкновенно сопровождающего его кристаллизацию, он рисуется по стенам пещер разными странными узорами, являющими подобие крестов, треугольников, полукружий, шаров, линий, звезд, зигзагов и других фантастических фигур, в числе которых, при небольшом пособии воображения, можно даже отличить довольно естественные представления многих предметов домашней утвари, цветов, растений, птиц и животных. В этом состоянии, по словам Гайленда, он действительно напоминает собою египетские иероглифы и потому именно получил от минералогов прозвание «глифического», или «живописного». В Гренландии долго почитали его за рунические надписи, а в Калифорнии туземцы и теперь уверены, что в узорах этого минерала заключаются таинственные заветы их богов. Гилль, путешествовавший в Северной Америке, срисовал целую стену одной пещеры, покрытой узорчатою кристаллизациею сталагмита, чтоб дать читателям понятие об этой удивительной игре природы. Я покажу вам его сочинение, и вы сами убедитесь, что это не что иное, как сталагмит, особенный род капельника, замеченного путешественниками в известной пещере острова Пароса и в египетских гротах Самун. Кристаллизация полярных снегов представляет еще удивительнейшее явление в рассуждении разнообразности фигур и непостижимого искусства их рисунка...

Мы были разражены в прах этим нечаянным извержением каменной учености горного чиновника. Мой приятель Шпурцманн слушал его в настоящем остолбенении; и когда Иван Антонович кончил свою жестокую диссертацию, он только произнес длинное в пол-аршина: Ja!!![1] Я стал насвистывать мою любимую арию:

Чем тебя я огорчила?..

[1] О да!!! *(нем.)*

Обербергпробирмейстер 7-го класса немедленно вынул из кармана свои инструменты и начал ломать наши иероглифы, говоря, что ему очень приятно найти здесь этот негодный, изменнический, бессовестный минерал, ибо у нас, в России, даже в Петербурге, доселе не было никаких образцов сталагмита живописного, за присылку которых он, несомненно, получит по команде лестную благодарность. Во время этой работы мы с доктором философии Шпурцманном, оба разочарованные очень неприятным образом, стояли в двух противоположных концах пещеры и страшно смотрели в глаза друг другу, не смея взаимно сближаться, чтобы в первом порыве гнева, негодования, досады по неосторожности не проглотить один другого.

— Барон?..— сказал он.

— Что такое?..— сказал я.

— Как же вы переводили эти иероглифы?

— Я переводил их по Шампольону: всякий иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, или ни фигура, ни буква, а простое украшение почерка. Ежели смысл не выходит по буквам, то...

— И слушать не хочу такой теории чтения!..— воскликнул натуралист.— Это насмешка над здравым смыслом. Вы меня обманули!

— Милостивый государь! не говорите мне этого. Напротив, вы меня обманули. Кто из нас первый сказал, что это иероглифы?.. Кто состряпал теорию для объяснения того, каким образом египетские иероглифы зашли на Медвежий Остров?.. По милости вашей, я даром просидел шесть дней на лесах, потерял время и труд, перевел с таким тщанием то́, что не стоило даже внимания.

— Я сказал, что это иероглифы потому, что вы вскружили мне голову своим Шампольоном,— возразил доктор.

— А я увидел в них полную историю потопа потому, что вы вскружили мне голову своими теориями о великих переворотах земного шара,— возразил я.

— Но желал бы я знать,— примолвил он,— каким образом вывели вы смысл, переводя простую игру природы!

На что, естественным образом, отвечал я доктору:

— Не моя же вина, ежели природа играет так, что

из ее глупых шуток выходит, по грамматике Шампольона, очень порядочный смысл!

— Так и быть! — воскликнул доктор.— Но я скажу вам откровенно, что, когда вы диктовали мне свой перевод, я не верил вам ни одного слова. Я тотчас приметил, что в вашей сказке кроется пропасть невероятностей, несообразностей...

— Однако ж вы восхищались ими, пока они подтверждали вашу теорию,— подхватил я.

— Я?..— вскричал доктор.— Отнюдь нет!

— А кто прибавил к тексту моего перевода разные пояснения и выноски?..— спросил я гневно.— Вы, милостивый государь мой, даже хотели предложить гофрата Шимшика в ископаемые почетные члены Геттингенского университета.

— Барон!.. не угодно ли табачку!

— Я табаку не нюхаю.

— По крайней мере, отдайте мне ваш перевод: он писан весь моею рукою.

— Не отдам. Я его напечатаю, и с вашими примечаниями.

— Фуй, барон!..— сказал Шпурцманн с неподражаемой важностью.— Подобного рода шутки не водятся между такими известными, как мы, учеными.

На другой день мы оставили Медвежий Остров и возвратились в устье Лены, а оттуда в Якутск. Плавание наше было самое несчастливое: мы претерпели сильную бурю и все время бились с льдинами, покрывавшими море и Лену. Я отморозил себе нос.

Отделавшись от Шпурцманна, я поклялся не предпринимать более ученых путешествий.

[1833]

Николай ПОЛЕВОЙ

Блаженство безумия

On dit, que la folie est un mal;
on a tort — c'est un bien...

Говорят, что безумие есть
зло,— ошибаются: оно благо!

Мы читали Гофманову повесть «Meister Floh»[1]. Различные впечатления быстро изменялись в каждом из нас, по мере того как Гофман, это дикое дитя фантазии, этот поэт-безумец, сам боявшийся привидений, им изобретенных, водил нас из страны чудесного в самый обыкновенный мир, из мира волшебства в немецкий погребок, шутил, смеялся над нашими ожиданиями, обманывал нас беспрерывно и наконец — скрылся, как мечта, изглаженная крепким утренним сном! Чтение было кончено. Начались разговоры и суждения. Иногда это последствие чтения бывает любопытнее того, что прочитано. В дружеской беседе нашей всякий изъявлял свое мнение свободно; противоречия были самые странные, и всего страннее показалось мне, что женщины хвалили прозаические места более, а мужчины были в восторге от самых фантастических сцен. Места поэтические пролетели мимо тех и других, большею частию не замеченные ими.

Один из наших собеседников молчал.

— Вы еще ничего не сказали, Леонид? — спросила его молодая девушка, которая не могла налюбоваться дочерью переплетчика, изображенною Гофманом.

— Что же прикажете мне говорить?

— Как что? Скажите, понравилась ли вам повесть Гофмана?

— Я не понимаю слова «понравиться»,— отвечал Леонид, и глаза его обратились к другой собеседнице нашей,— не понимаю, когда говорят это слово о Гофмане или о девушке...

[1] «Повелитель блох» *(нем.)*.

Та, на которую обратился взор Леонида, потупила глаза, и щеки ее покраснели.

— Чего же вы тут не понимаете?

— Того,— отвечал Леонид,— что ни Гофман, ни та, которую сердце отличает от других, нравиться не могут.

— Как? Гофман и девушка, которую вы любите, вам не могут нравиться?

— Жалею, что не успел хорошо высказать моей мысли. Дело в том, что слово «нравиться» я позволил бы себе употребить, говоря только о щегольской шляпке, о собачке, модном фраке и тому подобном.

— Прекрасно! Так лучше желать быть собачкою, нежели тою девушкою, которую вам вздумается любить?..

— Не беспокойтесь. Но Гофман вовсе мне не нравится, как не нравится мне буря с перекатным громом и ослепительною молниею: я изумлен, поражен; безмолвие души выражает все мое существование в самую минуту грозы, а после я сам себе не могу дать отчета: я не существовал в это время для мира! И как же вы хотите, чтобы холодным языком ума и слова пересказал я вам свои чувства? Зажгите слова мои огнем, и тогда я выжгу в душе другого чувства мои такими буквами, что он поймет их...

— Не пишет ли он стихов? — сказала девушка, которая спрашивала, молчаливой своей подруге.— Верно, это какое-нибудь поэтическое сравнение или выражение, и я ничего в нем не понимаю...

— Ах! как *я* его понимаю! — промолвила другая тихонько, сложив руки и поднимая к небу голубые глаза свои.

Я стоял за ее стулом и слышал этот голос сердца, невольно вылетевший. Боясь, чтобы она не заметила моего нечаянного дозора, я поспешил начать разговор с Леонидом.

— Прекрасно,— сказал я,— прекрасно, любезный Леонид! Только, в самом деле, непонятно.

— Как же вы говорите «прекрасно», если вы не понимаете?

Этот вопрос смешал меня. Я не знал, что отвечать на возражение Леонидово.

— То есть, я говорю,— сказал я ему наконец,— что трудно было бы изъяснить положительно, если бы мы захотели отдать полный отчет в ваших словах.

— Бедные люди! Им и чувствовать не позволяют того, чего изъяснить они не могут! — Леонид вздохнул.

— Но как же иначе? — сказал я.— Безотчетное чувство есть низшее чувство, и ум требует отчета верного, положительного...

— Мне всегда забавно слышать подобные слова: сколько в них шуму, грому, и между тем, как мало отчетливости во всех ваших отчетах! Скажите, пожалуйста: во многом ли до сих пор успели вы достигнуть вашей отчетливой положительности? Не вправе ли мы и теперь еще, после всех ваших философских теорий и систем, повторить:

Есть многое в природе, друг Горацио,
Что и не снилось вашим мудрецам!

Что такое успели мы разгадать нашим умом и выразить нашим языком? Величайшая горесть, величайшая радость — обе безмолвны; любовь также молчит — не смеет, не должна говорить (он взглянул украдкою на молчаливую нашу собеседницу). Вот три высокие состояния души человеческой, и при всех трех уму и языку дается полная отставка! Все это человек может еще, однако ж, понимать; но что, если мы осмелимся коснуться тех скрытых тайн души человеческой, которые только ощущаем, о существовании которых только догадываемся?..

Леонид засмеялся и вдруг обратился к веселой нашей собеседнице.

— Вам скучно слушать мои странные объяснения. Извините: вы сами начали.

— Я искренно признаюсь вам, что не понимаю, о чем вы говорите. Мне просто хотелось узнать ваше мнение о гофмановской сказке...

— Сказка эта похожа на быль,— отвечал Леонид.

— Помилуйте? Как это можно?

— Говорю не шутя. Сначала мне показалось даже, будто я слышу рассказ о том, что случилось с одним из моих лучших друзей.

— Возможно ли?

— Окончание у Гофмана, однако ж, совсем не то. Бедный друг мой не улетел в волшебное царство духов: он остался на земле и дорого заплатил за мгновенные прихоти своего бешеного воображения...

— Расскажите нам!

— Это возбудит горестные воспоминания моей жизни; притом же я боюсь: я такой плохой рассказчик... Сверх того, в приключениях друга моего я ничего не могу изъяснить положительно!..— Леонид засмеялся и пожал мне руку.

— Злой насмешник! — сказал я.

— Вы, однако ж, расскажете нам? — повторила веселая наша собеседница.

— Если вам угодно...

Взор Леонида выразил, однако ж, что совсем не в ее угоду хотел он рассказывать.

— Ах! как весело! — сказала вполголоса молчаливая ее подруга, так что Леонид мог слышать,— он станет рассказывать!

— Ты любишь слушать рассказы Леонида? — лукаво спросила ее подруга.

— Да... потому, что они всегда такие странные...— Она смешалась и опять замолчала.

Несколько молодых людей придвинули к нам свои кресла. Мы составили отдельный кружок. Другие из гостей были уже заняты в это время картами и разговорами о погоде и еще о чем-то весьма важном, кажется, об осаде Антверпена.

Леонид начал.

— Вы позволите мне скрыть имена и предварительно объявить, что я ни слова не прибавлю и не убавлю к истине.

— В Петербурге, несколько лет тому, когда я служил по министерству... знал я одного молодого чиновника. Он был товарищ мне по департаменту и старше меня летами. Назовем его Антиохом. В начале нашего знакомства показался он мне угрюм, холоден и молчалив. В веселых беседах наших он обыкновенно говаривал мало. Сказывали также, что он большой скупец. В самом деле, всем известно было, что у него огромное

состояние, но он жил весьма тихо и скромно, никого не приглашал к себе, редко участвовал в забавах своих приятелей и только раз в год сзывал к себе товарищей и знакомых, в день именин своих. Тогда угощение являлось богатое. В другое же время редко можно было застать его дома. Говорили, что он нарочно не сказывается, хотя кроме должности почти никуда не ходит и сидит запершись в своем кабинете. Должность была у него легкая, за бумагами сидеть ему было не надобно, и никто не знал, каким образом Антиох проводит время. Впрочем, он был чрезвычайно вежлив и ласков, охотно ссужал деньгами и был принят в лучших обществах. Прибавлю, что он был собою довольно хорош, только не всякому мог понравиться. Лицо его, благородное и выразительное, совсем не было красиво; большие голубые глаза его не были оживлены никаким чувством. Стройный и высокий, он вовсе не заботился о приятности движений. Часто, сложив руки, опустив глаза в землю, сидел он и не отвечал на вопросы самых милых девушек и улыбался притом так странно, что можно было почесть эту улыбку за насмешку. Бог знает с чего, Антиоха называли ученым — название, не придающее любезности в глазах женщин: говорю, что слыхал, и готов допустить исключения из этого правила. Такое название придали Антиоху, может быть, потому, что он хорошо знал латинский язык и был постоянным посетителем лекций Велланского. Впрочем, Антиох показывал во всем отличное, хотя и странное, образование. Он превосходно знал французский, италиянский и особливо немецкий язык; изрядно танцевал, но не любил танцевать; страстно любил музыку, но не играл, не пел и всему предпочитал Бетховена. Иногда начинал он говорить, говорил с жаром, увлекательно, но вдруг прерывал речь и упорно молчал целый вечер. Знали, что он много путешествовал, но никогда не говорил он о своих путешествиях...

Извините, что я изображаю вам моего героя. Этот старинный манер романов необходим, и вы поймете после сего, почему называли Антиоха странным человеком. Вообще Антиоха все уважали, но любили его немногие. Долго старались разгадать странности Антиоховы. Одни сказывали, будто он был когда-то влю-

блен, и влюблен несчастно. Это могло сделать его интересным для женщин, но холодность Антиоха отталкивала всякого, кто хотел с ним сблизиться. Другим казалось непростительным, что при большом богатстве своем он, совершенно независимый и свободный, не живет открыто и не находится в блестящем обществе, не ищет ни чинов, ни связей, сидит дома, ходит на ученые лекции. «Он слишком умничает — он странный человек — он чудак — впрочем, он деловой человек — он скуп, а это отвратительно!»

Так судили об Антиохе. Странность труднее извинять, нежели шалость. Другим прощали бесцветность, ничтожность характера, мелкость души, отсутствие сердца: Антиоху не прощали того, что он отличался от других резкими чертами характера.

Признаюсь, я не мог не уважать Антиоха за то, что он не походил на других наших товарищей. Кто знает молодых петербургских служивых людей, тот согласится с моим замечанием. Мало удавалось мне слыхать оживленный разговор Антиоха; но что слыхал я, то изумляло меня чем-то необыкновенным — какою-то странною оригинальностью. Вскоре мы познакомились с ним короче.

Это было летним вечером. Помню этот вечер — один из прекраснейших вечеров в моей жизни! Я вырвался тогда из душного Петербурга, уехал в Ораниенбаум, дал себе свободу бродить без плана, без цели. Солнце катилось к западу, когда я очутился на даче Чичагова. Местоположение прелестное, дикое, уединенное, солнце, утопающее в волнах Финского залива, море, зажженное его лучами, небо ясное, безоблачное — все это расположило меня к какому-то забвению самого себя. Я был весь мечта, весь дума — как говорят наши поэты, и не заметил, как приблизился ко мне Антиох.

«Леонид! — сказал он мне, — дай руку! Отныне ты видишь во мне доброго своего друга!»

Я невольно содрогнулся от яркого взора, какой Антиох устремил на меня, и от нечаянного появления этого странного человека. В замешательстве, молча, пожал я ему руку.

Никогда не видывал я Антиоха в таком, как теперь, состоянии. Если бы надобно было изобразить мне со-

стояние его одним словом, то я сказал бы, что Антиох казался мне вдохновенным. Я видел не прежнего холодного Антиоха, с насмешливою улыбкою, с каким-то презрением смотревшего на всех, запеленанного в формы и приличия. В глазах его горел огонь, румянец оживлял его всегда бледные щеки.

«Леонид,— сказал он мне,— ради бога, прочь все формы! Будь при мне тем, чем видел я тебя за несколько минут, или я уйду и оставлю тебя!»

«Вы меня удивляете, Антиох!»

«Несносные люди! Их никогда не застанешь врасплох; они тотчас спешат надеть фрак свой и подать вам визитную карточку... Извините, что я перервал вашу уединенную прогулку»,— сказал Антиох с досадою и хотел идти прочь. Я остановил его. Голос Антиоха дошел до моего сердца.

«Антиох! Я тебя не понимаю».

«А мне казалось, что за несколько минут я понимал тебя, понимал юное сердце человека, который убежал из толпы людей отдохнуть здесь, один на просторе, побеседовать с матерью-природою; понимал взор твой, устремленный на этот символ души человеческой — море бесконечное, бездонное, с бурями и пропастями...»

«Леонид!» — «Антиох!» — воскликнули мы и крепко обняли друг друга. Взявшись рука в руку, до глубокой ночи бродили мы вместе.

Не могу пересказать вам всего, что было переговорено нами в это время.

Антиох раскрыл мне свою душу — я высказал ему мою. Но что мог я тогда высказать ему? — продолжал Леонид с жаром, потупив глаза.— Несколько бледных воспоминаний детства, несколько неопределенных чувств при взгляде на природу, несколько затверженных мною идей, несколько мечтаний о будущем, может быть... Но я не о себе, а об Антиохе хочу говорить вам.

Антиох открыл мне новый мир, фантастический, прекрасный, великолепный — мир, в котором душа моя тонула, наслаждаясь забвением, похожим на то неизъяснимо-сладостное чувство, которое ощущаем мы, купаясь в море или смотря с высокой, заоблачной горы на низменное пространство, развивающееся под нога-

ми нашими. Душа Антиоха была для меня этим новым, волшебным миром: она населила для меня всю природу чудными созданиями мечты; от ее прикосновения, казалось мне, и моя душа засверкала электрическими искрами. Как легко понял я тогда и насмешливую улыбку Антиоха при взгляде на известные обоим нам светские общества, и презрение, какое невольно изъявлял он при взгляде на наших товарищей!

Только равная Антиоху душа могла понять его или сердце младенческое, чистое, беспечно отдавшееся ему. Так прекрасную душу женщины понимает только пламенная душа любящего ее человека или дитя, которое безотчетно улыбается на ее материнскую слезу и питается жизнью из ее груди!

«Леонид! — говорил мне Антиох,— человек есть отпадший ангел божий. Он носит семена рая в душе своей и может рассадить их на тучной почве земной природы и на лучших созданиях бога — сердце женщины и уме мужчины! Мир прекрасен, прекрасен и Человек, этот след дыхания божьего. Бури низких страстей портят, бури высоких страстей очищают душную его атмосферу и сметают пыль ничтожных сует. Любовь и дружба — вот солнце и луна душевного нашего мира! К несчастию, глаза людей заволокает темная вода: они не видят их величественного восхождения, прячутся в тени от жаркого полдня любви и пугаются привидений священной полуночи дружбы или больными, слабыми глазами не смеют глядеть на солнце и спят при серебристом свете месяца. Тяжело тому, кто бродит один бодрствующий и слышит только храпенье сонных. Пустыня жизни ужасна — страшнее пустынь земли! Как грустно смотреть, если видишь и понимаешь, чем могли б быть люди и что они теперь!»

С жаром детских надежд опровергал я слова Антиоха, указывая ему на светлую будущность нашей жизни.

«Утешайся этими мечтами, храни их, Леонид! — ласково, но задумчиво говорил Антиох.— Эта мелкая монета всего лучше в торговле жизнью, и — горе тому, кто принесет на рынок людской жизни горсть драгоценных алмазов: если бы люди и могли оценить их, им не на что будет их купить; никто тебе не разменяет их, никто не продаст тебе на них ничего, и ты, обладатель

алмазов, умрешь с голоду! Открой мне поприще, достойное высоких порывов души, поставь мне метою лавровый или дубовый венок, не оскверненный мелкими отношениями. А! самая смерть в достижении к этому венку будет сладостною целью жизни! Но покупное, но ничтожное — за ними ли пойду я! Так на торжественном пире народном ставят золоторогих быков, и безумная чернь дерется за куски их мяса, лезет на шест, стараясь достать позолоченный крендель, положенный на его вершине...

Леонид! ты еще не испытал терзательных бичей жизни. Ты еще не ставил на карту мечтаний всего своего счастия. Ты не знаешь еще муки неудовлетворенных стремлений души в любви, дружбе и славе! Горестный опыт научил меня многому, что тебе неизвестно».

Антиох рассказал мне главные подробности своей жизни. Отец его, бедный офицер, увез дочь богача, и жестокосердный старик проклял их.

«Я не помню радостей младенчества,— говорил мне Антиох.— Угнетающая бедность, слезы матери, бледное лицо моего доброго отца — вот привидения, которыми окружена была колыбель моя. Бедность убийственна, а я испытал ее, испытал вполне: я видел, как мать моя терзалась последними смертными муками, и лекарь не шел к ней, потому что нечем было заплатить ему за визит! Я видел, как отец мой держал в руке рецепт, прописанный лекарем, и плакал: ему не с чем было послать в аптеку! Мы должны были много аптекарю; он не хотел нам отпускать более в долг, а у нас не было ни одной копейки! Двенадцати лет был я, когда проводил бедный гроб матери на кладбище и, возвратясь домой, застал отца без памяти — его повезли в больницу.

Я составлял единственное утешение матери моей, и воспитание мое было в странной противоположности с состоянием нашим. Женщина, каких не встречал я после, святой идеал материнской любви! зачем так рано раскрыла ты мое сердце? Зачем не дозволила свету охолодить, облечь меня в свои приличия и условия? Но тебе потребна была душа родная, с которою могла бы ты делиться своею душою, своим сердцем. И твоя мечтательная, любящая душа погубила меня! Голова

моя была уже романическою, когда я едва понимал самые обыкновенные предметы жизни. Единственный друг нашего семейства, пастор лютеранской церкви того города, где мы жили, был другой губитель мой. Его высокая добродетель, его трогательная проповедь, его музыка, его слова, беседы с моею матерью уносили меня за пределы здешнего мира. Добрый старик этот в один год лишился нежно любимой жены, двух дочерей и осиротел на чужой стороне в старости лет. Единственное утешение его было, когда мать моя со мною приходила к нему, и он мог плакать, мог говорить с нею о милых, утраченных им, о своей доброй Генриетте, о своих незабвенных Элизе и Юлии. По целым часам стоял я иногда и слушал, когда он, забывши весь мир, один в своей кирхе, играл на органах — я слушал божественные звуки Моцарта и Генделя, и голова моя горела, пока я не начинал неутешно рыдать. Тогда старик переставал играть и обнимал меня со слезами... Мы казались друзьями, ровесниками...

Из этого мира романической жизни и мечтаний вдруг перешел я в мир совершенно противоположный. Дед мой услышал о смерти моей матери. Одиноко, грустно проводил он жизнь среди своих богатств. В больницу, где лежал отец мой, явился этот старик: все было забыто, горесть примирила их. Я воображал себе деда строгим, угрюмым богачом: увидел седого, убитого печалью старика, который обнимал меня, называл своим милым Антиохом. Отец мой выздоровел, снова вступил в службу; я переселился к моему деду. Вскоре бессарабская чума лишила меня отца...

Дед мой жил как богатый русский помещик, окруженный многочисленною дворнею, льстецами, прислужниками. Меня, его единственного наследника, облеляли все прихоти, все изобретения роскоши. Но грубый мир страстей, который увидел я у деда, старика, обманываемого всем, что его окружало, не только не увлек меня, но отвратил от себя и увеличил противоположность мечтательной души моей и действительной жизни. Все время, которого не проводил я в учебной своей комнате с множеством учителей, для меня нанятых, был я с моим дедом — как говорится, не слышавшим во мне души, — или бродил по окрестным лесам, с книгою, с мечтами, или скакал по полям на борзом

коне. Соседи наши, добрые грубые люди — особливо соседки, матушки, тетушки, кузины, дочки их, — заставляли меня с особенною охотою скрываться в мое уединение».

Выражение Антиоха сделалось колким, насмешливым, когда он описывал мне грубую безжизненную жизнь деревенского быта: помещиков, переходящих от овина к висту, помещиц, занятых то ездою в гости, то сватаньем дочерей. Но с бо́льшею насмешкою говорил он мне о сельских красавицах — полных, здоровых, с румяными щеками, с бледною душою, красивых личиками, безобразных сердцами...

«Я искал душ в этих прозябающих телах, — говорил Антиох. — Часто увлекался я добродушием отцов, простотою матерей и взрослым младенчеством детей их. Но грубые формы их вскоре отталкивали меня, и всего грустнее мне было видеть, когда я находил следы чего-то прекрасного, высокого, насильно заглушенного среди репейника и полыни сует и мелких отношений. Я готов был тогда жаловаться на провидение, сеющее бесплодные семена или попускающее расклевывать их галкам и воронам ничтожных отношений, душить их белене и чертополоху невежества.

Я выпросился у деда моего в Геттингенский университет. Мне и потому несносно было оставаться более в деревне, что меня там невзлюбили наконец, называли философом — страшная брань в устах тамошних обитателей, — чудаком, нелюдимом, насмешником.

Германия — парник, где воспитывает человечество самые редкие растения, унесенные человеком из рая; но она — парник, Леонид! — а не раздольное поле, на котором свободно возрастали бы величественные пальмы и вековые творения человеческой природы. «Германия снимает с лампад просвещения нагар, но зато от нее пахнет маслом», — сказал не помню кто, и сказал справедливо. Однако ж в ней провел я лучшие минуты жизни — в ней, и еще в итальянской природе, и между швейцарскими горами, где песня приволья отдается между утесами горными и вторит шуму вечных водопадов...

Внезапная смерть деда заставила меня возвратиться в Россию, о которой сильно билось сердце мое на чужбине. Не зная разлуки с отчизною, не знаешь и грусти

по отчизне, не знаешь, какую прелесть имеет самый воздух родины, какое очарование заключается в снегах ее, как весело слышать наш русский, сильный язык! Я увидел себя обладателем большого имения; сила души моей не удовлетворялась более одним ученьем. Мне хотелось забыть и мечты мои, и противоположности жизни в деятельных, достойных мужа трудах; хотелось узнать и большой свет.

Мой друг! кто рано начал жить вещественною жизнью, тому остается еще необозримая надежда спасения в жизни души; но беден, кто провел много лет в мире мечтаний, в мире духа и думает потóм обольститься оболочкою этого мира, миром вещественным! Так путешествие — отрада для души неопытной, обольщаемой живыми впечатлениями общественной жизни и природы, но оно — жестокое средство разочарования для испытанного жильца мира! Богатые лорды английские проезжают через всю Европу нередко для того, чтобы навести пистолет на разочарованную голову свою по возвращении в свои великолепные зáмки. Есть путешествия, в которых душа человеческая могла бы еще забыться, — путешествия по бурным безднам океана, среди льдов, скипевшихся с облаками под полюсом, среди палящих степей и пальмовых оазисов Африки, среди девственных дебрей Америки. Но такой ли мир для души петербургский проспект и эти размраморенные, раззолоченные залы и гостиные? Кто привык к крепкому питью, тому хуже воды оржад, прохлаждающий щеголеватого партнера кадрили. Вода, по крайней мере, вовсе безвкусна, а бальный оржад — что-то мутное, что-то приторное... Несносно!

Если бы горела война, изумлявшая Европу в 1812-м году, если бы грудью своею ломил нашу Русь тогдашний великан, которому мечами вырубили народы могилу в утесах острова св. Елены, — под заздравным кубком смерти можно бы отдохнуть душою; если б я был поэтом, мог в очарованных песнях высказывать себя, — я также отдохнул бы тогда, я разлился бы по душам людей гармоническими звуками, и буря души моей исчезла бы в громах и молниях поэзии; если бы я мог, хотя не словами, но звуками только оживлять мечты, которым тесно в вещественных оковах... Но ты знаешь, что я не поэт и не музыкант! Непослушная рука моя

всегда отказывалась изображать душу мою и в красках, и в очерках живописных. О Рафаэль, о Моцарт, о Шиллер! Кто дал вам божественные ваши краски, звуки и слова? Для чего же даны они были вам, а не даны мне? И для чего не передали вы никому тайны созданий ваших? Или вы думали, что люди недостойны ваших тайн? И для чего же судьба дала мне чувства, с которыми я понимаю всю ничтожность, всю безжизненность моих порывов, смотря на небесную Мадонну, слушая «Requiem» и читая «Résignation»? «Звуков, цветов, слов! — восклицаю я, — их дайте мне, чтобы сказаться на земле небу! Или дайте же мне душу, которая слилась бы со мною в пламени любви...» И что же вокруг меня? Куклы с завялыми цветами жизни, с цепями связей и приличий! Чего им от меня надобно? Моего золота, которое отвратительно мне, когда я вспоминаю, что мать моя умирала, а у меня не было гривны денег купить ей лекарства! И эту купленную любовь, эту продажную дружбу, эти обшитые мишурою расчета почести будут занимать меня?.. Никогда!»

Вы назовете Антиоха моего безумцем, мечтателем? Не противоречу вам, не хвалю его, но — таков он был. Не осуждайте его хоть за то, что впоследствии он расплатился дорого за все, что чувствовал, о чем говорил и мечтал. Простите ему, хоть за эту цену, его безумие и, если угодно, извлеките из этого нравственный вывод, постарайтесь еще более похолодеть, покрепче затянуться в формы, приличия и обыкновенные, благоразумные: настоящие понятия о жизни. *Его пример будь нам наукой:* не слишком высоко залетать на наших восковых крыльях. Лучше дремать на берегу лужи, нежели тонуть, хотя бы и в океане...— Леонид улыбнулся и продолжал рассказ:

— Не все, что высказал я вам, говорено было нами во время прогулки на Чичаговой даче в этот незабвенный для меня вечер, после которого мы почти не расставались с Антиохом. Каждый раз привязывался я к нему более и более, каждый раз лучше узнавал я эту душу, пылкую, независимую, добрую, как у младенца, светлую, как у добродетельного старца, пламен-

ную, как мысль влюбленного юноши. Не знаю, что полюбил Антиох во мне. Может быть, детское самоотвержение, с каким вслушивался я в голос его сердца, в высокие отзывы души его.

Тогда узнал я, что́ делывал Антиох, запираясь у себя дома и отказывая посетителям. Склонность к мечтательности, воспитанная всею его жизнию, увлекала Антиоха в мир таинственных знаний, этих неопределенных догадок души человеческой, которых никогда не разгадает она вполне. Исследование тайн природы и человека заставляли его забывать время, когда он занимался ими. Исследования магнетизма, феософия, психология были любимыми его занятиями. Он терялся в пене мудрости, которая кружит голову вихрями таинственности и мистики. Знания, известные нам под названиями каббалистики, хиромантии, физиогномики, казались Антиоху только грубою корою, под которою скрываются тайны глубокой мудрости.

Я не мог разделять с ним любимых его упражнений, однако ж слушал и заслушивался, когда он, с жаром, вдохновенно, говорил мне о таинственной мудрости Востока, раскрывал мне мир, куда возлетает на мгновение душа поэта и художника и который грубо отзывается в народных поверьях, суевериях, преданиях, легендах. Антиох не знал пределов в этом мире. Эккартсгаузен, Шведенборг, Шубарт, Бем были самым любимым его чтением.

«Тайны природы могут быть постижимы тогда только, когда мы смотрим на них просветленным зрением души,— говорил он.— Кто исчислит меру воли человека, совлеченной всех цепей вещественных? Где мера и той божественной вере, которая может двигать горы с их места, той дщери небесной Софии, сестры Любви и Надежды? Природа — гиероглиф, и все вещественное есть символ невещественного, все земное — неземного, все вещественное — духовного. Можем ли пренебречь этот мир, доступный духу человеческому?»

«Мечтатель! — говорил я иногда Антиоху,— ты погубишь себя! Мало тебе идеалов, которых не находишь в жизни — ты хочешь из них создать целый мир и в этом мире открывать тайны, которые непостижимы человеку!»

«Но они постижимы ему в зрящем состоянии ума, во временной смерти тела — сне — и в вещественном соединении с природою — магнетизме! Но если я и грежу, если это и сон обольстительный, не лучше ли сон этот бедной вашей существенности? Если сон приставляет крылья телу — мечта подвязывает крылья душе, и тогда нет для нее ни времени, ни пространства. О, мой Леонид! Если дружбу мою столько раз, со слезами, называл ты благословением неба, зачем не могу я изобразить тебе, что́ сказала бы родная душа о моей любви, о любви выше ничтожных условий земли и мира! Да, правда: эта любовь не для земли — ее угадала бы одна, одна душа, созданная вместе с моею душою и разделенная после того. Леонид! назови меня сумасшедшим, но Пифагор не ошибался: я верю его жизни до рождения — и в этой жизни — верю я — было существо, дышавшее одной душою со мной вместе. Я встречусь некогда с ним и здесь; встреча наша будет нашею смертию — пережить ее невозможно! Умрем, моя мечта! умрем — да и на что жить нам, когда в одно мгновение первого взора мы истощим века жизни?..»

Не знаю, поняли ль вы теперь странную, если угодно, уродливую душу Антиоха, которая открывалась только мне одному и никому более? Для других продолжал он быть прежним, насмешливым, холодным молодым человеком, не переменял образа своей жизни, жил по-старому, служил, как другие.

В это время приехал в Петербург какой-то шарлатан: называю его так потому, что его нельзя было назвать ни артистом, ни ученым человеком. Он, правда, не объявлял о себе в газетах, не вывешивал над своею квартирою огромной размалеванной холстины днем, ни темного фонаря с светлою надписью по вечерам и называл себя Людовиком *фон* Шреккенфельдом; однако ж разослал при театральных афишках известие, для любителей изящных искусств, о мнемо-физико-магических вечерах, какие намерен давать петербургской публике, и «льстил себя надеждою благосклонного посещения». В огромной зале давал он эти вечера. Цена за вход назначена была десять рублей, и зала каждый

раз была полна. В самом деле — было чего посмотреть. Удивительные машины, непонятные автоматы, блестящие физические опыты занимали прежде всего посетителей. Потом приглашенные лучшие артисты разыгрывали самые фантастические музыкальные пьесы; иногда фантасмагория, кинезотография, пиротехника, китайские тени изумляли всех своею волшебною роскошью. Но молодых посетителей более всего привлекала к Шреккенфельду девушка, которую называл он своею дочерью.

Не знаю, как описать вам Адельгейду: она уподоблялась дикой симфонии Бетховена и девам валкириям, о которых певали скандинавские скальды. Рост ее был средний, лицо удивительной белизны, но не представляло ни стройной красоты греческой, ни выразительной красоты Востока, ни пламенного очарования красоты итальянской; оно было задумчиво-прелестно, походило на лицо мадонн Альбрехта Дюрера. Чрезвычайно стройная, с русыми, в длинные локоны завитыми волосами, в белом платье, Адельгейда казалась духом той поэзии, который вдохновлял Шиллера, когда он описывал свою Теклу, и Гете, когда он изображал свою Миньону. Вечера Шреккенфельда отличались тем от обыкновенных зрелищ за плату, что хозяин и дочь его не собирали при входе билетов, и собрание у них походило на вечернее сборище гостей. Шреккенфельд и Адельгейда казались добрыми хозяевами, и пока артисты разыгрывали разные музыкальные пьесы, ливрейные слуги угощали посетителей без всякой платы, а он и она занимали гостей разговорами, самыми увлекательными, веселыми, разнообразными. Затем, как будто нечаянно, хозяин начинал рассуждать о природе, ее таинствах и принимался за опыты. Но все ждали нетерпеливо того времени, когда Адельгейда являлась на сцену. Она обладала удивительными дарованиями в музыке, говорила на нескольких языках, и, несмотря на ее всегдашнюю холодность и задумчивость, разговор Адельгейды был блестящ, увлекателен. Заметно было, что она выходила на сцену неохотно. Обыкновенно начинала она игрою на фортепиано, а чаще на арфе. Задумчивость ее исчезала постепенно — игра переходила в фантазию, звуки лились, как будто из ее души, голос ее соединялся с звуками арфы. Тогда глаза ее начинали

сверкать огнем восторга. Она пела, декламировала, оставляла арфу, читала стихи Гете, Шиллера, Бюргера, Клопштока. Раздавались звуки невидимой гармоники, скрытой от зрителей, и потрясали душу. Каждый думал тогда, что видит в Адельгейде какое-то воздушное существо, каждый ждал, что она рассеется, исчезнет легким туманом. Тогда только раздавались рукоплескания зрителей, когда Адельгейда уходила со сцены, скрывалась от взоров и к звукам гармоники присоединялся шумный хор музыкантов. Адельгейда не являлась уже к зрителям после игры и декламации, и Шреккенфельд оканчивал вечера изумительными фокусами или фантасмагориею.

Слухи о вечерах Шреккенфельда и особенно об его Адельгейде привлекали к нему молодежь. Каждый шел посмотреть на нее, как на кочевую комедиантку, походную певицу. Но каждого изумлял взгляд ее и, особенно, разговор ее. Свобода обращения Адельгейды с молодыми людьми представляла разительную противоположность с ее холодностью. Один взор Адельгейды останавливал двусмысленный разговор или дерзкое слово самого безрассудного ветреника, а ее дарования заставляли забывать, что она была дочь какого-то шарлатана и показывала опыты необыкновенных дарований своих за деньги.

Шреккенфельд скоро составил у себя особенные, частные вечера, давая публичные вечера только один раз в неделю. Он занимал богатую квартиру, и всякий, кто был порядочно одет и знакомился с ним на публичных его вечерах, имел право прийти к нему на частный вечер и привести с собою знакомого. Совершенная свобода была в этих собраниях, хотя вид Адельгейды удерживал всех в совершенной благопристойности. Шреккенфельд был неистощим в занятии гостей: пение, музыка, опыты ученые, декламация и игра Адельгейды занимали одних, большая карточная игра — других. Шреккенфельд держал огромный банк, выигрывал и проигрывал большие суммы, хотя сам никогда не садился играть, и только повсюду надзирал своими зелеными, лягушечьими глазами. Он внушал всем какое-то невольное отвращение, так, как Адельгейда всех привлекала собою. Нельзя было не удивляться обширным знаниям Шреккенфельда; притом

он свободно говорил на пяти или шести языках; но всякое движение его было разочтено, продажно. Он казался всезнающим демоном, а Адельгейда духом света, которого заклял, очаровал этот демон и держит в цепях. Внезапный восторг, одушевлявший задумчивую Адельгейду при музыке и поэзии, можно было почесть мгновением, в которое этот ангел света вспоминает о своем прежнем небе.

Посетив раза три Шреккенфельда, я, как и другие, был очарован Адельгейдой. Но это не была любовь. Я смотрел на Адельгейду, как на волшебное привидение какое-то, как на создание из звуков музыки и слов поэзии. С восторгом говорил я об ней Антиоху. Он смеялся и отвечал мне, что один вид шарлатана ему отвратителен, и, несмотря на то, что многие шарлатаны обладают тайнами знаний, неизвестными ученым, дарованиями, какими могли бы гордиться художники, он всегда видит в них презренных торгашей божественными дарами, ремесленников, унижающих величие человека.

«Признаюсь тебе, Леонид, что женщина, показывающая за деньги свои дарования, есть для меня творение нестерпимое. Я могу равнодушно смотреть на паяца, на фокусника, но на певицу — не могу, все равно что на эквилибристку! Смейся, но я не пошел слушать Каталани в ее концерте и слышал ее в частном доме: я не пошел бы в концерт ни Малибран, ни Пасты! Один вид приставника, который отбирает у меня билет при входе, поворачивает мое сердце и разрушает для меня очарование. Иное дело в театре, где все является мне в каком-то оптическом обмане».

Но я уговорил его идти к Шреккенфельду. Антиох сел в дальнем углу залы, холодно слушал музыку, невнимательно смотрел на опыты Шреккенфельда. Он видел и Адельгейду, но, казалось, не замечал ее. В ту минуту, когда Адельгейда села за арфу, обратила взоры к небесам и начала тихими аккордами, движение Антиоха заставило меня взглянуть на него. Я увидел, что глаза его загорелись. Чудные звуки арфы слились с голосом Адельгейды — Антиох едва мог сидеть на месте.

Ауельгеисфа

Неизъяснимая грусть, смешанная с какою-то радостью, что-то непонятное для меня изображалось на лице Антиоха. Надобно сказать, что в этот роковой вечер и Адельгейда была очаровательна, неизобразима! Когда она оставила арфу и начала декламировать, с вдохновенным взором, с горящими щеками, с глазами, полными слез,— я не посмел бы влюбиться в нее: так неземна казалась мне Адельгейда! Она читала чудное посвящение «Фауста», и эти, столь известные, слова:

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten!
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.
Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten?
Fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?[1]

казались импровизациею в устах Адельгейды; казалось, что мы слышим их в первый раз! Когда же «звуки смычка, водимого по сердцу человеческому» (как сказал о гармонике наш известный поэт), раздались в зале и среди их умолкающих, замирающих переливов Адельгейда произнесла:

Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen
Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich.
Es schwebet nun in unbestimmten Tönen.
Mein lispelnd Lied, der Äolsharfe gleich,
Ein Schauer faßt mich, Träne folgt den Tränen,
Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich;
Was ich besitze, seh ich wie in Weiten,
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten![2]

слезы потекли из глаз ее... Антиох закрыл глаза своим платком, и, пока раздавались рукоплескания, он поспешно ушел из собрания.

---

[1] Опять ты здесь, мой благодатный гений,
Воздушная подруга юных дней!
Опять, с толпой знакомых привидений,
Теснишься ты, Мечта, к душе моей!

Жуковский

[2] И снова в томном сердце возникает
Стремленье в оный таинственный свет.
Давнишний глас на лире оживает,
Чуть слышимый, как Гения полет,
И душу хладную разогревает
Опять тоска по благам прежних лет:
Все близкое мне зрится отдаленным;
Погибшее опять одушевленным...

Жуковский

Дня три после того не удалось мне видеться с Антиохом. Я застал его смущенного, бледного. Против обыкновения, он не ходил в наш департамент и дома ничего не делал, расхаживал взад и вперед, сложа руки.

«Ты болен, Антиох?» — спросил я.

«Нет, кажется, а, впрочем, может быть и болен».

Он замолчал, продолжал ходить и вдруг остановился передо мною, когда я сел и в беспокойстве смотрел на него.

«Леонид! — сказал он мне.— Какой злой дух внушил тебе мысль увлечь меня к Шреккенфельду, к этому демону, волшебнику? В каком мире жил я в эти дни? Чтó я чувствовал? Чтó это заговорило для меня во всей природе? Чтó вложило душу и голос во все бездушные предметы и слило голоса всего в один звук, в одно имя, которое беспрестанно режет мне слух мой, вползает в душу мою адскою змеею, сосет мое сердце?»

«Антиох! неужели Адельгейда произвела на тебя такое сильное впечатление?»

«Впечатление! Не любовь ли, скажешь ты? Неужели это любовь — любовь, этот палящий яд, который течет теперь по моим жилам и в каждой из них бьется тысячью аневризмов? О нет! Это не любовь! Я не люблю, не уважаю Адельгейды — торговки своими дарованиями, дочери воплощенного демона! Я — презираю ее! Но это какое-то очарование, от которого, как от взора гремучей змеи, спирается мое дыханье, кружится моя голова... Это какое-то непонятное чувство, похожее на усилие, с каким вспоминаем мы о чем-то былом, о чем-то знакомом, забытом нами... Леонид! я видал, я знал когда-то Адельгейду — да, я знал ее, знал... О, в этом никто не разуверит меня!.. Я знал ее где-то; она была тогда ангелом божиим! И следы грусти на лице ее, и этот взор, искавший кого-то в толпе,— все сказывает, что она жила где-то в стране той, где я видал ее, где и она знала меня... Но где, где? Не на Альпах ли раздавался ее голос и закипел в моем сердце слезами памяти? Не на Лаго ли Маджиоре он носился

надо мною и запал в душу с памятью об яхонтовом небе Италии?»

Антиох рассказал мне, что третьего дня, оставив собрание Шреккенфельда, он бродил всю ночь, сам не зная где. Слова, голос, музыка Адельгейды преследовали его, терзали, заставляли плакать, и только говор пробудившегося, зашевелившегося по улицам народа напомнил ему самого себя. Он заперся у себя в доме и на другой день, сам не зная как, вечером, желая подышать свободным воздухом, решась идти за город или на взморье, он опять очутился у Шреккенфельда, сел в углу и смотрел на Адельгейду. «Думаю,— продолжал Антиох,— что я походил на всех других, бывших у проклятого шарлатана этого, потому что никто не изумлялся, не дивился мне. Помню, что кто-то даже рекомендовал меня Шреккенфельду. А если бы знали люди, что тогда был я, что была тогда душа моя!..»

Адельгейда декламировала на сей раз только песню Теклы. Не стану читать вам немецкого подлинника. В пленительных стихах Жуковского, может быть, вам будет понятнее этот «Голос с того света»:

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла...
О друг! Я все земное совершила:
Я на земле любила и жила!

Нашла ли их? Сбылись ли ожиданья?
Без страха верь: обмана сердцу нет—
Сбылося все! Я в стороне свиданья,
И знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет!

Друг! На земле великое не тщетно!
Будь тверд, а здесь тебе не изменят!
О милый! здесь не будет безответно
Ничто, ничто — ни мысль, ни вздох, ни взгляд!

Не унывай! Минувшее с тобою!
Незрима я, но в мире мы одном.
Будь верен мне прекрасною душою
Сверши один начатое вдвоем!

Адельгейды не стало, но Антиох не двигался с места, сидел неподвижно и тогда только опомнился, ко-

гда Шреккенфельд подошел к нему и что-то начал ему говорить. Антиох увидел, что все разошлись, зала опустела, и он был один. Схватив шляпу свою, он поспешил за другими. Шреккенфельд провожал его самым учтивым образом и просил посещать впредь, потому что он видит в нем особенного знатока и любителя изящных искусств.

«Вид его, какая-то злобная радость, какая-то демонская улыбка были мне так отвратительны, что я дал себе слово никогда не бывать у него более. Но вообрази, что вчера я опять очутился у него; меня влекла какая-то невидимая, непостижимая сила. Адельгейда декламировала песню Миньоны...[1] Но она была выше, лучше, чудеснее Миньоны...»

Антиох закрыл лицо руками и бросился в кресла.

«Антиох! — сказал я,— ты любишь Адельгейду!»

«Нет!»

«Что же это, если не любовь? — S'amor non è, che dunque è quel ch'io sento?» — спросил я его. Не знаю сам, как пришел мне тогда в голову этот стих.

«Прочь с твоим водяным Петраркою! — вскричал нетерпеливо Антиох,— прочь с стихами! Я проклинаю их: они сводят с ума добрых людей! Не от них ли столько народа, который был бы порядочным народом, сделалось никуда не годными повесами! И не глупость ли заниматься детским подбором созвучных слов, нанизывать их вместе на нитку одной идеи и этой погремушкой дурачить потом других, заставлять их верить, что будто в этой игре колокольчиков заключено что-то небесное, божественное! Дурацкую шапку, дурацкую шапку Гете, Шиллеру, всем, всем поэтам за то, что они заводят нас в глупые положения, разлучают с делом, с настоящею жизнию, расстраивают нас своими нелепыми мечтами!..»

Он замолчал, ходил большими шагами и вдруг спросил меня очень спокойно: «А согласись, что ты не слыхивал, кто бы читал стихи лучше Адельгейды? Не

[1] Ты знал ли край, где негой дышит лес,
Златой лимон горит во мгле древес,
И ветерок край неба холодит,
И тихо мирт, и гордо лавр стоит?
Туда, туда!

Жуковский

показывает ли это глубокое сочувствие поэзии, это непостижимое слияние восторга музыки и стихов — души, некогда бывшей великою, ангелом, пери — не знаю чем! И вот она: человек, ничтожный, как другие, — делает кникс за десять рублей, которые ты даешь ей, чтобы она, и с отцом своим, не издохла с голоду! Ха, ха, ха!»

Я молчал. И что́ мог я сказать? Какой ответ поставить против этой бури, разразившейся над пороховым арсеналом?

«Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen
Nach jenem stillen ernsten Geisterreich», —

произнес глухо Антиох. Видно было, что с усилием хотел он обновить на лице своем обыкновенную, презрительную, насмешливую улыбку, но забыл, каких мускулов движением производилась она! «Право, Леонид! — сказал он, — я не люблю Адельгейды; но только меня мучит мысль: где видел я ее? Где? где? Не помню, не знаю; но я ее видал — и это время было самое счастливое в моей жизни, блаженное время! Мне кажется, что если бы я мог только его припомнить, то одного этого воспоминания было бы достаточно для счастия всей остальной моей жизни! Леонид! не говорил ли, не сказывал ли я тебе чего-нибудь подобного о какой-нибудь девушке?»

Я трепетал и не мог выговорить ни одного слова. Увы! я предчувствовал, я предвидел гибель, в которую упал Антиох; я припоминал слова его: «умрем, моя мечта, умрем, да и на что нам жить?» Я соображал его мечтательный характер, его мистическое направление; трепетал, что он попался теперь в руки шарлатана, всеми поступками доказывавшего, что для него нет ни бога, ни греха; в руки бродящей певицы, походной комедиянтки, которая само кокетство, может быть, почитает одним из средств пропитания...

В этот вечер явился я к Шреккенфельду, предчувствуя, что Антиох будет там; я желал рассмотреть все, поклявшись быть ангелом-хранителем моего друга. Шреккенфельд был ко мне отменно ласков. «Придет ли сегодня ваш почтенный приятель, г. Антиох? —

спросил он меня.— Мы приготовляем репетицию Бетховеновой симфонии, а он, кажется, отличный знаток и любитель. Пойдемте к нам — здесь нам помешают».

В зале сидело за карточными столами несколько игроков. Мы прошли через несколько комнат и очутились в круглой внутренней комнате. Тут несколько человек разбирали партитуру и готовили инструменты. Адельгейда держала в руках ноты, задрожала, услышав голос отца, и с трепетом обернулась к нам; при взгляде на меня глубокий вздох вылетел из ее груди и, казалось, облегчил ее. С изумлением прочитал я в глазах Адельгейды чувство: «Слава богу! Это не он!»

До сих пор я видал ее только на сцене, в виде певицы, актрисы; теперь в первый раз увидел я ее по-домашнему, в простом, хотя и щегольском, капоте. Она показалась мне так мила, в движениях ее была такая простота, в глазах ее светилась такая чистая невинность, что мне стало совестно самого себя, когда я вспомнил все оскорбительные подозрения, какими обременял Адельгейду.

Все вокруг меня показывало довольство. Серебряный чайный сервиз стоял на столике. Адельгейда подошла к нему и начала приготовлять чай. Вместо разговорчивой, блестящей певицы я видел молчаливую, тихую девушку, задумчивую, грустную. Шреккенфельд, усадив меня, начал веселый разговор. Адельгейда молчала.

«Неужели, милое, чудное создание! — думал я, смотря на нее, пока говорил Шреккенфельд,— неужели тебе суждено погубить моего друга, моего пламенного Антиоха? Между вами нет и не может быть никаких отношений: ты не для него, и он не для тебя! Вижу, что ты сама чувствуешь униженное, презрительное свое состояние — иначе отчего же грусть твоя? Отчего это глубокое выражение печали на лице твоем?»

Тут явился слуга и сказал что-то Шреккенфельду. Он поспешно вышел, и через минуту мы снова услышали голос его: он возвращался — с ним был Антиох.

Задумчив, мрачен вошел Антиох. Презрение, негодование изображалось на лице его, и он был ужасно бледен. Взгляд на Адельгейду не произвел в нем никакой радости. Я заметил только одно выражение, как

будто Антиох, с трудом, совершенно рассеянный, что-то старался вспомнить. Еще внимательней глядел я на Адельгейду: она затрепетала, услышав голос, увидев самого Антиоха; щеки ее вспыхнули, но как будто от усиленной скорби, от негодования; глаза ее поднялись к небу, опустились в землю, и украдкою отерла она слезу.

Началась репетиция симфонии. Антиох молча сел в стороне; Шреккенфельд давал какие-то знаки Адельгейде; взор Адельгейды обратился к отцу, и в глазах отца сверкнули тогда ужасающий гнев, злость. Поспешно вышла Адельгейда. Шреккенфельд мгновенно переменил свою удивительно подвижную физиогномию в самую ласковую, сел подле меня и занял меня разговором, как будто не обращая вовсе внимания на Антиоха. Но мы замолчали, когда безумные звуки Бетховена начали развиваться в неизобразимых аккордах. Среди глубокой тишины всех вдруг услышал я позади себя восклицание Антиоха: «Это она!» С беспокойством оборачиваюсь и вижу, что Адельгейда сидит подле Антиоха и глядит на него, испуганная, с изумлением. Рука ее была в руке Антиоха. Радость, восторг, изумление, небесное чувство поэзии изображались в глазах его; жаркий румянец горел на его щеках. «Это она — я узнал ее!» — говорил Антиох, забыв, что тут есть посторонние свидетели, что тут отец Адельгейды. Она вырвала у него свою руку, отступила на два шага и поспешно ушла из комнаты.

К счастию, музыканты, занятые разбираньем трудных нот, ничего не слыхали и не заметили. Антиох смотрел на дверь комнаты, куда удалилась Адельгейда, смотрел, как исступленный, как будто все сосредоточилось для него в один взгляд, в один образ — этот образ на одно мгновение пролетел мимо его и унес у него жизнь, и ум, и все идеи его, все понятия, все прошедшее и будущее! Волнение души его видно было в неизобразимой борьбе физиогномии, где радость сменялась печалью, восторг унынием, уверенность недоумением. Всю историю сердца человеческого прочитал бы на лице Антиоха тот, кто умел бы схватить все изменявшиеся быстро переходы страстей, обхвативших

его навеки пламенным вихрем... Человек и жизнь исчезли в нем: в раскаленном взоре, каким преследовал он удалившуюся Адельгейду, я видел взор больного горячкою в ту непостижимую минуту, когда тихая минута кончины укрощает телесные терзания болезни, оставляя всю силу духа, возбужденного натянутыми нервами, и неприметно сливает идею вечного покоя смерти с полнотою деятельности, обхватившею телесный и душевный мир — жизнию.

Какое-то тихое, радостное спокойствие, какое-то чувство наслаждения осталось наконец на лице и означилось во всех движениях Антиоха. Когда подошел к нему я, он крепко пожал мне руку и сказал: «Пойдем! Я поделюсь с тобой тем, чего никто из людей не знает и что я узнал теперь!» Когда приблизился к нему Шреккенфельд, улыбка детского лукавства мелькнула на устах Антиоха.

«Позвольте нам идти теперь, любезный г-н Шреккенфельд,— сказал он.— Могу ли надеяться, что вы не запретите мне иногда приходить, разделять ваши семейственные наслаждения?»

Шреккенфельд улыбнулся адски и, казалось, проницал в душу Антиоха своими ядовитыми глазами. «Г-н Антиох! — отвечал он,— дверь моего дома никогда не будет затворена для любителя и знатока искусств, вам подобного; тем более, если к этому присовокупляется личное уважение к его особе».

«Посетите и вы меня, любезный г-н Шреккенфельд. Буду вам сердечно рад: вот мой адрес!»

Антиох подал ему карточку и дружески пожал ему руку.

Мы вышли и почти бежали по улице. Иногда Антиох останавливался, складывал руки и медленно произносил: «Адельгейда, Адельгейда!», как будто это имя надобно было ему вдыхать в себя с воздухом, чтобы поддержать свое бытие. Я хотел начать разговор, но Антиох схватывал меня за руку, влек с собою и говорил: «Молчи, ради бога, молчи!.. Адельгейда, Адельгейда!»

Мы пришли на квартиру его, и Антиох запер за собою двери.

Я думал, что он задушит меня в своих объятиях: так крепко обнял он меня. Он прыгал, как дитя, он смеял-

ся, хохотал, и слезы текли между тем по щекам его, горящим неестественным жаром. «О Леонид! я нашел ее, нашел мою половину души! Загадка жизни моей, загадка жизни человечества найдена мною,— воскликнул наконец Антиох.— Итак, судьба испытывала, терзала, готовила меня, чтобы я разрешил наконец миру, сказал людям тайну их бытия? Теперь я все понимаю: и тоску, и грусть мою, и мучения души! И как терзался я, приближаясь к разрешению тайны высочайшего блаженства, к бытию цельною, полною душою! Мой взор проникает теперь всю природу: я понимаю, что, делая повсюду уделом человека борьбу духа и вещества, величайшее блаженство наше — смерть — судьба нарочно отделяет от нас разными ничтожными призраками и привидениями — болезнью, страхом, недоумением! И человек трепещет этих бумажных духов «Фрейшица», этой дикой музыки смертного стона, которой привыкло пугаться его воображение. Мы бродим по земле, ища родного душе и сердцу, бродим, не находим, падаем от усталости; тогда судьба начинает жалеть об нас, укачивает нас в вечной люльке, в гробе, и мы засыпаем навсегда, как дети, утомленные беганьем, но перед сном трепещущие всего — и шороха мыши, и стука в окошко, пока все не забудется в игривых фантазиях сна крепкого! Заметь, как искусно скрыта от нас прежняя жизнь наша, наша Urleben, а также и жизнь будущая. Если бы мы знали прежнее наше бытие — мы не могли бы существовать здесь, на бедной нашей земле: мы не остались бы на ней, если бы знали и понимали, чтó последует и за земною жизнью! Какой же я выродок, за что я так уродливо счастлив, что все это суждено мне понять здесь? Ах, Леонид! Придумай мне слова, составь мне азбуку, которыми мог бы я высказать, написать людям все то, чему хотел бы я научить их, что хотел бы рассказать им. Я узнал из этого языка только одно слово: *Адельгейда!* Понимаешь ли ты это слово? Я произнесу его тебе тихо, медленно: *А-дель-гейда!* Слышишь ли, чувствуешь ли ты, что оно соединяет в себя и звуки музыки, и слова поэзии, и цветы живописи, и формы ваяния, и все мечты души, и все думы сердца? О таких словах думает душа, их ищет она, их слышит и не понимает она в реве морских волн, в грохоте грома, в пении соловья, в песнях поэтов! У поэтов, впро-

чем, и трудно понять их: ведь они безумцы. Спроси об этом философов, и они растолкуют тебе, что поэты говорят без сознания и потому думают украсить такие слова гремушками, мишурою слов, рифм, всякого вздора. А природа выговаривает такие слова так ясно, громко, просто... Виновата ли она, что мы глухи? Возьми мое слово: *Адельгейда,* произнеси его — какая симфония сравнится с ним? Напиши, вырежь его — какое изваяние осмелишься подле него поставить? Тут все — мысль, душа, жизнь, весь мир...»

После того Антиох опять начинал говорить: «Адельгейда, Адельгейда!» Наконец идеи его приняли какое-то определенное, систематическое направление, и он стройно начал рассказывать мне, где и когда видал он Адельгейду.

Как жаль, что я не могу пересказать вам рассказа Антиохова! Помните ли вы слова Байрона:

> Her thoughts
> Were combinations of disjointed things,
> And forms impalpable and unperceived
> Of others' sight, familiar were to hers,
> And this the world calls phrensy...[1]

Да, свет называет это безумием! Но что мудрость наша? Игра в жмурки! Счастлив, кто хоть за что-нибудь, хоть за сумасшествие ухватился...

«Ты видел, что я признавал с первого взгляда в Адельгейде что-то знакомое, родное, что я старался вспомнить только: где знал я Адельгейду? Когда ныне пришел я к Шреккенфельду, когда он взял меня за руку и повел в свою комнату, мне казалось, что смертельные судороги гнули все мои кости и смерть была в груди моей. Вы занялись музыкою; я не заметил, как явилась и когда села подле меня Адельгейда. Она сказала мне только одно слово: назвала только меня по имени; она только поглядела на меня, и — забывши все, я схватил в восторге ее руку! Это слово, этот взгляд, это прикосновение пояснили мне в одно мгновение все, и я невольно воскликнул: «Это она!» Все прежнее об-

[1] Ее мысли были уравнением несоединяемых предметов, и образы, недоступные и незаметные зрению других, были знакомы ей — а люди называют это безумием...

новилось в душе моей и сделалось мне совершенно ясно.

Леонид! только одного боюсь я: этот Шреккенфельд, эта Адельгейда — не мечты ли какие-нибудь, созданные моим воображением? Ты гораздо хладнокровнее меня, хоть я и сам себя очень хорошо понимаю и чувствую,— скажи: точно ли она и он существуют? Кажется, я не ошибаюсь: я видел, что она глядит, говорит, я чувствовал, взяв ее за руку, что теплая кровь льется в руке Адельгейды: стало быть, она не привидение! И Шреккенфельд также говорит, ходит; он обещал быть у меня...»

«Что говоришь ты, Антиох!»

«То, что если он и она привидения, оптический обман... Да, заметь, что я всегда вижу их только вечером... Если это мечта, и я — сумасшедший!» — Он сильно ударил себя в голову.

«О, мой Антиох! К несчастью — это не мечта. Шреккенфельд и Адельгейда существуют!»

«К несчастию? Почему ж «к несчастью», если они существуют? Я только требую удостоверения твоего в этом; остального ни ты, ни он, ни она не знаете. Шреккенфельд думает, что она дочь его... ха, ха, ха! Какая дочь: это моя душа — половина моей души...

Видишь ли что: есть страна в мире, чудная страна — ее называют Италия. Там все великое, все прекрасное. Столько изящных созданий там, что нет другого равного количества в целом мире. Вообрази, что там был человек, умевший изобразить земными красками, цветною нашею грязью преображенного бога; там есть храм, купол которого кажется небом — так велик он,— и этот купол висит над людьми целые века, ничем не поддержанный; там есть такое изображение красоты в мертвом мраморе, что перед ним красота самой очаровательной девы кажется безобразием; там есть города, утонувшие в виноградниках, миртовых, лавровых, померанцевых лесах; другие построены на волнах моря; другие на городах, зарытых веками в землю. Там был народ, некогда обладавший целым миром; Север, Запад и Восток стремились к нему туда, боролись там с ним — следы борьбы их остались в исполинских развалинах, обломками которых бросали они друг в друга, и эти обломки величиной с наши го-

рода. Там смерть и жизнь слиты вместе, вместе любовь и мука, слезы и пение; горы горят, в море отражаются волшебные невидимые сады и замки фей; на горячем пепле огнедышащих гор растет багряный виноград, зреет маслина; обломки столицы мира окружают тлетворные болота... Там родился Наполеон; оттуда шагнул он на трон полусвета; оттуда, надышавшись в последний раз вдохновенного воздуха, пошел он еще испытывать игру судеб... там видел я Адельгейду! Помню эту хижину в цветнике на берегу моря — этот голубой, опаловый цвет вечернего неба — эту песню рыбака... Адельгейда стояла на дикой скале; арфа была подле нее; она пела — я слушал, не видал, как скрылась она, и на другой день напрасно искал я безвестной моей певицы. Но она была тогда не то, что теперь, и в ее образе я не узнал тогда души моей...

Может быть, она и не заметила встречи со мною, так как, может быть, она забыла тот мир, где прежде, до Италии, мы жили некогда с нею, нераздельным, одним бытием. А! что́ Италия перед тем миром? Муравейник, на котором расцвела бедная незабудка! Этот мир... немного описаний его найдешь ты у Шекспира, еще у Мильтона... еще у Тасса... еще у Фирдуси... Но все это так мало и недостаточно! На Востоке есть предание, что очарованные райские сады не скрылись с земли, но только сделались невидимы, переносятся с места на место, и на одно мгновение делаются иногда видимыми человеку. Есть минуты, когда в них можно войти, подышать их райскими ароматами, напиться жемчужной живой воды их, отведать их золотистого винограда; но они тотчас исчезают, переносятся за тысячи верст, и счастливец остается или на голой палящей степи Ю<га>, или на холодных льдах Севера... В этой-то невидимой стране было существо, которое теперь бродит двойственно по земле под именем Антиоха и Адельгейды. Шреккенфельд, мнимый отец половины меня,— злой демон: он очаровал Адельгейду и дал ей отдельное бытие. Мысль неба хранилась в моей половине души, но это был луч, упавший в бездну мрака. Адельгейда, заклятая демоном, ничего не поймет, пока я не скажу ей волшебного слова: «Люблю тебя, Адельгейда, половина души моей!» Когда она сознает себя и скажет мне: «Люблю тебя, Антиох!» — то-

гда очарование разрушится. Предчувствую, что Шрекенфельд понимает опасность, что он употребит все волшебство свое... Но я обману его, я украду у него самого себя. Мне стоит только напомнить Адельгейде о давно минувшем мире, о нездешнем бытии нашем... тогда... но я не могу предвидеть будущего: ведь я человек и потому не знаю, как свершится таинственный союз души моей: останемся ли мы в мире или, говоря по-человечески, умрем — ведь мне все равно... Но мне надобно подумать, поступить осторожно... перечитаю еще раз Бема и Шведенборга. У них это описано довольно подробно и хорошо. Между тем сам демон мой дается в хитрый обман мой: я притворюсь ему другом, и потом...»

Бродячие глаза Антиоха устремились на черкесский кинжал, висевший у него на стене. Он содрогнулся, подумал. «О, нет! не то, совсем не то!» — сказал он, сел за столик свой и придвинул к себе деловые бумаги.

«Надобно поработать немного, Леонид,— промолвил он, улыбаясь,— завтра день доклада директору. Прощай!»

Я пробыл еще несколько времени у Антиоха. Он не говорил ничего более об Адельгейде, спокойно занимался бумагами, подробно рассказывал мне содержание их и то, что хочет писать.

Несколько раз щупал я себе голову, идя домой, где меня ожидали также дела. Слова друга моего были слова безумца; но их стройность, порядок идей и то, что он превосходно говорил мне потом о своих обыкновенных занятиях, совершенно смешивали меня. «Что же это такое? — спрашивал я сам себя.— Неужели в самом деле это закрывали жрецы Изиды непроницаемым покровом, и только безумие есть истинное проявление мудрости и откровение тайн бытия?»

Утром встретился я с Антиохом в нашем департаменте. Кто не знал случившегося с ним, тот не заметил бы ничего. Только глаза его были ярче обыкновенного; но он говорил прекрасно, умно, был даже по-прежнему колок и насмешлив. Однако ж кто-то нечаянно произнес имя Адельгейды — об ней часто говаривали наши

товарищи. Антиох вздрогнул, как будто от электрического удара; но он смолчал, и улыбка оживила лицо его.

На другой день, утром, пришел я к Антиоху. Слуга его отворил мне дверь.

«Не велено никого пускать»,— сказал он.

«И меня?»

«Об вас ничего не сказано».

«Пусти же».

«Но у барина сидит какой-то не известный мне господин, и они занимаются чем-то».

Антиох услышал мой голос, вышел сам и ввел меня в свой кабинет. Там сидел у него Шреккенфельд.

Друг мой казался спокойным, тихим, любезным, ласковым; на столе разложены были разные мистические сочинения, расставлены были разные физические инструменты. Давая мне знаки глазами, чтобы я молчал, Антиох просил Шреккенфельда продолжать. Шреккенфельд казался совершенно занятым предметом разговора, как будто не замечавшим ни знаков Антиоха, ни моего присутствия. Они говорили по-итальянски. Худо разумея этот язык, я, однако ж, понимал, что речь идет о том, что всегда увлекало моего друга. Таинственная феософия, семь Зефиротов, Соломонов храм, слияние душ, высшее созерцание неба и земли — вот что изъяснял Шреккенфельд, по временам рассказывая о разных любопытных опытах и приложениях. Наконец он дружески раскланялся и ушел.

«Ну, все идет, как надобно! — сказал мне тогда Антиох с радостною усмешкою.— Представь себе, что этот демон решительно поддается мне! Теперь надобно только поступать осторожнее. Помаленьку начну я изъяснять Адельгейде скрытую от нее тайну до-бытия земного. Нечего делать! Таков человек — падший ангел, в земной своей оболочке,— что ему надобно начинать говорить обыкновенными идеями. Яркий свет, вдруг блеснувший, может ослепить человека. И на солнце глядят сквозь закопченное стекло, а что свет солнца нашего против того света! Стану увлекать Адельгейду словами любви, стану говорить ей о дружбе, о неземных идеалах земного счастия, как будто счастье может быть на этой земле! Мне забавно, что я буду казаться влюбленным, тихонько вздыхать, шептать:

«Милая Адельгейда! Люблю тебя!» Буду произносить эти слова, как произносят их все люди, не понимая волшебного их смысла, не зная даже того голоса, каким надобно произносить их. «Люблю!» — говорить Адельгейде: «люблю», когда я только ею и существую, и если бы не было Адельгейды, так все равно, что одна половина меня ходила бы по петербургским тротуарам! Вот забавный был бы гуляка, Леонид! Вообрази себе половину туловища и головы, с одной рукой, с одной ногой, и этот урод прогуливается, смотрит одним глазом, нюхает табак, жмет руку знакомым. А между тем такие душевные уроды ходят вокруг нас, живут, говорят и никто не смеется над ними...»

Спрашиваю: что мог я сделать? Чем пособить моему другу? Я терялся в размышлениях. Лечить можно только то, на что известны лекарства; но целый мир лекарей до сих пор не умеет лечить душевных болезней. Бедные медики заботятся только о теле и производят опыты только над трупами телесными. Антиох был болен душою; но кто мог когда-нибудь разанатомировать труп души и сказать, чем можно пособить в той или другой душевной болезни? Меня утешала еще несколько мысль, что я не видел перемены ни в здоровье, ни в действиях Антиоха. Напротив, он расцвел, казалось, новым здоровьем, был весел, мил, одевался щегольски. Но он решительно не стал ходить никуда, кроме Шреккенфельда. Там, запершись с этим шарлатаном, просиживал он целые часы, или дома также запирался с ним. Они казались друзьями совершенными. Я старался оправдывать друга моего перед знакомыми, спрашивавшими меня, что сделалось с Антиохом. Но скоро все заметили, что Антиох беспрестанно бывает у Шреккенфельда; начали говорить об этом; клубок сплетней навертывался более и более, перекатываясь от одного к другому, и сделался наконец таким огромным шаром, что задавил всякую осторожность. Как обрадовались все те, кого уничтожал прежде Антиох своим превосходством! Какими острыми бритвами явились язычки самых милых девушек! Каждая из них говорила о привязанности Антиоха к бродяге, актрисе,

певице, бог знает к чему, и в словах каждой ясно видна была мысль: «Видите ли, он презирал мною потому, что недостоин был моей любви и хорошо понимал это!» А друзья, друзья? Как верно сказал наш поэт, что

...нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью повторенной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг, с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил стократ ошибкой...

О, друзья платили за злословие женщин и девушек самою чистою монетою: и легкое словцо мимоходом, и двусмысленная улыбка при имени Антиоха, и полный рассказ, с прибавкою злобных догадок, и отвратительное сожаление об Антиохе как о человеке весьма умном и любезном,— все было истощено и всего казалось еще мало за прежнее! Мужчины были рады мстить ему даже и за то одно, что, по всем слухам, Антиох успел, в чем не успевали другие,—успел очаровать красавицу и обмануть бдительность отца ее.

Бедная Адельгейда! как об ней говорили... не стану повторять вам! Все, что только можно сказать о самой развратной кокетке, было сказано...

———

Между тем я был свидетелем обхождения этой странной девушки с Антиохом. Он сделался у отца ее домашним человеком, часто обедал, просиживал вечера у Шреккенфельда, не скрывал любви, потому что нарочно не хотел скрывать ее, следуя постоянно своему плану. Как самая хитрая кокетка, он изучал, казалось, каждое свое движение, каждое слово, каждый взор свой. Весь ум, вся сила души Антиоха были устремлены к тому, чтобы высказать, дать выразуметь Адельгейде самую пламенную страсть. Сам Антиох думал, что он нарочно изучает все возможные тайны искусства любить. Он точно изучал даже все свои движения, когда расставался с Адельгейдою, обдумывал, что и как ему говорить; но, видя Адельгейду, он забывал все это, и вся душа его переливалась в его слова, взоры, движе-

ния — начинал ли он говорить Адельгейде о страданиях отверженной любви; исчислял ли бессонные ночи; описывал ли жгучесть слез, проливаемых безнадежною любовью в минуты всеобщего спокойствия; изображал ли страшные сны, терзающие нас за думы любви; говорил ли о нестерпимом чувстве ревности ко всему, что приближается к предмету страсти нашей, ко всему — даже к ветерку, который вьется в ее локоне; описывал ли, напротив, блаженство взаимной страсти, одушевление всего в глазах любимого и любящего человека; сказывал ли о высоте, на которую возносит человека любовь, уничтожающая все препятствия состояний, званий, лет, времени, все земные отношения — все это было пламенем, громом и молниею, Шекспировым сонетом, песнею испанской девы! Адельгейда слушала, молчала, говорила мало, потупляла глаза или неподвижно устремляла их на Антиоха, дышала тяжело, тяжко, бурно, как говорит Пушкин. Рука ее трепетала в руке Антиоховой. Иногда она казалась вся переселившеюся в его речи, жила только слухом. Иногда казалась бесчувственною, непонимающею или нарочно перебивала его слова, нарочно заводила самый обыкновенный разговор и старалась увлечь, удержать при этом разговоре Антиоха, как будто боясь его слов о любви, о поэзии. Среди самого жаркого разговора она вдруг уходила и когда являлась после того, глаза ее были красны от слез. Шреккенфельд, по-видимому, ничего не замечал, был всегда весел, любезен. Между тем постепенно многое переменилось в его общественных отношениях.

Антиох, вскоре после сближения своего с ним, стал говорить, как отвратительна для него девушка, показывающая дарования свои публике; как тяжело сердцу человека, который полюбил бы такую девушку, видеть, что она делит бесценные наслаждения сердца и души с бездушною толпою. Шреккенфельд сначала заспорил, говорил, что человек, который скрывает данные ему от бога дарования, не передает их в полноте людям, лишает людей высоких наслаждений изящными искусствами, похож на недостойного скупца. «В одном человеке должно сосредоточить весь мир»,— говорил Антиох. «Эгоизм непростительный!» — возражал Шреккенфельд. Но вскоре он согласился, и Адельгей-

да перестала играть на арфе, петь и декламировать перед публикою. Она даже не являлась на публичных вечерах Шреккенфельда и оставалась в своей комнате, где нередко в это время были с нею Антиох, я, двое-трое знакомых или старая угрюмая женщина, называвшаяся ее теткою. Адельгейда пела, играла для нас одних, но ее игра и пение были тогда бездушны, холодны и изредка только одушевлялись прежним восторгом. Она потеряла душу — можно б было сказать, смотря на нее теперь и знавши ее прежде. Впрочем, Адельгейда и не могла по-прежнему петь и декламировать даже потому, что в здоровье ее произошла видимая перемена: грудь ее стала слаба, дыхание тяжело. С тех пор, как Адельгейда перестала показываться, вечера Шреккенфельда потеряли свою прелесть; вообще стали менее ходить к нему и потому, что клевета неустанно чернила самого Шреккенфельда и все, что его окружало, что он делал. На частные вечера являлись по-прежнему, но здесь оказалась перемена. Множество шалунов стало собираться у Шреккенфельда; карточная игра усилилась. Часто происходили сцены буйные, и только хладнокровие, необыкновенный ум и ловкость хозяина могли удерживать дальнейшую огласку и неприятные последствия.

«М<илостивый> г<осударь>,— сказал мне однажды директор нашего департамента, когда я пришел к нему с бумагами,— вы человек молодой, и хорошая репутация должна быть для вас драгоценна. Бывши другом вашего почтенного родителя, я долгом почитаю предостеречь вас и заметить вам, что до меня дошли весьма неприятные для вас слухи».

Я смотрел на него с изумлением.

«Мне сказали, что вы пристрастились к карточной игре и посещаете общества, не делающие чести вашему имени».

Негодование взволновало мою кровь.

«Я замечаю также, что вы не по-прежнему прилежны и слишком увлекаетесь знакомством человека, который может вам повредить,— г-на Антиоха».

Его знакомство могло бесчестить меня!!

«Г-н Антиох человек богатый,— хладнокровно продолжал мой директор,— он может неглижировать службою и своими поступками, хотя и ему, если вы друг его, должны бы вы посоветовать быть осторожнее».

Директор хорошо знал характер Антиоха: один взгляд заставил бы его немедленно подать в отставку, а у директора была дочь, перезрелая Агнеса, лет двадцати семи; он был притом по уши в долгах, и две тысячи душ Антиоха были такою для него рекомендацией, что милости сыпались на него и заставляли товарищей завистничать.

Я хотел оправдаться, хотел говорить смело, но покраснел и смешался, когда директор упомянул имя Шреккенфельда и Адельгейды.

«Говорят, что вы бываете у этого шарлатана и что г-н Антиох находится даже в связи с его развратною дочерью. Кто не шалил смолода? И даже кто не перебесится, того добродетель ненадежна; но всему, сударь, есть мера. Знайте, что этот человек, этот бродяга Шреккенфельд, становится подозрительным и полиция уже присматривает за ним и за теми, кто к нему ходит. Говорят, что он обыгрывает наверную, а, может быть, что-нибудь и хуже — остерегитесь...»

Нам помешали продолжить разговор. С отчаянием увидел я, куда бедственная судьба завлекла Антиоха. Мог ли я теперь оставить его? Как мог я раскрыть ему глаза? Как разуверить порядочных людей, что самая гнусная клевета очерняла Адельгейду? Как можно было растолковать им состояние души Антиоха? В то же время я не мог скрыть от самого себя, что слухи об отвратительном Шреккенфельде могли быть, хотя отчасти, правдивы и что этот человек был способен на всякое злое дело. Я не знал тогда, что бедствие было уже близко от моего несчастного друга — ближе, нежели я воображал...

В число людей избранных, друзей своего дома, Шреккенфельд допустил одного дерзкого молодого офицера, богача и шалуна отъявленного. Антиох, я, несколько артистов, этот офицер и двое друзей его обе-

дали у Шреккенфельда. За столом лилось шампанское. Офицер пил много; Антиох не пил почти ничего: он сидел подле Адельгейды и разговаривал тихо, с особенным жаром среди общего шумного разговора. Адельгейда слушала его, вздыхала, краснела — в первый раз Антиох говорил ей тогда о своей безумной идее бытия прежде жизни... Видно было, что уединенный разговор их и заметное волнение Адельгейды приводили офицера в большую досаду. Еще за столом он позволил себе несколько дерзостей на счет Адельгейды. После обеда он предложил банк, бросил кучу денег товарищу и сам старался сесть подле Адельгейды. Холодность ее совершенно взбесила его; он позволил себе несколько таких слов, от которых Адельгейда с ужасом вскочила и отбежала от него. Шреккенфельд принужден был вступиться. Наглец сделался груб. Шреккенфельд сам разгорячился и забыл себя.

«Бродяга, шарлатан! — вскричал офицер,— я прибью тебя, и, в доказательство, как мало уважаю я тебя, Адельгейда должна поцеловать меня сейчас или ты получишь пощечину...» — Он бросился к Адельгейде. Она помертвела и лишилась чувств...

«Прочь!» — вскричал Антиох, молчавший до сих пор и не принимавший никакого участия в ссоре. Сильною рукою оттолкнул он дерзкого. В неистовстве бросился на него офицер.

«Понимаешь ли ты, подьячий, что должно тебе делать?» — вскричал он.

«Не знаю, понимаешь ли ты, пьяный буян, что ты делаешь»,— отвечал горячо Антиох.

«Пистолет или шпагу? Выбирай немедленно»,— кричал офицер.

Мы хотели утишить ссору, но все было тщетно. Соперники не слушали, не хотели ни на минуту откладывать. С отчаянием в душе, я должен был сопровождать моего друга за город. Дорогою Антиох не говорил со мною ни слова, и тогда только, как стали заряжать пистолеты, он обнял меня и сказал: «Теперь я понимаю еще более загадку жизни: Адельгейда умрет, и смерть соединит меня с нею. Прости, радуйся счастью друга твоего!»

Весело стал он на барьер, еще раз пожал мне руку... Состояние мое было неизъяснимо... Раздался вы-

стрел — пистолет выпал из руки Антиоха. Я бросился к нему. «Странно! Ничего,— сказал он мне,— я ранен только!»

Соперник его лежал на земле: пуля изломала у него ребро; у Антиоха пуля только скользнула по плечу.

Уже вечером возвратились мы в Петербург. Антиох казался глубоко задумчивым и опять ничего не говорил со мною. Я не имел сил сказать ни одного слова. Антиох велел ехать прямо к Шреккенфельду. Я хотел возражать. «Жизнь и смерть моя соединились в этой минуте! — воскликнул Антиох.— Или не препятствуй мне, или оставь, оставь меня, Леонид! Оставь навсегда!»

«Ни за что в мире!» — вскричал я.

Шреккенфельда не было дома. Не было никого из гостей — комнаты были пусты, темны. «Я хочу видеть девицу Шреккенфельд!» — сказал Антиох слуге, оттолкнул его и пошел прямо к ней. Она сидела в круглой комнате, на диване, бледная, едва живая. Старуха тетка была подле нее. Едва отворилась дверь, едва вошел Антиох — «Мой Антиох!» — вскричала Адельгейда и бросилась в его объятия.

Да, величайшая радость походит на сумасшествие. Два несчастные существа эти сжали друг друга в объятиях, и продолжительный поцелуй, в котором отозвались все их чувства, вся жизнь, запечатлел роковой союз их...

Антиох сел на диван, Адельгейда подле него, голова ее склонилась на плечо Антиоха, глаза ее устремлены были на его глаза, рука ее обвилась вокруг его шеи... Он начал говорить — Адельгейда также говорила ему, задыхаясь, спеша, как будто стараясь поскорее высказать все и боясь, что после того потеряет навсегда дар слова...

Я сидел в стороне, смотрел на них, и — я не охотник плакать, но слезы невольно капали из глаз моих...

Не думайте, что они объясняли друг другу свои чувства — нет! Это были беспорядочные, отрывистые слова: память прошедшего, блаженство настоящего, мечта будущего, пламень сердца, жар души, тихий поцелуй, тяжкий вздох — мысль в образах поэтических, слово в фантастических идеях, гармонические звуки неба,

жизнь земная в высоких идеалах! Что говаривал мне прежде Антиох о своих безумных мечтах, казалось льдом перед тем, что он говорил теперь Адельгейде... Адельгейда была очаровательна в неестественном состоянии души своей; Антиох одушевлялся чем-то неземным...

Растворилась дверь, и вошел Шреккенфельд. С пронзительным воплем бросилась Адельгейда от Антиоха, и лицо ее, горевшее огнем любви и восторга, побледнело, как будто она увидела перед собою демона адского... Глаза ее сделались дики...

Шреккенфельд казался смущенным, расстроенным. Антиох глядел на него неподвижными глазами, не вставая с своего места.

«М<илостивый> г<осударь>,— сказал Шреккенфельд,— кажется, дальнейшие объяснения не нужны? Честь моей дочери погибла, и несчастная история обесславит ее, погубит меня, если вы не сделаете того, к чему долг обязывает каждого благородного человека».

«Что говоришь ты, воплощенный демон? — воскликнул Антиох, быстро вскакивая с дивана.— Чтó сказал ты?»

«Адельгейду никто не мог поцеловать, кроме ее жениха. Вы вошли в дом мой под видом друга; я позволил вам вступить в домашний круг мой: вы поступили бесчестно, вы употребили во зло мою доверенность, вы — обольстили дочь мою!»

Антиох затрепетал.

«Мерзавец! — вскричал он.— Злой дух, демон тьмы! Выбирай лучше слова свои! Или ты думаешь, что я не могу уже этою рукою навести пистолет на твою голову и разбить гадкую форму, под которою обладаешь ты половиною души моей!»

«Вы должны жениться на моей дочери, м<илостивый> г<осударь>, или — вы бесчестный обольститель!»

«Жениться,— сказал тихо Антиох, водя пальцем по лбу своему,— жениться! Когда она сам я? Какая досада: я совсем не понимаю теперь этого слова! Какое бишь его значение? Heiraten[1], se marier...[2] Но ведь нельзя же-

[1] Жениться *(нем.)*.

[2] Жениться *(фр.)*.

ниться даже на родной сестре, не только на собственной душе своей?.. А, злой дух! Ты смеешься надо мною!»

Шреккенфельд изумился словам Антиоха.

«Говорите яснее, м<илостивый> г<осударь>,— сказал он.— Я отдаю вам руку моей Адельгейды, или вы будете иметь дело с раздраженным отцом: я природный дворянин немецкий».

«Адельгейда будет моя! Ты отдаешь ее мне?» — поспешно спросил Антиох.

Шреккенфельд горестно улыбнулся.

«Разумеется, если она будет вашею женою, то она будет вашею, и я отдам ее вам... И что мне теперь в ней: спасение ее зависит от вас... я погубил ее и себя...»

«Ты выдумываешь какие-то условия — я их не понимаю; но это последний обман твой. Если с твоего согласия она будет моею, тогда власть твоя уничтожится. Руку, Адельгейда! Скорее ко мне, Адельгейда, моя Адельгейда!»

Шреккенфельд хотел взять Адельгейду за руку и подвести к Антиоху. Но с смертельным ужасом отступила Адельгейда.

«Позорный обман! — вскричала она.— Никогда!»

Она упала на колени перед Антиохом.

«Прости меня, мой Антиох! прости, ради бога, прости! Я недостойна тебя, великодушный, благородный человек, существо неземное! Этот старик увлекал тебя, я принуждена была участвовать в его обмане. Он хотел купить твое богатство мною, хотел завлечь тебя, велел притвориться в тебя влюбленною... Душа моя противилась этому. Сколько плакала я, сколько раз хотела открыть тебе весь умысел... Но ты сам сделался моим ангелом-хранителем: ты растолковал мне тайну бытия моего, ты сказал мне, что я тебе родная, что я половина души — я твоя, твоя, Антиох! Никто, ничто не разлучит нас. Если это называется любовью, я люблю тебя, Антиох, люблю, как никогда не любили, никогда не умели любить на земле! Прости, что я не понимала этого прежде и повиновалась этому человеку...»

Адельгейда дико засмеялась: «Он уверил меня, что он отец мой!»

Изумление заставило всех нас безмолвствовать. Но последние слова Адельгейды взбесили Шреккенфельда.

«Дочь недостойная!» — вскричал он.

С воплем бросилась Адельгейда в объятия Антиоха.

«Спаси, спаси меня, мой Антиох! Я думала, что этот демон отец мой и повиновалась ему! Зачем не сказал ты мне прежде тайны моего бытия!»

«Моя Адельгейда!»

«Твоя, твоя, не правда ли? Навек твоя? А не дочь его, этого демона? Разве ты не знаешь, что если ты назовешь меня твоею, то я никогда уже не разлучусь с тобою? Мы переселимся туда, где нет людей, где нет ни Адельгейд, ни Антиохов, ни Шреккенфельдов — где я и ты одно, где дышат любовью, где жизнь есть одна радость, где нет ни земли, ни неба — мой Антиох! Dahin, dahin (туда, туда)!»

Она лишилась чувств, крепко обхвативши руками Антиоха. Спешили помочь ей, но тщетно: сильный обморок продолжался. В отчаянии бегал тогда по комнате Шреккенфельд. Антиох сидел подле дивана, на который положили бесчувственную Адельгейду; он не говорил ни слова, держал ее руку, ждал, казалось, когда откроет она глаза, но ждал тихо, спокойно, не оказывая ни малейшего знака ужаса — только бледен был он не человечески...

Явился лекарь, за которым посылал Шреккенфельд, и объявил, что у Адельгейды сильная горячка. Она открыла глаза, с ужасом поднялась и вскричала: «Где Антиох! Неужели он ушел!»

«Он здесь, Адельгейда!» — отвечал ей Антиох.

Радость блеснула в глазах Адельгейды.

«Не уходи, не уходи от меня, мой Антиох, жизнь, душа моя — больше, нежели жизнь, — жизнь проходит, любовь остается!»

Глаза ее устремились тогда на Шреккенфельда.

«Ах! и он здесь, здесь! Ради бога, спаси меня, Антиох!» — закричала она и снова лишилась чувств.

Лекарь советовал Шреккенфельду удалиться. В отчаянии вышел он в другую комнату. Я последовал за

ним. Мне жалко стало этого несчастного человека, он не был уже коварным, отвратительным шарлатаном — он был отец, он плакал!

Что сказать вам? Я видел раздирающее душу зрелище: я видел разрушение Адельгейды, прекрасного, юного, цветущего создания! Подле смертного одра ее сидел мой друг — в явном помешательстве, о котором я не мог более сомневаться. Три дня и три ночи сидел он, почти не отходя от Адельгейды, забываясь сном на минуту.

Я терял милых мне людей, видал страшно умирающих. Да, всегда —

...страшно зреть.
Как силится преодолеть
Смерть человека...

Но никогда не видал и не увижу я ничего подобного, столь терзательного, мучительного! Смертельная, злая горячка нисколько не безобразила Адельгейды: щеки ее пылали, глаза горели, распущенные ее волосы вились локонами по плечам и груди; но со второго дня лекарь объявил, что смерть ее неизбежна. Она не отпускала от себя Антиоха, и если он уходил на минуту, она начинала жаловаться, плакать, как дитя, и Антиох был беспрерывно подле нее. В первые сутки Адельгейда беспрестанно говорила с ним о его безумных мечтах, о своей смерти, как о своем вечном союзе с половиною души своей, улыбалась, смеялась, в бреду мечтались ей прелестные сады, где ветерок навевает любовь, где слезы радости освежают землю, где думы счастия спеют в гроздах, где поцелуи летают певистыми птичками... Иногда она снова начинала просить прощения, что участвовала в обманах отца своего. Тогда раскрывала она всю прелестную, ангельскую свою душу и слезами смывала с нее легкую тень вины своей...

Шреккенфельд сидел в другой комнате, слышал все, не смел появиться перед дочерью и терзался муками совести и раскаяния. Он сам рассказал мне все. Историю его, дополненную разными сведениями, от других собранными, я объясню вам коротко.

Он был сын немецкого дворянина и получил порядочное состояние. Страсть к ученью отвлекла его от

всех других занятий, а безрассудная мысль о философском камне превратила все его состояние в газ и дым. Ловкий, оборотливый, он вошел тогда в тайные немецкие общества, был участником всех тугендбундов и принужден был бежать в Италию. Там женился он и родилась его Адельгейда. Связи его по тайным обществам доставляли ему средства жить, но карточная игра разоряла его. Крайность заставила его сделаться карточным обманщиком, ссора с одним сильным итальянским вельможею заставила бежать из Италии. Он решился сделаться фокусником и проехал Европу, показывая опыты фантасмагории, химии, физики. Пользуясь необыкновенными дарованиями дочери, которую любил страстно, он заставлял играть и петь свою Адельгейду перед публикою; но связи и долги отвсюду гнали его. Приехав в Петербург, он начал свои обыкновенные представления, заметил Антиоха и угадал страсть его к Адельгейде. Мысль, что дочь его может сделаться женою богатого русского дворянина, заставила Шреккенфельда употребить для сего всю хитрость, весь ум свой. Он особенно воспользовался мистическим расположением Антиохова характера и заставлял Адельгейду оказывать ему внимание, не понимая, что благородная душа Адельгейды ужасалась притворства, что Адельгейда любила уже Антиоха страстно, но чувствовала, как низко, недостойно ее завлекать Антиоха в сети. Она пренебрегала своим униженным званием, и отчаяние более всего вдохновляло ее, когда она должна была выходить перед публикою. Тем выше становился в глазах ее Антиох, великодушный, полусумасшедший от любви к ней, пламенный. Ей хотелось показать ему все несходство положений их, она страшилась мысли быть его женою, думая, что унизит, обесславит собою Антиоха. В этом отношении, в сознании высокой души своей и низкого звания, несчастного положения отца своего и себя самой, Адельгейда точно была светлый ангел, очарованный демоном, которому не может он противиться. Видя дерзость, вольное обхождение мужчин, приходивших к ее отцу, положение которого становилось более и более затруднительно, она трепетала ежеминутно. И каким ангелом-спасителем показался ей Антиох, когда он так смело заступился за нее! Когда она опомнилась, узнала, что Ан-

тиох поехал драться с наглецом, оскорбившим ее, тогда узнала она и всю меру любви своей к нему. «Я не переживу его! Боже! спаси Антиоха и возьми жизнь мою!» — говорила она, стоя на коленях и молясь со слезами. Антиох явился; радость ее при виде Антиоха перешла в совершенное безумие... Жить после сего было невозможно...

На другие сутки Адельгейда говорила мало, но беспрестанно глядела на Антиоха, держала руку его, радостно улыбалась, шептала ему: «Dahin, dahin! Скоро исполнится все, что говорил ты мне... Ведь ты меня простил? Ведь ты мой, Антиох?»

Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude![1]

Это были последние слова. Адельгейда казалась после сего забывшеюся. Утром, на четвертый день, Шреккенфельд привлачился к ее постели и, стоя на коленях, обливался слезами. Адельгейда вдруг открыла глаза — обратила взор на отца своего, улыбнулась — взглянула на Антиоха, хотела приподняться, хотела протянуть к нему руку — и не могла — от Антиоха подняла она глаза свои к небу и закрыла их навсегда...

Состояние Антиоха во все это время можно было назвать бесчувственным. Когда, отлучаясь на короткое время из жилища Шреккенфельда, я возвращался в него, постоянно находил я Антиоха неподвижного близ постели Адельгейды; когда, разделяя с ним ночь, засыпал я беспокойным сном и потом просыпался — при слабом мерцании лампы я видел Антиоха, неподвижно облокотившегося на изголовье Адельгейды, считавшего каждое ее дыхание. Казалось, что для него ничего более не существовало, и он сам не чувствовал ни себя, ни других. Когда подходил я к нему, желая уговорить его успокоиться, он пожимал мою руку, давал мне знак молчать и снова обращался к Адельгейде. Никто, кроме его, не подавал ей ни питья, ни лекарства: ни от кого более не брала она их. Понимал ли Антиох ужас своего положения? Не думаю. Он не показывал ни малейшего знака чувства и говорил мало, даже и с самою Адельгейдою, как будто боясь пропустить какое-нибудь

[1] Минутна скорбь — блаженство бесконечно!
Перевод Жуковского

слово ее, как будто наслушиваясь ее речей, наглядываясь на нее. По мере того, однако ж, как Адельгейда ослабевала, Антиох более и более начинал понимать себя, складывал руки, судорожно сжимал их, обращал взоры к небу и потом ко мне, как будто спрашивал меня: «Что это такое, друг мой?»

Адельгейды уже не было, а он все еще держал руку ее. «Отчего так озябла она? Посмотрите: рука ее холодна, как лед! Она вся побледнела!» — сказал наконец Антиох и в испуге вскочил с своего места. «Леонид! Посмотри, что с нею сделалось? Посмотри!» — говорил он, толкая меня к Адельгейде. Я обнял его со слезами. Антиох не плакал, хотя глаза его были красные и опухшие. «Она не может умереть, — говорил он, — не может, потому что я еще жив. Что же это такое? Какой это странный перелом болезни? Эти доктора ничего не понимают в психологических явлениях!» Он схватил себя за волосы и вырвал клок их, не чувствуя, что делает. В бессилии склонился он ко мне, глаза его закрылись — он был бесчувствен и неподвижен. Признаюсь: я желал ему смерти... Но смерть надолго забыла Антиоха.

Бесчувственного перенесли мы его в карету и на руках вынесли из кареты в его квартиру. Доктор, призванный мною, сказал, что это не обморок, что Антиох спит... Не помню, как-то по-латыни назвал он этот сон. Только это не был сон смерти. Ровно через сутки Антиох проснулся, бодро встал, надел свой всегдашний шлафрок, казался задумчивым, глубоко размышляющим, поглядел на меня, но не оказал ни печали, ни радости, никакого признака жизни. Более часа ходил он по комнате, когда пришел доктор и хотел посмотреть его пульс. Молча Антиох подал ему руку, но не сказал ни слова. Я стал говорить с ним. Он смотрел на меня, не сказал ничего и опять начал ходить. Потом сел он за свой столик, вынул десть бумаги, взял перо, приготовился писать, остановился, долго думал, бросил перо, взял карандаш, тер лоб свой с нетерпением. Так прошло несколько часов. «Завтра!» — сказал наконец

Антиох задумчиво, бережно спрятал бумагу, лег на диван свой и скоро заснул.

Пришедши на другой день, я застал Антиоха уже вставшим. Он опять сидел за своим столиком, держал перо, думал, не отвечал на мои слова. Лекарь, приставленный к нему, сказал мне, что всю ночь Антиох проспал каким-то бесчувственным сном.

Целый день просидел он опять за своим столиком и иногда только прохаживался по комнате, думая, молча, потом опять садился и думал. Видно было, что он слышит слова и видит людей, потому что, когда мы стали просить его принять лекарство, он с досадою и поспешно выпил его. Когда я говорил ему о прежней дружбе нашей, он поглядел на меня, но не сказал ни слова, как будто человек, ничего не понимающий.

Так прошла целая неделя, и в Антиохе не было никакой перемены. Он вставал поутру, не обращая ни на что внимания, спешил сесть за столик свой и целый день просиживал за ним, держа то перо, то карандаш, задумывался, думал, печально прохаживаясь иногда по комнате, и вечером ложился спать, с глубоким вздохом произнося: «Ну, завтра!» Более не слыхали мы от него ни слова.

Доктора, которым рассказывал я всю историю Антиоха, решили, что он в сумасшествии особенного рода, что лечить его нельзя обыкновенным образом, что обыкновенное лечение сумасшедших может только привести его в яростное безумие и что можно надеяться исцеления его со временем. Сон Антиоха всегда походил на бесчувствие смерти: его нельзя было разбудить; ел и пил он весьма мало, и то, когда принуждали его. Я нанял для него квартиру на даче, в прелестном местоположении. Ночью, во время сна, мы перевезли туда Антиоха. Он проснулся поутру, изумился, казалось, обгляделся кругом, но, увидев свой столик, бумагу, перо и карандаш, поспешно сел к столику и просидел целый день задумавшись, как будто стараясь что-то вспомнить. Вечером он лег по обыкновению спать и, проснувшись на другой день, опять просидел его за своим столиком. Идти никуда не хотел он, иногда

с бесчувствием взглядывал в окно и тотчас отворачивался. Однажды веселое общество гуляющих проходило под окном его — он поглядел и отворотился к своему столику.

Мы испытывали лечить его музыкою. Когда раздались звуки арфы, Антиох бросил перо, стал слушать, но через минуту с негодованием покачал головою, опять взял перо и не оказывал более никакого внимания.

Так прошло несколько месяцев. Мне надобно было ехать из Петербурга; я препоручил Антиоха честному старику, который согласился жить с ним, и доктору, который хотел навещать его каждый день.

Поездка моя была довольно продолжительна. Отправленный по казенной надобности, я не мог иметь постоянной переписки. Меня уведомляли по временам, что Антиох остается в прежнем положении, но — не все сказывали мне!

Во время отлучки моей приехали в Петербург родственники Антиоха и взяли в управление все имение его. Бесчеловечные перевезли Антиоха в дом умалишенных. Честный старик, приставленный мною, умолил их взять для него особую комнату и перевез туда его столик, бумагу, перо и карандаш. Антиох проснулся на другой день в доме сумасшедших и, не обращая ни на что внимания, сел думать за свой столик.

Великий боже! Я увидел Антиоха и ужаснулся. Он вовсе не узнал меня, взглянул на меня, когда я пришел, и снова принялся думать. Он был худ; кожа присохла к костям его; длинная борода выросла у него в это время, и голова его была почти седая. Только глаза, все еще блиставшие, хотя желтые, показывали тень прежнего Антиоха. Прежний прекрасный шлафрок его, висевший лоскутьями, был надет на него.

Я не хотел переводить Антиоха никуда: не все ли для него было равно, в доме ли сумасшедших был бы он или у меня, потому что уж ничто не могло ни занять, ни развлечь его, а нескромное любопытство лю-

дей могло быть для него тягостнее в моей квартире. На лето хотел я опять нанять дачу и туда взять с собою Антиоха. Доктора давно отказались лечить его.

Ровно через год после смерти Адельгейды, в одно прекрасное утро, когда солнце ярко осветило комнату Антиоха, он проснулся, поспешно сел за свой столик и вдруг радостно закричал: «Это она, это она!» Приставник бросился к нему. Указывая на слово, написанное на бумаге, Антиох с восторгом говорил ему: «Видишь ли, видишь ли? Это она, это душа моя — я вспомнил, вспомнил таинственное слово, которым могу призвать ее к себе... Мне кажется, я долго думал об этом слове! Неужели ты его не знаешь? Теперь к ней, к ней!»

Приставник обрадовался, услышав первый раз Антиоха говорящего. Он думал, что Антиох излечился. Антиох долго, с наслаждением смотрел на написанное им слово, горячо поцеловал его, хотел встать и вдруг свалился опять на стул свой; голова его склонилась на бумагу; перо выпало из рук его...

Я прибежал опрометью, когда меня известили, и застал Антиоха еще в этом положении. Но он был уже холоден. На бумаге было написано его рукою: *Адельгейда.*

Леонид кончил свой рассказ. Мы все молчали. Читатели припомнят, что в числе слушателей были две девушки, одна веселая, с черными глазами, другая задумчивая, с голубыми. Веселая встала и пошла прочь, сказав:

— Он все выдумал. Так не любят, и что за радость так любить?

Леонид не отвечал ей ни слова, но, когда мы, мужчины, составили кружок и стали рассуждать всякий по-своему, Леонид придвинулся к другой девушке. Она плакала, закрывая глаза платком. Леонид взял ее руку и поцеловал украдкою, не говоря ни слова.

— Вы не выдумали? — сказала она, вдруг взглянув на Леонида.

— И не думал,— отвечал Леонид.— Неужели и вы скажете: *так не любят?*

— О нет! Верю, чувствую, что так можно любить, но... Леонид?

— Если иначе не смеешь любить, скажи, милый друг: не блаженство ли безумие Антиоха и смерть Адельгейды?

Я не вслушался в ответ и не знаю, что́ отвечали Леониду.

[1833]

Константин АКСАКОВ

Облако

Фантастическая повесть

Был жаркий полдень, листок не шевелился, ветер подувал то с той, то с другой стороны. Десятилетний Лотарий выходил медленно из леса: он набегался и наигрался вдоволь; в руке у него был маленький детский лук и деревянные стрелки; пот катился с его хорошенького, разрумянившегося личика, оттененного светло-русыми кудрями. Ему оставалось пройти еще целое поле; с каждым шагом ступал он неохотнее и, наконец, бросился усталый на траву отдохнуть немного; его шапочка свалилась с него, и волосы рассыпались. Лотарий поднял глаза кверху, где ослепительным блеском сиял над ним безоблачный голубой свод с своим вечным светилом. Скоро эта однообразная лазурь утомила взоры дитяти, и он, поворотившись на бок, стал без всякой цели смотреть сквозь траву, его скрывавшую. Вдруг ему показалось, что на небе явилось что-то; он поднял опять глаза: легкое облачко неприметно неслось по небу. Лотарий устремил на него свои взоры. Какое хорошенькое облачко! Как отрадно показалось оно ему в пустыне неба. Облачко достигло до средины и как будто остановилось над мальчиком, потом опять медленно продолжало свой путь. Лотарий с сожалением смотрел, как облачко спускалось все ниже, ниже, коснулось земли, как бы опять остановилось на минуту и, наконец, исчезло на краю горизонта: в небе опять стало пусто, но Лотарий все смотрел вверх; он ждал, не появится ли опять милое облачко. В самом деле, через несколько минут (благодаря переменному ветру) показалось оно опять на краю неба. Сердце

у Лотария сильно забилось: облачко сделалось уж как бы ему знакомым; он не спускал с него глаз; ему даже показалось, что оно имеет человеческий образ, и он еще более стал всматриваться; облако подвигалось так тихо, как будто не хотело сходить с неба, и, казалось, медлило; наш Лотарий долго еще любовался им; но другое большое облако поднялось, настигло легкое облачко, закрыло его собою и исчезло вместе с ним на противоположном конце неба. Крик досады вырвался у Лотария. «Проклятое облако,— сказал он,— теперь бог знает, увижу ли я опять свое милое облачко!» Он пролежал еще четверть часа, не сводя глаз с неба, но оно все по-прежнему было чисто и безоблачно. Лотарий, наконец, встал и пошел домой, в большой досаде. Следующий день был так же хорош. Лотарий пошел на то же место, в тот же час, но ничего не видал. Вечером, перед закатом солнца, сидел он над прудом; широкое пространство вод отражало в себе чистое небо, и наш ребенок задумался. Вдруг он видит в воде, что что-то несется по небу. Каково ж было его удивление и радость, когда он узнал свое милое облачко: он не смел отворотить глаз от пруда, он боялся потерять мгновение. Облачко плыло. Лотарий еще явственнее различал в нем вид человека, ему показалось теперь, что видит в нем прекрасный женский образ: распущенные волосы, струящаяся одежда... и все более и более вглядывался Лотарий, и все явственнее и явственнее становилось его виднее. Облачко достигло конца горизонта и исчезло. Лотарий ждал, не вернется ли оно, но облачко не возвращалось. На третий день он почти не сходил со двора и беспрестанно взглядывал на небо, боясь пропустить свое облачко; и он увидел его около полудня; оно было уже на середине; за ним неслось другое облако, которое Лотарий также узнал и погрозил ему кулачком своим. Теперь он совершенно уверился, что любимое его облачко имело женский образ; другое облако также он разглядел лучше; оно имело вид грозного старика с длинною бородою, с нахмуренными бровями; и то и другое облако, достигнув края небес, скрылось одно за другим. Лотарий ждал следующий день, третий, четвертый, но облако не появлялось, и он совершенно отчаялся его видеть и перестал ждать его. Прекрасная погода все продолжалась.

В одну жаркую ночь все семейство Грюненфельдов (это была фамилия Лотария) легло спать на дворе, маленький Лотарий также; скоро заснул он, и, когда нечаянно проснулся, то луна была высоко, и Лотарий, к удивлению и радости, увидел опять свое облачко, а за ним большое облако. Свет луны сквозь тонкий мрак ночи придавал еще более жизни фантастическим образам на небе. Промчались, пронеслись облака, спустились к земле и исчезли. Лотарий все еще смотрел на небо. Вдруг в роще послышался ему шум; он взглянул: между деревьев мелькала и приближалась стройная бледная девушка, в которой он сейчас узнал свое облачко, а за нею высокий мрачный старик, точь-в-точь как то большое облако, виденное им опять на небе. Они вышли из рощи и тихо между собою разговаривали.

— Пусти меня,— говорила девушка-облако,— я хочу взглянуть на этого милого невинного ребенка, хочу поцеловать его.

— Дитя мое,— говорит старик,— оставь людей в покое; не сходи на землю; не оставляй лазурного пространства прекрасной твоей родины. Человек рад будет лишить тебя твоего счастья.

— Нет, нет, отец мой; не променяю я небо на землю; здесь мне трудно ходить, на каждом шагу спотыкаюсь я, а там привольно летать и носиться на крыльях ветра; но мне нравится это милое дитя: мне хочется хоть раз подойти к нему, потрепать его русые кудри; ты видишь — он спит. Потом мы опять унесемся с тобою на небо и, если хочешь, умчимся далеко, далеко отсюда... О, позволь мне, я обещаю долго не прилетать в страну эту, сколько угодно тебе, позволь мне взглянуть вблизи на это милое дитя.

— Изволь,— сказал старик,— но мы сейчас же оставим эту страну.

Лотарий между тем догадался и закрыл глаза. Он чувствовал, как девушка подошла к нему, наклонилась над ним, потрепала слегка его розовые щеки, разбросала кудри и поцеловала его в лоб, сказав: «Милое дитя». Потом он слышал, как она удалялась; открыв глаза, он видел, как между ветвями еще мелькали девушка и старик и, наконец, исчезли в глубине рощи. Через минуту легкое облачко, а за ним большое облако промчались по небу над головою Лотария. Ему показа-

лось, что девушка заметила, что он не спит, и с улыбкой кивнула ему головою.)

Всю ночь не мог заснуть Лотарий. Ему становилось грустно до слез, что он долго, а может быть, и никогда не увидит своей милой девушки-облака.

Весь следующий день он был очень задумчив.

Вот происшествие из младенческой жизни Лотария; оно сделало на него сильное впечатление; он не рассказывал его никому, как потому, что ему никто бы не поверил, так и потому, что воспоминание об этом было для него сокровищем, которого он ни с кем разделить не хотел. В самом деле, долго девушка-облако жила в его памяти, была его любимою мечтою, услаждала, освежала его душу. Но потом время, науки, университет, свет, в который вступил он, светские развлечения мало-помалу изгладили из сердца его память чудесного происшествия детских лет, и двадцатилетний Лотарий уж не мог и вспомнить о нем.

* * *

В освещенной большой зале гремела музыка и вертелись одна за одною легкие пары. Лотарий, одетый по последней моде, был там, и, казалось, весь предался удовольствию бала. Кто бы узнал в нем того десятилетнего мальчика с розовенькими щечками и веселым личиком! Его кудри, небрежно вившиеся по плечам, были теперь острижены модным парикмахером; его прежде полную открытую шейку сжимал щегольской галстук, во всем костюме видна была изысканность, на лице, прежде беззаботном и прекрасном, проглядывала смешная суетность и тщеславие, какое-то глупое самодовольство. Лотарий Грюненфельд считался одним из первых fashionables.

Танцуя в кадрили, он нечаянно обернулся и увидал, что какая-то девушка, бледная, высокая и прекрасная, которой он прежде не замечал, задумчиво и печально на него смотрит. Это польстило его самолюбию; но не желая показать, что обращает внимание, он небрежно оборотился к своей даме и начал с нею один из тех пустых разговоров, которые вы беспрестанно слышите и сами ведете на бале. Но через несколько времени он

взглянул опять и опять встретил грустный, задумчивый взор; на сей раз взор этот смутил Лотария, и он опустил глаза; в душе зашевелилось, поднялось что-то, какой-то упрек, какое-то обвинение. Не зная почему — только Лотарий чувствовал себя неправым, чувствовал стыд в душе своей, и в самом деле вся его жизнь, пустая, бесцветная, во всей отвратительной наготе своей представилась перед ним в эту минуту; в сердце его не было ни одного чувства, в голове ни одной мысли, и Грюненфельд невольно покраснел. В ту же минуту он опомнился и, видя, что забыл долг учтивого кавалера, начал поскорее разговор с своей дамой, но на этот раз очень вяло и неловко; кое-как окончил он кадриль и отошел к стороне; теперь уж он, за колонной, не сводил глаз с незнакомой девушки. Лицо ее казалось ему знакомым; он как будто видал ее где-то. Спустя несколько времени вышла какая-то женщина из гостиной.

— Эльвира,— сказала она,— пора, поедем.

Бледная девушка встала и собралась ехать. Проходя мимо Лотария, бросила она на него такой печальный, такой глубокий взгляд, что он долго не мог прийти в себя от смущения и тотчас уехал.

Приехав домой, Грюненфельд долго не мог заснуть. Прежний Лотарий проснулся в нем. Боже мой! Боже мой! Сколько верований и надежд погубил он понапрасну, сколько сил истощил даром! Упреки толпою вставали в душе его. Лотарий чувствовал твердую решимость переменить жизнь свою и вознаградить все потерянное время. Он чувствовал в себе возрождающиеся силы, бодрость духа; сердце его тихо наполнилось чувством, ум мыслью, на душе светлело. Лотарий не мог, однако же, в эту минуту не обратить внимания на причину его внезапной внутренней перемены — он вспомнил бледную девушку.

— О, это верно ангел-хранитель мой,— сказал он сам себе,— его желания будут моим законом, пусть будет она моим путеводителем в этой жизни.

И он лег с твердым намерением отыскать и узнать эту чудную девушку, которой считал себя столько обязанным. На другой день поутру поехал он к г-же Н., у которой на бале был он вчера. Она была дома. Лота-

рий заговорил о вчерашнем вечере и спросил, наконец, кто эта дама, приехавшая вчера с бледной девушкой.

— Это старинная моя знакомая; она приехала недавно из Англии; ее фамилия Линденбаум.

— А эта молодая девушка ее родственница?

— Я мало имею о ней сведений; но, сколько мне известно, это ее воспитанница.

— Она часто бывает у вас?

— Она нынче будет у меня обедать, но что вы ею так интересуетесь?

— Лицо вашей приятельницы мне чрезвычайно знакомо, и я хотел узнать о ней поподробнее.

В это время слуга доложил о приезде г-жи Линденбаум. Лотарий вздрогнул, и через минуту вошла г-жа Линденбаум с Эльвирой.

Робко взглянул молодой человек на девушку; но она не приметила, здороваясь в это время с хозяйкой. Подняв глаза через несколько времени, он встретил взор Эльвиры, которая смотрела на него приветнее и не так грустно, как вчера.

Г-жа Н. просила Лотария остаться обедать; он охотно согласился. До обеда Лотарий много говорил с г-жой Линденбаум. Эльвира слушала и иногда взглядывала на него; Лотарий не смел заговорить с нею; Эльвира молчала и только однажды, когда Лотарий говорил про первые лета жизни, говорил, что может быть, младенчество имеет таинственное, для нас теперь потерянное значение, она тихо сказала: «Да». Это «да» отозвалось в сердце Грюненфельда; он взглянул на Эльвиру и замолчал; до обеда он ничего почти не говорил.

После обеда г-жа Линденбаум скоро уехала; она звала Лотария к себе, и он был вне себя от радости. Он так скоро воспользовался ее предложением, как только позволяло приличие. Когда он вошел, Эльвира была в зале. Она молча поклонилась ему; но Лотарию показалось, что на лице ее выразилась скрываемая радость. Она пошла в гостиную. Г-жа Линденбаум сидела и вышивала в пяльцах. После обыкновенных приветствий скоро начался одушевленный разговор, в котором и Эльвира принимала участие. Г-жа Линденбаум просила ее спеть. Она села за фортепиано, лицо ее оживилось невыразимым чувством, все существо, казалось,

искало выражения и нашло его себе в песне. Она запела:

Смотри: там в царственном покое,
Восстав далеко от земли,
Сияет небо голубое
В недосягаемой дали.
Смотри: как быстро друг за другом
Летят и мчатся облака;
Там, под небесным полукругом
Их жизнь привольна и легка.
Пускай красою блещет тоже
Разнообразная земля,
Но им всего, всего дороже
Свои лазурные поля.
А ты к себе мольбой напрасной
Счастливцев неба не мани —
Не бросят родины прекрасной,
Нет, не сойдут к тебе они.
Но если в их груди эфирной
Забьется к смертному любовь,
Они покинут край свой мирный,
Приют беспечных облаков,
И, жизнию дыша единой,
Бросают милую семью,
И в край далекий, на чужбину
Они несут любовь свою.

Странное случилось с душою Лотария, когда Эльвира пропела эту песню. Какое-то воспоминание поднялось в душе его; какое-то событие детства силилось выбиться из-под тумана времени. Он хотел что-то вспомнить и не мог. С нами часто это бывает; с кем этого не случалось? Кто знает, это, может быть, воспоминание такого же происшествия, но которое мы забыли и вспомнить не можем, может быть, и у каждого из нас в детстве была девушка-облако или что-нибудь подобное (но в том только разница, что потом мы почти никогда не можем это вспомнить). Я, по крайней мере, твердо уверен, что я летал в детстве. Но обратимся к Лотарию; он долго простоял в таком положении, и когда очнулся, Эльвиры уже не было. Грюненфельд пошел в гостиную, где сидела г-жа Линденбаум.

— Как я виноват,— начал Лотарий,— я так заслушался, так забылся, что и не видел, как ушла девица Эльвира.

— Да, она ушла.

— Мне очень жаль, что я не успел поблагодарить ее: она так прекрасно поет.

— Да, она хорошо поет; она ушла теперь.

— Куда же?

— Не знаю; только ее нет дома.

Такое спокойное незнание показалось странным Лотарию. Он хотел непременно узнать от г-жи Линденбаум все подробности об Эльвире и для того решился открыться ей, какое впечатление произвела на него ее воспитанница.

— Вот третий раз, как я ее вижу,— говорил Лотарий,— но мне кажется, что я ее видел где-то, что я ее давно знаю, что наши души близки друг другу. Да, да, мы давно знакомы; я люблю ее; она теперь все для меня.

Г-жа Линденбаум улыбнулась, посмотрела на Лотария и потом сказала:

— Год тому назад, когда я была еще в Англии, в один прекрасный летний вечер пришел ко мне какой-то старик, и с ним прекрасная девушка. «Вот вам моя дочь,— сказал он,— я вам ее поручаю. Вы не будете раскаиваться, если ее возьмете. Чего вам нужно? Денег? Извольте, назначьте какую угодно плату; но с условием: пусть она живет у вас, пусть в обществе известна будет под именем вашей воспитанницы; но она не обязана давать вам никакого отчета; она может отлучаться куда ей угодно, не спросясь и не сказываясь; словом, она должна иметь полную свободу».

Меня это поразило, предложение было так странно, лицо девушки было так интересно, что я согласилась тотчас и отказалась от платы. Мне очень хотелось узнать причины, заставлявшие отца отдавать дитя свое в чужие руки. Я спросила его. «Это не ваше дело»,— отвечал он мне и ушел.

В этот вечер Эльвира очень плакала, вздыхала, смотрела на небо. На другой день вышла ко мне с лицом спокойным, на котором выражалась твердая решимость. Она была так же сурова, как и отец ее, но мало-помалу мы сблизились, и теперь, кажется, она меня очень любит. Часто уходит она бог знает куда, иногда надолго. Однажды я старалась у ней выведать; но она напомнила мне слова отца своего («Это не ваше дело»). Вот все, что я могу вам сказать.

Грюненфельд ничего не отвечал, потом поблагодарил г-жу Линденбаум и уехал. Остальное время дня он был задумчив и не говорил ни слова; он не мог также понять, почему, когда он бывал с Эльвирой, ему вспомнились лета детства, и он не мог удержаться, чтоб не говорить об них.

Каждый день Лотарий стал посещать г-жу Линденбаум. Каждый день более и более знакомился он с Эльвирой и чем более сближался с ней, тем непонятнее, загадочнее и прелестнее была она для него.

Так шли дни, недели; Лотарий оставил свет и его законы, и его нигде не было видно. Понимаете ли вы это удовольствие — вырваться из круга людей, где жили вы внешнею жизнью, пренебречь их толками и досадою и предпочесть самолюбивому обществу одно существо, которое вы встретили здесь на земле, которое понимает вас и которому вы посвятили все свое время? Понимаете ли вы удовольствие улыбаться на шутки и насмешки друзей ваших, с которыми вы перестали видеться и которых случайно встретили, думать про себя, смеясь над ними: «Они не знают, как я счастлив!» Лотарий был в таком положении; Лотарий был счастлив.

Вдруг он получает письмо от матери, в котором она зовет его непременно в деревню по одному важному семейственному делу.

Как быть? Должно расстаться; но Лотарий пишет письмо к матери, пишет другое, и вот г-жа Н. получает письмо от г-жи Грюненфельд, в котором она благодарит г-жу Линденбаум за ласки, оказанные ее сыну, и просит ее вместе с нею приехать на лето к ним в деревню. Г-жа Н. едет к своей приятельнице; та, по обыкновению, совестится, наконец соглашается, и все дело уладилось.

Лотарий поскакал вперед на другой день к матери, в радостной надежде встретить там скоро Эльвиру. Давно уже не был он на своей родине; уж год, как мать его уехала из города. Он приехал вечером. Зачем описывать радость матери и сына после годовой разлуки? Есть минуты, есть сцены, которые даже оскорбляют чувство в описании. Итак, сын увидался с матерью. После Лотарий бросился бегать по дорожкам цветника, по аллее сада, побежал в березовую рощу, взглянул

на липы, которые закрывали уже ветвями своими окна его детской комнатки, сбегал на реку — везде, везде воспоминания; он перенесся совершенно в лета младенчества, и ему стало грустно. На другой день пошли хлопоты. Лотарий занимался с утра до вечера и в продолжение недели все окончил. Он признался во всем матери, и она почти с равным нетерпением дожидалась своих гостей. Лотарий вышел вечером на дорогу; она вилась, вилась перед ним и исчезала в долине. Когда вы смотрите на нее и когда она, пустая, тянется вдоль перед вами, то она возбуждает какое-то чувство ожидания, вам становится грустно; перед вами ложится широкий след людей, и никого на нем не видно. Вы смотрите туда, где дорога сливается с небом, вы знаете, что она еще все тянется, туда, далеко, далеко, душа стремится за нею и летит, летит, а перед ней все даль туманная, — это чудное состояние, какое-то безотчетное, безграничное стремление, какое-то Sehnsucht; но, верно, вы сами испытали все это, когда в деревне вечером выходили на дорогу и смотрели вдаль.

Грустно было Лотарию, но сюда примешивалось еще и другое чувство — он смотрел и ждал: не едут ли; но нет, одна пустая дорога лежала перед ним, и ничто не оживляло ее. Лотарий задумался, опустил голову и, подняв ее через несколько времени, увидел что-то черное вдали по дороге. С минуту он еще стоял в недоумении, еще не смея верить своей надежде; но, наконец, точно разглядел дорожный экипаж, но еще все боясь ошибиться, Лотарий своротил с дороги и пошел по полю навстречу, удерживая свои шаги, как бы прогуливаясь. Но вот экипаж поравнялся с ним, и Лотарий узнал Эльвиру. Все вышли и пешком продолжали путь. Когда пришли в дом, мать Лотария была в саду; услыхав, она почти побежала навстречу, обняла г-жу Н., которая познакомила ее с г-жою Линденбаум, и поцеловала от души Эльвиру, которая сама кинулась к ней как к родной.

Ну, что и говорить, Лотарий был счастлив, счастлив и счастлив. Эльвира с такою радостью бегала по всем дорожкам и тропинкам, так внимательно осматривала все места, как будто бы сама родилась и провела здесь свое детство. Лотарий изумлялся. На другой день рано

поутру попросила она Грюненфельда повести ее в поле, которое было недалеко от села, и к которому примыкал большой лес. Лотарий не мог не спросить ее: не была ли она когда-нибудь прежде в этой деревне; но она, смешавшись, отвечала, что она здесь в первый раз и что, проезжая мимо, она любовалась этим местом, потому-то и хочет его видеть. Лотарий смолчал, хотя ответ не удовлетворил его, и повел в поле Эльвиру. Едва пришла она туда, начала, как дитя, бегать и рвать цветы. Ее русые волосы прыгали по плечам ее. Она была так рада, рада детски.

— Лотарий,— сказала она вдруг, остановившись и устремив на него взгляд свой.

— Ах, Эльвира,— вскричал тот, закрывши глаза рукою и как бы очнувшись,— я вспомнил что-то, вспомнил... постойте, постойте!..

— Ничего, ничего,— вскричала Эльвира,— поскорее пойдемте домой.

Час от часу более всею душою предавался Лотарий Эльвире, и все загадочнее становились для него ее поступки. Грюненфельд решился однажды спросить ее, кто она.

— Зачем вам? — гордо отвечала Эльвира.— Вы видите меня, я перед вами, чего ж вам больше? Вы еще хотите знать: кто я? Зачем знать бедняку, откуда падает луч солнца, который согревает его? Небо послало счастье человеку — наслаждайся и благодари.

* * *

Лотарий чувствовал, что любит Эльвиру, и не желал никакого ответного чувства. Он любил и благоговел перед нею, он уничтожался в своем чувстве; это был для него целый мир; он хотел только, чтобы он мог всегда любить ее, а не того, чтобы она его любила. Так дикий падает на колени перед солнцем, погружаясь в чувство благоговения и любви, и с благодарностию принимает лучи, которые оно льет на него, не замечая. (Здесь довольно собственного чувства, взаимности здесь и помину нет.)

* * *

В одну ночь с вечера не спалось ему, и он вышел в сад прогуляться. Луна накидывала веер дымчатых лучей своих на всю природу. Ее неверный блеск оживлял предметы; всякий из них, казалось, готов был оторваться и сойти с своего места. Лотарий принял на себя это впечатление лунной ночи. Ему так было хорошо, и он, предаваясь мечтаниям, погружаясь в блаженстве своего чувства, шел все далее и далее; он уже хотел выйти на небольшой луг, находившийся на краю сада, как вдруг ему послышался шум; он остановился под огромною липою, весь закрытый ее ветвями.

На поляне стоял седой высокий пасмурный старик, весь в белом; перед ним, тоже в белом платье,— девушка с русыми волосами,— то была Эльвира. Вполне облитые сиянием лунным, они казались видениями.

Лотарий взглянул — точно молния осветила его душу. Он в одну минуту перенесся за десять лет своей жизни, он вспомнил и ночь, и луг, и этого старика, и эту девушку, виданную им еще в младенчестве,— ему теперь стало все ясно, он вспомнил, наконец, все вспомнил.

— Отец мой,— звучал голос Эльвиры,— будь спокоен, мне хорошо здесь; мы с тобой не расстаемся, ночью слетаешь ты ко мне, и я спешу к тебе навстречу. Я счастлива, отец мой, я люблю его.

— Но достоин ли он, дитя мое, чтобы такое чистое, прелестное, воздушное создание бросило для него свою милую родину и сошло на землю?

— Достоин, отец мой. Ах, ты не поверишь, как мне горько было встретить его в первый раз. Он жил у меня в памяти прелестным ребенком с темно-русыми кудрями, с сердцем невинным и чистым; и вдруг,— как он не похож был на себя: все прекрасное было в нем подавлено его пустою жизнью; грустно, грустно было, отец мой. Он заметил меня, и не знаю, глаза ли мои высказали мои чувства, или воспоминание проснулось в нем; только он смутился и тотчас оставил толпу. Он познакомился с г-жой Линденбаум; видно было, что он меня любит, и с тех пор какая перемена в нем, он опять так же прекрасен, как был назад тому десять лет.

— Тебе известно, дитя мое, что он не должен знать о любви твоей.

— Нет, нет! Он не узнает; и я не для того сошла на землю; нет — я буду его ангелом-хранителем, буду невидимо осенять его, услаждать все часы его жизни,— ты видишь, я оживила его душу; разве это не счастие? К тому же я знаю, что он меня любит.

— Да будет благословение мое над тобою, дитя мое,— сказал старик, положив свои руки на ее голову,— но ты знаешь: если он узнает, кто ты, ты не можешь более здесь оставаться.

— Знаю, отец мой, но он не узнает; воспоминание тревожит его; но его усилия напрасны, он не вспомнит, нет.

— Прости, дитя мое.

— Прости, отец мой.

Старик исчез между деревьями. Эльвира смотрела ему вслед. Скоро белое облако промчалось по небу.

Эльвира вздохнула, опустила глаза и, поворотившись, чтобы идти назад, увидела Лотария, который во все это время был, как прикованный, и не знал, что делать. Она вся затрепетала, но, может быть, он и не видал. Эта мысль мелькнула в уме ее. Эльвира запела и, как бы теперь увидав Лотария, сказала ему:

— Вы тоже гуляете? — Но, увидав его смущенный, его неподвижный взор, она вскрикнула: — Ах несчастный, что ты сделал! Ты узнал меня? Да, я девушка-облако.

Бледная, трепещущая, она оперлась на плечо безмолвного Лотария и говорила грустно:

— Ах, боже мой, боже мой! Итак, нигде, нигде нельзя укрыться от человека, итак, всюду найдет он существа, ему подобные, и воды, и леса, и горы проник он своим взором; но по небу летали вольные облака; он и в них отыскал жизнь и создания, ему подобные, и там нет убежища.

Знай, что из каждого царства природы приходят в мир чудные создания, и когда перед тобою пронесется девушка с чудным, с вдохновенным взором, с небесной прелестью на лице,— знай: это гостья между вами, это создание из другого, чудесного мира.

Для тебя, мой Лотарий, сошла я на землю; тебе я посвятила себя; я никогда тебя не оставила бы, всегда лелеяла бы жизнь твою; я бы хранила счастие души твоей...

Но теперь, теперь...— и она становилась все бледнее и бледнее,— я должна с тобой расстаться. Ты слышал, знаешь!

Прости, мой Лотарий, ты меня никогда не увидишь более здесь, но иногда по небу пронесется облако, и ты узнаешь свою Эльвиру, которую знаешь и любишь еще с детства. Сейчас, отец мой...— говорила она, взглядывая на лес; вдали, между деревьями, мелькал белый призрак.— Прости, мой Лотарий!

Она крепко, крепко прижала его к сердцу, поцеловала в лоб и удалилась. Лотарий, как безумный, упал на траву и неподвижно смотрел на небо.

Через минуту два облака промчались по небу.

Лотарий долго пролежал, как оглушенный. Когда он высвободился, наконец, из этого состояния, которое ни сон, ни обморок, было уже светло на дворе; все, что вспоминал он, казалось ему каким-то сном.

Задумчиво пришел он домой.

Но Эльвиры уже не было.

* * *

Говорят, всегда потом Лотарий был молчалив и грустен; но случалось, что на лице его проглянет улыбка, и он весь оживится глубокою сердечною радостью. Тогда взор его бывал устремлен к небу — а по небу неслось легкое облачко.

Мать его грустила о сыне, расспрашивала его, но он ничего не мог ей сказать, и все усилия ее развлечь, рассеять Лотария были тщетны. Она подметила, что он становился радостен только при виде облака на небе, она даже заметила вид этого облака, но не могла добиться от сына объяснений.

Однажды, пришедши к своему сыну, она нашла его мертвым, а по небу удалялись два легких облачка.

[1837]

Владимир ОДОЕВСКИЙ

Косморама

(Посв. гр<афине> Е. П. Р<остопчин>ой

Quidquid est in exterpo est etiam in interno[1]
Неоплатоники

Предуведомление от издателя

Страсть рыться в старых книгах часто приводит меня к любопытным открытиям; со временем надеюсь большую часть из них сообщить образованной публике; но ко многим из них я считаю необходимым присовокупить вступление, предисловие, комментарий и другие ученые принадлежности; все это, разумеется, требует много времени, и потому я решился некоторые из моих открытий представить читателям просто в том виде, в каком они мне достались.

На первый случай я намерен поделиться с публикой странною рукописью, которую я купил на аукционе вместе с кипами старых счетов и домашних бумаг. Кто и когда писал эту рукопись, неизвестно, но главное то, что первая часть ее, составляющая отдельное сочинение, писана на почтовой бумаге довольно новым и даже красивым почерком, так что я, не переписывая, мог отдать в типографию. Следственно, здесь моего ничего нет; но может случиться, что некоторые из читателей посетуют на меня, зачем я многие места в ней оставил без объяснения? Спешу порадовать их известием, что я готовлю к ней до четырехсот комментарий, из которых двести уже окончены. В сих комментариях все происшествия, описанные в рукописи, объяснены как дважды два — четыре, так что читателям не остается ни малейших недоразумений: сии комментарии составят препорядочный том in-4° и будут изданы особою книгою. Между тем я непрерывно тружусь над разбором

[1] Что снаружи, то и внутри *(лат.)*.

продолжения сей рукописи, к сожалению писанной весьма нечетко, и не замедлю сообщить ее любознательной публике; теперь же ограничусь уведомлением, что продолжение имеет некоторую связь с ныне печатаемыми листами, но обнимает другую половину жизни сочинителя.

Рукопись

Если бы я мог предполагать, что мое существование будет цепью непонятных, дивных приключений, я бы сохранил для потомства все их малейшие подробности. Но моя жизнь в начале была так проста, так похожа на жизнь всякого другого человека, что мне и в голову не приходило не только записывать каждый свой день, но даже и вспоминать о нем. Чудные обстоятельства, в которых я был и свидетелем, и действующим лицом, и жертвою, влились так нечувствительно в мое существование, так естественно примешались к обстоятельствам ежедневной жизни, что я в первую минуту не мог вполне оценить всю странность моего положения.

Признаюсь, что, пораженный всем мною виденным, будучи решительно не в состоянии отличить действительность от простой игры воображения, я до сих пор не могу отдать себе отчета в моих ощущениях. Все остальное почти изгладилось из моей памяти; при всех усилиях, вспоминаю лишь те обстоятельства, которые относятся к явлениям *другой* или, лучше сказать, *посторонней* жизни,— иначе не знаю как назвать то чудное состояние, в котором я нахожусь, которого таинственные звенья начинаются с моего детского возраста, прежде, нежели я стал себя помнить, и до сих пор повторяются, с ужасною логическою последовательностию, нежданно и почти против моей воли; принужденный бежать людей, в ежечасном страхе, чтобы малейшее движение моей души не обратилось в преступление, я избегаю себе подобных, в отчаянии поверяю бумаге мою жизнь и тщетно в усилиях разума ищу средства выйти из таинственных сетей, мне расставленных. Но я заме-

чаю, что все мною сказанное до сих пор может быть понятно лишь для меня или для того, кто перешел чрез мои испытания, и потому спешу приступить к рассказу самых происшествий. В этом рассказе нет ничего выдуманного, ничего изобретенного для прикрас. Иногда я писал подробно, иногда сокращенно, смотря по тому, как мне служила память — так я старался предохранить себя и от малейшего вымысла. Я не берусь объяснять происшествия, со мной бывшие, ибо непонятное для читателя осталось и для меня непонятным. Может быть, тот, кому известен настоящий ключ к гиероглифам человеческой жизни, воспользуется лучше меня моею собственною историею. Вот единственная цель моя!

Мне было не более пяти лет, когда, проходя однажды чрез тетушкину комнату, я увидел на столе род коробки, облепленной цветною бумажкою, на которой золотом были нарисованы цветы, лица и разные фигуры; весь этот блеск удивил, приковал мое детское внимание. Тетушка вошла в комнату. «Что это такое?» — спросил я с нетерпением.

— Игрушка, которую прислал тебе наш доктор Бин; но тебе ее дадут тогда, когда ты будешь умен.— С сими словами тетушка отодвинула ящик ближе к стене, так что я мог издали видеть лишь одну его верхушку, на которой был насажен великолепный флаг самого яркого алого цвета.

(Я должен предуведомить моих читателей, что у меня не было ни отца, ни матери и я воспитывался в доме моего дяди.)

Детское любопытство было раздражено и видом ящика, и словами тетушки; игрушка, и еще игрушка, для меня назначенная! Тщетно я ходил по комнате, заглядывал то с той, то с другой стороны, чтобы посмотреть на обольстительный ящик: тетушка была неумолима; скоро ударило 9 часов, и меня уложили спать; однако мне не спалось; едва я заводил глаза, как мне представлялся ящик со всеми его золотыми цветами и флагами; мне казалось, что он растворялся, что из него выходили прекрасные дети в золотых платьях и манили меня к себе — я пробуждался, наконец я реши-

тельно не мог заснуть, несмотря на все увещания нянюшки; когда же она мне погрозилась тетушкою, я принял другое намерение: мой детский ум быстро расчел, что если я засну, то нянюшка, может быть, выйдет из комнаты, и что тетушка теперь в гостиной; я притворился спящим. Так и случилось. Нянюшка вышла из комнаты — я вскочил проворно с постели и пробрался в тетушкин кабинет, придвинуть стул к столу, взобраться на стул, ухватить руками заветный, очаровательный ящик — было делом одного мгновения. Теперь только, при тусклом свете ночной лампы, я заметил, что в ящике было круглое стекло, сквозь которое виднелся свет; оглянувшись, чтобы посмотреть, нейдет ли тетушка, я приложил глаза к стеклу и увидел ряд прекрасных, богато убранных комнат, по которым ходили незнакомые мне люди, богато одетые; везде блистали лампы, зеркала, как будто был какой-то праздник; но вообразите себе мое удивление, когда в одной из отдаленных комнат я увидел свою тетушку; возле нее стоял мужчина и горячо целовал ее руку, а тетушка обнимала дядюшку; однако ж этот мужчина был не дядюшка; дядюшка был довольно толст, черноволос и ходил во фраке; а этот мужчина был прекрасный, стройный, белокурый офицер с усами и шпорами. Я не мог довольно им налюбоваться. Мое восхищение было прервано щипком за ухо; я обернулся — передо мной стояла тетушка.

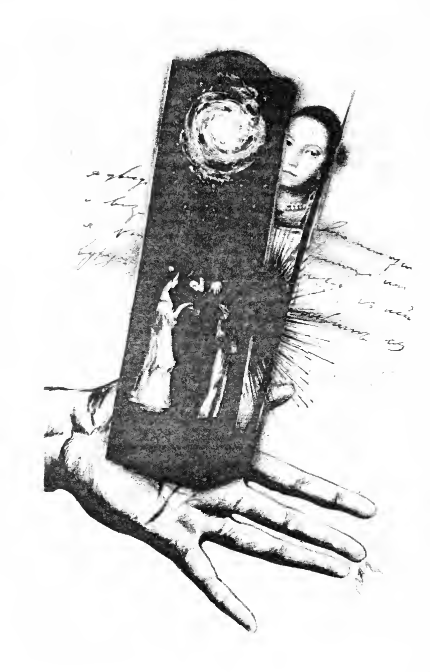
— Ах, тетушка! как, вы здесь? а я вас сейчас там видел...

— Какой вздор!..

— Как же, тетушка! и белокурый, пребравый офицер целовал у вас руку.

Тетушка вздрогнула, рассердилась, прикрикнула и за ухо отвела меня в мою спальню.

На другой день, когда я пришел поздороваться с тетушкой, она сидела за столом; перед нею стоял таинственный ящик, но только крышка с него была снята, и тетушка вынимала из него разные вырезанные картинки. Я остановился, боялся пошевельнуться, думая, что мне достанется за мою вчерашнюю проказу, но, к удивлению, тетушка не бранила меня, а, показывая вырезаные картинки, спросила: «Ну, где же ты здесь меня видел? покажи». Я долго разбирал картинки: тут были пастухи, коровки, тирольцы, турки, были и бога-



то наряженные дамы, и офицеры, но между ними я не мог найти ни тетушки, ни белокурого офицера. Между тем этот разбор удовлетворил мое любопытство; ящик потерял для меня свое очарование, и скоро гнедая лошадка на колесах заставила меня совсем забыть о нем.

Скоро, вслед за тем, я услышал в детской, как нянюшки рассказывали друг другу, что у нас в доме приезжий братец-гусар, и проч. т. п. Когда я пришел к дядюшке, у него сидели с одной стороны на креслах тетушка, а с другой мой белокурый офицер. Едва успел он сказать мне несколько ласковых слов, как я вскричал:

— Да я вас знаю, сударь!

— Как знаешь? — спросил с удивлением дядюшка.

— Да я уж видел вас...

— Где видел? что ты говоришь, Володя? — сказала тетушка сердитым голосом.

— В ящике, — отвечал я с простодушием.

Тетушка захохотала:

— Он видел гусара в космораме, — сказала она.

Дядюшка также засмеялся. В это время вошел доктор Бин; ему рассказали причину общего смеха, а он, улыбаясь, повторял мне: «Да, точно, Володя, ты там его видел».

Я очень полюбил Поля (так называли дальнего братца тетушки), а особливо его гусарский костюм; я бегал к Полю беспрестанно, потому что он жил у нас в доме — в комнате за оранжереей; да сверх того он, казалось, очень любил игрушки, потому что когда он сидел у тетушки в комнате, то беспрестанно посылал меня в детскую то за тою, то за другою игрушкой.

Однажды, что меня очень удивило, я принес Полю чудесного паяца, которого только что мне подарили и который руками и ногами выкидывал удивительные штуки; я его держал за веревочку, а Поль между тем за стулом держал руку у тетушки; тетушка же плакала. Я подумал, что тетушке стало жаль паяца, отложил его в сторону и от скуки принялся за другую работу. Я взял два кусочка воска и нитку; один ее конец прилепил к одной половине двери, а другой конец к другой. Тетушка и Поль смотрели на меня с удивлением.

— Что ты делаешь, Володя? — спросила меня тетушка, — кто тебя этому научил?

— Дядя так делал сегодня поутру.

И тетушка и Поль вздрогнули.

— Где же это он делал? — спросила тетушка.

— У оранжерейной двери, — отвечал я.

В эту минуту тетушка и Поль взглянули друг на друга очень странным образом.

— Где твой гнедко? — спросил меня Поль, — приведи ко мне его; я бы хотел на нем поездить.

Второпях я побежал в детскую; но какое-то невольное чувство заставило меня остановиться за дверью, и я увидел, что тетушка с Полем пошли поспешно к оранжерейной двери, которая, не забудьте, вела к тетушкину кабинету, тщательно ее осматривали и что Поль перешагнул через нитку, приклеенную поутру дядюшкою; после чего Поль с тетушкою долго смеялись.

В этот день они оба ласкали меня более обыкновенного.

Вот два замечательнейшие происшествия моего детства, которые остались в моей памяти. Все остальное не заслуживает внимания благосклонного читателя. Меня свезли к дальней родственнице, которая отдала меня в пансион. В пансионе я получал письма от дядюшки из Симбирска, от тетушки из Швейцарии, иногда с приписками Поля. Со временем письма становились реже и реже, из пансиона поступил я прямо на службу, где получил известие, что дядюшка скончался, оставив меня по себе единственным наследником. Много лет прошло с тех пор; я успел наслужиться, испытать голода, холода, сплина, несколько обманутых надежд; наконец отпросился в отпуск, в матушку-Москву, с самым байроническим расположением духа и с твердым намерением не давать прохода ни одной женщине.

Несмотря на время, которое протекло со дня отъезда моего из Москвы, вошедши в дядюшкин дом, который сделался моим, я ощутил чувство неизъяснимое. Надобно пройти долгую, долгую жизнь, мятежную, полную страстей и мечтаний, горьких опытов и долгой думы, чтоб понять это ощущение, которое производит вид старого дома, где каждая комната, стул, зеркало напоминает нам происшествия детства. Это явление объяснить трудно, но оно действительно существует, и всякий испытал его на себе. Может быть, в детстве мы больше мыслим и чувствуем, нежели сколько обыкновенно полагают; только этих мыслей, этих чувств мы

не в состоянии обозначать словами и оттого забываем их. Может быть, эти происшествия внутренней жизни остаются прикованными к вещественным предметам, которые окружали нас в детстве и которые служат для нас такими же знаками мыслей, какими слова в обыкновенной жизни. И когда, после долгих лет, мы встречаемся с этими предметами, тогда старый, забытый мир нашей девственной души восстает пред нами, и безмолвные его свидетели рассказывают нам такие тайны нашего внутреннего бытия, которые без того были бы для нас совершенно потеряны. Так натуралист, возвратясь из долгого странствования, перебирает с наслаждением собранные им и частию забытые редкие растения, раковины, минералы, и каждый из них напоминает ему ряд мыслей, которые возбуждались в душе его посреди опасностей страннической жизни. По крайней мере, я с таким чувством пробежал ряд комнат, напоминавших мне мою младенческую жизнь; быстро дошел я до тетушкина кабинета. Все в нем оставалось на своем месте: ковер, на котором я играл; в углу обломки игрушек; под зеркалом камин, в котором, казалось, только вчера еще погасли уголья; на столе, на том же месте, стояла косморама, почерневшая от времени. Я велел затопить камин и уселся в кресла, на которые, бывало, с трудом мог вскарабкаться. Смотря на все меня окружающее, я невольно стал припоминать все происшествия моей детской жизни. День за днем, как китайские тени, мелькали они предо мною; наконец я дошел до вышеописанных случаев между тетушкою и Полем; над диваном висел ее портрет; она была прекрасная черноволосая женщина, которой смуглый румянец и выразительные глаза высказывали огненную повесть о внутренних движениях ее сердца; на другой стороне висел портрет дядюшки, дородного, толстого мужчины, у которого в простом, по-видимому, взоре была видна тонкая русская сметливость. Между выражением лиц обоих портретов была целая бездна. Сравнив их, я понял все, что мне в детстве казалось непонятным. Глаза мои невольно устремились на космораму, которая играла такую важную роль в моих воспоминаниях; я старался понять, отчего в ее образах я видел то, что действительно случилось, и прежде, нежели случилось. В этом размышлении я подошел к ней, подвинул ее к себе и с чрезвычайным удивлени-

ем в запыленном стекле увидел свет, который еще живее напомнил мне виденное мною в моем детстве. Признаюсь, не без невольного трепета и не отдавая себе отчета в моем поступке, я приложил глаза к очарованному стеклу. Холодный пот пробежал у меня по лицу, когда в длинной галерее косморамы я снова увидел тот ряд комнат, который представлялся мне в детстве; те же украшения, те же колонны, те же картины, также был праздник; но лица были другие: я узнал многих из теперешних моих знакомых и наконец в отдаленной комнате самого себя; я стоял возле прекрасной женщины и говорил ей самые нежные речи, которые глухим шепотом отдавались в моем слухе... Я отскочил с ужасом, выбежал из комнаты на другую половину дома, призвал к себе человека и расспрашивал его о разном вздоре только для того, чтоб иметь возле себя какое-нибудь живое существо. После долгого разговора я заметил, что мой собеседник начинает дремать; я сжалился над ним и отпустил его; между тем заря уже начала заниматься; этот вид успокоил мою волнующуюся кровь; я бросился на диван и заснул, но сном беспокойным; в сновидениях мне беспрестанно являлось то, что я видел в космораме, которая мне представлялась в образе огромного здания, где всё,— колонны, стены, картины, люди — всё говорило языком, для меня непонятным, но который производил во мне ужас и содрогание.

Поутру меня разбудил человек известием, что ко мне пришел старый знакомый моего дядюшки, доктор Бин. Я велел принять его. Когда он вошел в комнату, мне показалось, что он совсем не переменился с тех пор, как я его видел лет двадцать тому назад; тот же синий фрак с бронзовыми фигурными пуговицами, тот же клок седых волос, которые торчали над его серыми, спокойными глазами, тот же всегда улыбающийся вид, с которым он заставлял меня глотать ложку ревеня, и та же трость с золотым набалдашником, на которой я, бывало, ездил верхом. После многих разговоров, после многих воспоминаний я невольно завел речь о космораме, которую он подарил мне в моем детстве.

— Неужели она цела еще? — спросил доктор, улыбаясь.— Тогда это была еще первая косморама, привезенная в Москву, теперь она во всех игрушечных лав-

ках. Как распространяется просвещение! — прибавил он с глупо-простодушным видом.

Между тем я повел доктора показать ему его старинный подарок; признаюсь, не без невольного трепета я переступил чрез порог тетушкина кабинета; но присутствие доктора, а особливо его спокойный, пошлый вид меня ободрили.

— Вот ваша чудесная косморама, — сказал я ему, показывая на нее... Но я не договорил, в выпуклом стекле мелькнул блеск и привлек все мое внимание.

В темной глубине косморамы я явственно различил самого себя и возле меня доктора Бина; но он был совсем не тот, хотя сохранил ту же одежду. В его глазах, которые мне казались столь простодушными, я видел выражение глубокой скорби; все смешное в комнате принимало в очаровательном стекле вид величественный; там он держал меня за руку, говорил мне что-то невнятное, и я с почтением его слушал.

— Видите, видите! — сказал я доктору, показывая ему на стекло, — видите ль вы там себя и меня? — С этими словами я приложил руку к ящику; в сию минуту мне сделались внятными слова, произносившиеся на этой странной сцене, и когда доктор взял меня за руку и стал щупать пульс, говоря: «что с вами?», его двойник улыбнулся. «Не верь ему, — говорил сей последний, — или, лучше сказать, не верь мне в твоем мире. Там я сам не знаю, что делаю, но здесь я понимаю мои поступки, которые в вашем мире представляются в виде *невольных побуждений*. Там я подарил тебе игрушку, сам не зная для чего, но здесь я имел в виду предостеречь твоего дядю и моего благодетеля от несчастия, которое грозило всему вашему семейству. Я обманулся в расчетах человеческого суемудрия; ты в своем детстве случайно прикоснулся к очарованным знакам, начертанным сильною рукою на магическом стекле. С той минуты я невольно передал тебе чудную, счастливую и вместе бедственную способность; с той минуты в твоей душе растворилась дверь, которая всегда будет открываться для тебя неожиданно, против твоей воли, по законам, мне и здесь непостижимым. Злополучный счастливец! ты — ты можешь всё видеть, — всё, без покрышки, без звездной пелены, которая для меня самого *там* непроницаема. Мои мысли я должен передавать себе посредством сцепления мелочных обсто-

ятельств жизни, посредством символов, тайных побуждений, темных намеков, которые я часто понимаю криво или которых вовсе не понимаю. Но не радуйся, если бы ты знал, как я скорблю над роковым моим даром, над ослепившею меня гордостию человека; я не подозревал, безрассудный, что чудная дверь в тебе раскрылась равно для благого и злого, для блаженства и гибели... и, повторяю, уже никогда не затворится. Береги себя, сын мой,— береги меня... За каждое твое действие, за каждую мысль, за каждое чувство я отвечаю наравне с тобою. Посвященный! сохрани себя от рокового закона, которому подвергается звездная мудрость! Не умертви твоего посвятителя!»... Видение зарыдало.

— Слышите, слышите? — сказал я,— что вы там говорите? — вскричал я с ужасом.

Доктор Бин смотрел на меня с беспокойным удивлением.

— Вы сегодня нездоровы,— говорил он.— Долгое путешествие, увидели старый дом, вспомнили былое,— все это встревожило ваши нервы, дайте-ка я вам пропишу микстуру.

«Знаешь ли, что там, у вас, я думаю,— отвечал двойник доктора,— я думаю просто, что ты помешался. Оно так и должно быть — у вас должен казаться сумасшедшим тот, кто в вашем мире говорит языком нашего. Как я странен, как я жалок в этом образе! и мне нет сил научить, вразумить себя,— там грубы мои чувства, спеленан мой ум, в слухе звездные звуки,— я не слышу себя, я не вижу себя! Какое терзанье! и еще кто знает, может быть, в другом, в высшем мире я кажусь еще более странным и жалким. Горе! горе!»

— Выйдемте отсюда, любезный Владимир Петрович,— сказал настоящий доктор Бин,— вам нужна диета, постель, а здесь как-то холодно; меня мороз по коже подирает.

Я отнял руку от стекла: все в нем исчезло, доктор вывел меня из комнаты, я в раздумье следовал за ним, как ребенок.

Микстура подействовала; на другой день я был гораздо спокойнее и приписал все виденное мною расстроенным нервам. Доктор Бин догадался, велел уничтожить эту странную космораму, которая там сильно потрясала мое сильное воображение, по воспоминани-

ям ли или по другой какой-либо неизвестной мне причине. Признаюсь, я очень был доволен этим распоряжением доктора, как будто какой камень спал с моей груди; — я быстро выздоравливал, и наконец доктор позволил, даже приказал мне выезжать и стараться как можно больше искать перемены предметов и всякого рода рассеянности. «Это совершенно необходимо для ваших расстроенных нервов», — говорил доктор.

Кстати я вспомнил, что к моим знакомым и родным я еще не являлся с визитом. Объездив кучу домов, истратив почти все свои визитные билеты, я остановил карету у Петровского бульвара и вышел с намерением дойти пешком до Рожественского монастыря; невольно я останавливался на всяком шагу, вспоминая былое и любуясь улицами Москвы, которые кажутся так живописными после однообразных петербуржских стен, вытянутых в шеренгу. Небольшой переулок на Трубе тянулся в гору, по которой рассыпаны были маленькие домики, построенные назло всем правилам архитектуры и, может быть, потому еще более красивые; их пестрота веселила меня в детстве и теперь снова поражала меня своею прихотливою небрежностию. По дворам, едва огороженным, торчали деревья, а между деревьями развешаны были разные домашние принадлежности; над домом в три этажа и в одно окошко, выкрашенным красною краскою, возвышалась огромная зеленая решетка в виде голубятни, которая, казалось, придавливала весь дом. Лет двадцать тому назад эта голубятня была для меня предметом удивления; я знал очень хорошо этот дом; с тех пор он нимало не переменился, только с бока приделали новую пристройку в один этаж и как будто нарочно выкрасили желтою краскою; с нагорья была видна внутренность двора; по нем величаво ходили дворовые птицы, и многочисленная дворня весело суетилась вокруг краснобая-пряничника. Теперь я глядел на этот дом другими глазами, видел ясно всю нелепость и безвкусие его устройства, но, несмотря на то, вид его возбуждал в душе такие чувства, которых никогда не возбудят вылощенные петербуржские дома, которые, кажется, готовы расшаркаться по мостовой вместе с проходящими и которые, подобно своим обитателям, так опрятны, так скучны и холодны. Здесь, напротив, все носило отпечаток живой, привольной домашней жизни, здесь

видно было, что жили для себя, а не для других и, что всего важнее, располагались жить не на одну минуту, а на целое поколение. Погрузившись в философские размышления, я нечаянно взглянул на ворота и увидел имя одной из моих тетушек, которую тщетно отыскивал на Моховой; поспешно вошел я в ворота, которые, по древнему московскому обычаю, никогда не были затворены, вошел в переднюю, которая, также по московскому обычаю, никогда не была заперта. В передней спали несколько слуг, потому что был полдень; мимо их я прошел преспокойно в столовую, *предгостиную,* гостиную и, наконец, так называемую боскетную, где, под тенью нарисованных деревьев, сидела тетушка и раскладывала гранпасьянс. Она ахнула, увидев меня; но когда я назвал себя, тогда ее удивление превратилось в радость.

— Насилу ты, батюшка, вспомнил обо мне! — сказала она.— Вот сегодня уж ровно две недели в Москве, а не мог заглянуть ко мне.

— Как, тетушка, вы уж знаете?

— Как не знать, батюшка! по газетам видела. Вишь, вы нынче люди тонные, только по газетам о вас и узнаем. Вижу: приехал поручик ***. Ба! говорила я, да это мой племянник! смотрю, когда приехал — 10 числа, а сегодня 24-е.

— Уверяю вас, тетушка, что я не мог отыскать вас.

— И, батюшка! хотел бы отыскать — отыскал бы. Да что и говорить, хоть бы когда строчку написал! а ведь я тебя маленького на руках носила,— уж не говорю — часто, а хоть бы в светлое воскресенье с праздником поздравил.

Признаюсь, я не находил, что ей отвечать, как вежливее объяснить ей, что с пятилетнего возраста я мог едва упомнить ее имя. К счастию, она переменила разговор.

— Да как это ты вошел? О тебе не доложили: верно, никого в передней нет. Вот, батюшка, шестьдесят лет на свете живу, а не могу порядка в доме завести. Соня, Соня! позвони в колокольчик.— При сих словах в комнату вошла девушка лет 17-ти, в белом платье. Она не успела позвонить в колокольчик...— Ах, батюшка, да вас надобно познакомить: ведь она тебе роденька, хоть и дальняя... Как же! дочь князя Миславского, твоего двоюродного дядюшки. Соня, вот тебе братец

Владимир Петрович. Ты часто о нем слыхивала; вишь, какой молодец!

Соня закраснелась, потупила свои хорошенькие глазки и пробормотала мне что-то ласковое. Я сказал ей несколько слов, и мы уселись.

— Впрочем, не мудрено, батюшка, что ты не отыскал меня,— продолжала словоохотливая тетушка.— Я ведь свой дом продала да вот этот купила. Вишь, какой пестрый, да, правду сказать, не затем купила, а оттого, что близко Рожественского монастыря, где все мои голубчики родные лежат; а дом, нечего сказать, славный, теплый, да и с какими затеями: видишь, какая славная боскетная; когда в коридоре свечку засветят, то у меня здесь точно месячная ночь.

В самом деле, взглянув на стену, я увидел грубо вырезанное в стене подобие полумесяца, в которое вставлено было зеленоватое стекло.

— Видишь, батюшка, как славно придумано. Днем в коридор светит, а ночью ко мне. Ты, я чаю, помнишь мой старый дом?

— Как же, тетушка! — отвечал я, невольно улыбаясь.

— А теперь дай-ка похвастаюсь моим новым домком.

С сими словами тетушка встала, и Соня последовала за ней. Она повела нас через ряд комнат, которые, казалось, были приделаны друг к другу без всякой цели; однако же, при более внимательном обзоре, легко было заметить, что в них все придумано было для удобства и спокойствия жизни. Везде большие светлые окошки, широкие лежанки, маленькие двери, которые, казалось, были не на месте, но между тем служили для более удобного сообщения между жителями дома. Наконец мы дошли до комнаты Сони, которая отличалась от других комнат особенною чистотою и порядком; у стенки стояли маленькие клавикорды, на столе букет цветов, возле него старая Библия, на большом комоде старинной формы с бронзою я заметил несколько томов старых книг, которых заглавия заставили меня улыбнуться.

— А вот здесь у меня Соня живет,— сказала тетушка.— Видишь, как все у ней к месту приставлено; нечего сказать, чистоплотная девка; одна у нас с нею только беда: работы не любит, а все любит книжки читать. Ну,

сам ты скажи, пожалуй, что за работа девушке читать, да еще всё по-немецки — вишь, немкой была воспитана.

Я хотел сказать несколько слов в оправдание прекрасной девушки, которая все молчала, краснела и потупляла глаза в землю, но тетушка прервала меня.

— Полно, батюшка, фарлакурить! Мы знаем, ведь ты петербуржский модный человек. У вас правды на волос нет, а девка-то подумает, что она в самом деле дело делает.

С этой минуты я смотрел на Соню другими глазами: ничто нас столько не знакомит с человеком, как вид той комнаты, в которой он проводит большую часть своей жизни, и недаром новые романисты с таким усердием описывают мебели своих героев; теперь можно и с большею справедливостию переиначить старинную поговорку: «Скажи мне, где ты живешь,— я скажу, кто ты».

Тетушка была, по-видимому, смертная охотница покупать дома и строиться; она подробно рассказывала мне, как она приискала этот дом, как его купила, как его переделала, чтó ей стоили подрядчики, плотники, бревна, доски, гвозди. А я отвечал ей незначащими фразами и со вниманием знатока рассматривал Соню, которая все молчала. Она была, нечего сказать, прекрасна, рассыпанные по плечам à la Valière русые волосы, которые без поэтического обмана можно было назвать каштановыми, черные блестящие глазки, вострый носик, маленькие прекрасные ножки,— все в ней исчезло перед особенным гармоническим выражением лица, которого нельзя уловить ни в какую фразу... Я воспользовался той минутой, когда тетушка переводила дух, и сказал Соне: «Вы любите чтение?»

— Да, я люблю иногда чтение...

— Но, кажется, у вас мало книг?

— Много ли нужно человеку!

Эта поговорка, примененная к книгам, показалась мне довольно смешною.

— Вы знаете по-немецки. Читали ли вы Гете, Шиллера, Шекспира в переводе Шлегеля?

— Нет.

— Позвольте мне привезти вам эти книги...

— Я вам буду очень благодарна.

— Да, батюшка, ты бог знает чего надаешь ей,— сказала тетушка.

— О, тетушка, будьте уверены...

— Прошу, батюшка, привезти таких, которые позволены.

— О, без сомнения!

— Чудное дело! Вот я дожила до 60 лет, а не могу понять, что утешного находят в книгах. В молодости я спросила однажды, какая лучшая в свете книга? Мне отвечали: «Россияда» сенатора Хераскова. Вот я и принялась ее читать; только такая, батюшка, скука взяла, что я и десяти страниц не прочла; тут я подумала, что ж, если лучшая в свете книга так скучна, что же должны быть другие? И уж не знаю, я ли глупа, или что другое, только с тех пор, кроме газет, ничего не читаю, да и там только о приезжающих.

На эту литературную критику тетушки я не нашелся ничего отвечать, кроме того, что книги бывают различные и вкусы бывают различные. Тетушка возвратилась в гостиную, мы с Софьей медленно за ней следовали и на минуту остались почти одни.

— Не смейтесь над тетушкою,— сказал мне Софья, как бы угадывая мои мысли,— она права; понимать книги очень трудно; вот, например, мой опекун очень любил басню «Стрекоза и Муравей»; я никогда не могла понять, что в ней хорошего; опекун всегда приговаривал: ай да молодец муравей! а мне всегда бывало жалко бедной стрекозы и досадно на жестокого муравья. Я уже многим говорила, нельзя ли попросить сочинителя, чтобы он переменил эту басню, но над мной все смеялись.

— Не мудрено, милая кузина, потому что сочинитель этой басни умер еще до французской революции.

— Что это такое?

Я невольно улыбнулся такому милому невежеству и постарался в коротких словах дать моей собеседнице понятие о сем ужасном происшествии.

Софья была видимо встревожена, слезы показались у нее на глазах.

— Я этого и ожидала,— сказала она после некоторого молчания.

— Чего вы ожидали?

— То, что вы называете французскою революциею,

непременно должно было произойти от басни «Стрекоза и Муравей».

Я расхохотался. Тетушка вмешалась в наш разговор.

— Что у вас там такое? Вишь, она как с тобою раскудахталась — а со мной так все молчит. Что ты ей там напеваешь?

— Мы рассуждаем с кузиной о французской революции.

— Помню, помню, батюшка; это когда кофей и сахар вздорожали...

— Почти так, тетушка...

— Тогда и пудру уж начали покидать; я жила тогда в Петербурге, приехали французы — смешно было смотреть на них, словно из бани вышли; теперь-то немножко попривыкли. Что за время было, батюшки!

Долго еще толковала тетушка об этом времени, перепутывала все эпохи, рассказывала, как нельзя было найти ни гвоздики, ни корицы; что вместо прованского масла делали салат со сливками и проч. т. п.

Наконец я распростился с тетушкой, разумеется, после клятвенных обещаний навещать ее как можно чаще. На этот раз я не лгал: Соня мне очень приглянулась.

На другой день явились книги, за ними я сам; на третий, на четвертый день — то же.

— Как вам понравились мои книги? — спросил я однажды у Софьи.

— Извините, я позволила себе заметить то, что в них мне понравилось...

— Напротив, я очень рад. Как бы я хотел видеть ваши заметки!

Софья принесла мне книги. В Шекспире была замечена фраза. «Да, друг Горацио, много в сем мире такого, что и не снилось нашим мудрецам». В «Фаусте» Гете была отмечена только та маленькая сцена, где Фауст с Мефистофелем скачут по пустынной равнине.

— Чем же особенно понравилась вам именно эта сцена?

— Разве вы не видите,— отвечала София простодушно,— что Мефистофель спешит; он гонит Фауста, говорит, что там колдуют, но неужели Мефистофель боится колдовства?

— В самом деле, я никогда не понимал этой сцены!

— Как это можно? это самая понятная, самая светлая сцена! Разве вы не видите, что Мефистофель обманывает Фауста? Он боится,— здесь не колдовство, здесь совсем другое... Ах, если бы Фауст остановился!..

— Где вы все это видите? — спросил я с удивлением.

— Я... я вас уверяю,— отвечала она с особенным выражением.

Я улыбнулся; она смутилась... «Может быть, я и ошибаюсь»,— прибавила она, потупив глаза.

— И больше вы ничего не заметили в моих книгах?

— Нет, еще много, много, но только мне бы хотелось ваши книги, так сказать, просеять...

— Как просеять?

— Да! чтобы осталось то, что на сердце ложится.

— Скажите же, какие вы любите книги?

— Я люблю такие, что когда их читаешь, то делается жалко людей и хочется помогать им, а потом захочется умереть.

— Умереть? Знаете ли, что я скажу вам, кузина? вы не рассердитесь за правду?

— О нет; я очень люблю правду...

— В вас много странного; у вас какой-то особенный взгляд на предметы. Помните, намедни, когда я расшутился, вы мне сказали: «Не шутите так, берегитесь слов, ни одно наше слово не теряется; мы иногда не знаем, что мы говорим нашими словами!» Потом, когда я заметил, что вы одеты не совсем по моде, вы отвечали: «Не все ли равно? не успеешь трех тысяч раз одеться, как все пройдет: это платье с нас снимут, снимут и другое, и спросят только, что мы доброго по себе оставили, а не о том, как мы были одеты?» Согласитесь, что такие речи до крайности странны, особливо на языке девушки. Где вы набрались таких мыслей?

— Я не знаю,— отвечала Софья, испугавшись,— иногда что-то внутри меня говорит во мне, я прислушиваюсь и говорю, не думая,— и часто, что я говорю, мне самой непонятно.

— Это нехорошо. Надобно всегда думать о том, что говоришь, и говорить только то, что вы ясно понимаете...

— Мне и тетушка то же твердит; но я не знаю, как объяснить это, когда внутри заговорит, я забываю, что надобно прежде подумать — я и говорю или молчу; от-

того я так часто молчу, чтобы тетушка меня не бранила; но с вами мне как-то больше хочется говорить... мне, не знаю отчего, вы как-то жалки...

— Чем же я вам кажусь жалок?

— Так! сама не знаю — а когда я смотрю на вас, мне ва́с жалко, так жалко, что и сказать нельзя; мне все хочется вас, так сказать, утешить, и я вам говорю, говорю, сама не зная что.

Несмотря на всю прелесть такого чистого, невинного признания, я почел нужным продолжать мою роль моралиста.

— Послушайте, кузина, я не могу вас не благодарить за ваше доброе ко мне чувство; но поверьте мне, вы имеете такое расположение духа, которое может быть очень опасно.

— Опасно? отчего же?

— Вам надобно стараться развлекаться, не слушать того, что, как вы рассказываете, внутри вам говорит...

— Не могу — уверяю вас, не могу; когда голос внутри заговорит, я не могу выговорить ничего, кроме того, что он хочет...

— Знаете ли, что в вас есть наклонность к мистицизму? Это никуда не годится.

— Что такое мистицизм?

Этот вопрос показал мне, в каком я был заблуждении. Я невольно улыбнулся.

— Скажите, кто вас воспитывал?

— Когда я жила у опекуна, при мне была няня-немка, добрая Луиза; она уж умерла...

— И больше никого?

— Больше никого.

— Чему же она вас учила?

— Стряпать на кухне, шить гладью, вязать фуфайки, ходить за больными...

— Вы с ней ничего не читали?

— Как же? Немецкие вокабулы, грамматику... да! и забыла: в последнее время мы читали небольшую книжку.

— Какую?

— Не знаю, но, постойте, я вам покажу одно место из этой книжки. Луиза при прощанье вписала ее в мой альбом; тогда, может быть, вы узнаете, какая это была книжка.

В Софьином альбоме я прочел сказку, которая странным образом навсегда запечатлелась в моей памяти; вот она:

«Два человека родились в глубокой пещере, куда никогда не проникали лучи солнечные; они не могли выйти из этой пещеры иначе, как по очень крутой и узкой лестнице, и, за недостатком дневного света, зажигали свечи. Один из этих людей был беден, терпел во всем нужду, спал на голом полу, едва имел пропитание. Другой был богат, спал на мягкой постели, имел прислугу, роскошный стол. Ни один из них не видал еще солнца, но каждый о нем имел свое понятие. Бедняк воображал, что солнце великая и знатная особа, которая всем оказывает милости, и все думал о том, как бы ему поговорить с этим вельможею; бедняк был твердо уверен, что солнце сжалится над его положением и поможет ему. Приходящих в пещеру он спрашивал, как бы ему увидеть солнце и подышать свежим воздухом,— наслаждение, которого он также никогда не испытывал; приходящие отвечали, что для этого он должен подняться по узкой и крутой лестнице.— Богач, напротив, расспрашивая приходящих подробнее, узнал, что солнце огромная планета, которая греет и светит; что, вышедши из пещеры, он увидит тысячу вещей, о которых не имеет никакого понятия; но когда приходящие рассказали ему, что для сего надобно подняться по крутой лестнице, то богач рассудил, что это будет труд напрасный, что он устанет, может оступиться, упасть и сломить себе шею, что гораздо благоразумнее обойтись без солнца, потому что у него в пещере есть камин, который греет, и свеча, которая светит; к тому же, тщательно собирая и записывая все слышанные рассказы, он скоро уверился, что в них много преувеличенного и что он сам гораздо лучшее имеет понятие о солнце, нежели те, которые его видели. Один, несмотря на крутизну лестницы, не пощадил труда и выбрался из пещеры, и когда он дохнул чистым воздухом, когда увидел красоту неба, когда почувствовал теплоту солнца, тогда забыл, какое ложное о нем имел понятие, забыл прежний холод и нужду, а, падши на колени, лишь благодарил бога за такое непонятное ему прежде наслаждение. Другой остался в смрадной пещере, перед тусклой свечою и еще смеялся над своим прежним товарищем!»

— Это, кажется, аполог Круммахера,— сказал я Софье.

— Не знаю,— отвечала она.

— Он не дурен, немножко сбивчив, как обыкновенно бывает у немцев; но посмотрите, в нем то же. что я сейчас говорил, то есть что человеку надобно трудиться, сравнивать и думать...

— И верить,— отвечала Софья с потупленными глазами.

— Да, разумеется, и верить,— отвечал я с снисходительностию человека, принадлежащего XIX-му столетию.

Софья посмотрела на меня внимательно. «У меня в альбоме есть и другие выписки; посмотрите, в нем есть прекрасные мысли, очень, очень глубокие».

Я перевернул несколько листов; в альбоме были отдельные фразы, кажется, взятые из какой-то азбуки, как, например: «Чистое сердце есть лучшее богатство. Делай добро, сколько можешь, награды не ожидай, это до тебя не касается. Если будем внимательно примечать за собою, то увидим, что за каждым дурным поступком рано или поздно следует наказание. Человек ищет счастья снаружи, а оно в его сердце», и пр. т. п. Милая кузина с пресерьезным видом читала эти фразы и с особенным выражением останавливалась на каждом слове. Она была удивительно смешна, мила...

Таковы были наши беседы с моей кузиной; впрочем, они бывали редко, и потому, что тетушка мешала нашим разговорам, так и потому, что сама кузина была не всегда словоохотлива. Ее незнание всего, что выходило из ее маленького круга, ее суждения, до невероятности детские, приводили меня и в смех и жалость; но между тем никогда еще не ощущал я в душе такого спокойствия: в ее немногих словах, в ее поступках, в ее движениях была такая тишина, такая кротость, такая елейность, что, казалось, воздух, которым она дышала, имел свойство укрощать все мятежные страсти, рассеивать все темные мысли, которые иногда тучею скоплялись в моем сердце; часто, когда раздоры мнений, страшные вопросы, все порождения умственной кичливости нашего века стесняли мою душу, когда мгновенно она переходила чрез все мытарства сомнения и я ужасался, до каких выводов достигала непреклонная житейская логика — тогда один простодушный

взгляд, один простодушный вопрос невинной девушки невольно восстановлял первобытную чистоту души моей; я забывал все гордые мысли, которые возмущали мой разум, и жизнь казалась мне понятна, светла, полна тишины и гармонии.

Тетушка сначала была очень довольна моими частыми посещениями, но наконец дала мне почувствовать, что она понимает, зачем я так часто езжу; ее простодушное замечание, которое ей хотелось сделать очень тонким, заставило меня опамятоваться и заглянуть глубже во внутренность моей души. Что чувствовал я к Софье? Мое чувство было ли любовь? Нет, любви некогда было укорениться, да и не в чем; Софья своим простодушием, своею детскою странностию, своими сентенциями, взятыми из прописей, могла забавлять меня — и только; она была слишком ребенок, младенец; душа ее была невинна и свежа до бесчувствия; она занималась больше всего тетушкой, потом хозяйством, а потом уже мною; нет, не такое существо могло пленить воображение молодого, еще полного сил человека, но уже опытного... Я уже перешел за тот возраст, когда всякое хорошенькое личико сводит с ума: в женщине мне надобно было друга, с которым бы я мог делиться не только чувствами, но и мыслями; Софья не в состоянии была понимать ни тех, ни других; а быть постоянно моралистом хотя и лестно для самолюбия, но довольно скучно. Я не хотел возбудить светских толков, которые могли бы повредить невинной девушке; прекратить их обыкновенным способом, т. е. женитьбой, я не имел намерения, а потому стал ездить к тетушке гораздо реже,— да и некогда мне было: у меня нашлось другое занятие.

Однажды на бале мне встретилась женщина, которая заставила меня остановиться. Мне показалось, что я ее уже где-то видел; ее лицо было мне так знакомо, что я едва ей не поклонился. Я спросил о ее имени. Это была графиня Элиза Б. Это имя было мне совершенно неизвестно. Вскоре я узнал, что она с самого детства жила в Одессе и, следственно, никаким образом не могла быть в числе моих знакомых.

Я заметил, что и графиня смотрела на меня с неменьшим удивлением; когда мы больше сблизились, она призналась мне, что и мое лицо ей показалось с первого раза знакомым. Этот странный случай подал,

разумеется, повод к разным разговорам и предположениям; он невольно завлек нас в ту метафизику сердца, которая бывает так опасна с хорошенькой женщиной... Эта странная метафизика, составленная из парадоксов, анекдотов, острот, философских мечтаний, имеет отчасти характер обыкновенной школьной метафизики, т. е. отлучает вас от света, уединяет вас в особый мир, но не одного, а вместе с прекрасной собеседницей; вы несете всякий вздор, а вас уверяют, что вас поняли; с обеих сторон зарождается и поддерживается гордость, а гордость есть чаша, в которую влиты все грехи человеческие: она блестит, звенит, манит ваш взор своею чудною резьбою, и уста ваши невольно прикасаются к обольстительному напитку.

Мы обменялись с графинею этим роковым сосудом; она любовалась во мне игривостью своего ума, своею красотою, пылким воображением, изяществом своего сердца; я любовался в ней силою моего характера, смелостью моих мыслей, моею начитанностию, моими житейскими успехами...

Словом: мы уже сделались необходимы друг другу, а еще один из нас едва знал, как зовут другого, какое его положение в свете.

Правда, мы были еще невинны во всех смыслах; никогда еще слово любви не произносилось между нами. Это слово было смешно гордому человеку XIX века; оно давно им было разложено, разобрано по частям, каждая часть оценена, взвешена и выброшена за окошко, как вещь, несогласная с нашим нравственным комфортом; но я заговаривался с графинею в свете; но я засиживался у ней по вечерам; но ее рука долго, слишком долго оставалась в моей при прощании; но когда она с улыбкою и с бледнеющим лицом сказала мне однажды: «Мой муж на днях должен возвратиться... вы, верно, сойдетесь с ним» — я, человек, прошедший чрез все мытарства жизни, не нашелся что отвечать, даже не мог вспомнить ни одной пошлой фразы и, как романический любовник, вырвал свою руку, побежал, бросился в карету...

Нам обоим до сей минуты не приходило в голову вспомнить, что у графини есть муж!

Теперь дело было иное. Я был в положении человека, который только что выскочил из очарованного круга, где глазам его представлялись разные фантасмаго-

рические видения, заставляли его забывать о жизни... Он краснеет, досадуя на самого себя, зачем он был в очаровании... Теперь задача представлялась мне двойною: мне оставалось смотреть на это известие равнодушно и, пользуясь правами света, продолжать с графинею мое платоническое супружество; или, призвав на помощь донкихотство, презреть все условия, все приличия, все удобства жизни и действовать на правах отчаянного любовника. В первый раз в жизни я был в нерешимости; я почти не спал целую ночь, не спал — и от страстей, волновавшихся в моем сердце, и от досады на себя за это волнение; до сей минуты я так был уверен, что я уже неспособен к подобному ребячеству; словом, я чувствовал в себе присутствие нескольких независимых существ, которые боролись сильно и не могли победить одно другое.

Рано поутру ко мне принесли записку от графини; она состояла из немногих слов:

«Именем бога, будьте у меня сегодня, непременно сегодня: мне необходимо вас видеть».

Слова: *сегодня* и *необходимо* были подчеркнуты.

Мы поняли друг друга; при свидании с графинею мы быстро перешли тот промежуток, отделявший нас от прямого выражения нашей тайны, которую скрывали мы от самих себя. Первый акт житейской комедии, обыкновенно столь скучный и столь привлекательный, был уже сыгран; оставалась катастрофа — и развязка.

Мы долго не могли выговорить слова, молча смотрели друг на друга и с жестокосердием предоставляли друг другу право начать разговор.

Наконец она, как женщина, как существо более доброе, сказала мне тихим, но твердым голосом:

— Я звала вас проститься... наше знакомство должно кончиться, разумеется, для нас,— прибавила она после некоторого молчания,— но не для света; — вы меня понимаете... Наше знакомство! — повторила она раздирающим голосом и с рыданием бросилась в кресла.

Я кинулся к ней, схватил ее за руку... Это движение привело ее в чувство.

— Остановитесь,— сказала она,— я уверена, что вы не захотите воспользоваться минутою слабости... Я уверена, что если б я и забылась, то вы бы первый приве-

ли меня в память... Но я и сама не забуду, что я жена, мать.

Лицо ее просияло невыразимым благородством.

Я стоял недвижно пред нею... Скорбь, какой никогда еще не переносило мое сердце, разрывала меня: я чувствовал, что кровь горячим ключом переливалась в моих жилах,— частые удары пульса звенели в висках и оглушали меня... Я призывал на помощь все усилия разума, всю опытность, приобретенную холодными расчетами долгой жизни... Но рассудок представлял мне смутно лишь черные софизмы преступления, мысли гнева и крови: они багровою пеленою закрывали от меня все другие чувства, мысли, надежды... В эту минуту дикарь, распаленный зверским побуждением, бушевал под наружностию образованного, утонченного, расчетливого европейца.

Я не знаю, чем бы кончилось это состояние, как вдруг дверь растворилась и человек подал письмо графине.

— От графа с нарочным.

Графиня с беспокойством развернула пакет, прочла несколько строк,— руки ее затряслись, она побледнела.

Человек вышел. Графиня подала мне письмо. Оно было от незнакомого человека, который уведомлял графиню, что муж ее опасно занемог на дороге в Москву, принужден был остановиться на постоялом дворе, не может писать сам и хочет видеть графиню.

Я взглянул на нее; в голове моей сверкнула неясная мысль, отразилась в моих взорах... Она поняла эту мысль, закрыла глаза рукою, как бы для того, чтобы не видать ее, и быстро бросилась к колокольчику.

— Почтовых лошадей! — сказала она с твердостию вошедшему человеку.— Просить ко мне скорее доктора Бина.

— Вы едете? — сказал я.

— Сию минуту.

— Я за вами.

— Невозможно!

— Все знают, что уж я давно сбираюсь в тверскую деревню.

— По крайней мере через день после меня.

— Согласен... но случай заставит меня остановиться с вами на одной станции, а доктор Бин мне друг с моего детства.

— Увидим,— сказала графиня,— но теперь прощайте.— Мы расстались.

Я поспешно возвратился домой, привел в порядок мои дела, рассчитал, когда мне выехать, чтобы остановиться на станции, велел своим людям говорить, что я уже дня четыре как уехал в деревню; это было вероятно, ибо в последнее время меня мало видали в свете. Через тридцать часов я уже был на большой дороге, и скоро моя коляска остановилась у ворот постоялого дома, где решалась моя участь.

Я не успел войти, как по общей тревоге угадал, что все уже кончилось.

— Граф умер,— отвечали на мои вопросы, и эти слова дико и радостно отдавались в моем слухе.

В такую минуту явиться к графине, предложить ей мои услуги было бы делом обыкновенным для всякого проезжающего, не только знакомого. Разумеется, я поспешил воспользоваться этою обязанностию.

Почти в дверях встретил я Бина, который бросился обнимать меня.

— Что здесь такое?— спросил я.

— Да что!— отвечал он с своею простодушною улыбкою,— нервическая горячка... Запустил, думал доехать в Москву — да где! Она не свой брат, шутить не любит; я приехал — уж поздно было; тут что ни делай — мертвого не оживишь.

Я бросился обнимать доктора — не знаю почему, но, кажется, за его последние слова. Хорошо, что мой добрый Иван Иванович не взял на себя труда разыскивать причины такой необыкновенной нежности.

— Ее, бедную, жаль! — продолжал он.

— Кого? — сказал я, затрепетав всем телом.

— Да графиню.

— Разве она здесь? — проговорил я притворно и поспешно прибавил,— что с ней?

— Да вот уж три дня не спала и не ела.

— Можно к ней?

— Нет, теперь она, слава богу, заснула; пусть себе успокоится до выноса... Здесь, вишь, хозяева просят, чтобы поскорее вынесли в церковь, ради проезжих.

Делать было нечего. Я скрыл свое движение, спросил себе комнату, а потом принялся помогать Ивану Ивановичу во всех нужных распоряжениях. Добрый старик не мог мною нахвалиться. «Вот добрый чело-

век,— говорил он,— иной бы взял да уехал; еще хорошо, что ты случился, я бы без тебя пропал; правда, нам, медикам, нечего греха таить,— прибавил он с улыбкою,— случается отправлять на тот свет, но хоронить еще мне ни раза не удавалось».

Ввечеру был вынос. Графиня как бы не заметила меня, и, признаюсь, я сам не в состоянии был говорить с нею в эту минуту. Странные чувства возбуждались во мне при виде покойника: он был уже немолодых лет, но в лице его еще было много свежести; кратковременная болезнь еще не успела обезобразить его. Я с истинным сожалением смотрел на него, потом с невольною гордостию взглядывал на прекрасное наследство, которое он мне оставлял после себя, и сквозь умилительные мысли нередко мелькали в голове моей адские слова, сохраненные историею: «Труп врага всегда хорошо пахнет!» Я не мог забыть этих слов, зверских до глупости; они беспрестанно звучали в моем слухе.— Служба кончилась, мы вышли из церкви. Графиня, как бы угадывая мое намерение, подослала ко мне человека сказать, что она благодарит меня за участие и что завтра сама будет готова принять меня. Я повиновался.

Волнение, в котором я находился во все эти дни, не дало мне заснуть до самого восхождения солнца. Тогда беспокойный сон, полный безобразных видений, сомкнул мне глаза на несколько часов; когда я проснулся, мне сказали, что графиня уже возвратилась из церкви; я наскоро оделся и пошел к ней.

Она приняла меня. Она не хотела притворствовать, не показывала мнимого отчаяния, но спокойная грусть ясно выражалась на лице ее. Я не буду вам говорить, что беспорядок ее туалета, черное платье делали ее еще прелестнее.

Долго мы не могли сказать ничего друг другу, кроме пошлых фраз, но наконец чувства переполнились, мы не могли более владеть собою и бросились друг другу в объятия. Это был наш первый поцелуй, но поцелуй дружбы, братства.

Мы скоро успокоились. Она рассказала мне о своих будущих планах; через два дня, отдав последний долг покойнику, она возвратится в Москву, а оттуда проедет с детьми в украинскую деревню. Я отвечал ей, что у меня в Украйне также есть небольшая усадьба, и мы

скоро увидели, что были довольно близкими соседями. Я не мог верить своему счастию; передо мной наполнялась прекрасная мечта и мысль юности: уединение, теплый климат, прекрасная, умная женщина и долгий ряд счастливых дней, полных животворной любви и спокойствия.

Так протекли два дня; мы видались почти ежеминутно, и наше счастие было так полно, так невольно вырывались из души слова надежды и радости, что даже Иван Иванович начал поглядывать на нас с улыбкою, которую ему хотелось сделать насмешливою, а наедине намекал мне, что не надобно упускать вдовушки, тем более что она была очень несчастлива с покойником, который был человек капризный, плотский и мстительный. Я теперь впервые узнал эти подробности, и они мне служили ключом к разным мыслям и постукам графини. Несмотря на странность нашего положения, в эти два дня мы не могли не сблизиться более, нежели в прежние месяцы,— чего не переговоришь в двадцать четыре часа? Мало-помалу характер графини открывался мне во всей полноте, ее огненная душа во всем блеске; мы успели поверить друг другу все наши маленькие тайны; я ей рассказал мое романическое отчаяние; она мне призналась, что в последнее наше свидание притворялась из всех сил и уже готова была броситься в мои объятия, когда принесли роковое письмо; изредка мы позволяли себе даже немножко смеяться. Элиза вполне очаровала меня и, кажется, сама находилась в подобном очаровании; часто ее пламенный взор останавливался на мне с невыразимой любовью и с трепетом опускался в землю; я осмеливался лишь жать ее руку. Как я досадовал на светские приличия, которые не позволяли мне с сей же минуты вознаградить моей любовью все прежние страдания графини! Признаюсь, я уже с нетерпением начал ожидать, чтобы скорее отдали земле земное, и досадовал на срок, установленный законом.

Наконец наступил третий день. Никогда еще сон мой не был спокойнее; прелестные видения носились над моим изголовьем: то были бесконечные сады, облитые жарким солнечным сиянием; везде — в куще древес, в цветных радугах я видел прекрасное лицо моей Элизы, везде она являлась мне, но в бесчисленных полупрозрачных образах, и все они улыбались,

простирали ко мне свои руки, скользили по моему лицу душистыми локонами и легкою вереницею взвивались на воздух... Но вдруг все исчезло, раздался ужасный треск, сады обратились в голую скалу и на той скале явились мертвец и доктор, каким я его видел в космораме; но вид его был строг и сумрачен, а мертвец хохотал и грозил мне своим саваном. Я проснулся. Холодный пот лился с меня ручьями. В эту минуту постучались в дверь.

— Графиня вас просит к себе сию минуту,— сказал вошедший человек.

Я вскочил; раздались страшные удары грома, от туч было почти темно в комнате; она освещалась лишь блеском молнии; от порывистого ветра пыль взвивалась столбом и с шумом рассыпалась о стекла. Но мне некогда было обращать внимание на бурю: оделся наскоро и побежал к Элизе. Нет, никогда не забуду выражения лица ее в эту минуту; она была бледна как смерть, руки ее дрожали, глаза не двигались. Приличия уже были не у места; забыт светский язык, светские условия.

— Что с тобою, Элиза?

— Ничего! вздор! глупость! пустой сон!..

При этих словах меня обдало холодом... «Сон?» — повторил я с изумлением...

— Да! но сон ужасный! Слушай! — говорила она, вздрагивая при каждом ударе грома,— я заснула спокойно... я думала о наших будущих планах, о тебе, о нашем счастье... Первые сновидения повторили веселые мечты моего воображения... Как вдруг предо мною явился покойный муж,— нет, то был не сон — я видела его самого, его самого: я узнала эти знакомые, еще стиснутые, почти улыбающиеся губы, это адское движение черных бровей, которым выражался в нем порыв мщения без суда и без милости... Ужас, Владимир! Ужас!.. Я узнала этот неумолимый, свинцовый взор, в котором в минуту гнева вспыхивали кровавые искры; я услышала снова этот голос, который от ярости превращался в дикий свист и который я думала никогда более не слышать...

«Я все знаю, Элиза,— говорил он,— все вижу; здесь мне все ясно; ты очень рада, что я умер; ты уж готова выйти замуж за другого... Нежная, верная жена!.. Безрассудная! ты думала найти счастие — ты не знаешь, что

гибель твоя, гибель детей наших соединена с твоей преступной любовью... Но этому не бывать; нет! жизнь звездная еще сильна во мне,— земляна душа моя и не хочет расстаться с землею... Мне все здесь сказали — лишь возвратясь на землю могу я спасти детей моих, лишь на земле я могу отмстить тебе, и я возвращусь, возвращусь в твои объятия, верная супруга! Дорогою, страшною ценою купил я это возвращение,— ценою, которой ты и понять не можешь... Зато весь ад двинется со мною на твою преступную голову — готовься принять меня. Но слушай: на земле я забуду все, что узнал здесь; скрывай от меня твои чувства, скрывай их — иначе горе тебе, горе и мне!..» Тут он прикоснулся к лицу моему холодными, посиневшими пальцами, и я проснулась. Ужас! Ужас! Я еще чувствую на лице это прикосновение...

Бедная Элиза едва могла договорить; язык ее онемел, она вся была как в лихорадке; судорожно жалась она ко мне, закрывая глаза руками, как бы искала укрыться от грозного видения. Сам невольно взволнованный, я старался утешить ее обыкновенными фразами о расстроенных нервах, о физическом на них действии бури, об игре воображения, и сам чувствовал, как тщетны пред страшною действительностию все эти слова, изобретаемые в спокойные, беззаботные минуты человеческого суемудрия. Я еще говорил, я еще перебирал в памяти все читанные в медицинских книгах подобные случаи, как вдруг распахнулось окошко, порывистый ветер с визгом ворвался в комнату, в доме раздался шум, означавший что-то необыкновенное...

— Это он... это он идет! — вскричала Элиза и, в трепете показывая на дверь, махала мне рукою...

Я выбежал за дверь; в доме все было в смятении; на конце темного коридора я увидел толпу людей: эта толпа приближалась... в оцепенении я прижался к стене, но нет ни сил спросить, ни собрать свои мысли... Да! Элиза не ошиблась. Это был *он! он!* Я видел, как толпа частию вела, частию несла его; я видел его бледное лицо; я видел его впалые глаза, с которых еще не сбежал сон смертный... Я слышал крики радости, изумления, ужаса окружающих... Я слышал прерывистые рассказы о том, как ожил граф, как он поднялся из гроба, как встретил в дверях ключаря, как доктор помогал ему... Итак, это было не видение, но действи-

тельность! Мертвый возвращался нарушить счастье живых... Я стоял как окаменелый; когда граф поравнялся со мною, в тесноте его рука, судорожно вытянутая, скользнула по лицу моему, и я вздрогнул, как будто электрическая искра пробежала по моему телу, все меня окружающее сделалось прозрачным — стены, земли, люди показались мне легкими полутенями, сквозь которые я ясно различал другой мир, другие предметы, других людей... Каждый нерв в моем теле получил способность зрения; мой магический взор обнимал в одно время и прошедшее, и настоящее, и то, что действительно было, и что могло случиться; описать всю эту картину нет возможности, рассказать ее недостанет слов человеческих... Я видел графа Б*** в различных возрастах его жизни... я видел, как над изголовьем его матери, в минуту его рождения, вились безобразные чудовища и с дикою радостию встречали новорожденного. Вот его воспитание: гнусное чудовище между ним и его наставником — одному нашептывает, другому толкует мысли себялюбия, безверия, жестокосердия, гордости; вот появление в свет молодого человека, то же гнусное чудовище руководит его поступками, внушает ему тонкую сметливость, осторожность, коварство, наверное устроивает для него успехи; граф в обществе женщин: необоримая сила влечет их к нему, он ласкает одну за другою и смеется вместе с своим чудовищем; вот он за карточным столом: чудовище подбирает масти, шепчет ему на ухо, какую ставить карту; он обыгрывает, разоряет друга, отца семейства,— и богатство упрочивает его успехи в свете; вот он на поединке: чудовище нашептывает ему на ухо все софизмы дуэлей, крепит его сердце, поднимает его руку, он стреляет — кровь противника брызнула на него и запятнала вечными каплями; чудовище скрывает след его преступления. В одном из секундантов дуэли я узнал моего покойного дядю; вот граф в кабинете вельможи: он искусно клевещет на честного человека, чернит его, разрушает его счастие и заменяет его место; вот он в суде: под личиной прямодушия он таит в сердце жестокость неумолимую, он видит невинного, знает его невинность и осуждает его, чтобы воспользоваться его правами; все ему удается; он богатеет, он носит между людьми имя честного, прямодушного, твердого человека; вот он предлагает свою руку Элизе: на его руке кап-

ли крови и слез; она не видит их и подает ему свою руку; Элиза для него средство к различным целям: он принуждает ее принимать участие в черных, тайных делах своих, он грозит ей всеми ужасами, которые только может изобресть воображение, и когда она, подвластная его адской силе, повинуется, он смеется над ней и приготовляет новые преступления...

Все эти происшествия его жизни чудно, невыразимо соединялись между собою живыми связями; от них таинственные нити простирались к бесчисленным лицам, которые были или жертвами, или участниками его преступлений, часто проникали сквозь несколько поколений и присоединяли их к страшному семейству; между сими лицами я узнал моего дядю, тетку, Поля: все они были как затканы этою сетью, связывавшею меня с Элизою и ее мужем. Этого мало: каждое его чувство, каждая его мысль, каждое слово имело образ живых, безобразных существ, которыми он, так сказать, населил вселенную... На последнем плане вся эта чудовищная вереница примыкала к нему, полумертвому, и он влек ее в мир вместе с собою; живые же связи соединяли с ним Элизу, детей его; к ним другими путями прикреплялись нити от разных преступлений отца и являлись в виде порочных наклонностей, невольных побуждений; между толпою носились несметные, странные образы, которых ужасное впечатление не можно выразить на бумаге; в их уродливости не было ничего смешного, как то бывает иногда на картинах; они все имели человеческое подобие, но их формы, цвета, особенно выражения были разнообразны до бесконечности: чем ближе они были к мертвецу, тем ужаснее казались; над самой головой несчастного неслость существо, которого взора я никогда не забуду: его лицо было тусклого зеленого цвета; алые, как кровь, волосы струились по плечам его; из глаз землянного цвета капали огненные слезы, проникали весь состав мертвеца и оживляли один член за другим; никогда я не забуду того выражения грусти и злобы, с которым это непонятное существо взглянуло на меня... Я не буду более описывать этой картины. Как описать сплетения всех внутренних побуждений, возникающих в душе человека, из которых здесь каждое имело свое отдельное, живое существование? как описать все те таинственные дела, которые совершались в мире сими

существами, невидимыми для обыкновенного взора? Каждое из них магически порождало из себя новые существа, которые в свою очередь впивались в сердца других людей, отдаленных и временем и пространством. Я видел, какую ужасную, логическую взаимность имели действия сих людей, как малейшие поступки, слова, мысли в течение веков срастались в одно огромное преступление, которого основная причина была совершенно потеряна для современников; как это преступление пускало новые отрасли и в свою очередь порождало новые центры преступлений; между темными двигателями грехов человеческих носились и светлые образы, порождения душ чистых, бескровных; они также соединялись между собою живыми звеньями, также магически размножали себя и своим присутствием уничтожали действия детей мрака. Но, повторяю, описать все, что тогда представилось моему взору, недостанет нескольких томов. В эту минуту вся история нашего мира от начала времен была мне понятна; эта внутренность истории человечества была обнажена передо мною, и необъяснимое посредством внешнего сцепления событий казалось мне очень просто и ясно; так, например, взор мой постепенно переходил по магической лестнице, где нравственное чувство, возбуждавшееся в добром испанце при виде костров инквизиции, порождало в его потомке чувство корысти и жестокосердия к мексиканцам, имевшее еще вид законнности; как, наконец, это же самое чувство в последующих поколениях превратилось просто в зверство и в полное духовное обессиление. Я видел, как минутное побуждение моего собственного сердца получало свое начало в делах людей, существовавших до меня за несколько столетий... Я понял, как важна каждая мысль, каждое слово человека, как далеко простирается их влияние, какая тяжкая ответственность ложится за них на душу и какое зло для всего человечества может возникнуть из сердца одного человека, раскрывшего себя влиянию существ нечистых и враждебных... Я понял, что «человек есть мир» — не пустая игра слов, выдуманная для забавы... Когда-нибудь, в более спокойные минуты, я передам бумаге эту историю нравственных существ, обитающих в человеке и порождаемых его волею, которых только следы сохраняются в мирских летописях.

Что я принужден теперь рассказывать постепенно, то во время моего видения представлялось мне в одну и ту же минуту. Мое существо было, так сказать, раздроблено. С одной стороны, я видел развивающуюся картину всего человечества, с другой — картину людей, судьба которых была связана с моею судьбою; в этом необыкновенном состоянии организма ум равно чувствовал страдания людей, отделенных от меня пространством и временем, и страдания женщины, к которой любовь огненною чертою проходила по моему сердцу! О, она страдала, невыразимо страдала!.. Она упадала на колени пред своим мучителем и умоляла его оставить ее или взять с собою. В эту минуту как завеса спала с глаз моих: я узнал в Элизе ту самую женщину, которую некогда видел в космораме; не постигаю, каким образом до сих пор я не мог этого вспомнить, хотя лицо ее всегда мне казалось знакомым; на фантасмагорической сцене я был возле нее, я также преклонял колени пред двойником графа; двойник доктора, рыдая, старался увлечь меня от этого семейства: он что-то говорил мне с большим жаром, но я не мог расслушать речей его, хотя видел движение его губ; в моем ухе раздавались лишь неясные крики чудовищ, носившихся над нами; доктор поднимал руку и куда-то указывал; я напряг все внимание и, сквозь тысячи мелькавших чудовищных существ, будто бы узнавал образ Софии, но лишь на одно мгновение и этот образ казался мне искаженным...

Во все время этого странного зрелища я был в оцепенении; душа моя не знала, что делалось с телом. Когда возвратилась ко мне раздражительность внешних чувств, я увидел себя в своей комнате на постоялом дворе; возле меня стоял доктор Бин с стклянкою в руках...

— Что? — спросил я, очнувшись.

— Да ничего! здоровешенек! пульс такой, что чудо...

— У кого?

— Да у графа! Хороших было мы дел наделали! Да и то правду сказать, я никогда и не воображал, и в книгах не встречал, чтоб мог быть такой сильный обморок. Ну, точно был мертвый. Кажется, немало я на своем веку практики имел; вот уж, говорится, век живи, век учись! А вы-то, батюшка! еще были военный человек,

испугались, также подумали, что мертвец идет... насилу оттер вас... Куда вам за нами, медиками! мы народ храбрый. Я вышел на улицу посмотреть, откуда буря идет, смотрю — мой мертвый тащится, а от него люди так и бегут. Я себе говорю: «Вот любопытный субъект», да к нему,— кричу, зову людей, насилу пришли; уж я его и тем и другим,— и теперь как ни в чем не бывал, еще лет двадцать проживет. Непременно этот случай опишу, объясню, в Париж пошлю, в академию, по всей Европе прогремлю,— пусть же себе толкуют... нельзя! любопытный случай!..

Доктор еще долго говорил, но я не слушал его; одно понимал я: все это было не сон, не мечта,— действительно возвратился к живым мертвый, оживленный ложною жизнию, и отнимал у меня счастие жизни... «Лошадей!» — вскричал я.

Я почти не помню, как и зачем привезли меня в Москву: кажется, я не отдавал никаких приказаний и мною распорядился мой камердинер. Долго я не показывался в свет и проводил дни один, в состоянии бесчувствия, которое прерывалось только невыразимыми страданиями. Я чувствовал, что гасли все мои способности, рассудок потерял силу суждения, сердце было без желаний; воображение напомнило мне лишь страшное, непонятное зрелище, о котором одна мысль смешивала все понятия и приводила меня в состояние, близкое к сумасшествию.

Нечаянно я вспомнил о моей простосердечной кузине; я вспомнил, как она одна имела искусство успокоивать мою душу. Как я радовался, что хоть какое-либо желание закралось в мое сердце!

Тетушка была больна, но велела принять меня. Бледная, измученная болезнию, она сидела в креслах; Софья ей прислуживала, поправляла подушки, подавала питье. Едва она взглянула на меня, как почти заплакала.

— Ах! что это мне как жалко вас! — сказала она сквозь слезы.

— Кого это жаль, матушка? — спросила тетушка прерывающимся голосом.

— Да Владимира Андреевича! Не знаю отчего, но смотреть на него без слез не могу...

— Уж лучше бы, матушка, пожалела обо мне; вишь, он и не подумает больную тетку навестить...

Не знаю, что отвечал я на упрек тетушки, который был не последний. Наконец она несколько успокоилась.

— Я ведь это, батюшка, только так говорю, оттого, что тебя люблю; вот и с Софьюшкой о тебе часто толковали...

— Ах, тетушка! зачем вы говорите неправду? У нас и помина о братце не было...

— Так! так-таки! — вскричала тетушка с гневом, — таки брякнула свое! Не посетуй, батюшка, за нашу простоту; хотела было тебе комплимент сказать, да, вишь, у меня учительша какая проявилась; лучше бы, матушка, больше о другом заботилась... — И полились упреки на бедную девушку.

Я заметил, что характер тетушки от болезни очень переменился; она всем скучала, на все досадовала; особенно без пощады бранила добрую Софью: все было не так, все мало о ней заботились, все мало ее понимали; она жестоко мне на Софью жаловалась, потом от нее переходила к своим родным, знакомым, — никому не было пощады; она с удивительною точностию вспоминала все свои неприятности в жизни, всех обвиняла, и на все роптала, и опять все свои упреки сводила на Софью.

Я молча смотрел на эту несчастную девушку, которая с ангельским смирением выслушивала старуху, а между тем внимательно смотрела, чем бы услужить ей. Я старался моим взором проникнуть эту невидимую связь, которая соединяла меня с Софьею, перенести мою душу в ее сердце, — но тщетно: предо мною была лишь обыкновенная девушка, в белом платье, с стаканом в руках.

Когда тетушка устала говорить, я сказал Софье почти шепотом: «Так вы очень обо мне жалеете?»

— Да! очень жалею и не знаю отчего.

— А мне так *вас* жалко, — сказал я, показывая глазами на тетушку.

— Ничего, — отвечала Софья, — на земле все недолго, и горе и радость; умрем, другое будет...

— Что ты там страхи-то говоришь, — вскричала тетушка, вслушавшись в последние слова. — Вот уж, батюшка, могу сказать, утешница. Чем бы больного человека развлечь, развеселить, а она нет-нет да о смерти заговорит. Что ты, хочешь намекнуть, чтобы я тебя

в духовной-то не забыла, что ли? в гроб хочешь поскорее свести? Экая корыстолюбивая! Так нет, мать моя, еще тебя переживу...

Софья спокойно посмотрела в глаза старухе и сказала: «Тетушка! вы говорите неправду...»

Тетушка вышла из себя: «Как неправду? Так ты собираешься меня похоронить... Ну, скажите, батюшка, выносимо ли это? Вот какую змею я у себя пригрела».

В окружающих прислужницах я заметил явное неудовольствие; доходили до меня слова: «Злая! недобрая! уморить хочет!»

Тщетно хотел я уверить тетушку, что она приняла Софьины слова в другом смысле: я только еще более раздражал ее. Наконец решился уйти; Софья провожала меня.

— Зачем вы вводите тетушку в досаду? — сказал я кузине.

— Ничего; немножко на меня прогневается, а все о смерти подумает; это ей хорошо...

— Непонятное существо! — вскричал я, — научи и меня умереть!

Софья посмотрела на меня с удивлением.

— Я сама не знаю; впрочем, кто хочет учиться, тот уж вполовину выучен.

— Что ты хочешь сказать этим?..

— Ничего! так у меня в книжке записано...

В это время раздался колокольчик. «Тетушка меня кличет, — проговорила Софья, — видите, я угадала: теперь гнев прошел, теперь она будет плакать, а плакать хорошо, очень хорошо, особливо когда не знаешь, о чем плачешь».

С сими словами она скрылась.

Я возвратился домой в глубокой думе, бросился в кресла и старался отдать себе отчет в моем положении. То Софья представлялась мне в виде какого-то таинственного, доброго существа, которое хранит меня, которого каждое слово имеет смысл глубокий, связанный с моим существованием, то я начинал смеяться над собою, вспоминал, что к мысли о Софье воображение примешивало читанное мною в старинных легендах; что она была просто девушка добрая, но очень обыкновенная, которая кстати и некстати любила повторять самые ребяческие сентенции; эти сентенции потому только, вероятно, поражали меня, что в движе-

нии сильных, положительных мыслей нашего века они были забыты и казались новыми, как готическая мебель в наших гостиных. А между тем слова Софьи о смерти невольно звучали в моем слухе, невольно, так сказать, притягивали к себе все мои другие мысли и наконец соединили в один центр все мои духовные силы; мало-помалу все окружающие предметы для меня исчезли, неизъяснимое томление зажгло мое сердце, и глаза нежданно наполнились слезами. Это меня удивило! «Кто же плачет во мне?» — воскликнул я довольно громко, и мне показалось, что кто-то отвечает мне; меня обдало холодом, и я не мог пошевелить рукою; казалось, я прирос к креслу, и внезапно почувствовал в себе то неизъяснимое ощущение, которое обыкновенно предшествовало моим видениям и к которому я уже успел привыкнуть; действительно, чрез несколько мгновений комната моя сделалась для меня прозрачною, в отдалении, как бы сквозь светлый пар, я увидел снова лицо Софьи...

«Нет! — сказал я в самом себе: — соберем всю твердость духа, рассмотрим холодно эту фантасмагорию. Хорошо ребенку было пугаться ее: мало ли что казалось необъяснимым?» И я вперил в странное видение тот внимательный взор, с которым естествоиспытатель рассматривает любопытный физический опыт.

Видение подернулось как бы зеленоватым паром; лицо Софьи сделалось явственнее, но представилось мне в искаженном виде.

«А! — сказал я сам в себе: — зеленый цвет здесь играет какую-то ролю; вспомним хорошенько: некоторые газы производят также в глазе ощущение зеленого цвета; эти газы имеют одуряющее свойство — так точно! преломление зеленого луча соединено с наркотическим действием на наши нервы и обратно. Теперь пойдем далее: явление сделалось явственнее? Так и должно быть: это значит, что оно прозрачно. Так точно! в микроскопе нарочно употребляют зеленоватые стекла для рассматривания прозрачных насекомых: их формы оттого делаются явственнее...»

Чтоб сохранить хладнокровие и не отдать себя под власть воображения, я записывал мои наблюдения на бумаге; но скоро мне это сделалось невозможным; видение близилось ко мне, все делалось явственнее, а с тем вместе все другие предметы бледнели; бумага,

на которой я писал, стол, мое собственное тело сделалось прозрачным, как стекло; куда я ни обращал глаза, видение следовало за моим взором. В нем я узнавал Софью: тот же облик, те же волосы, та же улыбка, но выражение было другое. Она смотрела на меня коварными, сладострастными глазами и с какою-то наглостию простирала ко мне свои объятия.

— Ты не знаешь,— говорила она,— как мне хочется выйти за тебя замуж! Ты богат,— я сама у старухи вымучу себе кое-что,— и мы заживем славно. Отчего ты мне не даешься? Как я ни притворяюсь, как ни кокетничаю с тобою — все тщетно. Тебя пугают мои суровые слова; тебя удивляет мое невинное невежество? Не верь! это все удочка, на которую мне хочется поймать тебя, потому что ты сам не знаешь своего счастия. Женись только на мне — ты увидишь, как я развернусь. Ты любишь рассеянность — я также; ты любишь сорить деньгами — я еще больше; наш дом будет чудо, мы будем давать балы, на балы приглашать родных, вотремся к ним в любовь, и наследства будут на нас дождем литься... Ты увидишь — я мастерица на эти дела...

Я оцепенел, слушая эти речи; в душе моей родилось такое отвращение к Софье, которого не могу и выразить. Я вспоминал все ее таинственные поступки, все ее двусмысленные слова — все мне было теперь понятно! Хитрый демон скрывался в ней под личиною невинности... Видение исчезло — вдали осталась лишь блестящая точка; эта точка увеличивалась постепенно, приближалась — это была моя Элиза! О, как рассказать, что сталось тогда со мною? Все нервы мои потряслись, сердце забилось, руки сами собою простерлись к обольстительному видению; казалось, она носилась в воздухе — ее кудри, как легкий дым, свивались и развивались, волны прозрачного покрывала тянулись по роскошным плечам, обхватывали талию и бились по стройным розовым ножкам. Руки ее были сложены, она смотрела на меня с упреком.

— Неверный! неблагодарный! — говорила она голосом, который, как растопленный свинец, разжигал мою душу,— ты уж забыл меня! Ребенок! ты испугался мертвого! ты забыл, что я страдаю, страдаю невыразимо, безутешно; ты забыл, что между нами обет вечный, неизгладимый! Ты боишься мнения света? Ты боишься встретиться с мертвым? Я — я не переменилась. Твоя

Элиза ноет и плачет, она ищет тебя наяву и во сне,— она ждет тебя; все ей равно — ей ничего не страшно — все в жертву тебе...

— Элиза! я твой! вечно твой! Ничто не разлучит нас! — вскричал я, как будто видение могло меня слышать... Элиза рыдала, манила меня к себе, простирала ко мне руку так близко, что, казалось, я мог схватить ее,— как вдруг другая рука показалась возле руки Элизы... Между ею и мною явился таинственный доктор; он был в рубище, глаза его горели, члены трепетали; он то являлся, то исчезал; казалось, он боролся с какою-то невидимою силою, старался говорить, но до меня доходили только прерывающиеся слова: «Беги... гибель... таинственное мщение... совершается... твой дядя... подвигнул его... на смертное преступление... его участь решена... его... давит... дух земли... гонит... она запятнана невинною кровью... он погиб без возврата... он мстит за свою гибель... он зол ужасно... он за тем возвратился на землю... гибель... гибель...»

Но доктор исчез; осталась одна Элиза. Она по-прежнему простирала ко мне руки и манила меня, исчезая... я в отчаянии смотрел вслед за нею...

Стук в дверь прервал мое очарование. Ко мне вошел один из знакомых.

— Где ты? тебя вовсе не видно! Да что с тобою? ты вне себя...

— Ничего; я так,— задумался...

— Обещаю тебе, что ты с ума сойдешь, и это непременно, и так уж тебе какие-то чертенята, я слышал, показывались...

— Да! слабость нерв. Но теперь прошло...

— Если бы тебя в руки магнетизера, так из тебя бы чудо вышло...

— Отчего так?

— Ты именно такой организации, какая для этого нужна... Из тебя бы вышел *ясновидящий*...

— Ясновидящий! — вскричал я...

— Да! только не советую испытывать: я эту часть очень хорошо знаю; это болезнь, которая доводит до сумасшествия. Человек бредил в магнетическом сне, потом начинает уже непрерывно бредить...

— Но от этой болезни можно излечиться...

— Без сомнения, рассеянность, общество, холод-

ные ванны... Право, подумай. Что сидеть? бед наживешь... Что ты, например, сегодня делаешь?

— Хотел остаться дома.

— Вздор, поедем в театр,— новая опера; у меня целая ложа к твоим услугам...

Я согласился.

Магнетизм!.. Удивительно,— думал я дорогою,— как мне это до сих пор в голову не приходило. Слыхал я о нем, да мало. Может быть, в нем и найду я объяснение странного состояния моего духа. Надобно познакомиться покороче с книгами о магнетизме.

Между тем мы приехали. В театре еще было мало; ложа возле нашей оставалась незанятою. На афишке предо мною я прочел: «Вампир, опера Маршнера»; она мне была неизвестна, и я с любопытством прислушивался к первым звукам увертюры. Вдруг невольное движение заставило меня оглянуться; дверь в соседней ложе скрипнула; смотрю — входит моя Элиза. Она взглянула на меня, приветливо поклонилась, и бледное лицо ее вспыхнуло. За нею вошел муж ее. Мне показалось, что я слышу могильный запах,— но это была мечта воображения. Я его не видал около двух месяцев после его оживления; он очень поправился; лицо его почти потеряло все признаки болезни... Он что-то шепнул Элизе на ухо, она отвечала ему также тихо, но я понял, что она произнесла мое имя. Мысли мои мешались; и прежняя любовь к Элизе, и гнев, и ревность, и мои видения, и действительность,— все это вместе приводило меня в сильное волнение, которое тщетно я хотел скрыть под личиною обыкновенного светского спокойствия. И эта женщина могла быть моею, совершенно моею! Наша любовь не преступна, она была для меня вдовою; она без укоризны совести могла располагать своею рукою; и мертвый — мертвый между нами! Опера потеряла для меня интерес; пользуясь моим местом в ложе, я будто бы смотрел на сцену, но не сводил глаз с Элизы и ее мужа. Она была томнее прежнего, но еще прекраснее; я мысленно рядил ее в то платье, в котором она мне представилась в видении; чувства мои волновались, душа вырывалась из тела; от нее взор мой переходил на моего таинственного соперника; при первом взгляде лицо его не имело никакого особенного выражения, но при большем внимании вы уверялись невольно, что на этом лице лежит печать

преступления. В том месте оперы, где вампир просит прохожего поворотить его к сиянию луны, которое должно оживить его, граф судорожно вздрогнул; я устремил на него глаза с любопытством, но он холодно взял лорнетку и повел ею по театру: было ли это воспоминание о его приключении, простая ли физическая игра нерв или внутренний говор его таинственной участи,— отгадать было невозможно. Первый акт кончился; приличие требовало, чтобы я заговорил с Элизою; я приблизился к балюстраду ее ложи. Она очень равнодушно познакомила меня с своим мужем; он с развязностию опытного светского человека сказал мне несколько приветливых фраз; мы разговорились об опере, об обществе; речи графа были остроумны, замечания тонки: видно было светского человека, который под личиною равнодушия и насмешки скрывает короткое знакомство с многоразличными отраслями человеческих знаний. Находясь так близко от него, я мог рассмотреть в глазах его те странные багровые искры, о которых говорила мне Элиза; впрочем, эта игра природы не имела ничего неприятного; напротив, она оживляла проницательный взгляд графа; была заметна также какая-то злоба в судорожном движении тонких губ его, но ее можно было принять лишь за выражение обыкновенной светской насмешливости.

На другой день я получил от графа пригласительный билет на раут. Чрез несколько времени на обед en petit comité[1] и так далее. Словом, почти каждую неделю хоть раз, но я видел мою Элизу, шутил с ее мужем, играл с ее детьми, которые хотя были не очень любезны, но до крайности смешны. Они походили более на отца, нежели на мать, были серьезны не по возрасту, что я приписывал строгому воспитанию; их слова часто меня удивляли своею значительностию и насмешливым тоном, но я не без неудовольствия заметил на этих детских лицах уже довольно ясные признаки того судорожного движения губ, которое мне так не нравилось в графе. В разговоре с графинею нам, разумеется, не нужно было приготовлений: мы понимали каждый намек, каждое движение; впрочем никто по виду не мог бы догадаться о нашей старинной связи, ибо мы вели себя осторожно и позволяли себе даже глядеть друг

[1] В узком кругу *(фр.)*.

на друга только тогда, когда граф сидел за картами, им любимыми до безумия.

Так прошло несколько месяцев; еще ни раза мне не удалось видеться с Элизою наедине, но она обещала мне свидание, и я жил этою надеждою.

Между тем, размышляя о всех странных случаях, происходивших со мною, я запасся всеми возможными книгами о магнетизме; Пьюсегюр, Делез, Вольфарт, Кизер не сходили с моего стола; наконец, казалось мне, я нашел разгадку моего психического состояния, я скоро стал смеяться над своими прежними страхами, удалил от себя все мрачные, таинственные мысли и наконец уверился, что вся тайна скрывается в моей физической организации, что во мне происходит нечто подобное очень известному в Шотландии, так называемому «второму зрению»; я с радостию узнал, что этот род нервической болезни проходит с летами и что существуют средства вовсе уничтожить ее. Следуя сим сведениям, я начертил себе род жизни, который должен был вести меня к желанной цели: я сильно противоборствовал малейшему расположению к сомнамбулизму — так называл я свое состояние; верховая езда, беспрестанная деятельность, беспрестанная рассеянность, ванна — все это вместе видимо действовало на улучшение моего физического здоровья, а мысль о свидании с Элизою изгоняла из моей головы все другие мысли.

Однажды после обеда, когда возле Элизы составился кружок празднoшатающихся по гостиным, она нечувствительно завела речь о суевериях, о приметах. «Есть очень умные люди, — говорила Элиза хладнокровно, — которые верят приметам и, что всего страннее, имеют сильные доказательства для своей веры; например, мой муж не пропускает никогда вечера накануне Нового года, чтоб не играть в карты; он говорит, что всегда в этот день он чувствует необыкновенную сметливость, необыкновенную память, в этот день ему приходят в голову такие расчеты в картах, которых он и не воображал; в этот день, говорит он, я учусь на целый год». На этот рассказ посыпался град замечаний, одно другого пустее; я один понял смысл этого рассказа: один взгляд Элизы объяснил мне все.

— Кажется, теперь 10 часов, — сказала она чрез несколько времени...

— Нет, уже 11, — отвечали некоторые простачки.

— Le temps m'a paru trop court dans votre societé, messieurs...[1] — проговорила Элиза тем особенным тоном, которым умная женщина дает чувствовать, что она совсем не думает того, что говорит; но для меня было довольно.

Итак, накануне Нового года, в 10 часов... Нет, никогда я не испытывал большей радости! В течение долгих, долгих дней видеть женщину, которую некогда держал в своих объятиях, видеть и не сметь пользоваться своим правом, и наконец дождаться счастливой, редкой минуты... Надобно испытать это непонятное во всяком другом состоянии чувство!

В последние дни перед Новым годом я потерял сон, аппетит, вздрагивал при каждом ударе маятника, ночью просыпался беспрестанно и взглядывал на часы, как бы боясь потерять минуту.

Наконец наступил канун Нового года. В эту ночь я не спал решительно ни одной минуты и встал с постели измученный, с головною болью; в невыразимом волнении ходил я из угла в угол и взором следовал за медленным движением стрелки. Пробило восемь часов; в совершенном изнеможении я упал на диван... Я серьезно боялся занемочь, и в такую минуту!.. Легкая дремота начала склонять меня; я позвал камердинера: «Приготовить кофию, и, если я засну, в 9 часов разбудить меня, но непременно — слышишь ли? Если ты пропустишь хоть минуту, я сгоню тебя со двора; если разбудишь вовремя — сто рублей».

С сими словами я сел в кресла, приклонил голову и заснул сном свинцовым... ужасный грохот пробудил меня. Я проснулся, — руки, лицо у меня были мокры и холодны... у ног моих лежали огромные бронзовые часы, разбитые вдребезги — камердинер говорил, что я, сидя возле них, вероятно, задел их рукою, хотя он этого и не заметил. Я схватился за чашку кофею, когда послышался звук других часов, стоявших в ближней комнате; я стал считать: бьет один, два, три... восемь, девять... десять!.. одиннадцать!.. двенадцать!.. Чашка полетела в камердинера. «Что ты сделал?» — вскричал я вне себя.

---

[1] Время слишком быстро пролетело в вашем обществе, господа... *(фр.)*

— Я не виноват,— отвечал несчастный камердинер, обтираясь; — я исполнил в точности ваше приказание: едва начало бить девять, я подошел будить вас — вы не просыпались; я поднимал вас с кресел, а вы только изволили мне отвечать: «Еще мне рано, рано... Бога ради... не губи меня»,— и снова упадали в кресла; я наконец решился облить вас холодною водою; но ничто не помогало; вы только повторяли: «Не губи меня». Я уже было хотел послать за доктором, но не успел дойти до двери, как часы не знаю отчего упали и вы изволили проснуться...

Я не обращал внимание на слова камердинера, оделся как можно поспешнее, бросился в карету и поскакал к графине.

На вопрос: «Дома ли граф?» — швейцар отвечал: «Нет, но графиня дома и принимает». Я не взбежал, но взлетел на лестницу! В дальней комнате меня ждала Элиза; увидев меня, она вскрикнула с отчаянием: «Так поздно! граф должен скоро возвратиться; мы потеряли невозвратимое время!»

Я не знал, что отвечать, но минуты были дороги, упрекам не было места, мы бросились друг другу в объятия. О многом, многом нам должно было говорить; рассказать о прошедшем, условиться о настоящем, о будущем; судьба так причудливо играла нами, то соединяла тесно на одно мгновение, то разлучала надолго целою бездною; жизнь наша связывалась отрывками, как минутные вдохновения беззаботного художника. Как много в ней осталось необъясненного, непонятого, недосказанного. Едва я узнал, что жизнь Элизы ад, исполненный мучений всякого рода: что нрав ее мужа сделался еще ужаснее; что он терзал ее ежедневно, просто для удовольствия; что дети были для нее новым источником страданий; что муж ее преследовал и старался убить в них всякую чистую мысль, всякое благородное чувство, что он и словами и примерами знакомил их с понятиями и страстями, которые ужасны и в зрелом человеке,— и когда бедная Элиза старалась спасти невинные души от заразы, он приучал несчастных малюток смеяться над своею матерью... Эта картина была ужасна. Мы уже говорили о возможности прибегнуть к покровительству законов, рассчитывали все вероятные удачи и неудачи, все выгоды и невыгоды такого дела... Но наш разговор слабел и прерывался бес-

престанно — слова замирали на пылающих устах — мы так давно ждали этой минуты; Элиза была так обольстительно-прекрасна; негодование еще более разжигало наши чувства, ее рука впилась в мою руку, ее голова прильнула ко мне, как бы ища защиты... Мы не помнили, где мы, что с нами, и когда Элиза в самозабвении повисла на моей груди... дверь не отворилась, но муж ее явился подле нас. Никогда не забуду этого лица: он был бледен как смерть, волосы шевелились на голове его, как наэлектризированные; он дрожал, как в лихорадке, молчал, задыхаясь, и улыбался. Я и Элиза стояли как окаменелые; он схватил нас обоих за руки... его лицо покривилось... щеки забагровели... глаза засветились... он молча устремил их на нас... Мне показалось, что огненный кровавый луч исходит из них... Магическая сила сковала все мои движения, я не мог пошевельнуться, не смел отвести глаза от страшного взора... Выражение его лица с каждым мгновением становилось свирепее, с тем вместе сильнее блистали его глаза, багровее становилось лицо... Не настоящий ли огонь зарделся под его нервами?.. Рука его жжет мою руку... еще мгновение, и он заблистал, как раскаленное железо... Элиза вскрикнула... мёбели задымились... синеватое пламя побежало по всем членам мертвеца... посреди кровавого блеска обозначились его кости белыми чертами... Платье Элизы загорелось; тщетно я хотел вырвать ее руку из мстительного пожатия... глаза мертвеца следовали за каждым ее движением и прожигали ее... лицо его сделалось пепельного цвета, волосы побелели и свернулись, лишь одни губы багровою полосою прорезывались по лицу его и улыбались коварною улыбкою... Пламя развилось с непостижимою быстротою: вспыхнули занавески, цветы, картины, запылал пол, потолок, густой дым наполнил всю комнату... «Дети! дети!» — вскричала Элиза отчаянным голосом. «И они с нами!» — отвечал мертвец с громким хохотом...

С этой минуты я уже не помню, что было со мною... Едкий горячий смрад задушал меня, заставлял закрывать глаза,— я слышал, как во сне, вопли людей, треск разваливающегося дома... Не знаю, как рука моя вырвалась из руки мертвеца: я почувствовал себя свободным, и животный инстинкт заставлял меня кидаться в разные стороны, чтоб избегнуть обваливающихся

стропил... В эту минуту только я заметил пред собою как будто белое облако... всматриваюсь... в этом облаке мелькает лицо Софьи... она грустно улыбалась, манила меня... Я невольно следовал за нею... Где пролетало видение, там пламя отгибалось, и свежий, душистый воздух оживлял мое дыхание... Я все далее, далее...

Наконец я увидел себя в своей комнате.

Долго не мог я опомниться; я не знал, спал я или нет; взглянул на себя — платье мое не тлело; лишь на руке осталось черное пятно... этот вид потряс все мои нервы; и я снова потерял память...

Когда я пришел в себя, я лежал в постели, не имея силы выговорить слово.

— Слава богу! кризис кончился! есть надежда,— сказал кто-то возле меня; я узнал голос доктора Бина, я силился выговорить несколько слов — язык мне не повиновался.

После долгих дней совершенного безмолвия первое мое слово было: «Что Элиза?»

— Ничего! ничего! Слава богу, здорова, велела вам кланяться...

Силы мои истощились на произнесенный вопрос — но ответ доктора успокоил меня.

Я стал оправляться: меня начали посещать знакомые. Однажды, когда я смотрел на свою руку и старался вспомнить, что значило на ней черное пятно, — имя графа, сказанное одним из присутствующих, поразило меня; я стал прислушиваться, но разговор был для меня непонятен.

— Что с графом? — спросил я, приподнимаясь с подушки.

— Да! ведь и ты к нему езжал, — отвечал мой знакомый,— разве ты не знаешь, что с ним случилось? Вот судьба! Накануне Нового года он играл в карты у***; счастье ему благоприятствовало необыкновенно; он повез домой сумму необъятную; но вообрази — ночью в доме у него сделался пожар; все сгорело: он сам, жена, дети, дом — как не бывали; полиция делала чудеса, но все тщетно: не спасено ни нитки; пожарные говорили, что отроду им еще не случалось видеть такого пожара: уверяли, что даже камни горели. В самом деле, дом весь рассыпался, даже трубы не торчат...

Я не дослушал рассказа: ужасная ночь живо возоб-

новилась в моей памяти, и страшные судороги потрясли все мое тело.

— Что вы наделали, господа! — вскричал доктор Бин — но уже было поздно: я снова приблизился к дверям гроба. Однако молодость ли, попечения ли доктора, таинственная ли судьба моя — только я остался в живых.

С этих пор доктор Бин сделался осторожнее, перестал впускать ко мне знакомых и сам почти не отходил от меня...

Однажды — я уже сидел в креслах — во мне не было беспокойства, но тяжкая, тяжкая грусть, как свинец, давила грудь мою. Доктор смотрел на меня с невыразимым участием.

— Послушайте,— сказал я,— теперь я чувствую себя уже довольно крепким; не скрывайте от меня ничего: неизвестность более терзает меня...

— Спрашивайте,— отвечал доктор уныло,— я готов отвечать вам...

— Что тетушка?

— Умерла.

— А Софья?

— Вскоре после нее,— проговорил почти со слезами добрый старик.

— Когда? как?

— Она была совершенно здорова, но вдруг, накануне Нового года, с нею сделались непонятные припадки; я сроду не видал такой болезни: все тело ее было как будто обожжено...

— Обожжено?..

— Да! то есть имело этот вид; я говорю вам так, потому что вы не знаете медицины; но это, разумеется, был род острой водяной...

— И она долго страдала?

— О нет, слава богу! Если бы вы видели, с каким терпением она сносила свои терзания, обо всех спрашивала, всем занималась... Право, настоящий ангел, хотя и была немножко простовата. Да, кстати, она и о вас не забыла: вырвала листок из своей записной книжки и просила меня отдать вам на память. Вот он.

Я с трепетом схватил драгоценный листок: на нем были только следующие слова из какой-то нравоучительной книжки: «Высшая любовь страдать за другого...» С невыразимым чувством я прижал к губам этот

листок. Когда я снова хотел прочесть его, то заметил, что под этими словами были другие. «Все свершилось! — говорило магическое письмо, — жертва принесена! не жалей обо мне — я счастлива! Твой путь еще долог, и его конец от тебя зависит. Вспомни слова мои: чистое сердце — высшее благо; ищи его».

Слезы полились из глаз моих, но то были не слезы отчаяния.

Я не буду описывать подробностей моего выздоровления, а постараюсь хотя слегка обозначить новые страдания, которым подвергся, ибо путь мой долог, как говорила Софья.

Однажды, грустно перебирая все происшествия моей жизни, я старался проникнуть в таинственные связи, которые соединяли меня с любимыми мною существами и с людьми почти мне чужими. Сильно возбудилось во мне желание узнать, что делалось с Элизою... Не успел я пожелать, как таинственная дверь моя растворилась. Я увидел Элизу пред собою; она была та же, как и в последний день, — так же молода, так же прекрасна: она сидела в глубоком безмолвии и плакала; невыразимая грусть являлась во всех чертах ее. Возле нее были ее дети; они печально смотрели на Элизу, как будто чего от нее ожидая. Воспоминания ворвались в грудь мою, вся прежняя любовь моя к Элизе воскресла. «Элиза! Элиза!» — вскричал я, простирая к ней руки.

Она взглянула на меня с горьким упреком... и грозный муж явился пред нею. Он был тот же, как и в последнюю минуту: лицо пепельного цвета, по которому прорезывались тонкою нитью багровые губы; волосы белые, свернувшиеся клубком; он с свирепым и насмешливым видом посмотрел на Элизу, и что же? она и дети побледнели — лицо, как у отца, сделалось пепельного цвета, губы протянулись багровою чертою, в судорожных муках они потянулись к отцу и обвивались вокруг членов его... Я закричал от ужаса, закрыл лицо руками... Видение исчезло, но недолго. Едва я взглядываю на свою руку, она напоминает мне Элизу, едва вспоминаю о ней, прежняя страсть возбуждается в моем сердце, и она является предо мною снова, снова глядит на меня с упреком, снова пепелеет и снова судорожно тянется к своему мучителю...

Я решился не повторять более моего страшного опыта и для счастья Элизы стараться забыть о ней. Чтобы рассеять себя, я стал выезжать, видеться с друзьями; но скоро, по мере моего выздоровления, я начинал замечать в них что-то странное: в первую минуту они узнавали меня, были рады меня видеть, но потом мало-помалу в них рождалась какая-то холодность, похожая даже на отвращение; они силились сблизиться со мною, и что-то невольно их отталкивало. Кто начинал разговор со мною, через минуту старался его окончить; в обществах люди как будто оттягивались от меня непостижимою силою, перестали посещать меня; слуги, несмотря на огромное жалованье и на обыкновенную тихость моего характера, не проживали у меня более месяца; даже улица, на которой я жил, сделалась безлюднее; никакого животного я не мог привязать к себе; наконец, как я заметил с ужасом, птицы никогда не садились на крышу моего дома. Один доктор Бин оставался мне верен; но он не мог понять меня, и в рассказах о странной пустыне, в которой я находился, он видел одну игру воображения.

Этого мало; казалось, все несчастия на меня обрушились: что я ни предпринимал, ничто мне не удавалось; в деревнях несчастия следовали за несчастиями; со всех сторон против меня открылись тяжбы, и старые, давно забытые процессы возобновились; тщетно я всею возможною деятельностию хотел воспротивиться этому нападению судьбы — я не находил в людях ни совета, ни помощи, ни привета; величайшие несправедливости совершались против меня и всякому казались самым праведным делом. Я пришел в совершенное отчаяние...

Однажды, узнав о потере половины моего имения в самом несправедливом процессе, я пришел в гнев, которого еще никогда не испытывал; невольно я перебирал в уме все ухищрения, употребленные против меня, всю неправоту моих судей, всю холодность моих знакомых, сердце мое забилось от досады... и снова таинственная дверь предо мною растворилась, я увидел все те лица, против которых воспалился гневом, — ужасное зрелище! В другом мире мой нравственный гнев получил физическую силу: он поражал врагов моих всеми возможными бедствиями, насылал из них болезненные судороги, мучения совести, все

ужасы зла... Они с плачем простирали ко мне свои руки, молили пощады, уверяя, что в нашем мире они действуют по тайному, непреодолимому побуждению...

С этой минуты гибельная дверь души моей не затворяется ни на мгновение. Днем, ночью вокруг меня толпятся видения лиц мне знакомых и незнакомых. Я не могу вспомнить ни о ком ни с любовью, ни с гневом; все, что любило меня или ненавидело, все, что имело со мною малейшее сношение, что прикасалось ко мне, все страдает и молит меня отвратить глаза мои...

В ужасе невыразимом, терзаемый ежеминутно, я боюсь мыслить, боюсь чувствовать, боюсь любить и ненавидеть! Но возможно ли это человеку? как приучить себя не думать, не чувствовать? Мысли невольно являются в душе моей — и мгновенно пред моими глазами обращаются в терзание человечеству. Я покинул все мои связи, мое богатство; в небольшой, уединенной деревне, в глуши непроходимого леса, незнаемый никем, я похоронил себя заживо; я боюсь встретиться с человеком, ибо всякий, на кого смотрю, занемогает; боюсь любоваться цветком, ибо цветок мгновенно вянет пред моими глазами... Страшно! страшно!.. А между тем этот непонятный мир, вызванный магическою силою, кипит предо мною: там являются мне все приманки, все обольщения жизни, там женщины, там семейство, там все очарования жизни; тщетно я закрываю глаза — тщетно!

Скоро ль, долго ль пройдет мое испытание — кто знает! Иногда, когда слезы чистого, горячего раскаяния льются из глаз моих, когда, откинув гордость, я со смирением сознаю все безобразие моего сердца,— видение исчезает, я успокоиваюсь — но недолго! Роковая дверь отворена: я, жилец здешнего мира, принадлежу к другому, я поневоле там действователь, я там — ужасно сказать,— я там *орудие казни!*

1839

Михаил МИХАЙЛОВ

За пределами истории

За миллионы лет

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Лишь любить да мечтать умело оно,
Все природой им было даром дано.

Шиллер

И силу в грудь и свежесть в кровь
Дыханьем вольным пью.
Как сладко, мать-природа, вновь
Упасть на грудь твою!

Гете

I

В Индейском море, гораздо ближе к экватору, чем к южному тропику, был остров. Его выдвинул когда-то подземный огонь, который доныне изменяет там вид морского дна.

Над островом прошли тысячелетия. Растительная и животная жизнь, идя от развития к развитию, от победы к победе, успела, наконец, одеть роскошным обилием когда-то бесплодные трахиты и базальты.

Но внутренний огонь клокотал еще под почвою острова и искал себе выхода. Остров по временам содрогался.

Вдоль южного берега, опускавшегося в море утесистыми обрывами, шла горная гряда, которая дымилась всеми своими вышками. Три горы, замыкавшие эту гряду на восток, редко переставали грохотать и обливаться огненными ручьями. Они господствовали над всем островом, и со всех его точек виднелись над их высокими жерлами столбы багрового зарева, недвижимые и при бурных порывах ветра. Вершины других гор южной цепи дышали только дымом. Из иных с шипеньем и свистом вырывались по временам серные пары. Несколько гор, пониже, стояли как в зубчатых каменных венцах, и целые озера мутной воды кипели в их котловинах, одетых белым паром.

Северные скаты уже пышно зеленели и были усеяны цветами. Подошвы их тонули в высокой растительности долины, которая тянулась почти вдоль всего острова между цепью не погасших еще вулканов и другою грядой лесистых гор, несколько ниже.

Дальше к северу, за этими горами, шла опять высокая, вечнозеленая долина. По долине вился поток, опушенный темными рощами. Он огибал высокий холм и исчезал за ним. Холм этот был только одним из звеньев целой цепи таких же пологих волнистых холмов, заросших густыми лесами. Они, как пышная бахрома, одевали их своею вечною зеленью. Холмы шли, параллельно с двумя южными грядами, вдоль всего острова, с востока к западу. Склоны их на севере были еще так же богато одеты лесами. Но чем далее к северному отлогому берегу, тем все более редела древесная растительность.

Она окаймляла только прибрежье реки, быстро бежавшей тут к морю, да кой-где стояли уже одинокие группы пальм, окруженные мелким кустарником. Между ними лежали болота и трясины, лишь изредка поросшие травой. Местами стройные и высокие стволы группы пальм были окружены желтым песком, и темная тень их сплетшихся вершин дрожала на нем своим причудливым узором. Тут подымались удушливые испарения, и эта часть острова была пустынна. На местах, темневших сожженными и ржавыми пятнами, вились струйки пара и огня: это горючие газы прорывались сквозь окрепшую на солнце кору ила.

Дальше берег длинным песчаным мысом уходил в голубое, как сапфир, море. Волны далеко заплескивали его, оставляя на песке пестрые кучки кораллов и раковин. Между раковинами много было и жемчужных; но никто не трогал жемчуга. Его не нужно было здесь никому, как и золота в этих плодоносных падях, как и алмазов в песке речного дна.

А на острове уже были люди.

II

Солнце только что выходит. С моря веет легкий ветер, стихавший на ночь. Пряные травы и деревья запахли сильнее.

В низменных частях острова воздух слишком жгуч, а ветер не умеряет зноя. Но в горных лесах есть прохлада. Лиственные своды их местами так густы и плотны, что ни один луч не может пронизать их. Тут всегда царит благовонная ночь. Разновидные стволы деревьев, то коленчатые, то гладкие, то колючие, стоят как ряды колонн какого-то таинственного лабиринта, полного запахом душистых смол и меда. Вьющиеся растения лишь слегка опутывают их своими цветущими вязями.

Но где вершины деревьев расступаются, там все с неудержимой силой рвется из теплой почвы к солнцу. Что под нашим скупым небом едва вырастает в тощую былинку, то поднимается здесь сильным деревом. Лианы сплошной плетеницей всползают по древесным стволам до самой вершины, причудливо убирая их своими порхающими листьями и цветами. Все виды растительности собрались тут как будто на состязание. Листы всех оттенков, всех форм и размеров мешаются в живом и цветущем хаосе. Под неподвижным и жестким листом пальмы дрожит чуткий лист мимозы; среди бахромчатой зелени лиан и зеленых кружев папоротника поднимается громадный завиток музы, будто гордясь своей величавою простотой. Тысячами красок горят на всех ветках цветы. Разноцветные попугаи и райские птицы, узорчатые бабочки и золотистые мухи кажутся порхающими цветами и лепестками цветов. Такими же яркими красками блестит спинка пестрой ящерицы, мелькающей в зелени, и кожа большой змеи, которая тройным кольцом обвилась вокруг толстого пня. Порой мелькает в кустах желтая спина леопарда.

Его мяуканье слышно по временам среди неумолкающего крика, свиста и щебетанья птиц, среди жужжанья и звенящего гула насекомых. Порою трещат ломаемые сучья и кусты, и почва как будто дрожит под тяжкою ступней слона. Маленькие орангутанги, качающиеся на деревьях, поднимают громкий визг и с любопытством заглядывают в переходы чащи. Местами, где почва становится вязкой и повсюду проступает вода, слышно хрюканье кабанов. Дальше плещется, тяжело сопя, носорог.

Кой-где есть небольшие лужайки, и деревья стоят тут одиноко в великолепных венцах своих широких листьев. У подножья их громоздятся в несколько кругов, как пышные зеленые подушки, сочные травы и кусты. Здесь на каждом шагу вспархивают багряные фламинго, радужные павлины.

Иногда в лесной чаще слышится журчанье ручья; иногда деревья, расступаясь, окружают гладкие, как зеркало, светлые голубые озера, и пальмы свешивают к их водам свои будто усталые бахромчатые листья. Тут еще более роится птиц, и порой тихо кружит над ними в высоте белоголовый ястреб. Темной неподвижной колодой виднеется из воды крокодил, тоже подстерегающий добычу. Не сводя с него глаз, большой орангутанг цепляется за толстый сук, нависший над самою водой, и пьет, неловко зачерпывая воду из озера узкой ладонью своей длинной руки.

Чем ближе к таким озерам, тем гуще лес. Иной раз чаща его совсем непроходима. Сломанные и гниющие на земле деревья, опутанные крепкими нитями вьющихся растений, преграждают путь. А подчас и ветви деревьев и лиан сплетаются посреди дороги в такую плотную сеть, что сквозь нее не проскочат ни тигр, ни ягуар, рыканье которых слышно порой в лесу и у реки. Черный буйвол не продерет своими каменными рогами этих живых плетней, выбравшись погулять из своих топких пастбищ.

Но где же люди? где их жилища? где следы их деятельности? Нигде на всем острове нет и шалаша, построенного ими; ни на чем не видно их руки.

III

В восточной части среднего горного хребта, где на горах есть небольшие каменистые и мало заросшие площадки, в перелесках, одевающих северные их склоны, и в свежих гротах, которыми прорезаны эти горы, живут и люди.

Но как еще мало похожи они на людей и как сходны с своим лесным соседом, орангутангом!

Как и на нем, одежды на них нет. Темная кожа обильно покрыта волосами, как редкою шерстью. Угловатый толстый череп, о который расщеплется самый крепкий сук, наполовину ушел в затылок. Из-под свалявшихся, как войлок, блестящих черных курчавых волос чуть виден узкий и низкий бугроватый лоб. Будто постоянно настороженные уши отстали от головы и поднялись высоко. Челюсти выставились далеко вперед, и широкие, пухлые губы почти заслонили чуть выдающийся приплюснутый нос. Только глаза хороши. Темный и яркий зрачок среди чистого белка блестит отвагой, страстью, силой. Такою же свежей, нетронутою силой дышит и все темное тело: широкие, приподнятые плечи, толстая шея, железные мускулы рук (руки гораздо длиннее наших), мощные бедра, быстрые и крепкие ноги, тонкие книзу, без икр, как у сатиров и фавнов, созданных греческою фантазией,— только вместо копыта настоящая человеческая ступня, длинная, широкая и плоская. Пальцы на ней так гибки и сильны, что ими можно ухватиться за ветку дерева почти так же ловко, как и пальцами руки.

Эта сила, проглядывающая в каждом члене, в каждом движении, стоит нашей красоты. В этой силе независимость человека, его свобода, его счастье. С этою силой ему еще нечего много думать о самосохранении. Минута опасности редко не минута его победы.

Пусть другие животные далеко опередили его в изобретательности, в предусмотрительности и расчете! Ему еще незачем задумываться над тем, что заботит птицу, когда она вьет себе гнездо в безопасном месте, крота, когда он копит в потаенной кладовой свои запасы, муравьев, когда они составляют между собою строгий гражданский союз. Они строятся, копят запасы, составляют общины потому, что слабы, что им беспрестанно грозит беда от более сильного. А человек так еще силен! Эти постройки, эти запасы, эти союзы были бы для него неволей. И он живет, волен и счастлив, под открытым небом, без думы о пище на завтра, без необходимости связывать свою волю общественными цепями.

Утро пробуждает его в зыбкой постели из гибких и крепких живых лоз, которые он выбрал на эту ночь под самою вершиной пышной пальмы. Ее широкие ли-

сты накрыли его как плотный полог и не дадут даже капле росы упасть на него.

Если б ему хотелось ночлега прохладнее, он ночевал бы в одной из темных пещер соседней горы. Там его не разбудили бы шумные голоса, наполнившие лес при первом просвете зари. Входы пещер закрыты наглухо, как живыми дверями, переплетшимися ветками. Кто забирается за них спать, затягивает их крепким узлом в том месте, где пролез в пещеру. Утром стоит развязать их, чтоб выйти. Но никто, кроме человека, не сумеет попасть в такую дверь. Если на влажном полу пещеры наложить свежих листьев, уснешь лучше, чем на пуховике. Какой пух так нежен, как эти мягкие, благовонные травы? А что за свежесть в них!

Засыпая в своей воздушной люльке, человек не думал, чем будет завтракать поутру, когда проснется. Он знал, что завтрак будет готов без его забот. Стоит потянуть руку, чтобы сорвать румяный плод, или кисть ягод, или сочную завязь молодых листьев. Стоит надкусить немного мягкую кору дерева, наклонившего над его головой свою верхушку, чтобы утолить утреннюю жажду сладким и питательным питьем. Здесь всякий может завтракать в постели, как избалованный сибарит.

После завтрака можно еще потянуться, зевнуть, расправить члены. Потом надо и выглянуть из-под шатра листьев.

Все давно проснулось и загомозилось, зашумело вокруг, зажило беспокойною, но светлою, отрадною, полною жизнью.

И люди уже встали.

Кой-где, ныряя в волнистой зелени лесных вершин, мелькают темные курчавые головы, выставляются длинные мускулистые руки. Эти люди пробираются, должно быть, к озеру, которое ярко сверкает невдалеке на солнце.

Глаза еще немного слипаются после сна, веки тяжелы, лицо горит. Хорошо плеснуть на него свежей водой. В озере бьет несколько ключей; их сильную струю видно на дне сквозь хрустальную воду, и нигде на всем острове нет такой студеной воды, как тут.

Выше, на горе, на примятой лужайке, возятся

и кричат дети. Одни уже держатся довольно прямо на ногах, другие умеют ходить только на четвереньках.

Один ребенок набил себе рот какой-то невкусной травой, выплевывает ее и громко ревет.

Из пещерной отдушины, выходящей на лужайку, выглянула шершавая голова. Женщина это или мужчина? По лицу не вдруг разберешь. Впрочем, вероятно женщина: лицо не так заросло волосами.

Да, это женщина. Вот она высунулась по пояс. Уцепившись за ветку, она выскочила совсем, крикнула что-то резко и громко, и ребенок перестал реветь.

Она подбежала к группе детей, взяла его на руки, села на выдавшийся из зелени камень, вытащила пальцем изо рта у ребенка набитую в него траву и приложила его губы к своей налившейся груди. Он принялся сосать так громко и вкусно, что еще два-три товарища его из тех, что ползали на четвереньках, начали хныкать и кричать.

Один, попроворнее других, подполз к женщине, уцепился обеими ручонками за ее ногу и стал лезть к ней на колени к другому, незанятому соску. Она кричала на него, но не шевелила ногой, с которой назойливый мальчуган то и дело сваливался в траву.

Показалось и еще несколько женщин. Одни были с детьми на руках, другие без детей. Одни кормили своих маленьких грудью; другие укачивали их, забавляя или усыпляя; третьи взбирались на деревья, рвали на них плоды и ягоды и, поочередно, то сами ели, то бросали их вниз, толпе ребятишек, которые ждали этой подачки с криком, с поднятыми руками и с разинутым ртом.

Некоторые из них и сами старались влезть на дерево, срывались, катились кубарем на землю и, визжа и крича, опять пытались начать то же восшествие.

Молодец, почивавший в лесу, ухватился руками за верхушки двух ближайших деревьев, сбросил ноги вниз и начал раскачиваться. Маленькие попугаи с криком взлетали по сторонам. Деревья только трещали. Подошвы его ног высоко мелькали в воздухе то с той, то с другой стороны.

Он глядел, качаясь, на возню детей на горе, и когда иной из них неловко валился, карабкаясь на дерево, он широко раскрывал свои пурпурные губы, показывал

ряд блестящих белых зубов, прищуривал глаза и хохотал всем горлом.

Но как ни громок был этот хохот, ему казалось, видно, все-таки мало. Переставши качаться, взобрался он на самую макушку высокой пальмы, раза три глубоко вдохнул всею грудью воздух и вдруг гаркнул во весь голос. Эхо раскатилось по горам. Ласточки, залеплявшие своими клейкими гнездами отвесные скалы южного берега, вспорхнули тучей. Так громко и внезапно отдался молодецкий голос в их глухой утесистой бухте.

На этот крик отозвались из разных мест и другие звучные голоса. Больше всего послышалось их со стороны озера.

Голосистый молодец опять юркнул в листву и направился туда, то перекидываясь колесом с дерева на дерево, то соскакивая на землю, где только был проход.

Эта прогулка доставляла ему большое удовольствие. Он был здоров, как само здоровье, и в самом ясном расположении духа. Зоркие глаза его, обращаясь то в ту, то в другую сторону, старались не пропустить ни одного предмета, способного позабавить.

«Та-а-а-а!» — раздавался голос его по переходам леса.

Чуть не с каждой ветки спархивали роями птицы. Летучие ящерицы торопливо расправляли свои крыльчатые плащи и перескакивали на деревья подальше.

Из-под каждого шага подымался аромат, когда нога его сламывала ветки камфарного или коричневого дерева.

Мимоходом отламывал он крепкие сучья, тыкал ими в кусты и тешился разноголосным гуденьем насекомых, поднимавшимся тогда. Иногда спугнутая пчела начинала преследовать его; но он тотчас же вооружался махровой веткой и ловко отмахивался ею.

Вот захлопал он в ладоши и загикал с каким-то особенным присвистом. Пугливый олень, глодавший неподалеку молодые побеги дерева, поднял уши, закинул рога на спину и шарахнулся в сторону. Рога запутались в крепкой гирлянде лианы, перекинувшейся с дерева на дерево, и олень начал отчаянно биться.

«Та-а-а-а!» — загремело опять по лесу.

Идти прямо к озеру было невозможно. Беспрестанно попадалось что-нибудь на глаза такое, для чего стоило уклониться с прямой дороги или влево, или вправо.

Вон ягоды такие румяные, такие зрелые, что начинают уже лопаться и вытекать! Вон сочное яблоко, тоже готовое брызнуть сладкою пеной! Надо попробовать этого яблока; надо нарвать и ягод.

Вот сквозь надтреснувшую кору слезками катится смола. Надо лизнуть; это тоже вкусно.

Душистый цветок, свесившийся с длинной ветки, задел по самому лицу. Как же не сорвать его, не понюхать и не пожевать?

Сколько птиц вспорхнуло тут разом! а две опускаются опять — не летят дальше. Здесь, верно, у них гнезды. «Шшш!» Молодец замахал руками. Птицы с криком взлетели выше. Он развел кусты, достал два теплых пестрых яйца и пошел дальше.

Оскалив белые зубы, он разбил об них одно яйцо и высосал его с громким чмоканьем, потом другое.

Тут он вздумал опять попробовать голос, облизал себе губы и гаркнул так, что опять всполошил бы прибрежных ласточек, если бы лес не накрывал его своими густыми сводами. Голос пошел низом и замер в первой чаще.

В это время что-то быстро шевельнулось у него над головой. Он поднял глаза. Молодой леопард кинулся от него на соседнее дерево, а с того на другое, видимо избегая встречи.

Глаза у нашего молодца загорелись удовольствием, губы раскрылись, и он в два прыжка очутился под деревом, куда ускочил леопард.

Зверь сверкнул на него расширенными зрачками, мяукнул и съежился, сердито шипя и фыркая. Кажется, каждую минуту готов он был прыгнуть и вцепиться когтями и зубами в своего преследователя; но глаза человека пугали его. А тому было весело! Он поддразнивал его, как ручную кошку, шипел сам, скалил зубы и растопыривал свои пальцы перед его мордой.

Хвост леопарда распушился, пятнистая шерсть встала дыбом; он сжался весь и скакнул. Но враг его знал уже эти штуки: он быстро присел, отшатнулся немного вбок и вдруг обернулся. Леопард перелетел через него.

Несмотря на неудачи, он, кажется, рад уже был убраться поскорее и вскочил на противоположное дерево. Но он не успел еще вскарабкаться по гладкому стволу до первого сучка, как наш молодец цепко ухватил его сразу одной рукой за хвост, а другою за шею. Длинные пальцы его, как железные клещи, сдавили леопарду загривок. Стараясь вырваться, зверь визжал и без толку скользил лапами по стволу дерева. Тут и другая рука, державшая его за хвост, мгновенно очутилась у него под горлом и стиснула его так же крепко. Леопард отцепил лапы от дерева и повис в этих тисках.

Он глухо захрипел; у рта показалась пена; глаза налились кровью; задние ноги судорожно сдвинулись с передними — раз, другой. Забава была кончена. Через минуту он лежал уже мертвый в высокой траве и под ним гомозилась стая жуков и муравьев.

Между тем по лесу неслось громче прежнего гигиканье победителя. Он вскарабкался на дерево и пошел опять перекидываться колесом с вершины на вершину. Темное лицо его лоснилось; по носу и по щекам катился пот. Глаза горели веселым блеском.

В этих глазах, может быть, можно уже было прочесть, что когда-нибудь потомки его станут величать себя венцом творения и царями земли.

IV

Озеро, с которого слышались людские голоса, было самое большое на всем острове. Со стороны леса у него был крутой берег; но несколько обвалов образовали род каменных сходов к самой воде. Только местами зеленела на них трава, да два или три дерева, странно уцелевшие, но с полуобнаженными корнями, росли между обрывов совсем наклонно, почти касаясь воды своими длинными свесившимися ветвями.

На этих естественно образованных ступенях берега собралось уже целое общество. Тут было человек двадцать и мужчин и женщин, и старых и молодых.

Знакомец наш, соскочив с последнего прибрежного дерева, задел ногой за плечо человека уже очень почтенных лет, который сидел выше всех на берегу и усердно занимался едой. Оба они громко крикнули:

молодой, кажется, только чтобы показать, каков у него голос, а старый, будто огрызаясь, с досадой, что его побеспокоили. Молодец не выказал никаких знаков уважения к старости и скрылся за верхним краем берега, скакнув на первый уступ. Почтенный возраст одиноко сидевшего человека обличала и голова с непомерно развившимся затылком, и почти исчезший лоб, и потускневшие глаза, и морщины на щеках и около ушей, но в особенности большое пузо, которое он не уставал набивать. Громко чавкая напичканным ртом, он беспрестанно повертывал голову то влево, то вправо, будто высматривая, нет ли где поблизости еще лакомого кусочка. А между тем недостатка в еде не было. Он припрятал около себя в траве порядочный запас плодов и орехов и умильно мычал, набивая себе рот. Смотрел он не только по сторонам, но и на озеро. Впрочем, там, по-видимому, ничто его не занимало. Все на этом озере, ярко сиявшем в лучах солнца, было ему слишком знакомо: и эти стаи больших и малых птиц, разгуливавших по сверкающей глади; и эти плавучие острова громадных жирных листов, на темной зелени которых алели и белели такие же громадные и жирные цветы. Даже исполинская серая башка какого-то странного зверя, не то лягушки, не то безрогого вола, безмолвно и строптиво выглядывая то там, то сям из воды, не привлекала его внимания. Берега, окруженные со всех сторон лесом, далее постепенно понижались, и на противуположной стороне из озера изливалась единственная река острова. Она терялась сначала в глухих и болотистых пущах, но потом все больше полнела и все глубже прокладывала себе ложе. С того места, где сидел старик, часть ее виднелась вдали прямой серебряной дорогой. Но какое было ему дело до всего этого? В молодости смутное любопытство тянуло его иногда побродить и в тех местах. Он забирался далеко, но и там все то же: еда не лучше. Сидеть в одном положении ему, однако ж, надоедало. Он то улаживался на корточках, то вытягивал ноги, то немного поджимал их и наконец улегся на спине. Из травы виднелось только его темное брюхо, точно круглая насыпь большого муравейника.

На уступе, куда соскочил наш приятель, было три женщины и семь или восемь мужчин. Одна из жен-

щин, вся мокрая, стояла, отряхая с себя воду; две другие сидели порознь, опустив ноги за окраину берега, и около них в разных положениях группировались мужчины. Молодец наш вздумал было пошутить и полюбезничать с мокрой дамой, но в ответ получил тяжеловесную оплеуху по носу и по губам. Возобновлять любезностей он и не рассудил и подсел, громко гикнув, к одной из групп. Мужчины, сидевшие тут, отвечали на его гик не совсем приветливым рычаньем. Это, однако ж, нисколько не сконфузило его, и он вмешался в беседу. Разговор шел оживленный, хотя и нельзя сказать, чтобы очень разнообразный. Слышалось все что-то вроде: «а-а!», «о-о!», «у-у!». Женщина (уже с несколько увядшею грудью) отличалась веселым нравом. Она повертывала голову ко всем своим собеседникам и на каждое их «а-а!» отвечала очень милым «у-у!» и при этом показывала зубы и хохотала. Но видимым ее предпочтением пользовался ближайший ее сосед, сидевший тоже свесив ноги. Она по временам трепала его по плечу или слегка толкала, смеясь, в бок; он тоже позволял себе безнаказанно подобные любезности с нею. Не отдать ему предпочтения пред остальными было действительно трудно. Судя по плечам, это был силач едва ли не покрепче нашего знакомого. Недаром другие собеседники не пододвигались близко, и их остроумные замечания звучали не совсем смело и уверенно.

Эта компания, видно, не совсем понравилась нашему приятелю; другая группа, которую он издали окинул глазами, тоже не привлекала его. Он вскочил с места, совершенно неожиданно крикнул во всю мочь: «Бррр!» — так что брюхо у старика наверху дрогнуло, и чрез всю компанию прыгнул вниз, на последний уступ берега.

Здесь, под густыми ветвями дерева, почти прилегшего к озеру, слышались громкие всплески воды и отрывистые веселые восклицания. Между зеленью показывались мокрые головы; потом мокрые руки и ноги цеплялись за сучья, и выкупавшиеся ловко перебирались по дереву на берег. Тут были тоже и мужчины и женщины. Наш молодец не отстал от других. В одно мгновение ока уцепился он руками за крепкий сук, крикнул: «Ух!» и, далеко разбрызнув воду, нырнул с го-

ловой. Ближайшая стая птиц поднялась и отлетела подальше. Он окунулся раз пять с головой, потом принялся колотить по воде ногами, так что поднял целый туман брызг; наконец выскочил, отряхнулся, как отряхиваются лошади, и взобрался прежнею дорогой к тому месту, где лежал старик.

Отсюда обозрел он другие берега озера. Что делается там? Людей было везде довольно. В местах, где почва была слишком вязка и болотиста, они удобно размещались на деревьях.

Зоркие глаза нашего молодца остановились с особенным вниманием на небольшой отмели почти у самого истока реки. На близко окружавших эту отмель деревьях сидело и качалось особенно много островитян и островитянок. Громкие и веселые крики их доносились на другую сторону озера. Видно было, что там происходило что-то очень забавное. Молодец наш разглядел и темную голову крокодила, выставившуюся из воды как раз под теми деревьями, где шел такой живой шум.

— А-у? — крикнул он вопросительно, во всю мочь своих легких.

Старик, продолжавший жевать лежа, испустил своим полным ртом недовольное рычанье.

— У-а! — донеслось в ответ несколько голосов разом.

Тон ответа был утвердительный, и наш знакомец тотчас же отправился бы туда, если бы после купанья ему не хотелось поесть. Обжорливый старик еще больше возбуждал в нем аппетит своим чавканьем.

Молодец взлез на дерево и с каждой ближайшей ветки чем-нибудь попользовался. После этой недолгой закуски он помчался к отмели, где собралась веселая компания, точно таким же способом, как направлялся к озеру от своего ночлега. На этот раз, однако ж, он менее развлекался посторонними предметами, а только попавшееся ему на дороге гнездо с очень крупными яйцами несколько задержало его: надо было достать и съесть парочку.

По мере того как он приближался к цели своей прогулки, крики у отмели становились все громче, смешаннее. Хохот, взвизгиванье испуга, угрожающее уха-

нье, одобрительное чмоканье губами, присвистыванье, гиканье раздавались разом.

Вынырнув из густой листвы, приятель наш был принят радушным приветом со всех сторон. Всякий и всякая старались объяснить ему односложными выкриками в чем дело. Но он и без этих объяснений все уже понял,— и на минуту прекратившаяся забава тотчас же возобновилась.

Все, крича, теснясь и толкаясь, разместились, как в амфитеатре, на крайних к воде деревьях. Небольшая площадка, которую эти деревья обступали и вода по временам заплескивала, была сценой забавного представления. Самое комическое лицо изображал собою огромный крокодил. Он выставил из воды только морду и не смыкал широкой зубастой пасти, оставаясь совершенно неподвижным. Большая часть зрителей-актеров была вооружена длинными ветками и сучьями. Свесившись немного с дерева, они хлестали ими по носу крокодила. Он почти все это переносил бесстрастно и только подзадоривал этим забавников. Они в свою очередь подзадоривали друг друга криком. Если крокодил хоть немного поводил носом, уклоняясь от хлеставшей его ветки, вокруг поднимался веселый хохот. Один забавник ловко прицелился большим колючим сучком и попал им прямо в пасть зверю. Челюсти его захлопнулись и с треском раздробили сучок. В это время молоденькая женщина, отличавшаяся особенною зоркостью, пробралась на верхушку самого близкого к крокодилу дерева, ощупала ветку покрепче, ухватилась за нее одною рукой и одною ногой, качнула ее сильно вниз, и зверь вдруг получил звонкую оплеуху от ее голой руки. Быстро разинутая за нею пасть защелкнулась на воздухе. Упругий сук уже поднял героиню на безопасную высоту, и она самодовольно защелкала языком. Кликам одобрения и громкому хохоту, казалось, не будет конца. Но тут на месте героини явился наш приятель. Он ухватился обеими руками за тот же сук, качнулся на нем и ударил крокодила пятками своих ног между самыми глазами. Крокодил тревожно завозился; но пасть его опять захлопнулась на воздухе. Обидчик его уже весело гикал на самой верхушке дерева. Опять раздался оглушительный крик и хохот. Ободренные такими примерами, другие с удвоенной

энергией принялись хлестать крокодила по носу ветками. Один затеял даже повторить выходку молоденькой героини. Вот он точно так же уцепился за сук одною рукой и одною ногой; точно так же нагнул его вниз; точно так же занес руку... Вместо пощечины раздался отчаянный крик; вода заплеснула голову крокодила — и она исчезла вместе с неловким смельчаком. Распрямившийся сук обрызгал всех водой. Визг ужаса вылетел из всех уст; все заметались по деревьям, заголосили. Большая часть кинулась подальше от рокового места. Даже наш неустрашимый приятель пустился прочь.

Он направил свой путь к горе, на которой поутру его тешили своей возней дети. Он обливался потом и чувствовал усталость после всех своих подвигов. Солнце стояло в зените и страшно палило. Надо было поискать тени, где бы отдохнуть.

Он хотел было взлезть в первую же пещеру, но не успел просунуть голову сквозь заплетавшие вход ее лозы, как оттуда послышался резкий и неприветливый голос, который как будто говорил: «Тебе что здесь понадобилось?»

Глаза его, привыкшие к яркому свету, не вдруг рассмотрели, почему его встретили так недружелюбно. Но в пещере было небольшое отверстие сверху, и с помощью проходившего оттуда света можно было видеть, что пещера, и без того тесная, уже занята. На полу, обильно устланном травами, спало двое или трое с громким храпом.

Еще одному человеку, впрочем, можно было бы поместиться, и в другое время нашему молодцу, конечно, не помешал бы никто. Но тут случилось особенное обстоятельство. В ближайшем ко входу углу пещеры слышался крик новорожденного. Мать, остерегшая своим окликом непрошеного гостя, стояла на коленях и припала лицом к животу ребенка, закутанного в мягкие листья. Она зализывала ему только что скушенный пупок и в то же время старалась успокоить его, приставляя к его губам свою грудь. Не окликни она нашего молодца, он бы мог неосторожно задеть ребенка, взлезая в пещеру.

Гротов в горе было довольно, и он скоро нашел себе свежий угол и мягкое душистое ложе. Едва расположился он на нем и закрыл глаза, сон разлился по всем его членам.

V

Освеженный двухчасовым сном, опять так же бодро, как поутру, вышел он на свет и, взобравшись на ближайшее дерево, прежде всего прочистил себе горло легким криком. Затем он забрался подальше в лес, обедая по дороге всем, что попадалось на глаза вкусного.

Слоны семьями шли с спокойной уверенностью на водопой и купанье к реке. Но временами их уверенность исчезает; при малейшем шорохе они робко прислушиваются.

Он сидел в ветвях, уже кончив свой обед и будто в раздумье, куда бы ему пуститься теперь, как вершина соседнего дерева зашелестела и в листве показалась молоденькая женщина. Темное тело ее дышало такою же силой, как и у него; свежая грудь едва округлялась; черные глаза смотрели бойко; движенья были ловки, гибки, смелы. Она, конечно, не хуже утренней героини сумела бы дать пощечину крокодилу. А может быть, это была и она сама.

Приятель наш весь дрогнул при ее появлении, и оба они разом окликнули друг друга очень приветливо. Он тотчас же перебрался к ней на дерево. Она засмеялась, ударила его довольно звонко по плечу, увернулась от его рук и очутилась уже на другом дереве. Он за ней. Она соскочила на землю. Он притаился в листве, сорвал большой белый цветок лианы и бросил им в нее. Она опять засмеялась, подхватила цветок и стала жевать его. Потом крикнула и побежала по лесу. Молодец наш догонял ее. Как ни увертывалась она, он-таки настиг. Руки его обхватили ее сзади за упругую грудь. Она выбивалась, слабо вскрикивала, смеялась, все вместе. Он визжал умоляющим голосом. Она повернула к нему горячее, обрызганное потом лицо; зрачки ее горели, белки были влажны; румяные губы, к которым прильнул лепесток белого цветка, раскрылись. Она вся трепетала страстью и негой. Он хотел, кажется, снять этот лепесток своими губами и вдруг почувствовал на них ее острые зубы. Руки невольно выпустили ее. Они еще не знают нашего поцелуя. Змей увлажает своими губами добычу, прежде чем пожрет ее. Мужчина еще не стал таким злодеем для женщины.

Она опять захохотала и побежала; но по временам оглядывалась, бежит ли за нею он. Он, конечно, бежал. Вот лес расступается. Впереди пышный луг. Что тут цветов! Как мягка высокая трава! Ни у какого царя не бывало такого роскошного брачного ложа.

VI

Он лежал на траве, закинув руки за голову. Она сидела, поджав ноги, около него и ласково проводила своею ладонью по его груди. Ладонь ее, измозоленная и жесткая, казалась гладкою и нежною его грубой и толстой коже. В руке была свежесть, прохлаждавшая грудь. Широкие листы пальм, как великолепный шатер, покрывали их своею тенью. Лесная красавица увидала струйку крови на плече у своего милого, тихо визгнула, показала ему на плечо пальцем и потом припала губами к ране. Когда она наклонилась над ним, горячая грудь ее почти касалась его лица. На ней были следы ногтей. Кой-где на царапинах застыли капли крови. Он тихо слизывал эти капли.

Потом она встала и исчезла в зелени. Он побежал было за нею, но она уже возвратилась с тяжелыми гроздьями в руках. Теперь она протянулась в траве и положила гроздья себе на грудь; он сел около нее, и пурпуровый сок ягод окропил их белые зубы.

Между ними не шло никакого разговора. Если б их младенческий язык был и богаче, им бы нечего было говорить. Ведь они не думали ничего — они наслаждались. В тихом мычанье, в легком визге, в игривом смехе выражалось так полно их довольство жизнию, их отрада в ней!

Незаметно, как сладкая греза, прошло несколько часов. Солнце клонилось уже к закату, когда наш юноша расстался с своею милой. Они не условливались увидаться опять. Этого они не сумели бы. Да и могло ли им прийти в голову завтра? Все завтра будет сегодня, а с ним и сегодняшнее наслаждение. Может быть, они встретятся, может быть, и нет. Не все ли равно? Он встретит другую, она встретит другого. В чаше наслаждения не видать еще дна.

Без дум о прожитом дне, без дум о дне будущем связывает наш приятель мягкие ветки у вершин двух

деревьев, приготовляя себе опять воздушную постель. Приятная истома тела опять зовет ко сну,— и вот он тихо покачивается в своей лиственной колыбели. Сумерки начинают быстро облекать лес; голос за голосом утихают в нем дневные звуки. Примолкают даже свистки попугаев, и они выпархивают лишь для того, чтобы выбрать себе более удобную ветку для насеста. Их начинают заменять другие голоса, слышные только ночью. Дикий крик павлина возвещает закат солнца. Одна за другой огненные мушки летят, как сорвавшиеся с неба звезды. Гуденье жуков раздается так внятно над головой, не заглушаемое криком птиц. Но и птицы спят не все, вот ухнула сова, и круглые, желтые глаза ее сверкнули во мраке кустов. Издали послышался вой гиены. Он приближается. Она, верно, сыщет в траве задушенного леопарда. В реке и на озерах слышится по временам тяжелый плеск.

Синее небо давно потемнело, давно зажглись в нем чистые звезды, без трепетного лучистого света, ясные, как хрустальные лампады. В недрах гор слышно глухое урчание, словно угрожающий ропот, и зарево их горит ярче.

Приятель наш спит и ничего не видит, не слышит. <...>

Рассказ о поддразнивании крокодила перенесен мною на людей с обезьян. Вот его источник:

«Забавно видеть, как крокодилы излавливают обезьян, которым приходит иногда фантазия поиграть с ними: у самого берега лежит крокодил,— туловище в воде, и только вместительный рот его находится на поверхности, готовый схватить все, что только можно ему достать. Толпа обезьян подмечает его, по-видимому, советуется между собой, приближается мало-помалу и начинает свои шалости, поочередно играя роль то актеров, то зрителей. Одна из самых расторопных или самых наглых перепрыгивает с ветки на ветку и останавливается в почтительном расстоянии от крокодила. Здесь, повиснув на одной лапе и со свойственною этим животным ловкостию то приближаясь, то удаляясь, она дает своему неприятелю удар лапой или же делает вид, что сделала это. Другие обезьяны, забавляясь этой

шуткой, очевидно желают принять в ней участие; но так как другие ветви слишком высоки, то обезьяны образуют род цепи, взявшись друг за друга лапами, и таким образом качаются взад и вперед. Кто из них может только достать до крокодила, дразнит его как только умеет. Иногда страшные челюсти внезапно захлопываются, но дерзкая обезьяна успевает ускользнуть; тогда поднимаются торжественные крики шалунов, и они весело скачут кругом. Случается, однако ж, что лапа попадает в рот крокодилу, и он с быстротою молнии увлекает под воду свою жертву. Тогда вся толпа рассеивается с визгом и криком. Такое несчастие не мешает им, впрочем, возобновлять через несколько дней ту же игру» (Travels in the Central parts of Indo-China (Siam), Cambodia and Lavs during the years 1858, 1859 and 1860. By the late M. Henri Mouhot. 2 vols, London (Murray), 1864)[1].

Гексли говорит: «Неужто какой-нибудь великий поэт, философ или художник, гением своим прославивший и просветивший свой век, будет унижен, низведен с своего высокого места вследствие несомненной исторической вероятности,— чтобы не сказать уверенности,— что он по прямой линии произошел от какого-нибудь голого, звероподобного дикаря, у которого настолько хватило разума, чтобы хитростию превзойти лисицу и тем самым быть опаснее тигра? Разве филантроп может отказаться от старания вести примерную жизнь потому только, что при простейшем изучении человеческой природы мы находим в ее основании все эгоистические страсти и скотские побуждения обыкновенных четвероногих? Разве материнская любовь — низкое чувство, оттого что она проявляется у курицы, или верность — подлое свойство, потому что им отличаются собаки?»

«Вначале земля была пышно цветущим садом,— рассказывал старый рапсод.— Жизнь человека была светлым и сладким пиром. Обилие, счастие и мир царствовали на земле. Крокодил ласкался к людям, как ручной голубь; тигры играли с детьми людей; боа при-

[1] М. Генри Муо. Описание путешествий в Центральный Индо-Китай (Сиам), Камбоджу и Лаос в 1858, 1859 и 1860 гг. Посмертно. Два тома. Лондон (Мюррей), 1864 *(англ.)*.

носила женщинам розы в своих губах. Каждая пядь земли давала пищу, с которою ничто не сравнится в сладости. Румяные яблоки, золотые грозды, изумрудные орехи, радужные ягоды висели на каждой ветке, под каждым листом; медвяный сок катился душистой струей по стеблям и стволам растений. Мягкая, кудрявая мурава расстилала повсюду свои бархатные подушки. Везде был готов пир человеку, везде готово ложе. Чуткая мимоза, вздрогнув, давала знак широколистным бананам, и они смыкали свои листья шатром, длинный лист махрового папоротника начинал тихо раскачиваться как опахало над горячим лицом спящего. Райская птичка вспархивала к вершинам деревьев и говорила своим старшим сестрам: «Тише! человек спит!» И умные попугаи примолкали на минуту, рассаживались над изголовьем его и, понизив свои резкие, крикливые голоса, начинали отрывисто и задумчиво рассказывать чудные сказки. Горлицы садились еще ближе и тихо ворковали ему баюкающие песни. Звери уходили подальше, затаив голос, стараясь не прошуметь травой, чтобы не мешать сну человека. Гремучая змея становилась на страже. Она высоко поднимала голову и звенела своими бубенчиками, когда кто-нибудь подходил близко к месту отдыха человека. Люди ни перед чем не знали страха. На земле было просторно жить всем. Ни один зверь не отнимал у другого пищи,— всем было ее слишком довольно. Ни один самец не дрался с другим из-за самки,— наслажденья было слишком довольно каждому. Человеку нечего было думать о прошедшем. Настоящий день был только продолжением того же счастья, той же неги и той же отрады, которые были вчера, и позавчера, и так дальше, до самого дня его рождения. Нечего ему было думать и о завтрашнем дне. Завтра ожидает его тот же сладкий пир, та же сладкая любовь. Объятья женщин были как пламя; они рождали, улыбаясь от сладкой боли,— такой же страстно-блаженной боли, от какой умирали временною смертью в объятиях любви. Из глаз человека никогда не текло слез, этой горькой влаги страдания. Безболезненно кончал жить человек. Это был тихий сон без вздохов, без грез, без пробуждения.

Все это переменилось, все прошло, как сон. Людям настало время горя. Давно в утробе земли горело пота-

енное пламя; давно вздыхала она тяжко и глубоко своими высокими грудями, горячими горами; давно слышались ее глухие стоны, как будто страшная боль раздирала ее недра. Часто, как из глубоких, смертельных ран, текла из нее огненная кровь, запекаясь камнем в долинах между горами. И настал страшный день. Море стало клокотать и дымиться, на его свист и шипенье отвечали глухие стоны и протяжные вопли из глубины земли. Все волны слились в пенистый водоворот, разлетаясь тучами брызг. Разинулось черное жерло посреди него, и пламенный столб взлетел до самого неба. Солнце померкло, и дрогнула земля от края до края. Грудь ее растреснулась,— из неисчислимых ран ее хлынула пламенная кровь ее сердца. Черные тучи загромоздили небо. В них грохотал гром: грохотал он и в море и на земле. Черный дождь полился из туч, завыл ураган. Море хлестало в тучи своими черными волнами; земля вскидывала к ним багровые потоки огня; тучи метали и в море и в землю свои огненные пращи и стрелы. Казалось, вся жизнь погибает на земле. Разверзались огненные бездны, и с треском проваливались в них горы. Из морской пучины выдвигались каменные громады. Море со свистом или шипеньем и воем рвалось залить землю. Долго длилась эта скорбная ночь. В ее громах и бурях не было слышно воя и воплей ужаса, какими оглашало землю все живое, видя идущую гибель или погибая. Но море, небо и земля кончили свою битву. Каждый взял свою добычу. Небо разбило своими стрелами горный оплот, мешавший свободно ходить его солнцу. Море захватило в свою жадную пасть клочок цветущей земли. Земля вдвинула свои жесткие скалы в его влажное лоно. И все утихло, утихло и усмирилось. Опять показалось солнце в небесной высоте; но что увидали на земле его лучи? Они увидали первую скорбь человека.

От людей и зверей, населявших землю, от трав и деревьев, осенявших ее, не осталось и половины. И земля стала не так обширна, как была. Половину ее поглотило море. И та половина, которая не далась его жадной пасти, стала похожа на печальную пустыню. Где стояли цветущие леса, дымились теперь зловонные болота. Где стояли щедро одетые зеленью горы, синели озера в глубоких котловинах. Реки, опушенной так

густо темными рощами, как не бывало. Новый поток несся к морю. Он не проложил еще себе постоянного русла и метался как зверь, ударяясь в беге о голые и бесплодные скалы. Скалы эти выдвинулись в грозную ночь там, где расстилались вечноцветущие долины».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Робок, наг и дик скрывался
Троглодит в пещерах скал.
Шиллер

I

Одна выше другой величавыми террасами встают горы. Вершины дальней цепи как будто уходят в небо и сливаются с ним своими легкими голубыми очертаниями. Местами полосы нетающих снегов ослепительно сияют розовыми отливами под тропическим солнцем. Они кажутся ступенями, с которых можно перешагнуть в эту лазурную глубь.

Эти горы, обступившие амфитеатром морское прибрежье, стоят так близко, если смотреть на них с длинной песчаной косы, заплескиваемой теплыми волнами. Воздух так прозрачен, что каждая белая тучка, набегающая на их синие вершины, видна ясно с прибрежья. Но между им и этою грядой гор, замыкающих собою амфитеатр, лежит еще недостижимая даль для людей, которые живут в ближайших окрестностях берега. Они назвали бы эти дальние горы концом мира, глухою стеной, которая поддерживает с этой стороны небесную кровлю,— если бы мысль их могла хоть на минуту останавливаться на таком далеком для них предмете. Конец мира гораздо ближе для них. Но и до этой пограничной черты мысль их не доходила. Она едва уловляет,— и то ненадолго, не успевая запечатлеть в слове,— явления и более близкие, когда они не касаются самых неизбежных потребностей. А потребности все в том, чтоб быть целу, быть сыту. Каждый день встает солнце, и каждый день блещет в лучах его бесконечное море; каждую ночь выходит в небо месяц

и загораются над землей лампады звезд. Недвижимо стоят дальние горы. О них нет заботы человеку. Что же и думать о них? Они не возбуждают его воображения. Минута спокойствия есть для него минута сна. В грезах его бессознательно повторяются картины окружающей его природы. В этих грезах не все является в совершенно таком виде, как наяву. Но, пробуждаясь, он забывает за насущной заботой свою грезу и не останавливается на ней мыслью. Только то, что необходимо нужно, без чего нельзя жить,— только то, что грозит неминуемою гибелью, занимает его; только для этого есть у него название. Он дал имя морю, потому что оно страшно своими приливами; но у него нет еще имени небу. Потом он, может быть, назовет его неподвижным морем. У него есть название тигру — и нет названия солнцу. Когда-нибудь солнце превратится в его воображении и слове в небесного тигра.

Он говорит, как грудной младенец, но уже говорит. Значит, он живет не одиноко; значит, необходимость защиты сомкнула уже людей.

Если бы предание не ограничивалось у них только указанием на то, что можно есть и какого зверя надо бояться, если бы память их могла обнимать не несколько лишь ближайших дней,— эти люди, еще так похожие на обезьян, рассказали бы предание о всемирном потопе и об огненном дожде, истребившем их эдем. Но потоп и огненный дождь застали их еще разрозненными и бессловесными и оставили им только страх и нужду. И вот создалось человеческое стадо.

Эти места, где люди впервые почувствовали необходимость соединиться, действительно были раем еще недавно. Пятое или шестое поколение жило в скудных его остатках. Грозный геологический переворот видоизменил здесь морские берега. Такой же райский остров, к которому полосой шли коралловые рифы от этих берегов материка, был поглощен волнами, и взамен его выдвинулся гораздо далее другой, больше, выше и шире. Страшное землетрясение погубило половину растительной и животной жизни на прибрежье. На месте лесов явились болота, река изменила свое ложе, в провалах гор образовались озера. Вместо холмов, одевавшихся кустами и деревьями, торчали голые скалы, которым еще долго ждать новой зеленой одежды.

Пройдут века, прежде чем солнце выпарит влагу из этих болот и семена, заносимые ветром, пустят в них ростки и корни и поднимутся опять роскошными лесами. Пройдут века, прежде чем периодические дожди и муссоны размочат и выветрят эти бесплодные скалы и облекут их корою плодоносной почвы. А до тех пор жизнь людей пойдет здесь печально, в вечной заботе о своем самосохранении. То время, когда каждый из них жил отдельно и самостоятельно, когда каждый носил в самом себе и свое право и свою защиту, когда встреча с другим нужна была только для забавы, для наслаждения,— то время миновало безвозвратно. Если природа этих берегов опять возвратит себе прежний блеск и прежнюю обильную красоту, она, может быть, не увидит уже тут людей, а если и увидит, то увидит совсем непохожими на тех, которые блаженствовали когда-то посреди ее неистощимых даров в райской анархии. «Они были зверями»,— скажет нынешний человек, самолюбию которого обидно признавать свое родство с орангутангом и гориллой, гордости которого тяжело назвать негра своим братом. Да, они были зверями, но зверями сытыми, здоровыми, спокойными, счастливыми, огражденными от нужды и опасности богатством окружающей природы. В этот второй период их развития, когда они видят, что жить врозь и вразброд стало нельзя, они все еще звери, но уже без прежнего довольства и счастья.

II

Остатки лесов, подходящих к первым отрогам прибрежных гор, еще очень пышны и тенисты. Будто чудом их пощадил подземный огонь, и они цветут в прежней красоте. Их семенам суждено оплодотворить когда-нибудь все пустынные теперь места этих гор и равнин; но семена, разносимые ветром с их деревьев и кустов, падают еще на камень, на песок,— и леса остаются только оазисами среди окружающей бесплодной почвы. Их роскошное убежище перестало уже быть безопасным для человека. Ему нельзя, как прежде, кочевать с дерева на дерево, спать в воздушной, зыбкой постеле из ветвей и листов; нельзя привольно гулять, не страшась встречи ни с каким зверем.

Эти встречи становились ему очень опасны. Хищный зверь, не находя вокруг себя прежнего обилия, стал смотреть на человека, как на хорошую добычу. А чем бы стал бороться и защищаться человек?

> Первым оружием были руки, зубы и ногти
> Или же камни и сучьев древесных обломки[1].

Этого оружия было мало, чтобы сражаться с врагом сильнейшим.

А между тем встречи с этим врагом были все-таки неизбежны. Лес доставлял всего более пищи, нужной человеку.

Прежде ему нечего было враждовать с другими животными. Для всех было довольно пищи — и мир не нарушался, как не нарушается он между сытыми домашними кошками и собаками, врагами на воле. Правда, истребительная борьба шла уже и прежде между сильнейшими и слабейшими породами. Но в этой борьбе человеку незачем еще было принимать участие. Он знал, что есть звери с зубами острее и крепче его зубов, с когтями, перед которыми ничтожны его ногти, с мускулами, невредимыми, как камень. Но они все-таки были не опасны. Им не приходилось еще вступать с ним в борьбу из-за существования. Теперь зверь стал голодать, и встретиться один на один с тигром, с медведем значило пасть в неравной борьбе. Человеку и самому приходилось чаще голодать — и он становился слабее.

Пещеры, бывшие прежде лишь местом его отдыха, стали теперь ему почти постоянным жильем, из которого он выходил только искать пропитания.

Вот эти пещеры в первой, ближайшей к берегу гряде гор. Некоторые из них не больше как узкие и неглубокие трещины с просветом вверху; другие похожи на искусственно выбитые в скале гроты; третьи начинаются очень узким устьем, но расширяются дальше и идут коридором в глубь горы. Первые люди, решившиеся пролезть в черную узкую пасть подземных коридоров, были Бартами и Ливингстонами этих неведомых мест. Были и менее счастливые исследователи. Немало их задохлось от удушливых газов, наполнявших некоторые

[1] Лукреций. — *Примечание М. Л. Михайлова.*

из пещер, или погибло в провалах, или потонуло в тине подземных ключей. Но у них не было еще имен, и о них не оставалось памяти, как о первых «жертвах науки».

Входы почти всех пещер завалены большими камнями. Это первые двери, в которые не может пробраться никто, кроме человека. Силы отвалить эти камни достало бы у многих других животных; но не достало бы ловкости. Но как долго нужно было напрягаться уму, чтобы придумать себе и эту защиту. И он не сам придумал ее. Ее указал ему случай; но и тут он еще не сразу последовал его указанию, а старался только воспользоваться счастливой случайностью. У самого устья одной из пещер лежал огромный, обрушившийся с ее сводов камень. За него можно было забраться, хотя и с трудом. Эта ограда была не вполне безопасна; но все же не всякий зверь мог пролезть в небольшое отверстие. И все стали тесниться в эту пещеру. Произошло немало ожесточенных драк за ночлег в ней. Надо было, чтобы несколько раз забралась туда голодная гиена, чтобы навести обитателей пещеры на мысль приваливать камень ближе к отверстию и совсем запирать вход. Так же трудно было придумать заваливать камнями входы других пещер. И удивительно ли это? Сколько десятков тысячелетий пар заставлял подпрыгивать и подниматься крышку над котлом с кипящей водой, прежде чем человек обратил внимание на это явление как на указание нового средства для своего благосостояния!

Но вот пещеры все снабжены дверями,— и с этой стороны обеспечена безопасность. Но довольно ли в них места для всех? Не совсем. Духота и теснота заставляют гнать оттуда тех, кто послабее. Первая аристократия уже создалась — аристократия силы. Бессильное ожесточение слабого мало-помалу обращается в хитрость; но она еще плохо помогает. Люди не успели доразвиться до подлости и лести, чтобы найти в них замену силы.

Не взаимное условие, не договор соединили все людское население прибрежья в этих соседних друг с другом пещерах. Их просто согнал туда страх преследования от хищных зверей,— и они остались вместе. При первом же сближении между ними закипели ссо-

ры, для которых прежде не было у них повода. Ночлег, лишний кусок, женщина — стали предметами вражды и столкновений. Из-за женской ласки происходили отчаянные схватки между мужчинами, такие же, какие мы видим теперь между так называемыми низшими животными. Не хуже собак рычали и грызлись они около женщины, ожидавшей себе мужа. Победа оставалась за самым сильным. Женщина тотчас же брала его сторону, и помогала ему скорее соединиться с нею, отгоняя от себя с ожесточением всех более слабых. Сила была высшим достоинством человека, и ей еще по праву доставалось тогда первенство. Для борьбы с ожидавшими людей опасностями были нужны более всего физические силы,— и сама природа, казалось, указывала только наиболее одаренным силой становиться родоначальниками будущих поколений. Слабый жил почти без наслаждений, умирал без потомства.

Прежде вырвать из рук другого какой-нибудь надкушенный им плод — было только шуткою. Стоило протянуть руку, чтобы сорвать другой,— и ссориться было не из-за чего. Теперь это стало иначе. Первые зачатки собственности, хотя и не прочной, уже появились. И собственность принадлежала только сильным.

Забота данной минуты слишком поглощала все внимание, и люди не делали еще запасов. Надобны были опыты долгого повального голода, чтобы заставить их приберечь часть сегодняшней пищи на завтра.

III

Поутру на песчаном берегу, с которого только что отхлынул прилив, собрались почти все обитатели прибрежья. У пещер не осталось никого. Женщины принесли с собой и грудных детей.

Море, отхлынув, оставило на песке берега множество раковин, слизняков, мелкой рыбы. Все это потребляется с жадностью жителями прибрежья.

Только очень внимательный взгляд, обращенный на них, мог бы заметить в их лицах и в форме их тела некоторое изменение сравнительно с тем временем, когда главным местопребыванием их был лес. В глазах их светится как будто больше внимания, осторожности, спина стала прямее, ступня потеряла часть своей

гибкости. Многим поколениям людей приходилось больше бегать и ходить, чем лазить по деревьям. Но у лучших представителей расы все еще очень широки плечи и все кости, все еще очень крепки мускулы. У всех их живот уже не выдается так вперед, как у их беззаботных предков. Умеренность в пище придала многим худобу. Умеренность эта, конечно, невольная; стоит посмотреть, с каким сладострастием их зубы рвут сырую и несколько уже испорченную рыбу, как разгрызают они раковины и выхлебывают из них слизистого моллюска.

Разговора не слыхать. Только женщины покрикивают иногда на детей, которые возятся в песке или бегают, отыскивая себе еду. Гортанные звуки их слов отрывисты, бессвязны. Порою слышатся будто одобрительные замечания от гастрономов, разлегшихся на песке и загребших поближе к себе свой завтрак. Они, кажется, похваливают его своими односложными восклицаниями. Есть люди, которым не нравится этот пир под самыми лучами палящего солнца. Они набирают запас разных разностей в руки и уходят в тень утесов и пещер — и удовлетворяют свой аппетит там.

Около полудня, когда солнце станет палить еще жарче, можно будет забраться и в опушку леса. Прекрасные плоды на верхушках деревьев, кажется, ждут сбора. Но редкий уносит хотя часть их с собою. Вот одному приходит в голову сорвать огромный лист и в него положить яблок и ягод, чтобы снести в пещеру, может быть, для оставшихся детей своих. Другие бросаются вслед за ним, отнимают у него его жатву, и он убегает лишь с скудными ее остатками в пальмовом листе. Не сразу догадываются другие, что могут и сами сделать такие запасы, каждый для себя.

Не все ограничивают свою прогулку по лесу одною его опушкой. Многие забираются и в глубь его. Самые страшные из лесных зверей — это тигр и буйвол. Но в полдень они не бродят близко, и их можно избежать. А в глубине леса все растет обильнее. Да и поневоле надо искать пищи подальше. У самой опушки ее недостаточно для всех, и ее плоды обираются ежедневно.

Счастливый день, когда всем можно быть сытым и не драться из-за куска тухлой рыбы! Такие дни не

всегда бывают. Как ни горячо это солнце, но оно не может заставить деревья приносить плоды круглый год. В эти промежутки надо питаться только тем, что приносит море. Но его даяния скудны. Надо вместо плодов и орехов питаться древесной корой. Эта кора вкусна и не похожа на жесткую и горькую кору наших печальных лесов. Но с нее не разжиреешь, ею не будешь очень сыт.

Между тем в пещерах довольно места, и на время недостатка можно бы устроить кладовую в их глубине. До этого они еще не скоро додумаются. Надо, чтобы сначала истощенье принесло с собою болезнь, смертность. Но и на умирающих собратий они посмотрят, может быть, как на помощь в беде. Голодные живые станут есть своих мертвых. Но этого им нельзя будет делать спокойно. Запах трупов приведет к их жилищам стаи гиен, шакалов и волков. Надо будет побросать им мертвых, чтобы только звери ушли в свои трущобы.

Все это тяжелые уроки; надо их пережить, чтобы сделать хоть шаг вперед в том, что мы называем теперь наукой. Да и довольно ли бывало одного такого урока? Конечно, нет. В этом порукой наше образованное время, наше цивилизованное общество с его политической историей, с его народным хозяйством. Разве не такие же уроки переживаем мы беспрестанно; а много ли дают они нам предусмотрительности? много ли отвращают бедствий и зла в будущем?

Чего же хотят от «зверей», какими еще были люди?

IV

Еще недавно человек стоял в уровень со всеми остальными животными; теперь он ниже большей части их. У него нет еще и той цивилизации, до которой нужда и опыт довели многие слабейшие породы. Он мог бы поучиться у них многому, но ученье тяжело ему, как ребенку. На жизнь другого животного, если оно не вредит ему прямо или не прямо полезно ему, он смотрит совершенно равнодушными глазами. Гнезда птиц, норы подземных зверков, стройный порядок муравьиных куч, хлопоты о будущем, запасы их, поиски лучших мест для житья — все эти примеры

перед ними постоянно; но когда еще они научат людей следовать им, делать то же? Паук плетет перед ними свою сеть и ловит в нее мух; они не думали еще, что можно так же ловить рыбу. Червь прядет нити из листка и делает из них себе мягкую постель; люди не думали еще об его искусстве. Муравьи делают вал вкруг своих жилищ; огораживают их, обращают стада тли в стада своего домашнего скота. У людей не являлось еще мысли о прочной ограде, о дружеском обмене услуг с другими, кроткими и способными к приручению животными. На все эти успехи нужны им века страданий, века нужды. Как прежде полное довольство мешало их развитию, так теперь мешает нужда. А будет время, когда человек станет гордо называть разум своею привилегиею перед остальною тварью.

Море принесло и оставило на берегу полусгнивший пень, весь окутанный цепкими и крепкими, как струны, стеблями какого-то вьющегося морского растения. При отливе пень уперся своими острыми и широкими корнями в вязкий песок, и волны не унесли его обратно. В путанице оплетавших его веток засело, как в сети, много рыбы и другой морской живности. Эту добычу открыл один из туземцев и завладел ею, пока другие, посильнее, не заметили нового удобного места ловли и не оттеснили его от его открытия. Пень стал самым привлекательным пунктом на берегу. Каждый раз после отлива к нему теснились с жадностью. В лесу довольно лоз. Самый случай учит их сплести из них первую вершу. Они умеют завязывать узел из двух веток. Это искусство появилось между ними еще в ту пору, когда они еще не умели различать себя от орангутангов. От узла нетрудно перейти и к связыванию трех-четырех веток вместе. Но нет, для них еще и это трудно. Мысль о верше придет им в голову разве тогда только, когда волны станут подмывать пень и он станет покачиваться, грозя уплыть назад в море.

Сказка об изобретении финикийцами стекла, об открытии пурпура, эта сказка остается историею всех человеческих изобретений чуть не до самого нашего времени, до таких открытий, как пар, как электричество, как фотография. Недаром рассказываются такие же анекдоты, как про финикийцев, про Гуттенберга с попавшеюся ему строчкой Цицерона, про Ньютона с его

яблоком. Только теперь начинаем мы — и то еще как слабо! — копить опыты и проверять их с определенною целью.

Как бы то ни было, первая верша изобретена, и прибрежное население превратилось в рыбаков. Шаги от какого-нибудь изобретения к его новым применениям, конечно, легче, чем самое изобретение. Но искать усовершенствований и новых применений может заставить только опять-таки какая-нибудь неудача, нужда или же столь могущественный для этих людей случай.

Эти потребности и нужды, эти случаи превратят сплетенную из лоз вершу в залитое глиною ведро, которое не будет пропускать сквозь себя воду; это ведро, плавая на поверхности воды, подаст и первую мысль о жалкой ладье. Острая раковина будет первым ножом, круглая и полая — первой чашкой. И между каждым из этих простых открытий будут проходить столетия, пока эти люди дойдут и до тех жалких успехов, на каких мы застали прибрежных жителей Австралии.

V

С первой же поры, как населению прибрежья пришлось сойтись в кучу, с первых же годов, когда им стало невозможно разделяться и разбрасываться по разным местам, явились и начатки того, что мы называем теперь обществом.

Только необходимость стоять ближе друг к другу, держаться крепче один за другого для своей защиты связала их. Как же самая эта необходимость принесла с собою и все то, что более всего было способно нарушить эту неизбежную и необходимую связь? В ту же минуту, как окружающий мир нарушил равенство в наслаждении для всех, нарушилось в детском сознании человека и равенство прав на наслаждение. Высшим правом стала сила, — исключительно сила физическая, потому что она одна была необорима. Наслаждения для всех уже недостаточно; то, что есть, пусть принадлежит сильному. Люди перестали быть просто людьми; явились отличия.

VI

Вот уже несколько дней, как неподалеку от пещер каждую ночь слышится громкое рыканье льва. Он, видно, голоден и ищет пищи. Иногда, проснувшись посреди ночи, обитатель пещеры слышит отчаянно-быстрый топот и бег. Это, верно, олень, спасающийся от преследования. Шаги его замерли в отдалении; примолк и голос льва. Его не будет уже слышно до завтрашней ночи.

Перед вечером все собрались на ночлег в свою пещеру. Она невелика. Устье ее довольно широко; каменный свод дальше поднимается так, что под ним можно свободно стоять не нагибаясь. Еще дальше, в самой глуби ее, небольшой поворот, в который можно только проползти, и то лишь так, что, когда голова коснется глухой стены, ноги все-таки остаются по щиколку снаружи. Это пространство годно разве на то, чтобы сделать в нем кладовую для каких-нибудь запасов. И точно, там стоят плетенные из лоз корзины с орехами и плодами.

Пол пещеры высоко устлан весь листьями. Нижние слои этой настилки давно превратились бы в сухую труху, если б постоянная влажность почвы долго не поддерживала в них свежести. На этих лиственных коврах располагаются спать жители пещеры. Их нет и десяти. Больше не было бы где поместиться. Тут четыре женщины и двое мужчин; остальные — дети. Все, сколько их ни есть, только что воротились в пещеру из своих поисков по ближайшей опушке леса. Многие жуют. Один набрал острых и разновидных кремней в горе и кладет их около груды таких же камней у самого входа. Он уже ловко умеет пускать их своей сильной и меткой рукой — и не раз спасал себя ими от голодных зверей. Около этих кремней лежат и другие орудия в этом роде — толстые, суковатые палки, некоторые с расщепленными острыми концами, кости больших животных, похожие на булавы. Некоторые из кремней оббиты так друг о друга, что острыми изломами их можно резать не только мясо, даже дерево. В одном углу лежит вся скоробленная и полувылинявшая кожа оленя. Через несколько поколений эти люди, верно, будут хорошими охотниками.

Все они еще совершенно голы; потребности в одежде для тепла еще нет. Украшать себя ею? Эстетическое чувство еще не зарождалось.

Все очень говорливы,— и почти все говорят разом бедным, однозвучным гортанным языком. Один говорит: «Принес камень и две дубины»; другая говорит: «Лев близко»; третья кричит: «Прочь!» — мальчику, который лезет к ее груди, и засовывает ему в рот кусок какой-то коры; четвертый говорит: «Камень к пещере!»

Пещеру действительно пора заваливать камнем. Солнце скоро спрячется; свет разом почти сменяется ночью; сумерки так быстры. А только едва стемнеет, опять зарычит этот лев. Он все еще не устал бродить около этих мест, все еще не ушел искать себе добычи подальше.

Набегавшиеся в день, усталые, покрытые потом дети свернулись по углам и заснули. Они, как птицы, дают знать своим сном, что и верхняя окраина солнечного венца уже ушла за горизонт.

Все шестеро больших с громким и бессвязным криком берутся за громадный камень, чтобы привалить его ко входу; камень подымается своим влажным боком с своего обычного, давно надавленного им места. Вдруг все приостанавливаются — настороживают уши. Слышен легкий, быстрый, пугливый топот. Вот он ближе, ближе.

Крики в пещере усиливаются. Скорее поднимай камень! Это лев гонится за кем-то. Но только что громадный камень зашевелился быстрее в их руках, топот раздался у самого входа в пещеру, и между движущимся камнем и верхним сводом как стрела вскочила в пещеру дикая коза. В одно мгновение камень захлопнул вход, и в пещере стало совсем черно.

С такими же криками изумления и отчасти удовольствия все бросились к козе. Ее не видно было в потемках; но они тотчас же ощупали ее на полу. Она лежала, вытянув ноги, и дышала тяжело.

Поднялся оживленный говор, что делать с этою добычей, которая досталась им сама собою: задушить ли ее теперь же, или оставить до утра?

Все были сыты и, покричав еще немного, полегли спать. Коза продолжала неподвижно лежать между

ними. Мало-помалу усталость и испуг ее сменились тоже спокойным сном.

Ночью на этот раз никого не разбудил голос льва, раскатывавшийся обыкновенно таким громким эхом по всем пещерам и ущельям гор.

Перед утром, когда в щели между камнем, завалившим вход, и стенами проходили в пещеру первые лучи света и храп спавших в ней становился тише, один из грудных ребят проснулся и стал кричать и плакать. Его голос услыхала мать. Ночью ребенок далеко откатился от ее бока, и она слышала голос его почти по самой середине пещеры. Ей не хотелось ни вставать, ни открывать глаза. Грудь ее давно уже начинала скудеть молоком,— и теперь она не чувствовала в ней той тяжести, которая заставляет мать так быстро подниматься утром с постели и давать свой сосок плачущему ребенку. Вместо того чтобы встать и угомонить плач дитяти, женщина лениво закинула за голову свои руки и потянулась, не открывая глаз. Ребенок на минуту притих, потом опять закричал тем умоляющим голосом, каким обыкновенно просил груди,— потом опять притих, и матери послышалось, что губы ее ребенка как будто ухватили что-то и сосут с великим наслаждением. С быстрым любопытством привстала она с своей лиственной постели и окинула глазами пещеру, ища, где ее дитя.

В пещеру проникало уже довольно света. Ребенок лежал около козы, смирно оставшейся на том самом месте, на котором она упала вечером. Грудь ее была так полна молоком, что оно капля за каплей срывалось с ее сосков. Ребенок ухватился губами за один из них и с жадностью глотал молоко, почти не шевеля губами: рот его беспрестанно переполнялся, и молоко белыми струями текло по его черным надувшимся щекам.

Крик удивления вырвался у матери. Коза, лежавшая на боку, вздрогнула, подняла уши; но ребенок продолжал так усердно освобождать ее от молока, что она опять успокоилась.

Все начали уже просыпаться в пещере. Мать ребенка тотчас же обратила внимание всех на невиданное зрелище,— и все с любопытством окружили козу. Свет

все больше проникал в пещеру. Коза глядела на окружавших ее людей кроткими и покорными глазами, будто умоляя не делать ей зла, пощадить ее за то, что она накормила маленького человека тем молоком, которого уже не будут есть ее козлята, разорванные львом.

Убьют ли, чтобы потом разорвать на части и съесть ее сырое мясо, или же пощадят ее эти люди?

Может быть, эта женщина, которой уже тяжело кормить своего ребенка грудью, уговорит остальных приберечь ее для него. Может быть, кто-нибудь полюбопытствует узнать вкус козьего молока, надавит его из соска себе в ладонь, попробует его, и оно понравится. Может быть, это будет первый опыт доенья. Но если ее пощадят и она как-нибудь вырвется и убежит? Тогда счастливый случай хорошего обеда пропал даром. Запереть ее в пещере, когда все соберутся уходить,— дать ей корму.

Потом она так привыкнет, что не будет и уходить далеко,— будет возвращаться домой на ночлег. Он безопасен.

Придет для нее пора любви,— и ее голос приведет к пещере самцов. Из них, может быть, ни один не захочет остаться тут; но зато у козы будут малютки. Они вырастут уже вместе с детьми людей,— они станут смотреть на них не пугливыми, а умными и благородными глазами.

Тогда в этих пещерах может появиться и такое хозяйство, какое было у циклопа Полифема на его острове, соседнем с островом коз.

Начали все мы в пещере просторной осматривать; много
Было сыров в тростниковых корзинах; в отдельных закутах
Заперты были козлята, барашки, по возрастам разным в порядке
Там размещенные: старшие с старшими, средние подле
Средних и с младшими младшие; ведра и чаши
Были до самых краев налиты простоквашей густою.

Но, может быть, они приручат прежде кроткого, податливого и робкого, но умного слона.

...До этого, впрочем, верно, еще очень долго ждать. <...>

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Раскинув свои громадные крылья, высоко носится широкими кругами белоголовый орел. Он высматривает зорким взглядом какой-нибудь добычи. Под ним бесплодная болотистая низменность. С одной стороны подступили к ней горы, поднимаясь сначала отлого, потом все круче и круче. С другой стороны тянется пустая, голая степь, будто ложе недавно отхлынувшего моря. Глаза орла следят за необыкновенным движением в печальной низменности. Люди, как муравьи, расползаются в разные стороны небольшими группами и вереницами. Одни тянутся к горам, другие к пустыне. Орел чует, что ему скоро будет много поживы. Он видит первую эмиграцию людей с их исконных мест.

Тесно стало жить в этом жалком, скудном болоте. Люди перепробовали все средства, бывшие под рукой, но не могли спасти себя ни от голода, ни от мора. Повальные болезни разгоняли их; но они отходили недалеко от первых мест и часто опять возвращались к своим бедным жилищам. Скольких трудов и неудачных опытов стоило им построить себе их. Это такие же сооружения на сваях, какие сохранились в остатках в Швейцарии; но они еще далеко не так совершенны. Здесь еще нет искусственных устоев, на которых утверждается верхняя настилка. Первое дерево будет отделено от своего корня только тогда, когда люди сумеют добывать огонь и употреблять его в свою пользу. Эти люди знают огонь только как далекую от них и властительную силу: огонь солнца и звезд, огонь молнии. Блудящие огоньки их болот — те же звезды. Устои, на которых они приладили себе возвышенное помещение, просто стоящие на корне деревья со срезанными и плохо выровненными вершинами. Искусство оббивать камень о камень так, чтоб из него выходило острое оружие, перешло к ним от их отцов; но им нельзя было усовершенствовать его. Каменистая местность довольно далека. Этих орудий было, впрочем, достаточно, чтобы с великим трудом и старанием обсечь сучья и ветви деревьев, назначенных служить

устоями для жилья; достаточно, чтобы сравнять с еще большим трудом их вершины; достаточно, чтобы надрезать сверху донизу кору дерева с одной стороны и потом содрать ее с него. Эти лубки, плохо распрямленные, скоробленные на горячем солнце, и служат полом или, пожалуй, кровлей этим естественным устоям. Другое искусство, наследованное от отцов, помогло сплотить их. Они сумели залить их глиной и дать ей окрепнуть на солнце; где недоставало лубков, а было вдоволь тростнику или обрубленных с деревьев лоз, там настланы были плетенки — и все это обильно скрепилось глиной и землей и образовало прочную площадку над деревьями. С нее далеко видно кругом равнину. Защитою этой крепости служат на каждой такой кровле запасы острых камней (родоначальников будущих кремневых стрел). Их все ловко умеют метать в свою защиту. С каждым годом настилка утолщается и укрепляется. Местами на ней пробивается трава. Но вначале было так трудно оберегать ее! Под ливнем периодических дождей она становилась такою же шаткою и зыбкою, как едва связанный плот на волнах моря.

Как ни свирепствовали по временам голод и смерть в этих бедных поселениях, плодовитость племени боролась с ними могущественно. Население разрасталось все в больших размерах, и ему становилось тесно. Мало было не давать вырастать слабым детям и убивать их тотчас после рождения; мало было заводить между собою споры и драки, в которых должны были гибнуть слабейшие. Сильнейшие, оставаясь целыми, только еще более способствовали размножению племени. Закон Мальтуса оправдывался во всей силе. Надо было расходиться, искать новых мест.

Стали совещаться, смыкаться в группы, запасаться дубинами вместо оружия — и началось переселение.

Не сразу поднялось все в поход. Уже давно бывали от времени до времени попытки поискать лучшего угла для жизни. Пробовали уходить и в одиночку и по нескольку человек разом. Одни уходили и уже не возвращались. Никто не знал (да никто и не заботился), что с ними сталось: разорвал ли их дикий и голодный зверь, истомила ли до смерти жажда, сломили ль недуг и голод, или же они нашли себе такой приют, какого не было у них дома. Другие приходили обратно,

изнуренные, истощенные, и готовы были лучше умереть, чем возобновить свое странствие. Бывали и такие, что возвращались бодро и весело, говорили о чудных странах, где все в изобилии, где для всех готово и жилье и пища, и звали с собою других идти в эти прекрасные места. Но иногда они выказывали и много фантазии, не меньше знаменитого английского путешественника сэра Джона Мандевиля или тех авантюристов, которые ездили за золотом и сокровищами Монтесумы. Самая правда принимала сказочный характер в повествованиях этих смелых странников. Картины, представляемые ими, увлекали воображение. Едва сытые желудки ныли и просили этой сладкой пищи. Начинался оживленный говор по кровлям, суета. И десятки и сотни людей шли за бывалыми вожатаями.

С течением времени все чаще и чаще становились эти выходы, и все больше и больше числом были уходившие партии колонистов.

Глядя с недосягаемой высоты на этот разброд людского муравейника, орел недаром ждет себе обильной поживы.

Не все эти толпы идут в места, где могут найти что-нибудь лучше того, что оставили на родине. Все они направляются больше или меньше в одну сторону, именно к этим обильным горам, которые как будто нарочно поднялись так высоко, такими чудными террасами и изломами, чтобы привлекать к себе мысль и воображение человека. Бывает ли ночь за этими сияющими вершинами? Солнце уходит за них и светит там, когда по сю сторону лежит темная ночь. Недаром эти верхи, будто окаймленные золотом, серебром и пурпуром, еще блещут, когда уже все погаснет здесь; недаром они первые вспыхивают опять ослепительными красками поутру, когда еще чуть алеет небосклон на востоке.

Все эти вереницы странников избрали эти горы целью своего путешествия; но не все они избрали прямой и верный путь. Одни дошли до печальной и бесплодной пустыни и остановились в раздумье, идти ли дальше, будет ли за этою пустыней место, где не умрешь с голоду, можно ли пройти самую эту пустыню. Часть путников отделяется, часть вступает в пустынные места. Кому посчастливится? Может быть, те, которые отделились и взяли несколько в сторону, дойдут до еще более бесплодной степи и погибнут там. А первый от-

ряд переступит тяжелый переход и дойдет до стран, одаренных обильным плодородием. Для тех, кого случай не толкнул по этому пути, суждено другое. Голая степь будет чернеть их трупами, орел накличет своих товарищей, с воем набегут шакалы и гиены, они не оставят ни клочка кровавого мяса, и там, где лежали черные трупы, долго будут белеть груды костей, пока их не заметет песком пустынный вихорь.

Первый оазис после степного перехода остановит многих. Как тут привольно, обильно и хорошо! Зачем идти дальше. Будем жить здесь. Но привычка к странствию уже сделана. Не все захотят оставаться на этом первом приволье. Как знать! Может быть, там, дальше, за тою грядою гор, в верховьях той многоводной реки, природа еще обильнее, еще щедрее обделяет человека своими дарами.

И постепенно, медленно, из века в век, из поколения в поколение, все эти плодоносные склоны заселятся людьми. Если бы начертить все их дороги, вышел бы, вероятно, узор, похожий на тот, который рисует своими нитями паук в выбранном им углу.

II

Перед нами долина, которая граничит с непроходимым девственным лесом. Лес далеко раскинул свою первую опушку кустов и небольших деревьев. Лишь изредка поднимаются здесь посреди низменного кустарника деревья выше, тенистее. Почти к каждому из таких деревьев прислонены какие-то странные сооружения из ветвей и больших листов. Что это — норы зверей или жилища человека?

Некоторые из этих построек не что иное, как ряд жердей, упирающихся одним концом в землю, другим в ствол дерева и накрытых сверху грудою веток или же широкими листьями пальмы. Небольшое отверстие где-нибудь сбоку — это дверь этого первобытного шалаша. Многие из них сплочены так плохо, что стоит двинуть хорошенько плечом, пролезая в эту дверь, и все строение свалится вам на голову. Но только небрежность и беззаботность строится так непрочно. Некоторые из этих конусообразных шатров, окружающих стволы деревьев, построены крепко, насколько можно

это при отсутствии помощи огня, которого они еще не умеют добывать. Где в стволе деревьев сделаны зарубки для того, чтобы жерди упирались в них и не соскальзывали, где концы жердей, упирающиеся в землю, врыты в нее глубже, там шалаш стоит прочно, пока не подмоет его дождь. Подмытый раз, два, три, он, может быть, будет укреплен еще лучше. Недалеко отсюда есть целая гряда каменистых холмов — и стоит обложить каменьями основу шалаша, он устоит и против дождя. Постройками этими занимаются женщины. Вот хлопочет около одного из шалашей еще совсем молоденькая. Она перевязывает и переплетает заново поперечные перекладины из веток и плотнее прикрывает их листьями. Судя по плечам и бедрам, по росту, она еще не достигла полного развития. В числе женщин, показывающихся у других шалашей, чуть не большинство почти ничем не разнятся от мужчин ни шириною плеч, ни высотою роста. Но у этой неразвитой женщины уже низко отвисли груди. Видно, что она выкормила ими не одного ребенка.

Первые обманчивые признаки зрелости, которые являются здесь так рано у женщины, не проходят незамеченными. Толпа мужчин тотчас начинает следить за новым предметом страсти, и, бессильная для борьбы, девочка, как назвали бы мы, достается по большей части наиболее сильному из претендентов. С этого уже времени начинается покорение женщины. Она постоянно то носит детей, то кормит. Промежутков нет. И мужчина начинает сознавать и выказывать преимущество своей физической силы, и женщина видит поневоле необходимость подчинения. Первым поводом к одежде будет, может быть, служить желанье отделываться хоть немного долее от этого подчинения, попадать хоть немного позже в властительные руки мужчины. Мы и теперь видим у диких, которые почти не знают одежды, что женщина носит пояс, от которого идет повязка спереди назад. Этот пояс был вначале, верно, просто лозою какой-нибудь лианы, эта повязка — листьями. Ева этих рас изобрела себе лиственную одежду не из стыдливости, а из чувства страха, из чувства самосохранения. Но скоро ли стала оберегать и охранять ее эта одежда? Не вдруг притупила она чутье мужчин.

Сначала одно наслаждение сводило мужчину и женщину. Потом они расставались. Но как только мужчина заметил в себе перевес сил, создалась семья. Из женщины, кроме наслаждения, он мог извлекать и пользу. Она могла давать ему больше времени для праздности, сна. Она могла делать за него то, к чему ему лень протянуть руки. Дети еще не помеха. Мать долго может кормить ребенка; а когда она кончит эту заботу, ребенок недолго будет требовать забот. Если это мальчик, он будет ходить отыскивать пропитание сам; пока он не умеет еще владеть каменным копьем, он станет разорять птичьи гнезда. Если это девочка, будет то же, до тех пор, пока она не забеременеет и не попадет в такую же зависимость, в какой живет ее мать. Мужчине будет казаться выгодным иметь и не одну рабу. Вот начало многоженства. Вначале он, может быть, и без такого расчета приведет в свой шалаш другую женщину. Он приведет ее для удовлетворения своей страсти, потому что первая жена не может удовлетворить ее именно в это время. Она беременна или только что родила. Но и расчет на лишние рабочие руки явится следом.

Мужчина, еще не отдавая себе отчета в своих поступках и намерениях, смутно сознает уже то, что впоследствии назовет своим правом на женщину. Главная основа жизни — это пища. А пищу доставляет почти исключительно он. Всякий другой труд не имеет еще такой цены. Имеет ли он и какую-нибудь цену?

Посмотрим же на жизнь этой неразвитой физически женщины, которая так хлопотливо укрывает и чинит свою хижину. Муж ее (можно давать ему уже и это имя) — муж ее пошел в лес за добычей. Дома у них нечего есть, и вот он вооружился своим дротиком и пошел на охоту. Он постарается не заходить далеко и высмотрит сначала все ближайшие места, где можно надеяться встретить дичь. Охота еще не доставляет ему удовольствия. Он ищет в ней только пропитания. Первая убитая им дикая коза, первый олень заставят его воротиться домой.

Вот он и возвращается из лесу. Но руки у него пусты. Он машет ими еще издали жене, и она бежит к нему навстречу. Он свое дело сделал, убил козу. Притащить ее домой может и жена. Он объясняет ей, где

лежит добыча, и она быстро исчезает в лесу. Он идет между тем к своему шалашу, пролезает в его отверстие, бросает на пол свое окровавленное копье и в ожидании возврата жены с козой ложится отдыхать. Пол шалаша устлан листьями и кой-где мехами убитых им зверей. Надо выбрать место помягче и поудобнее. Жена на такое именно место уложила спящего ребенка. Он может лежать и пожестче. Отец бесцеремонно сталкивает своего ребенка с удобного места и вытягивается во всю длину своего тела. Ребенок ревет со сна. Это ничего. Поревет и перестанет. И охотник уже захрапел, не дождавшись конца плача.

Женщина отыскала убитую козу, взяла ее за ноги и потащила к дому. Но тащить ее так неудобно. Сучья и корни, по которым приходится волочить ее, только еще более раздирают две большие раны, свалившие ее. Женщина подымает ее за передние и задние ноги и закидывает себе за спину. Обливаясь потом, несет она ее по глухим лесным тропинкам. Кровь козы мешается с потом женщины, и она приходит к шалашу со спиной и грудью в красных полосах и узорах.

Охотник и среди крепкого сна услышит, что добыча уже дома. Он голоден, и ему уже снится лакомая еда. Но и открыв глаза и видя, что жена опустила на пол принесенную козу, он не пошевелится ни одним суставом. Он скажет только, чтобы жена сейчас же принялась потрошить козу, и станет, лежа неподвижно, следить, как она распорет каменным ножом ее живот, как станет отчасти им, отчасти ногтями сдирать кожу, как, наконец, разворотит кровавыми руками грудь козы.

Тут охотник вскочит с своего ложа и с сверкающими от удовольствия и ожидания глазами подсядет к жене. Достанется ли ей хоть кусок от сердца, печени и почек козы, которые он с такою поспешностью выдирает из ее кровавой внутренности и с такою жадностью начинает жевать и глотать? Жена успеет оторвать небольшой кусок и отправит его к себе в рот. Но это может возбудить и спор и ссору.

До тех пор пока есть хоть маленький кусок козы, наш звероловов не пойдет на охоту. Он будет лежать, спать, есть. Нет никакой заботы. И еда будет идти к нему в рот совсем готовая. Жена обдерет кожу с козы,

выпотрошит ее, разрежет мясо на куски и сложит их в вырытую ею же в земле яму и прикроет ее листьями. Не нужно даже и руку протягивать. Стоит крикнуть — и жена подаст.

Чем больше убитый зверь, тем долее можно наслаждаться кейфом, не брать в руки копья, не ходить в лес. Разлагающееся мясо, один запах которого произвел бы в нас тошноту, считается самым вкусным при неуменье варить и жарить его.

III

Каждое стадо знает самого сильного из своих членов, знает, что с ним борьба тяжела. Людям, живущим уже в первом подобии общества, нельзя не отличить между собою тех, кто наиболее наделен силой. Эта сила не раз обращает на себя внимание всех; не раз дает чувствовать себя многим. Сильный зверолов чаще одолевает такую дичь, перед которою отступает слабый.

Широкоплечий охотник, с крепкими, как железо, мускулами, возвращается из лесу весь окровавленный. Лицо его изодрано когтями какого-то могучего зверя; на одном плече кожа висит кровавыми клочьями. Древко его копья переломлено. Но он не спешит обмыть свои раны в ближайшем ручье и прилепить к ним листки растения, в котором случайно открыта сила останавливать кровь и заживлять язвы. Глаза его горят торжеством победы; улыбка его окровавленного лица обличает удовольствие. Он собирает около себя веселым криком не только жен, но и соседей. И его крику начинает вторить скоро оживленный говор всего сборища. Все дивятся, все чмокают губами, широко раскрывают глаза, качают головами. Какая неслыханная победа одержана! Какая проявлена отвага, ловкость! Этот человек убил тигра.

На этот раз целая толпа идет в лес за смельчаком. Вот желтеет в чаще шкура убитого зверя. Это правда! Он победил; он раздробил ему череп своим копьем; потом он кинулся в отчаянную борьбу и изловчился перерезать ему горло каменным ножом, который он один носит постоянно за поясом, свитым из тонких

лоз. Уже это было его отличием. Теперь он приобрел новое.

С ликованьем и торжественным криком тащит толпа труп тигра. Все суетятся около него; каждому хочется проволочить его хоть несколько шагов. Кому-то приходит в голову нарвать лиан, привязать к ним тигра за ноги и тащить его так. Тогда все могут запрячься. Мысль принята, и составляется торжественное шествие. Во главе его идет победитель и его семья. Между людьми явился первый триумфатор.

При грозящей им опасности все глаза обратятся с надеждою на него. Когда понадобится вождь, он поведет их. Не он ли и теперь избавил их от сильного и досадного врага. Уже несколько человек, уходивших в лес на охоту, не возвращались оттуда к своим шалашам. Что с ними сделалось? Этот тигр загрыз их. Теперь его нет; месть совершена. Как же не приветствовать хвалебными кликами человека, совершившего такое великое дело? Оно действительно велико при тех жалких орудиях, какими еще могут располагать люди.

Около шалаша триумфатора пир. Жены его торжественно, при всех, сдерут с тигра кожу. Они будут скакать и прыгать от гордости и самодовольства, когда победитель хвастливо набросит себе на плечи еще теплую шкуру убитого зверя. Дети последуют примеру матерей и примутся также скакать и прыгать с визгом вокруг ободранного трупа. В этих прыжках зачаток будущих более искусственных плясок, может быть, будущих языческих религиозных обрядов. Важность случая заставляет на минуту забыть то, что не забывается ни при какой другой добыче. При поражении такого зверя, как тигр, можно и не думать о количестве мяса, годного на еду.

День этой победы будет долго памятен всем. Пестрый трофей, разостланный на полу шатра, не дает никому забыть о нем. Победитель оторвет одну из лап тигра и станет носить ее за своим поясом. По этому ордену, к которому принадлежит он один, все будут знать его. Борьба с могучим зверем оставила ему и другую отметку, еще более прочную. Плечо его совсем зажило, и не видно следа бывшей раны, но когти тигра провели слишком глубоко три параллельных черты на его правой щеке. Шрам от них никогда не исчезнет.

Он ясно виден на темной коже. Бывали и прежде люди со следами такой борьбы с сильным неприятелем на своем лице; но эти следы были памятью их слабости, их бессилия совладеть со зверем. У этого человека эти раны знак его победы. Щека его обезображена; но он гордится и хвастается этим безобразием, как особенною красотой. От этого шрама он получает имя, и под этим именем знают его все. Когда говорят о нем, говорят в то же время о следах тигровых когтей на его правой щеке. Блеск его славы падает и на его семью. Жены начинают гордиться не меньше мужа. Они хотят и себе придумать отличие. Может быть, им придет в голову привесить себе на уши на нити какого-нибудь растения по зубу тигра, убитого их мужем и господином. Это отличит их от всех других женщин и возбудит в них не столько уважения, сколько зависти. Но как сделать, чтобы и на детях видно было, чьи они дети. Подражая отцу, мальчики играют уже в тигров и охотников и царапают друг друга. Пусть и у них будут такие же отметы, как у отца. И вот у всех детей мужеского пола являются на правой щеке три искусственно проведенных и растравленных, потом заживленных шрама. Теперь уже нельзя смешать их с детьми других людей. На них переносится имя их отца. Это имя уже не умрет, пока не вымрет весь род победителя. Дети его, выросши и породивши детей, отметят и их наследственным гербом на щеке. Имя их станет именем господствующего рода; может быть, оно будет в их языке синонимом верховной власти — вождя, князя, царя; может быть, оно станет национальным именем всего племени, в котором были такие герои.

Соревнование выдвинет еще кого-нибудь из остальной темной среды. Явится новый герой, новый герб, новый аристократический род; два рода станут враждовать и спорить о первенстве. Бархатных книг и дипломов еще нет, а уже есть и старая аристократия и новая. К отметкам на теле являются отметки и вроде серег у женщин. Одежда, которая лучше всего могла бы отделять одних от других, еще не существует. Но перья, воткнутые в волосы, борки из ярких зерен на шее и т. п. стали уже исключительными украшениями дикого дворянства.

IV

По русской поговорке «от добра добра не ищут» люди не думают покидать мест своего поселения без каких-нибудь особенно важных побуждений. Надо, чтобы их гнал голод или чтобы какое-нибудь пришедшее издалека и поселившееся рядом племя стало теснить их. Без таких побуждений не колонизуются люди и из наших цивилизованных государств и обществ.

Нигде привычка к месту своего жилья так не сильна, как у этих первобытных людей, потому что нигде не сильна так лень, неповоротливость и мозга и мускулов. Поколение за поколением живут в нездоровом болоте. Вредные испарения, губительные поветрия беспрестанно производят опустошения в населении; но смертность приписывается случаю, которого нельзя отстранить, с которым не в силах ничего сделать человек. Скорее болезнь и смерть примет в его воображении характер кары или вражды какого-то неведомого и невидимого ему врага; скорее создаст он миф о каком-нибудь всесильном существе, которое с крайних пределов мира дышит на него порою мором и заразой; скорее заподозрит в таинственном и зловредном искусстве морить людей кого-нибудь из своих же собратий, почему-нибудь несимпатичных ему; скорее сделает он все это, нежели задумает передвинуться с своего старого исконного места на другое, новое. У него нет опыта и знания, которые подсказали бы ему, что есть на свете страны гораздо обильнее, страны, еще не занятые никем, куда стоит только добраться, чтобы жить богаче, спокойнее, не умирать от каких-то необъяснимых и внезапных влияний. Понятия его о хорошем и дурном, о добре и зле ограничены тем тесным кругом, дальше которого не уводили его ноги. Ему представляется скорее, что везде за этим кругом жизнь тяжелее, печальнее, хуже. Удалясь за версту, за две от своего жилья, он уже чувствует желание возвратиться к комфорту дома, которого тут не находит. Пусть этот дом не что иное, как непрочный шалаш из древесных ветвей или что-то вроде гнезда на верхушке дерева (как у нашего сказочного соловья-разбойника, только без такой роскоши, не на двенадцати дубах), пусть этот

дом его ничем почти не отличается от убежища, какое он может устроить себе на каждом привале, если вздумал бы отправиться в путь,— он этого не знает, он не видел ничего лучшего,— и потребности и желания его нейдут дальше того, что он видел с детства и видит теперь вокруг себя. Он может жалеть о потере какого-нибудь удобства, какого-нибудь жалкого блага; может стремиться и стараться возвратить себе это удобство, это благо,— и только. Лучшего ему не надо; он и не поверит возможности лучшего, пока не увидит его своими глазами, не ощупает своими пальцами. Для уроженца Забайкалья яблоко кажется плодом, который растет только в земном раю (если он слыхал о нем); он считает баснями и хвастовством рассказы заезжих людей об иной растительности. чем к какой привык в своих горах, об иных климатах. А этот сибиряк настолько же выше по развитию тех людей, о которых мы говорим, насколько грек, осаждавший Трою, был выше нынешнего новозеландского маори или американского дикаря.

Даже перед грозным и опустошительным естественным переворотом человек отступает лишь ненадолго и уходи́т недалеко. Стихии успокоились, и он возвращается на старое место, не рассчитывая на их повторения. Он соберет остатки и обломки своих бедных хижин, срытых страшным наводнением, и постарается возвести их на прежних местах. На пепелище своих селений, похороненных бурным огнем волкана, он опять выстроится. И это сделает не только такой человек, которого мы самодовольно называем диким. Около могил Геркуланума и Помпеи построится Торре-дель-Греко, чтобы погибнуть под новым извержением. Голландцы и дитмарсы станут двадцать раз строить села и города в своих болотах, на прежних местах, после двадцати губительных наводнений, не оставивших камня на камне и бревна на бревне. Страшное землетрясение губит город Мендосу в Ла-Плате, у подножья Андов. Остаток жителей, спасшихся почти чудом от гибели, возвращается возводить снова погибший город и жить в нем (из четырнадцати или семнадцати тысяч жителей уцелело не более двух тысяч. Из двух тысяч раненых почти все умерли. От города ничего не осталось).

Но при этой неохоте к передвижению, при этом пристрастии к своим местам, при переселениях только вследствие постоянных толчков и утеснений извне как заселились в такую раннюю пору острова, отделенные от материка и друг от друга целыми днями пути даже для наших усовершенствованных судов? На таких одиноких клочках земли, среди пустынного моря, первые европейские мореходы заставали население, родственное далеким континентальным берегам. Как могли забраться туда эти колонисты, когда у них и теперь еще суда похожи на скорлупу ореха и они не удаляются на них дальше тихой бухты?

У самого устья реки, подступая близко к морскому прибрежью, живет издавна рыбачье племя. Когда и что привело его поселиться на этих берегах — преданье не рассказывает. Но из века в век эти вначале беспомощные люди дошли постепенно, мало-помалу, до многих улучшений в своем быту. Главный промысел их, главное средство пропитания — рыболовство сделало уже много успехов. Они не ждут уже отливов, чтобы пользоваться только тем, что случайно оставит море на песке их берега; они могут и не нырять у берегов на неглубокое дно, чтобы добывать себе оттуда раковин и раков. Первый шаг к искусственному рыболовству — плетенная из лоз верша сменилась уже у многих сетью. Имя того, кто первый открыл возможность сучить веревки из коры растений, кто первый изобрел искусство выпрядывать нити из их волокон, неизвестно. Но в воспоминании своем об этом гениальном человеке рыбаки прибрежья готовы признавать его чем-то особым от себя и высшим. Это почти бог в их представлении и, верно, будет настоящим богом, если новое и еще важнейшее открытие какого-нибудь нового гения не заслонит в них памяти старого. Искусство, изобретенное проницательнейшим из этих рыбаков, очень далеко от совершенства; но спасибо и за то! С ним явилась уверенность в существовании, безопасность от голода. С сетью нельзя остаться без улова.

И первый изобретатель челна из древесной коры неизвестен; но он так же высоко должен стоять во мнении своих земляков, как и изобретатель рыболовной сети. Улучшения в лодке явились постепенно, можно сказать сами собой. Чтобы остановить течь, ста-

ли залеплять отверстия глиной; когда глина не держалась и размокала, попробовали древесную смолу, и смола оказалась действительнее и полезнее для прочности челна. Сначала он был слишком открыт, слишком походил на половину устричной раковины, которая так легко захлебывается водой. Другие раковины, игравшие роль наших бумажных кораблей в играх рыбачьих детей, дали мысль более удобной и прочной формы для лодки. Ее удлинили, сузили с боков, закруглили. Эту несовершенную лодку вначале можно было бы назвать почти игрушкой, если бы на той ступени развития, на которой стоят эти прибрежные жители, хотя что-нибудь вызывалось прихотью, а не действительною потребностью. Время прихотей придет для них впоследствии и еще не скоро. Лодка понадобилась для того, чтобы опускать сеть на большой глубине. Управлять ею никто еще не думал. Трудность совладеть с силою волн казалась непреоборимою. К лодке прикреплялась веревка, и только на длину этой веревки могла она удаляться от берега. Даже опрокинуться в ней, неловко вытаскивая сеть, было не опасно. Берег так близко, и каждый — хороший пловец. Да и самая лодка не могла пропасть; ее притягивали за веревку к берегу, выплескивали из нее воду, просушивали, просмаливали, если в ней оказывалось повреждение, и она опять спускалась на воду. Мало-помалу целая флотилия таких лодок появилась у морских отмелей. На ночь и на время прилива каждый уносил свою посудину дальше от берега, и тогда они чернели на желтом песке своими опрокинутыми днами, будто большие недавно выловленные рыбы. Только у этих рыб не было еще плавательных перьев. Но скоро и они явились; явились весла у лодок. Эти весла были вначале не что иное, как просто короткие шесты, — по одному шесту на каждую лодку. С помощью такого шеста оказалось возможным поворачивать лодку и ускорять ее движение. Не вдруг нашлись такие смельчаки, чтобы отвязать веревку от своего челна и совершенно отделиться от берега. Но расчет на более обильную ловлю стал мало-помалу заставлять прибрежных рыбаков отплывать довольно далеко. Прихоти и привычки моря около берегов уже довольно известны. Опасности тут всегда можно избежать. Но отплывая от берега на вер-

сту, как не отплыть и на две. Один авантюрист решился добраться до маленького острова, темневшего вдали, среди голубой глади моря. Он бойко принялся грести к нему своим шестом. Остальные товарищи следили за его плаваньем, оставаясь поодаль. Около самого острова лодка быстро закружилась. До них долетел крик пловца. Потом и он и его челнок исчезли под волнами. Их зоркие глаза очень ясно видели, что они погибли. На другой день прилив принес на берег несколько кусков лодки. Пловец так и не возвращался. Гибель его была опытом для других. Они узнали теперь, что приближаться к далекому островку опасно. К этой страшной харибде никто уже не поплывет. Море широко, и есть куда направить по нем свою лодку. Лучше всего держаться берегов. Отплывая дальше прежнего, рыбаки придумали увеличить несколько свои лодки. Вначале они были рассчитаны на одного человека; потом попробовали сделать их просторнее, так чтобы помещалось двое. Наконец придумали соединять две лодки в одну, связывая их веревками и просмаливая эти связи. Тут можно было помещаться уже четверым и даже пятерым; можно было брать и больше грузу. Втроем, вчетвером явилось больше уверенности и смелости. Вместо одного шеста у каждого было по шесту. Гребля пошла успешнее, особенно когда кто-то попробовал вместо прямого и ровного шеста нечто похожее на лопату. Но еще не было изобретено длинного поперечного шеста, который удерживал бы лодку в равновесии, как баланс удерживает плясуна на канате.

Все с большею и большею смелостью стали носиться лодки по открытому морю. Все дальше и дальше решались они уходить от берега. Мужчины и женщины безразлично плавали и промышляли в них.

Две лодки, каждая с тремя пловцами, отплывая вдоль берегов, отдалились от них на большее расстояние, чем когда-нибудь. Они вдруг очутились на кудрявой и быстрой зыби, справиться с которою были бессильны их весла. Сколько ни упирались они ими в волны, качавшие их челноки, ничего не выходило. Поворотить к берегу было невозможно. Они попали на морское течение. Усталые от бесплодной борьбы, пловцы заметили, что непреоборимая сила моря влечет их все дальше и дальше от родных берегов. Лодки рас-

качивались сильнее, выходя в открытое море. Страх пловцов, между которыми две женщины, выражается громкими криками. Этих криков не услышат на том берегу, от которого унесло их. Он все более пропадает из виду. Крик сменяется воплями. От их беспокойных движений лодки качаются еще больше — и с этой качкой возрастает страх. Солнце высоко стояло посреди неба, когда они попали на эту невольную дорогу. В каждом челноке было на дне по нескольку пойманных рыб. Рыбаки готовы уже были возвратиться домой, когда море сыграло с ними такую шутку.

Как ни печально положение их, но нельзя же вопить и плакаться беспрестанно. Они перестают кричать и стонать и начинают говорить, что им делать? Эти разговоры напрасны. Они пробуют силу своих весел. Весла бессильны, как солома, перед этим увлекающим их стремлением. Море все шире расстилается перед ними. Они смотрят назад, на свои берега. Видна только темная полоса; но и эта темная полоса превращается в туманную облачную гряду, которая уже не похожа на их родной берег. Знакомые очертания его исчезли. Каждый изгиб берега, каждая возвышенность, каждый выдающийся мыс так хорошо известны им с самого детства! Из дали, какую только может проникнуть их дальнозоркий глаз, они узнают каждую подробность своего прибрежья. Теперь все кажется им на этом прибрежье так чуждо. Они никогда не бывали в такой дали.

Ветер крепнет,— теплые волны его обдают пловцов, как ласковое дыхание; но ласка его так обманчива. Течение становится быстрее; одна широкая волна поднимает лодки, одна опускается с ними. Напрасно стараются пловцы рассмотреть берега позади себя. Еще за минуту они виднелись тонкою темною нитью. Теперь и эта нить исчезла. Кругом, куда ни взглянешь, вода и вода. Солнце давно уже сошло с зенита. Оно тихо катится к той стороне моря, где исчезла земля, а пловцов несет в противуположную сторону. Им ничего не остается, как покориться увлекающей их стихии. Борьба с нею невозможна. Они смиренно сложили весла на дно своих лодок и сидят уже безмолвные, будто окаменевшие, и только по временам оглядывают бесконечное море. Они забыли на время и о голоде. Губы их

пересохли, язык лежит во рту, как кусок коры, и слова с трудом произносятся им. Но вот они вспоминают о запасе рыбы, который есть с ними. Вместе с покорством судьбе должна была войти в них, возвратиться к ним забота об удовлетворении того, что еще можно удовлетворить. Рыба подкрепила их, и они опять начинают говорить. Не земля ли там вдали? И все всматриваются. Нет, это облачко, которое на минуту показалось над самой окраиной вод. Вот оно поднимается к ясному небу и кажется в нем совсем белым; оно разрывается на мелкие волокна, и каждое из этих волокон тает в яркой высоте, и от них не остается ни следа. Солнце все ниже опускается к морю. Один край его уже окунулся в море, и от него идет, ослепительно горя, прямая огненная дорога к лодкам. Волны этого пути отливаются серебром, золотом и пурпуром, как волны расплавленного металла. Дорога эта идет и вперед. Как бесконечный пояс, протянулась она по морю из края в край, и по ней гонит лодки ветер и теченье. И верхний край солнца уже погрузился в океан. Багровая заря протянулась полосой. Блестящая дорога темнеет; но еще быстрее темнеет над головами пловцов небо. В его темной глуби выступили звезды,— и на минуту погасавшие волны засверкали фосфорическими огнями. Опять позади и впереди пловцов лежит светлая дорога. Куда ведет она? Они знают только откуда.

С наступлением ночи сердца их больше сжимаются страхом; в журчанье воды под их лодками слышатся им движения следящих за ними морских чудовищ. Вот что-то плеснуло сильнее; вот лодка как будто дрогнула.

Между тем ветер стих, волны не так высоко вздымаются и не так глубоко опускают лодку. Безмесячная, но звездная ночь безмолвна. Кроме глухого журчанья по следам лодок, не слышится ни звука. Все море вспыхивает звездами, как темное небо. Это время сна дома, сна крепкого, спокойного. Придет ли сон к этим невольным странникам? Они слишком здоровы, слишком полны жизни и сил, чтобы наложить на себя произвольно бессонницу. У некоторых, почти у всех веки тяжелеют и смыкаются от дремоты. В этом безмолвии ночи, в этом журчанье воды, в этой мерной качке есть что-то невольно усыпляющее. Пловцы, однако ж, уговариваются, чтобы один в каждой лодке не спал, пока

остальные растянутся на дне и заснут. Он будет сторожем. Он разбудит их, если где-нибудь покажется земля. Ведь море должно же где-нибудь кончиться. Если он задремлет, он разбудит одного из спящих, и тот сменит его на страже.

Сторожа в обеих лодках недолго будут бодрствовать. Дремота одолеет их прежде, чем они успеют разбудить кого-нибудь из спящих товарищей. Опершись спиной о задок лодки и сидя можно уснуть так удобно. И спящие не будут недовольны, если их не разбудят. Да и можно ли добудиться их?

И море несет эти утлые челноки все дальше и дальше. Бедные пловцы, унесенные в такую страшную даль от родины, грезят, может быть, о своих хижинах, о твердой земле под своими ногами. А уцелеть ли им? Неподалеку выглянула из воды голова акулы с страшной пастью, которая может разгрызть вдребезги их жалкие челноки. Они спят и не слышат. Над головами их, уже перед утром, проносится стая птиц и своим криком будто хочет разбудить их, будто хочет внушить им надежду, что близко есть убежище, что и они могут пристать в тихую бухту острова, где эти птицы вьют свои гнезда. Никто из спящих пловцов не слышит утешительного голоса птиц.

Только когда восток зарумянился перед появлением солнца, проснулись пловцы в обеих лодках. Они увидали с удивлением, что между ними гораздо большее расстояние, чем было вчера. Отчего задняя лодка так отстала? Отчего передняя так далеко убежала вперед? Что такое было ночью? Никто не мог ничего отвечать на эти вопросы. Все спали так крепко и ничего не слыхали. Но теперь они так далеко друг от друга, что голоса с одной лодки едва долетают до другой. Пловцы, ушедшие вперед, кричат задним, чтоб они помогли веслами бегу лодки и сравнялись с ними. Плыть рядом или близко друг к другу в двух челноках не так жутко, как нестись одиноко по широкому морю в одиноком челноке. Но весла не помогают задней лодке догнать переднюю и сравняться с нею. Напротив, она все больше отстает. С передней лодки все с любопытством следят за отставшими. Заднюю лодку как-то странно раскачивает. Видно, в ней произошло какое-нибудь повреждение. Пловцы кричат громко и отчаянно. Опустясь

в глубину между двумя волнами, лодка показывается лишь одним краем. Между пловцами идет как будто борьба. Вот лодка и совсем захлебнулась водой. Показываются из воды головы, руки; на минуту мелькнула опрокинутая лодка. Чьи-то руки ухватились за нее,— и она опять исчезает в воде. Высокая волна поднимает одного из пловцов; но он изнемогает в борьбе.

На передней лодке поднимается жалобный крик. Такая же печальная судьба может постичь и ее. Долго еще с криком следят передовые пловцы за последнею борьбою своих несчастных товарищей. Но вот и следить уже не за чем. Борьба кончилась — и победило море.

Солнце взошло яркое и спокойное. Пловцы приветствовали его радостным восклицанием. Не покажет ли оно где-нибудь вдали хоть тень спасения? На небе не было ни единого облачка; нигде по краям горизонта не виднелось собирающихся клочков тумана. По крайней мере буря минует головы странников. Опять сильнее повеял ветер навстречу солнцу, и быстрее побежала лодка. Пловцы подкрепились остатками рыбы. Если в этот день они не доплывут до какого-нибудь убежища, им придется голодать. Гибель товарищей заставляет их осмотреть свою лодку — нет ли и в ней какого изъяна. Нигде не видно течи; она прочна; лишь бы не ударила гроза. Но вокруг не видно, чтобы она собиралась. Они уже знают, что им не увидать родного берега; но все-таки глаза их невольно обращаются назад. Море поглотило землю повсюду.

Солнце приближалось к полудню: пловцы обливались горячим потом; жажда начала мучить их. Вода кругом, а утолить жажды нечем. Один зачерпнул в ладонь морской воды и хлебнул, но язык и губы его стали еще больше сохнуть.

Но вот почти разом из всех уст вырвался радостный крик. Направо, вдалеке, что-то показалось из волн. Сначала пятно как будто не больше лодки; но пятно это растет. Это остров. Только как он далеко. Все-таки надо постараться своротить к нему. Они принимаются за свои весла. Теченье упрямо гонит их своей дорогой, и руки их все больше устают. При каждом небольшом повороте лодки волны грозят захлестнуть ее. Надо оставить и эту попытку, надо проститься и с этой наде-

ждой. А между тем остров виден так ясно. Бесчисленные стаи морских птиц поднимаются над его остроконечными вершинами. Их белые крылья мелькают на солнце, как серебряные звезды. Там есть пища, там есть, конечно, и пресная вода, и лес — там можно жить. А здесь придется умереть.

Остров остался уже назади. Теченье не устает нести лодку в одном направлении. Вот уже опять вокруг нет ничего, кроме воды. Острова как не бывало — и у пловцов вырываются невольные стоны.

Мало-помалу отчаяние и жажда совсем лишают их сил. Они уже не говорят ни слова. От палящего солнца прилегли они на дне лодки, пряча свои головы в тени ее стенок. Будь что будет — они уже не выглянут; они отдались во власть моря — пусть губит. Горячечный сон, с бредом, с дикими грезами, одолевает их мало-помалу. Они мечутся на дне лодки, забывая, что могут покачнуть ее.

В этом сне проходит почти весь день. Солнце уже так низко, что лучи его не проникают в лодку. Один из пловцов, посильнее других, одолевает свою дремоту,— как будто какое-то благодетельное дыхание повеяло на него свежестью. Он отрывает от дна лодки свою отяжелевшую голову и выглядывает. Что это? Грезит ли он, или точно видит то, что перед ним? На минуту он остается совсем неподвижным, немым. Прибой быстро несет лодку к земле. Широкий залив, к которому с трех сторон подступают отмели белых коралловых песков, как будто протянул к лодке свои объятия. Со всех сторон зеленеют стройными рядами пышные вершины кокосовых пальм. Прибой гонит лодку в самое устье реки, также обильно опушенной деревьями. Крик пробудившегося пловца,— крик, в котором так странно смешались и радость, и страх, и восторг, и отчаянье, подымает и его товарищей из их оцепенения.

Лодка быстро мчится в устье реки ровным, некачким течением. В первый раз людские крики оглашают эти воды, эти теплые рощи. Векши с любопытством, но без страха слушают эти незнакомые голоса, смотрят на этих небывалых гостей острова. Вот они уже окружены прохладным мраком леса, весла помогают им причалить к берегу. Они с жадностью утоляют жажду пресной водой,— силы у них прибавилось; они не забы-

вают вытащить на берег свою лодку и привязать ее к ближайшему дереву.

Этот пустынный остров — их владение. Эти люди населят его. Жалкая лодка их попала сюда так же случайно, как и орех кокоса, занесенный морем, орех, от которого коралловая почва острова оделась целыми рощами пальм.

Память о том, как они попали сюда чрез море, сохранится разве в названии ветра, который принес их на остров. Они станут называть его «родным ветром», как дикие американцы в Западной Канаде называют «родным» северо-западный ветер, не помня хорошенько самого своего переселения.

Вообще же они станут считать себя исконными жителями острова <...>

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Страшная гроза шла по горам. По северным отлогим скатам этих гор местами расстилались плодоносные долины, представлявшие роскошное пастбище. Черные тучи быстро клубились по небу, сшибались, сыпали зубчатые молнии, раскатывались по горам грохотом и громом. Вихрь трепал и качал леса. Он сламывал и вырывал с корнями старые деревья; нагибал молодые вершинами к самой земле, будто натягивал их, как тугой лук. Звери и птицы прятались от грозы; прятались и люди, кочевавшие на этих покатых склонах гор, в долинах, около самых лесов, по берегам быстрых горных рек. Буря, ломавшая деревья в лесу, не щадила и непрочных людских шатров. С криками теснились люди около них, стараясь общими силами не дать ветру сорвать те из этих шалашей, которые не были от него защищены или деревьями, или пригорком и неглубоко были вкопаны в землю. И с тех из шатров, которые могли лучше противостоять буре, она срывала крыши из древесной коры и листьев, распахивала войлока и циновки, составлявшие стены шалашей, и часто отрывала и уносила и их. Когда пройдет гроза, все можно будет собрать снова, лишь бы не унесло на

реку. У реки же ничего не отнимешь; она унесет все на своих быстрых волнах неизвестно куда.

Посреди своих стараний защитить свои непрочные жилища люди со страхом взглядывали порой на темное небо, по которому вились молнии; они вздрагивали при каждом ударе грома. Это и неудивительно. Они уже знали по опыту, что гроза может зажечь дерево, убить животное, убить человека. Их предание сохранило несколько случаев такой гибели и с течением времени успело придать им смысл наказания, посылаемого от каких-то могучих существ, с которыми человек не в силах бороться и которые правят его жизнью. Гроза с громом и молнией представляется им уже гневом могучего бога. В их страхе перед нею, который есть уже вера, зачатки всех тех представлений, которые развились потом у исторических народов в культе Зевса Громовержца, Тора, Перуна. На их языке нет еще иного имени этому гневному богу, как гром. Оно, вероятно, останется и навсегда синонимом бога.

Гроза ударила на этот раз в одно из деревьев на границе леса и долины. Оно задымилось и вспыхнуло. Огонь быстро побежал по его смолистым ветвям; быстро перебежал на ветви другого дерева. Дождь, полившийся из туч косыми струями, не успел залить пожара. Ветер слишком быстро нес тучи. Дождь прошел длинною полосой по горам.

Проглянуло солнце над освеженною зеленью лесов и лугов; ветер притих — но лес продолжал гореть. При первом клубе дыма, при первой струе пламени почти все обратили внимание с громкими восклицаниями на горящее дерево. В этих восклицаниях слышалось как будто удовольствие.

Несколько человек побежало к месту пожара тотчас же, как только миновала гроза. Ветер совсем притих, и огонь не распространился дальше, тем более что зажженные молнией деревья стояли отдельною группой. Они уже рухнули на землю и пылали на ней как костер. Подошедшие к нему люди обрывали ветки, сламывали сучья с отдаленных деревьев и носили их охапками к костру. Как только пламя становилось слабее, они накидывали на костер сучья и ветки, и огонь опять вспыхивал с треском.

Другие между тем собирали по долине и по горам клочки и обломки своих шатров, раскиданных бурей. Женщины и мужчины хлопотали около них, приводя их в прежний вид,— и скоро кочевье приняло то же положение, в котором было до начала грозы.

Стадо овец, жавшееся к лесу, когда небо было черно и вспыхивало молниями, теперь опять разбрелось по освеженной мураве и щипало ее с наслаждением. Люди не успели загнать стада в ограду из кольев, построенную в полугоре. Так внезапно разразилась гроза, а овцы так далеко разбрелись по пастбищу.

Когда совершилось приручение этих стад, никто не мог бы сказать. Точно так никто не мог бы сказать, когда все это кочевое население перешло через горный хребет и рассеялось по его северной стороне. Смутное предание рассказывает, что наплыв каких-то кровожадных и зверообразных людей заставил этих кочевников оставить южные склоны гор и переселиться на север. Эти места, занятые ими теперь, также обильно могут кормить их; но здесь уже суровее воздух. Там одежда была совершенно излишнею. Здесь приходится в иные времена года прикрываться звериною шкурой. Стада, покорные им, доставляют им и другой род одежды. Из шерсти их они умеют уже валять войлок. Эти войлока годятся и для шатров и для прикрытия своей наготы.

Они узнали уже употребление огня, хотя еще не умеют добывать его. Грозы здесь часты, и ни одна почти не проходит без того, чтобы не зажечь где-нибудь дерево. Сначала испуганные этою силой, перед которою ничто не может устоять, они видели в ней только зло. Но полупогасшее, едва тлеющее пожарище согрело их в холодную ночь, и они поняли, что вместе с злом в огне есть и добро. Это было не вполне новым открытием. Это было только применением к новому случаю понятий, образовавшихся в них еще прежде. Они уже знали, что гроза, несмотря на опустошения, которые производит, в то же время и освежает всю природу. В громе, в котором они видели сначала только какого-то злого и карающего духа, они стали видеть и благодетельное существо. Молитва их к нему, бывшая сначала только просьбой пощадить их, умилостивлением, стала теперь также и благодарностью за даруемые им блага и хвалою ему.

То же произошло и с огнем, этим сыном грома. Попаляя все на своем пути, он давал только отрадную теплоту, когда ему было мало пищи. Кусок мяса, положенный на уголья, становился вдвое вкуснее, нежели сырой, черепок глины из хрупкого превращался в жесткий. С горящим поленом в руке можно было идти безопасно в самую глухую пущу леса; всякий зверь бежал в страхе от этого факела. Так герой скандинавских преданий горящим деревом убил ничем не победимого дракона.

Но случай не показал еще этим людям, что огонь можно добывать трением двух кусков дерева друг о друга,— и пока надо беречь, как драгоценность, огонь, посланный с неба. У каждого почти шатра устраивается костер. Окраины его загораживаются камнями, чтобы ветер не разносил дров и пламени, чтобы угли могли одеться золой и спокойно тлеть под нею. Эти очаги становятся алтарями, и пламя хранится в них с таким же религиозным благоговением, как хранился огонь Весты. Только особенный случай может погасить его. Но люди уже научены опытом. Погасив по неосторожности огонь, разведенный так же, они должны были долго ждать новой грозы. И хранение огня поневоле стало религиозным обрядом. Если бы кто захотел его нарушить и мог погасить его вновь, все, как один человек, бросились бы на этого преступника и растерзали его. Это была бы и месть за преступление и жертва оскорбленному божеству.

Так, вероятно, начинались все эти религии, в которых играло главную роль поклонение огню. Пусть будет открыто, что огонь можно производить и проще, не дожидаясь, чтобы он снизошел с неба,— старая вера уже останется. Фантазия и мысль могут обобщить частную пользу — найти связь костра, горящего в кочевой палатке, с солнцем,— и они не ошибутся. Но вместо простого физического закона, который выводим мы, они создадут целую фантастическую теорию, из которой выйдет с течением веков какая-нибудь Зент-Авеста.

II

Долина вся наполнилась смятением. Бедные шалаши, теснившиеся около реки, все опустели. Жалкий и полуобнаженный народ собрался в кучу и с отчаянным криком, размахивая руками, перебивая и не слушая друг друга, обращал головы и глаза к горам, на которых было какое-то странное движение. Оттуда спускался большой и шумный караван. Он двигался отчасти отдельными небольшими отрядами, отчасти многолюдными и густыми массами. Кой-где над этими толпами пеших людей поднимались высоко навьюченные слоны. Их было немного, но они больше всего внушали страха и изумления береговому населению.

Это население жило в долинс, на берегу широкой и быстрой реки, пришло сюда с этих же гор, постоянно настигаемое и отодвигаемое с мест своего житья наплывом другого, более многочисленного и уже более развитого племени. Основываясь на новом месте, оно жило в постоянном опасении от нового натиска. Развитие его не успевало сделать ни одного прочного шага при этих переходах, повторявшихся каждое пятидесятилетие, а иногда и чаще. Они остались при тех же первых ничтожных успехах в удобстве жизни, при каких покинули свое первое поселение, все еще довольно привольное, чтобы променять его на более печальные и скудные места. В этих бесконечных и непрерывных скитаниях и переселениях им приходилось находить и такие клочки земли, где жизнь их могла бы идти спокойно, счастливо, по крайней мере сытно. Но ненадолго доводилось им оставаться тут. Опять, будто направляемые какою-то непреложною судьбой, двигались на них пришельцы — и они поднимались заранее с своих мест и двигались дальше, не ожидая и столкновения с более многочисленным племенем. Они попадали обыкновенно на место еще худшее,— только бы утаиться от преследования. Численность их уменьшалась с каждым таким невольным переходом.

Частая опасность смыкала их довольно прочно между собою. И теперь, когда грозило им нападение (зачем же и идут эти люди, как не нападать?), и теперь они после нескольких минут бессвязного крика могли вы-

брать и выдвинуть из своей среды трех или четырех человек, от которых надеялись услышать дельное слово, рассудительное распоряжение, полезный совет. Это были герои и мудрецы племени. На этой ступени культуры героизм есть мудрость, мудрость — героизм. Толпа окружила их и примолкла, ожидая, что решат они.

Они стали говорить, что на этот раз не остается ничего делать, как взяться за оружие и ожидать неприятеля. Отступать некуда. Все знали это и без них. Река разлилась широко после весенних дождей. Они так недавно еще жили близ воды — и не знали никакого искусства справляться с нею. У них не было еще лодок; берега реки были болотисты и топки, а просто плавать едва ли кто умел. Да с этим уменьем попасть было некуда. За краем разлива, который едва можно было видеть, лежали топи, в которых надо было погибнуть. По сю сторону — тоже. Место, в котором группировалось их поселение, было загорожено с обеих сторон непроходимыми топкими дебрями. Оставался один исход. Можно было идти почти прямо навстречу каравану, а потом повернуть вдоль этих дебрей. Но прежде чем они могли бы уклониться на эту боковую дорогу, неприятель настиг бы их. Потому лучше оставаться на месте, вооружиться и ждать. Как знать! может быть, пришельцы и не заметят их поселения — и пойдут сами куда-нибудь в сторону. Тогда они останутся в покое. Последнее соображение было скорее утешением, нежели возможностью. Как не увидать этим кочевникам добычи? Глаза их так зорки! а это поселенье — разве это не привлекательная добыча? И охота и война, вначале бывшие только крайностью, необходимостью, успели уже превратиться в кровавую потеху. Но пусть надежда, что враги не увидят неприятеля, видящего их так ясно на горах,— пустая надежда; все остальное в советах выборных людей было совершенно справедливо. Это знал, конечно, каждый из слушавших. А между тем ропот неудовольствия, а местами и крик ожесточения отвечали из толпы на благоразумные советы. Всякий как будто ждал от этих героев и мудрецов такой мысли, какая не являлась и не могла явиться темным головам остальных. Раздались крики обвинения; многие готовы были схватиться за свои дубины, за свои каменные молоты и топоры. В виду все ближе подступа-

ющего неприятеля все народонаселение едва не разделилось на два враждебные лагеря,— едва не завязалась ожесточенная междуусобная война в ожидании войны внешней, которая застигла бы их тогда еще более врасплох. Не кинься из толпы еще человек десять в защиту выборных от народного негодования и гнева, может быть, эти лучшие, сильнейшие и рассудительнейшие из них пали бы первые.

Наконец спокойствие опять восстановилось. Караван был уже так близко, что с горы слышались голоса и оклики чужеземцев. Блеянье стад, подвигавшихся по ее склонам, как пыльные облака, тоже порою доносилось. Времени терять было нечего. Все вооружилось чем попало. Главным оружием были дубины; только у немногих нашлись неуклюжие подобия копий с наконечниками из камня или кости; не больше было и каменных секир, крепко державшихся на деревянных топорищах. Все суетились, стараясь иметь что-нибудь в руках для своей защиты. Лица и движения женщин выражали такую же решимость, такую же силу и воинственность, как и лица мужчин. Руки их также вооружились. Кому не достало оружия, тот выламывал шест из шатра. Крики не умолкали; но всего слышнее был в нем визг и рев детей. Их постоянно отгоняли назад, чтобы они не мешали. Но они продолжали лезть к отцам и матерям, цепляться за их голые ноги и только затрудняли их движения. Обращать на них внимание было некогда — и их просто отталкивали грубым толчком и ударом ноги. Рев усиливался. Но до него ли? И большие стали кричать теперь так, что детских голосов не стало слышно.

Это был ответ на воинственный клич, донесшийся с гор. От передовых отрядов каравана отделилась толпа, которая направлялась, по-видимому, прямо к берегам. Пыль то и дело окутывала эту толпу. И всякий раз, как пыль отшатывалась в сторону, толпа казалась больше и многочисленнее прежнего, как будто она успевала вырасти в то время, как ее одевало пыльное облако.

Наконец на последнем склоне горы, где трава была слишком высока и влажна, пыль совершенно рассеялась, и можно было во всех подробностях рассмотреть приближающихся неприятелей. Это точно были неприятели. Они шли не из любопытства, не на поиск

чего-нибудь, не в гости к приречным жителям. Все это были воины, и счетом их было, вероятно, не меньше, чем и ожидавших нападение их, за исключением разве женщин. Между нападающими женщины не было ни одной.

Приближающаяся толпа была разделена на три отряда. Во главе каждого из них были вожди, отличавшиеся от других и ростом, и убором, и вооружением. У них были наброшены на одно плечо клочки звериных шкур, будто взамену щитов, которых ни у кого не было. Лица и грудь вождей были исчерчены рубцами и узорами, и местами узоры эти ярко виднелись темными красками на оливковой их коже. В завязанных на макушке волосах торчали, развеваясь, длинные орлиные перья. В руке были длинные копья, которые отличались от копий остальной дружины не только длиною, но и такими же украшениями из перьев в том месте, где насажено на древко деревянное острие.

Войско, следовавшее за этими предводителями, было как будто несколько темнокожее их. Все оно было также вооружено копьями; но ни у кого не развевалось перьев на голове, ни у кого не было узоров на лице и на остальном теле. Все были они обнажены, и только низ живота и бедры были прикрыты у них, так же, как и у вождей, повязками из звериных кож или же из какой-то грубой ткани. Кроме копья, у каждого были намотаны на руку ремни и веревки.

Жители речного берега становились в плотную кучу, ожидая приступа. Они с большим усилием вогнали в средину своей толпы детей, и толпа образовала вокруг них что-то вроде тесного и плотного каре.

И в неправильных рядах подступающего неприятеля, и в толпе осаждаемых шел смутный говор; но ни с той, ни с другой стороны не слышно было ни криков команды, ни распоряжений. Только визг детей делал шумным стан на берегу. Толпа следила, не сводя глаз, за движением неприятелей. Вот им остается только спуститься с этого крутого обрыва горы, и по этой ровной покатости, идущей к самому берегу, они кинутся в атаку.

Вот они и спустились с обрыва; вот приостановились на минуту, будто с тем, чтобы установить между собою боевой порядок. Три отряда, каждый с вождем

во главе, расположились рядом. Почти в одно время вожди подняли вверх свои копья, и по всем трем отрядам загремел оглушительный военный крик. В этом крике, от которого далеко убегал в страхе каждый лесной зверь, в этом крике смешивались, кажется, все дикие звуки, какие только способна издать человеческая грудь и человеческая гортань. Одного такого крика было довольно, чтобы отуманить голову, чтобы опьянить каждого его участника жаждою крови. Копья приняли горизонтальное направление во всех руках. Строй ощетинился, как спина дикобраза; и вслед за вождями, гордо размахивавшими своими изукрашенными копьями над головой, все быстрым бегом двинулись на неприятеля. Крик и вопль их беспрестанно возобновлялся.

Каре угрожаемых нападением всколебалось. На военный крик с горы отвечал такой же крик и отсюда, но гораздо слабее и нестройнее. Враги могли слышать по этому крику, что этот кричащий народ непривычен к войне, что это не столько крик вызова или согласия на вызов, сколько крик опасения, страха. Но глаза и у этих людей горели кровью. Они готовились защищать свою жизнь, свое право дышать, свое право ступать ногою по земле. Предводители их тоже выступили вперед и, будто подражая вождям неприятельского войска, начали размахивать над своими головами своими дубинами и дротиками.

Неприятели уже не дальше как во ста шагах. Топот их ног отдался страхом во всех ушах. Опять страшный, дикий, оглушительный крик. По бокам вождей явились по нескольку воинов из строя.

Каре не устояло. Оно заколебалось, и вся толпа, сваливая в беге детей и запинаясь за них, с отчаянным и яростным воплем кинулась навстречу подступающему неприятелю. Напрасно люди, к которым прибегали за советом до нападения, кричали стоять на месте. Их самих увлек вперед народный поток. Несколько топоров со свистом ворвалось в их плотную массу. Трое или четверо упали.

Но глаза неприятелей смотрели уже прямо в глаза им, щетина копий врезалась в толпу -- и все смешалось в пыли, в воплях и криках, в глухом стуке оружий. Как один клуб, сцепились все. Чаще всего мелькали высоко над этою сцепившеюся массой орлиные перья на голо-

вах вождей. Они с быстротою молнии являлись то тут, то там. Скрежет, вопли, треск сломанных оружий обозначали их дорогу. Неприятели оцепили со всех сторон осажденных,— копья и топоры их работали без устали. Могли ль против них устоять эти дубины, эти жалкие дротики, ломкие, как тростник. Битва шла и между теми, кто стоял на ногах, и между теми, кто влачился уже на земле, в лужах крови. Женщины, у которых было выбито из рук оружие, обвивались руками, как змеи, вкруг членов врага, вцеплялись зубами в их тело, пока не падали под ударом топора с раздробленною головой. Иные просили пощады, валяясь в грязи и крови, и в ответ падал на их голову удар копья или секиры. Только в самом начале битвы пало несколько человек из среды нападающих; но их было вдвое больше, и оружие их было вдвое лучше. Им было нетрудно задушить слабейшего неприятеля. Они сразу отрезали ему всякое отступление. Да и зачем побежал бы он? Чтоб быть тотчас же настигнутым и свалиться окровавленным и бездыханным трупом точно так же, как свалился теперь, не пытаясь бежать из ожесточенной свалки. В несколько минут судьба сражения была решена. Это было уже не сражение, а бойня. Неприятели с яростными криками дробили головы безоружным и прикалывали копьями тех, у кого доставало силы приподняться с земли. Когда всякому был уже виден перевес сил, женщин перестали бить, кроме лишь некоторых, мстительная ярость которых доходила до исступления и которые сами рвались грудью на острие копья.

Вожди выпрямились после свалки, высоко подняли свои копья и крикнули своим дружинам прекратить битву. В ответ им раздался такой же дикий крик, каким началась битва; но в этом крике было уже не столько воинственной ярости, сколько довольства успешно конченным делом, торжества победы.

— Вяжи женщин!

И все смотали веревки и ремни со своих рук и при женском визге принялись вязать всех женщин, которые остались в живых, сваливая их в кровавые лужи и нажимая в грудь коленом.

— Добивай раненых!

Связанных женщин оттащили прочь; кучей согнали к ним детей; и когда толпа победителей отшатнулась

немного от места побоища, оно представляло одну кровавую настилку разбитых тел, проломленных голов, и смешанная с землей кровь чернела везде запекшимися лужами. Раненые стонали, хрипели, выли; некоторые, изгибаясь от боли, грызли себе руки. Они недолго ждали себе конца. При малейшем движении посреди этих куч победители кидались к тому, у кого еще была сила пошевелиться, и добивали его. Кому мало было одного удара, на того падало их несколько, до тех пор пока он не переставал хрипеть. Ни одного мужчины не осталось в живых.

Своих убитых и раненых победители оттащили прочь и положили отдельно.

Каждый из вождей вытащил из груды мертвых тел по мужскому трупу. С криками торжественного привета остальные воины отступили прочь и стали в порядке, окружив пленных женщин и детей. Вожди отерли кровавый пот со своих пестрых лиц и положили три вытащенных ими трупа на пригорке перед дружиной. Дружина стояла в молчании, будто благоговейно ожидала совершения какого-то религиозного таинства.

Каждый из вождей вынул по ножу из-за своего пояса, и почти все трое разом распороли грудь мертвым. Каждый вырвал из теплой еще груди врага его сердце и поднял в руке, показывая войску. Сердце в руке одного из вождей вздрагивало,— и громкий клик войска сменил безмолвное ожидание.

В присутствии своих воинов вожди съели кровавые сердца врагов.

Оставаться дольше на месте битвы нечего. Эти враги были так бедны, что после них нечем поживиться. Можно разве собрать осколки их скудного оружия. А больше у них нет ничего. Шалаши их построены из древесной коры, из листьев; в шалашах этих нет никаких запасов. Они жили изо дня в день тем, что пошлет случай или счастье.

Вся добыча заключается в этих женщинах, в этих детях. И победители знают уже, что эта добыча для них ценнее всего остального. Уже не в первый раз они приводят пленных из битвы с соседним племенем. Еще не случалось им одерживать победы такой полной, еще никогда не забирали они в свои руки стольких женщин и детей; но это все-таки не первый опыт.

В первой стычке они взяли в плен нескольких мужчин; но они не оставили их в живых. Это были враги в их среде: можно ли было терпеть их? И их убили. Так повторялось и при каждой новой войне. Женщин и детей они щадили, как более слабых, и делили их между собой,— и в их кочевом обществе создалось первое прочное основание рабства.

Рабство было и до тех пор, но рабами были только женщины — жены, дочери,— жены рабами вечными, дочери рабами до замужества, то есть до нового и более сурового рабства. Рабами отцов были и сыновья; но только до совершеннолетия. Детям пленным не было положено такого предела. Из них образовалось сословие рабов, не связанное никакими родственными узами с своими господами.

[1869]

Алексей АПУХТИН

Между жизнью и смертью

Фантастический рассказ

C'est un samedi, á six heures
Du matin gue je suis mort.
Emile Zola[1].

I

Был восьмой час вечера, когда доктор приложил ухо к моему сердцу, поднес мне к губам маленькое зеркало и, обратясь к моей жене, сказал торжественно и тихо:

— Все кончено.

По этим словам я догадался, что я умер.

Собственно говоря, я умер гораздо раньше. Более тысячи часов я лежал без движения и не мог произнести ни слова, но изредка продолжал еще дышать. В продолжение всей моей болезни мне казалось, что я прикован бесчисленными цепями к какой-то глухой стене, которая меня мучила. Мало-помалу стена меня отпускала, страдания уменьшались, цепи ослабевали и распадались. В течение двух последних дней меня держала какая-то узенькая тесемка; теперь она оборвалась, и я почувствовал такую легкость, какой никогда не испытывал в жизни.

Вокруг меня началась невообразимая суматоха. Мой большой кабинет, в который меня перенесли с начала болезни, наполнился людьми, которые все сразу зашептали, заговорили, зарыдали. Старая ключница Юдишна даже заголосила каким-то не своим голосом. Жена моя с громким воплем упала мне на грудь: она столько плакала во время моей болезни, что я удивлялся, откуда у нее еще берутся слезы. Из всех голосов выделялся старческий дребезжащий голос моего камердинера Савелия. Еще в детстве моем был он приставлен ко мне дядькой и не покидал меня всю жизнь, но теперь был

[1] Скончался я в субботу, в 6 часов утра. *Эмиль Золя.*

уже так стар, что жил почти без занятий. Утром он подавал мне халат и туфли, а затем целый день попивал «для здоровья» березовку и ссорился с остальной прислугой. Смерть моя не столько его огорчила, сколько ожесточила, а вместе с тем придала ему небывалую важность. Я слышал, как он кому-то приказывал съездить за моим братом, кого-то упрекал и чем-то распоряжался.

Глаза мои были закрыты, но я все видел и слышал, что происходило вокруг меня.

Вошел мой брат — сосредоточенный и надменный, как всегда. Жена моя терпеть его не могла, однако бросилась к нему на шею, и рыдания ее удвоились.

— Полно, Зоя, перестань, ведь слезами ты не поможешь,— говорил брат бесстрастным и словно заученным тоном,— побереги себя для детей, поверь, что ему лучше там.

Он с трудом высвободил себя от ее объятий и усадил ее на диван.

— Надо сейчас же сделать кое-какие распоряжения... Ты мне позволишь помочь тебе, Зоя?

— Ах, André, ради бога, распоряжайтесь всем... Разве я могу о чем-нибудь думать?

Она опять заплакала, а брат уселся за письменный стол и подозвал к себе молодого расторопного буфетчика Семена.

— Это объявление ты отправишь в «Новое Время», а затем пошлешь за гробовщиком; да надо спросить у него, не знает ли он хорошего псаломщика?

— Ваше сиятельство,— отвечал, нагибаясь, Семен,— за гробовщиком посылать нечего, их тут четверо с утра толкутся у подъезда. Уж мы их гнали, гнали,— нейдут да и только. Прикажете их сюда позвать?

— Нет, я выйду на лестницу.

И брат громко прочел написанное им объявление:

«Княгиня Зоя Борисовна Трубчевская с душевным прискорбием извещает о кончине своего мужа, князя Дмитрия Александровича Трубчевского, последовавшей 20-го февраля, в 8 часов вечера, после тяжкой и продолжительной болезни. Панихиды в 2 часа дня и в 9 часов вечера».

— Больше ничего не надо, Зоя?

— Да, конечно, ничего. Только зачем вы написали это ужасное слово: «прискорбие»? Je ne puis pas souffrir ce mot. Mettez[1]: с глубокой скорбью.

Брат поправил.

— Я посылаю в «Новое Время». Этого довольно.

— Да, конечно, довольно. Можно еще в «Journal de S.-Pètersbourg»[2].

— Хорошо, я напишу по-французски.

— Все равно, там переведут.

Брат вышел. Жена подошла ко мне, опустилась на кресло, стоявшее возле кровати, и долго смотрела на меня каким-то молящим, вопрошающим взглядом. В этом молчаливом взгляде я прочел гораздо больше любви и горя, чем в рыданиях и воплях. Она вспоминала нашу общую жизнь, в которой немало было всяких треволнений и бурь. Теперь она во всем винила себя и думала о том, как ей следовало поступать тогда. Она так задумалась, что не заметила моего брата, который вернулся с гробовщиком и уже несколько минут стоял возле нее, не желая нарушать ее раздумья. Увидев гробовщика, она дико вскрикнула и лишилась чувств. Ее унесли в спальню.

— Будьте спокойны, ваше сиятельство,— говорил гробовщик, снимая с меня мерку так же бесцеремонно, как некогда делали это портные,— у нас все припасено: и покров, и паникадилы. Через час их можно переносить в залу. И насчет гроба не извольте сомневаться: такой будет покойный гроб, что хоть живому в него ложиться.

Кабинет опять начал наполняться. Гувернантка привела детей. Соня бросалась на меня и рыдала совершенно как мать, но маленький Коля уперся, ни за что не хотел подойти ко мне и ревел от страха. Приплелась Настасья — любимая горничная жены, вышедшая замуж в прошлом году за буфетчика Семена и находившаяся в последнем периоде беременности. Она размашисто крестилась, все хотела стать на колени, но живот ей мешал, и она лениво всхлипывала.

— Слушай, Настя,— сказал ей тихо Семен,— не на-

[1] Я не переношу этого слова. Поставьте: *(фр.)*

[2] «Санкт-Петербургские ведомости» *(фр.)*.

гибайся, как бы чего не случилось. Шла бы лучше к себе; помолилась — и довольно.

— Да как же мне за него не молиться? — отвечала Настасья слегка нараспев и нарочно громко, чтоб все ее слышали.— Это не человек был, а ангел божий. Еще нынче перед самой смертью обо мне вспомнил и приказал, чтобы Софья Францевна неотлучно при мне находилась.

Настасья говорила правду. Произошло это так. Всю последнюю ночь жена провела у моей постели и, почти не переставая, плакала. Это меня истомило вконец. Рано утром, чтобы дать другое направление ее мыслям, а главное, чтобы попробовать, могу ли я явственно говорить, я сделал первый пришедший мне в голову вопрос: родила ли Настасья? Жена страшно обрадовалась тому, что я могу говорить, и спросила, не послать ли за знакомой акушеркой Софьей Францевной. Я отвечал: «Да, пошли». После этого я, кажется, действительно уже ничего не говорил, и Настасья наивно думала, что мои последние мысли были о ней.

Ключница Юдишна перестала, наконец, голосить и начала что-то рассматривать на моем письменном столе. Савелий набросился на нее с ожесточением.

— Нет, уж вы, Прасковья Юдишна, княжеский стол оставьте,— сказал он раздраженным шепотом,— здесь вам не место.

— Да что с вами, Савелий Петрович! — прошипела обиженная Юдишна.— Я ведь не красть собираюсь.

— Что вы там собираетесь делать, про то я не знаю, но только пока печати не приложены,— я к столу никого не допущу. Я недаром сорок лет князю-покойнику служил.

— Да что вы мне вашими сорока годами в глаза тычете? Я сама больше сорока лет в этом доме живу, а теперь выходит, что я и помолиться за княжескую душу не могу...

— Молиться можете, а до стола не прикасайтесь...

Люди эти, из уважения ко мне, ругались шепотом, а между тем я явственно слышал каждое их слово. Это меня страшно удивило. «Неужели я в летаргии?» — подумал я с ужасом. Года два тому назад я прочитал какую-то французскую повесть, в которой подробно описывались впечатления заживо погребенного

человека. И я усиливался восстановить в памяти этот рассказ, но никак не мог вспомнить главного, т. е. что именно он сделал, чтобы выйти из гроба.

В столовой начали бить стенные часы; я сосчитал одиннадцать. Васютка, девочка, жившая в доме «на побегушках», вбежала с известием, что пришел священник и что в зале все готово. Принесли большой таз с водой, меня раздели и начали тереть мокрой губкой, но я не почувствовал ее прикосновения; мне казалось, что моют чью-то чужую грудь, чьи-то чужие ноги.

«Ну, значит, это не летаргия,— соображал я, пока меня облекали в чистое белье,— но что же это такое?»

Доктор сказал: «все кончено», обо мне плачут, сейчас меня положат в гроб и дня через два похоронят. Тело, повиновавшееся мне столько лет, теперь не мое, я несомненно умер, а между тем я продолжаю видеть, слышать и понимать. Может быть, в мозгу жизнь продолжается дольше, но ведь мозг тоже тело. Это тело было похоже на квартиру, в которой я долго жил и с которой решился съехать. Все окна и двери открыты настежь, все вещи вывезены, все домашние вышли, и только хозяин застоялся перед выходом и бросает прощальный взгляд на ряд комнат, в которых прежде кипела жизнь и которые теперь давят его своей пустотой.

И тут в первый раз, в окружавших меня потемках блеснул какой-то маленький, слабый огонек,— не то ощущение, не то воспоминание. Мне показалось, что то, что происходит со мной теперь, что это состояние мне знакомо, что я его уже переживал когда-то, но только давно, очень давно...

II

Наступила ночь. Я лежал в большой зале на столе, обитом черным сукном. Мебель была вынесена, шторы спущены, картины завешены черной тафтой. Покров из золотой парчи закрывал мои ноги, в высоких серебряных паникадилах ярко горели восковые свечи. Направо от меня, прислонясь к стене, недвижно стоял Савелий с желтыми, резко выдававшимися скулами, с голым черепом, с беззубым ртом и с пучками морщин вокруг полузакрытых глаз; он бо-

лее, чем я, напоминал скелет мертвеца. Налево от меня стоял перед налоем высокий бледный человек в длиннополом сюртуке и монотонным, грудным голосом, гулко раздававшимся в пустой зале, читал:

«Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси».

«Отстави от мене раны Твоя, от крепости бо руки Твоея аз исчезох».

Ровно два месяца тому назад в этой зале гремела музыка, кружились веселые пары, и разные люди, молодые и старые, то радостно приветствовали, то злословили друг друга. Я всегда ненавидел балы и, сверх того, с середины ноября чувствовал себя нехорошо, а потому всеми силами протестовал против этого бала, но жена непременно хотела дать его, потому что имела основание надеяться, что нас посетят весьма высокопоставленные лица. Мы чуть не поссорились, но она настояла. Бал вышел блестящий и невыносимый для меня. В этот вечер я впервые почувствовал утомление жизнью и ясно сознал, что жить мне осталось недолго.

Вся моя жизнь была целым рядом балов, и в этом заключается трагизм моего существования. Я любил деревню, чтение, охоту, любил тихую семейную жизнь, а между тем весь свой век провел в свете, сначала в угоду своим родителям, потом в угоду жене. Я всегда думал, что человек родится с весьма определенными вкусами и со всеми задатками своего будущего характера. Задача его заключается именно в том, чтобы осуществить этот характер; все зло происходит оттого, что обстоятельства ставят иногда преграды для такого существования. И я начал припоминать все мои дурные поступки, все те поступки, которые некогда тревожили мою совесть. Оказалось, что все они произошли от несогласия моего характера с той жизнью, которую я вел.

Воспоминания мои были прерваны легким шумом справа. Савелий, который давно начинал дремать, вдруг зашатался и едва не грохнулся на пол. Он перекрестился, вышел в переднюю и, принеся оттуда стул, откровенно заснул в дальнем углу залы. Псаломщик читал все ленивее и тише, потом умолк совсем и последовал примеру Савелия. Настала мертвая тишина.

Среди этой глубокой тишины вся моя жизнь развернулась предо мной, как одно неизбежное целое,

страшное по своей строгой логичности. Я видел уже не отрывочные факты, а одну прямую линию, которая начиналась со дня моего рождения и кончалась нынешним вечером. Дальше она идти не могла, мне это было ясно как день. Впрочем, я уже сказал, что близость смерти я сознал два месяца тому назад.

Да и все люди сознают это непременно. Предчувствие — одно из тех таинственных мировых явлений, которые доступны человеку и которыми человек не умеет пользоваться. Великий поэт удивительно метко изобразил это явление, сказав, что «грядущие события бросают перед собой тень». Если же люди иногда жалуются, что предчувствие их обмануло, это происходит оттого, что они не умеют разобраться в своих ощущениях. Они всегда чего-нибудь сильно желают или чего-нибудь сильно боятся и принимают за предчувствие свой страх или свои надежды.

Я, конечно, не мог определить точно день и час своей смерти, но знал их приблизительно. Я всю жизнь пользовался очень хорошим здоровьем и вдруг с начала ноября без всякой причины начал недомогать. Никакой болезни еще не было, но я чувствовал, что меня «клонит к смерти», так же ясно, как чувствовал, бывало, что меня клонит ко сну. Обыкновенно с начала зимы мы с женой составляли план того, как мы будем проводить лето. На этот раз я ничего не мог придумать, картины лета не складывались: казалось, что вообще никакого лета не будет. Болезнь между тем не приходила: ей, как церемонной гостье, нужен был какой-нибудь предлог. И вот со всех сторон стали подкрадываться предлоги. В конце декабря я должен был ехать на медвежью охоту. Время стояло очень холодное, и жена моя, которая без всякой причины начала беспокоиться о моем здоровье (вероятно, и ее посетило предчувствие), умоляла меня не ездить. Я был страстный охотник и потому решил все-таки ехать, но почти в минуту отъезда получил депешу, что медведи ушли и что охота отменяется. На этот раз церемонная гостья не вошла в мой дом. Через неделю одна дама, за которой я слегка ухаживал, устроила пикник-monstre[1] с тройками, цыганами и катаньем с гор. Простуда была неизбежна,

[1] Невообразимый, потрясающий *(фр.)*.

но жена моя вдруг заболела очень серьезно и упросила меня провести вечер дома. Может быть, она даже притворилась больной, потому что на следующий день уже была в театре. Как бы то ни было, но церемонная гостья опять прошла мимо. Через два дня после этого умер мой дядя Василий Иванович. Это был старейший из князей Трубчевских; мой брат, очень гордящийся своим происхождением, иногда говорил о нем: «ведь это наш граф Шамбор». Независимо от этого я очень любил дядю: не поехать на похороны было немыслимо. Я шел за гробом пешком, была страшная вьюга, я продрог до костей. Церемонная гостья не стала медлить и так обрадовалась предлогу, что ворвалась ко мне в тот же вечер. На третий день доктора нашли у меня воспаление в легких со всевозможными осложнениями и объявили, что больше двух дней я не проживу. Но до 28-го февраля было еще далеко, а раньше я умереть не мог. И вот началась та утомительная агония, которая сбила с толку стольких ученых мужей. Я то поправлялся, то заболевал с новой силой, то мучился, то переставал вовсе страдать, пока, наконец, не умер сегодня по всем правилам науки в тот самый день и час, которые мне были назначены для смерти с минуты рождения. Как добросовестный актер, я доиграл свою роль, не прибавив, не убавив ни одного слова из того, что мне было предписано автором пьесы. Это более чем избитое сравнение жизни с ролью актера приобретало для меня глубокий смысл. Ведь если я исполнил, как добросовестный актер, свою роль, то, вероятно, я играл и другие роли, участвовал и в других пьесах. Ведь если я не умер после своей видимой смерти, то, вероятно, я никогда не умирал и жил столько же времени, сколько существует мир. То, что вчера являлось мне, как смутное ощущение, превращалось теперь в уверенность. Но какие же это были роли, какие пьесы?

Я начал искать в моей протекшей жизни какого-нибудь ключа к этой загадке. Я стал припоминать поражавшие меня в свое время сны, полные неведомых мне стран и лиц, вспоминал разные встречи, производившие на меня непонятное, почти мистическое впечатление. И вдруг я вспомнил про замок Ларош-Моден.

III

Это был один из самых интересных и загадочных эпизодов моей жизни. Несколько лет тому назад мы, ради здоровья моей жены, провели почти полгода на юге Франции. Там мы, между прочим, познакомились с очень симпатичным семейством графа Ларош-Модена, который однажды пригласил нас в свой замок.

Помню, что в тот день и жена, и я были как-то особенно веселы. Мы ехали в открытой коляске; был один из тех теплых октябрьских дней, которые особенно очаровательны в том краю. Опустелые поля, разоренные виноградники, разноцветные листья дерев — все это под ласковыми лучами еще горячего солнца приобретало какой-то праздничный вид. Свежий бодрящий воздух располагал невольно к веселью, и мы болтали без умолку всю дорогу. Но вот мы въехали во владения графа Модена, и веселость моя мгновенно исчезла. Мне вдруг показалось, что это место мне знакомо, даже близко, что я когда-то жил здесь... Это ощущение, какое-то странное, ощущение неприятное и щемящее душу, росло с каждой минутой. Наконец, когда мы въехали в широкую avenue[1], которая вела к воротам замка, я сказал об этом жене.

— Какой вздор! — воскликнула жена. — Еще вчера ты говорил, что даже в детстве, когда ты с покойной матушкой жил в Париже, вы никогда сюда не заезжали.

Я не возражал, мне было не до возражений. Воображение, словно курьер, скакавший впереди, докладывало мне обо всем, что я увижу. Вот широкий двор (La cour d'honneur[2]), посыпанный красным гербом графов Ларош-Моденов; вот зала в два света, вот большая гостиная, увешанная семейными портретами. Даже особенный, специфический запах этой гостиной — какой-то смешанный запах мускуса, плесени и розового дерева — поразил меня, как что-то слишком знакомое.

Я впал в глубокую задумчивость, которая еще более усилилась, когда граф Ларош-Моден предложил мне

[1] Аллею *(фр.)*.
[2] Для воздания почестей *(фр.)*.

сделать прогулку по парку. Здесь со всех сторон нахлынули на меня такие живучие, хотя и смутные воспоминания, что я едва слушал хозяина дома, который расточал весь запас своей любезности, чтобы заставить меня разговориться. Наконец, когда я на какой-то его вопрос ответил уже слишком невпопад, он посмотрел на меня сбоку с выражением удивленного сострадания.

— Не удивляйтесь моей рассеянности, граф,— сказал я, поймав этот взгляд,— я переживаю очень странное ощущение. Я, без сомнения, в первый раз в вашем замке, а между тем мне кажется, что я здесь прожил целые года.

— Тут нет ничего удивительного: все наши старые замки похожи один на другой.

— Да, но я именно жил в этом замке... Вы верите в переселение душ?

— Как вам сказать... Жена моя верит, а я не очень... А, впрочем, все возможно.

— Вот вы сами говорите, что это возможно, а я каждую минуту убеждаюсь в этом более и более.

Граф ответил мне какой-то шутливо-любезной фразой, выражая сожаление, что он не жил здесь сто лет тому назад, потому что и тогда он принимал бы меня в этом замке с таким же удовольствием, с каким принимает теперь.

— Может быть, вы перестанете смеяться,— сказал я, делая неимоверные усилия памяти,— если я скажу вам, что сейчас мы пойдем к широкой каштановой аллее.

— Вы совершенно правы, вот она, налево.

— А пройдя эту аллею, мы увидим озеро.

— Вы слишком любезны, называя эту массу воды (cette pièce d'eau) озером. Мы просто увидим пруд.

— Хорошо, я сделаю вам уступку, но это будет очень большой пруд.

— В таком случае, позвольте и мне быть уступчивым. Это маленькое озеро.

Я не шел, а бежал по каштановой аллее. Когда она кончилась, я увидел во всех подробностях картину, которая уже несколько минут рисовалась в моем воображении. Какие-то красивые цветы причудливой формы окаймляли довольно широкий пруд, у плота была привязана лодка, на противоположном берегу пруда вид-

нелись группы старых плакучих ив... Боже мой! Да, конечно, я здесь жил когда-то, катался в такой же лодке, я сидел под теми плакучими ивами, я рвал эти красные цветы... Мы молча шли по берегу.

— Но позвольте,— сказал я, с недоумением смотря направо,— тут должен быть еще второй пруд, потом третий.

— Нет, дорогой князь, на этот раз память или воображение вам изменяют. Другого пруда нет.

— Но он был наверное. Посмотрите на эти красные цветы! Они так же окаймляют эту лужайку, как и первый пруд. Второй пруд был, и его засыпали, это очевидно.

— При всем желании моем согласиться с вами, дорогой князь, я не могу этого сделать. Мне скоро пятьдесят лет, я родился в этом замке и уверяю вас, что здесь никогда не было второго пруда.

— Но, может быть, у вас живет кто-нибудь из старожилов?

— Управляющий мой, Жозеф, гораздо старше меня... мы спросим его, вернувшись домой.

В словах графа Модена, сквозь его изысканную вежливость, уже ясно проглядывало опасение, что он имеет дело с каким-то маньяком, которому не следует перечить.

Когда мы перед обедом вошли в его уборную, чтобы привести себя в порядок, я напомнил о Жозефе. Граф сейчас же велел позвать его.

Вошел бодрый семидесятилетний старик и на все мои расспросы отвечал положительно, что в парке никогда второго пруда не было.

— Впрочем, у меня сохраняются все старые планы, и если граф позволит их принести...

— О да, принесите их — и поскорее. Надо, чтобы этот вопрос был исчерпан теперь, а то наш дорогой гость ничего не будет есть за обедом.

Жозеф принес планы, граф начал их лениво рассматривать и вдруг вскрикнул от удивления. На одном ветхом плане неизвестных годов были ясно обозначены три пруда, и даже вся часть этого парка носила название: les étangs[1].

[1] Пруды *(фр.)*.

— Je baisse pavillon devant le vaingueur[1],— произнес граф с напускной веселостью и слегка бледнея.

Но я далеко не смотрел победителем. Я был как-то подавлен этим открытием,— словно случилось несчастье, которого я давно боялся.

Сходя в столовую, граф Моден просил меня ничего не говорить по этому поводу его жене, говоря, что она женщина очень нервная и наклонная к мистицизму.

К обеду съехалось много гостей, но хозяин дома и я — мы оба были так молчаливы за обедом, что получили от наших жен коллективный выговор за нелюбезность.

После этого жена моя часто бывала в замке Ларош-Моден, но я никогда не мог решиться туда поехать. Я очень близко сошелся с графом, он часто посещал меня, но не настаивал на своих приглашениях, потому что понимал меня хорошо.

Время понемногу изгладило впечатление, произведенное на меня этим странным эпизодом моей жизни; я даже старался не думать о нем, как о чем-то очень тяжелом. Теперь, лежа в гробу, я старался припомнить его со всеми подробностями и беспристрастно обсудить. Так как теперь я знал наверное, что жил на свете раньше, чем назывался князем Дмитрием Трубчевским, то для меня не было сомнения и в том, что я когда-нибудь был в замке Ларош-Моден. Но в качестве кого? Жил ли я там постоянно или попал туда случайно, был ли я хозяином, гостем, конюхом или крестьянином? На эти вопросы я не мог дать ответа, одно казалось мне несомненным; я был там очень несчастлив; иначе я не мог бы объяснить себе того щемящего чувства тоски, которое охватило меня при въезде в замок, которое томит меня и теперь, когда я вспоминаю о нем.

Иногда эти воспоминания делались несколько определеннее, что-то вроде общей нити начинало связывать отрывочные образы и звуки, но дружное храпение Савелия и псаломщика развлекало меня, нить обрывалась, и мысль не могла сосредоточиться снова.

Савелий и псаломщик спали долго. Ярко горевшие в паникадилах восковые свечи уже потускнели, и первые лучи ясного морозного дня давно смотрели на меня сквозь опущенные шторы больших окон.

---

[1] Я опускаю знамя перед победителем *(фр.)*.

IV

Савелий вскочил со стула, перекрестился, протер глаза и, увидя спавшего псаломщика, разбудил его, причем не упустил случая осыпать его самыми горькими упреками. Потом он ушел, вымылся, приоделся, вероятно, выпил здоровую порцию «березовки» и вернулся окончательно ожесточенный.

«Кая польза в крови моей, внегда сходити ми во истление»,— начал заунывным голосом псаломщик.

Дом проснулся. В разных углах его послышалась суетливая возня. Опять гувернантка привела детей. Соня на этот раз была спокойнее, а Коле очень понравился парчовый покров, и он уже без всякого страха начал играть кистями. Потом пришла акушерка Софья Францевна и сделала какое-то замечание Савелию, причем высказала такие тонкие познания в погребальном деле, каких никак нельзя было ожидать от ее специальности. Пришли прощаться со мной дворовые, кучера, кухонные мужики, дворники и даже совсем незнакомые люди: какие-то неведомые старухи, швейцары и дворники соседних домов. Все они очень усердно молились; старухи горько плакали. При этом я сделал замечание, что все прощавшиеся со мной, если это были люди простые, из народа, не только целовали меня в губы, но даже делали это с каким-то удовольствием: лица же моего круга — даже самые близкие мне люди — относились ко мне с брезгливостью, которая очень бы меня обидела, если б я мог смотреть на нее прежними земными глазами. Приплелась опять Настасья в широком голубом капоте с розовыми цветочками. Костюм этот не понравился Савелью, и он сделал ей строгое замечание.

— Да что же мне делать, Савелий Петрович? — оправдывалась Настасья.— Уж я пробовала темное платье надеть, ни одно не сходится.

— Ну, а не сходится, так и лежала бы у себя на кровати. Другая на твоем месте постыдилась бы и к княжескому гробу подходить с таким брюхом.

— За что же вы ее обижаете, Савелий Петрович?— вступился Семен.— Ведь она мне законная жена, тут греха никакого нет.

— Знаю я этих шлюх законных,— проворчал Савелий и отошел в свой угол.

Настасья страшно смутилась и хотела ответить какой-нибудь уничтожающей колкостью, но не находила слов; только губы ее перекосились от гнева и в глазах показались слезы.

«На аспида и василиска наступиши,— читал псаломщик,— и попереши льва и змия».

Настасья подошла совсем вплотную к Савелию и сказала ему тихо:

— Вот вы этот аспид и есть.

— Кто это аспид? Ах, ты...

Савелий не окончил фразы, потому что на лестнице раздался сильный звонок, и Васютка вбежала с известием, что приехала графиня Марья Михайловна. Зала мгновенно опустела.

Марья Михайловна — тетка жены, очень важная старуха. Она медленными шагами подошла ко мне, величественно помолилась и хотела приложиться ко мне, но передумала и несколько минут трясла надо мной своей седой головой, покрытой черным убором наподобие монашеского, после чего, почтительно поддерживаемая компаньонкой, направилась в комнату жены. Через четверть часа она воротилась, ведя, в свою очередь, мою жену. Жена была в белом ночном капоте, волосы у нее были распущены, а веки так распухли от слез, что она едва могла открывать глаза.

— Voyons, Zoe, mon enfant[1],— уговаривала ее графиня,— soyez ferme[2]. Вспомни, сколько я перенесла горя, возьми на себя.

— Oui, ma tante, je serai ferme[3],— отвечала жена и решительными шагами подошла ко мне, но, вероятно, я сильно изменился за ночь, потому что она отшатнулась, вскрикнула и упала на руки окружавших ее женщин. Ее увели.

Жена моя, несомненно, была очень огорчена моей смертью, но при всяком публичном выражении печали есть непременно известная доля театральности, которой редко кто может избежать. Самый искренно огор-

---

[1] Ну же, Зоя, дитя мое *(фр.)*.

[2] Будьте стойкой *(фр.)*.

[3] Хорошо, тетя, я буду стойкой *(фр.)*.

ченный человек не может отогнать от себя мысль, что другие на него смотрят.

Во втором часу стали съезжаться гости. Первым вошел высокий еще не старый генерал, с седыми закрученными усами и множеством орденов на груди. Он подошел ко мне и тоже хотел приложиться, но раздумал и долго крестился, не прикладывая пальцев ко лбу и груди, а размахивая ими по воздуху. Потом он обратился к Савелию: .

— Ну, что, брат Савелий, потеряли мы нашего князя?

— Да-с, ваше превосходительство, сорок лет служил князю и мог ли я думать...

— Ничего, ничего, княгиня тебя не оставит.

И, потрепав по плечу Савелия, генерал пошел навстречу маленькому желтому сенатору, который, не подходя ко мне, прямо опустился на тот стул, на котором ночью спал Савелий. Кашель душил его.

— Ну, вот, Иван Ефимыч,— сказал генерал,— еще у нас одним членом стало меньше.

— Да, с Нового года это уж четвертый.

— Как четвертый? Не может быть!

— Как же «не может быть»? В самый день Нового года умер Ползиков, потом Борис Антоныч, потом князь Василий Иваныч...

— Ну, князя Василия Иваныча считать нечего, он два года не ездил в клуб.

— Однако он все-таки возобновлял билет.

— Ползиков тоже был стар, но князь Дмитрий Александрыч. Помилуйте, в цвете лет и сил, человек здоровый, полный жизни...

— Что делать! «Не весте бо ни дне, ни часа...»

— Да, это все отлично! Но весте, не весте,— это так, а все-таки обидно уезжать вечером из клуба и не быть уверенным, что на другой день опять там будешь! А еще обиднее то, что никак не угадаете, где тебя эта шельма подстережет. Ведь вот князь Дмитрий Александрыч поехал на похороны Василия Иваныча и простудился на похоронах, а мы с вами тоже были и не простудились.

Сенатора опять схватил припадок кашля, после чего он обыкновенно делался еще злее.

— Да-с, удивительная судьба была этого князя Василия Иваныча. Всю жизнь он делал всякие гадости, так ему и подобало. Но вот он умирает; казалось бы, что всем этим гадостям конец. Так вот нет же, на своих собственных похоронах сумел-таки уморить родного племянника.

— Ну, и язычок же у вас, Иван Ефимыч! Ругали бы живых, а то от вас и покойникам достается. Есть такая пословица: de mortis, de mortibus...

— Вы хотите сказать: «De mortuis aut bene, aut nihil[1]»? Но эта пословица нелепая, я ее несколько поправлю; я говорю: de mortuis aut bene, aut male[2]. Иначе ведь исчезла бы история, ни об одном историческом злодее нельзя было бы произнести справедливого приговора, потому что все они перемерли. А князь Василий был в своем роде лицо историческое, недаром у него было столько скверных историй...

— Перестаньте, перестаньте, Иван Ефимыч, будет вам на том свете за язычок ваш... По крайней мере о нашем дорогом Дмитрии Александровиче вы не можете сказать ничего худого и должны сознаться, что это был прекрасный человек...

— К чему преувеличивать, генерал? Если мы скажем, что он был любезный и обходительный человек, этого будет совершенно достаточно. Да поверьте, что и это со стороны князя Трубчевского большая заслуга, потому что вообще князья Трубчевские любезностью не отличаются. Возьмем, чтобы недалеко ходить, его брата Андрея...

— Ну, об этом я с вами спорить не буду: Андрей мне совсем не симпатичен. И чем он так важничает?

— Важничать ему решительно нечем, но не в этом дело-с. Если такой человек, как князь Андрей Александрыч, терпится в обществе, это доказывает только нашу необыкновенную снисходительность. По-настоящему такому человеку не следует и руки подавать.

[1] О мертвых или хорошо, или ничего *(лат.)*.
[2] О мертвых или хорошо, или плохо *(лат.)*.

Вот что я узнал о нем недавно из самых достоверных источников...

В эту минуту появился мой брат, и оба собеседника бросились к нему с выражением живейшего сочувствия.

Затем робкими шагами вошел мой старый товарищ Миша Звягин. Это был очень добрый и очень замотавшийся человек. В начале октября он приехал ко мне, объяснил свое безвыходное положение и попросил у меня на два месяца пять тысяч, которые могли его спасти. После некоторой борьбы я написал ему чек; он предложил мне вексель, но я отвечал, что этого не нужно. Через два месяца он, конечно, уплатить не мог и начал от меня скрываться. Во время моей болезни он несколько раз присылал узнавать о здоровье, но сам не заходил ни разу. Когда он подошел к моему гробу, я прочел в его глазах самые разнообразные чувства: и сожаление, и стыд, и страх, и даже где-то там, в глубине зрачков,— маленькую радость при мысли, что у него одним кредитором стало меньше. Впрочем, поймав себя на этой мысли, он очень ее устыдился и начал усердно молиться. В его сердце происходила борьба. Ему следовало заявить сейчас же о долге, но, с другой стороны, зачем же заявлять, если он не может заплатить! Долг этот он отдаст со временем, а теперь... известно ли кому-нибудь об этом долге, записан ли он мною в какую-нибудь книжку? Нет, необходимо заявить сейчас же.

Миша Звягин с решительным видом подошел к брату и начал расспрашивать его о моей болезни. Брат отвечал неохотно и смотрел в другую сторону: моя смерть давала ему законное право быть невнимательным и надменным.

— Видите ли, князь,— начал, запинаясь, Звягин,— я был должен покойному...

Брат начал прислушиваться и вопросительно посмотрел на него.

— Я хотел сказать, что я слишком обязан покойному Дмитрию Александровичу. Наша долголетняя служба...

Брат опять отвернулся, и бедный Миша Звягин отошел на прежнее место. Его красные щеки прыгали,

глаза беспокойно бегали по зале. Тут в первый раз после смерти я пожалел о том, что не могу говорить. Мне так хотелось сказать ему: «Да оставь себе эти пять тысяч, у детей моих и без этого денег довольно».

Зала быстро наполнялась. Дамы входили большей частью попарно и становились вдоль стены. Ко мне почти никто не подходил, меня как-то стыдились. Более близкие к нам дамы спрашивали у брата, могут ли они видеть жену; брат с молчаливым поклоном указывал им на двери гостиной. Дамы в минутном раздумье останавливались в дверях, после чего, опустив головы, как-то ныряли в гостиную, словно купальщики, которые после маленького колебания решительно бросаются головой вниз в холодную воду.

К двум часам собрался весь знатный Петербург, так что, будь я тщеславен, вид залы доставил бы мне большое удовольствие. Появились даже такие лица, о приезде которых тихонько докладывали брату, и он ходил встречать их на лестницу.

Я всегда с особенным умилением слушал панихиду, хотя многое в ней казалось мне непонятным. Особенно всегда смущала меня «жизнь бесконечная»; выражение это на панихиде казалось мне горькой иронией. Теперь все эти слова получали для меня глубокий смысл. Я сам жил этой «бесконечной жизнью», я именно находился в том месте, «иде же несть болезни, печали и воздыхания».

Напротив того, земные, доходившие до меня воздыхания казались мне чем-то чуждым и непонятным. Когда певчие запели о надгробном рыдании, словно в ответ им раздались сдержанные всхлипывания в разных углах залы. С женой моей сделалось дурно, ее опять увели.

Панихида кончилась. Дьякон густым басом произнес: «Во блаженном успении...», но в это время произошло нечто странное. В зале вдруг потемнело, точно сумерки сразу опустились на землю. Я перестал различать лица, а видел одни черные фигуры. Голос дьякона ослабел и постепенно отдалялся куда-то. Наконец, он замолк совсем, свечи потухли, все для меня исчезло. Я сразу перестал видеть и слышать.

V

Я очутился в каком-то темном, непонятном для меня месте. Впрочем, я упомянул о месте только по старой привычке: никакого понятия о пространстве для меня не существовало. Времени также не было, так что я не могу определить, сколько длилось то состояние, в котором я находился. Я ничего не видел, ничего не слышал, я только думал — настойчиво, усиленно думал.

Главная загадка, мучившая меня всю жизнь, была разрешена. Смерти нет, есть одна жизнь бесконечная. Я всегда был убежден в этом и прежде, но только не мог ясно формулировать своего убеждения. Основывалось это убеждение на том, что в противном случае вся жизнь была бы вопиющей нелепостью. Человек мыслит, чувствует, сознает все окружающее, наслаждается и страдает — и он исчезает. Его тело разлагается и служит к образованию новых тел, — это все могут видеть ежедневно. Но куда же девается то, что сознавало и себя и весь окружающий мир? Если материя бессмертна, отчего сознанию суждено исчезать бесследно? Если же оно исчезает, откуда оно появляется, и какая цель такого эфемерного появления? Я считал это нелепостью и потому допустить не мог.

Теперь я на собственном опыте видел, что сознание не умирает, что я никогда не переставал и, вероятно, никогда не перестану жить. Но в то же время назойливо восставали передо мной новые «проклятые вопросы». Если я никогда не умирал и всегда буду вновь воплощаться на земле, то какая цель этих последовательных существований? По какому закону они происходят и к чему в конце концов приведут меня? Вероятно, я бы мог уловить этот закон и понять его, если бы вспомнил все или хоть некоторые минувшие существования, но отчего же именно этого воспоминания лишен человек? За что он осужден быть вечным невеждой, что даже понятие о бессмертии является ему только в виде догадки? А если какой-нибудь неизвестный закон требует забвения и мрака, зачем в этом мраке являются странные просветы, как это случилось, например, со мной, когда я приехал в замок Ларош-Моден?

babel!

И я всей душой схватился за это воспоминание, как утопающий хватается за соломинку. Мне казалось, что если я вспомню ясно и точно свою жизнь в этом замке, это прольет свет на все остальное. Никакое внешнее впечатление меня не развлекало, я мог беспрепятственно вспоминать и старался не думать и не размышлять. И вот с какого-то глубокого душевного дна, точно туман со дна реки, начали подниматься неясные, бледные образы. Замелькали фигуры людей, зазвучали какие-то странные, едва понятные слова, но во всяком воспоминании были пробелы, которых я не мог наполнить: лица людей были окутаны туманом, в словах не было связи, все состояло из каких-то обрывков. Вот семейное кладбище графов Ларош-Моденов. На белой мраморной плите я явственно читаю черные буквы: Ci — gît très haute et recommandable dame...[1]. Дальше идет имя, но я разобрать его не могу. Рядом саркофаг с мраморной урной, на которой я читаю: Ci — gît le coeur du marguis...[2]. Вот раздается в моих ушах крикливый, нетерпеливый голос, зовущий кого-то: Zo... Zo... Я напрягаю память и к великой радости явственно слышу имя: Zorobabel! Zorobabel!.. Это имя, столь мне знакомое, внезапно вызывает целый ряд картин. Я — на дворе замка, в большой толпе народа. «A la chambre du roi! A la chambre du roi!..»[3] — повелительно кричит тот же резкий, нетерпеливый голос. В каждом старинном французском замке была комната короля, т. е. комната, которую занимал бы король, если бы он когда-нибудь посетил замок. И вот я до мельчайших подробностей вижу эту комнату в замке Ларош-Моден. Потолок разрисован розовыми амурами с гирляндами в руках, стены покрыты гобеленами, изображающими охотничьи сцены. Я ясно вижу большого длиннорогого оленя, в отчаянной позе остановившегося над ручьем, и трех настигающих его охотников. В глубине комнаты — альков, увенчанный золотой короной; по синему штофному балдахину вышиты белые лилии. На противоположной стороне большой портрет короля во весь рост. Я вижу грудь в латах, вижу длинные, немного кривые

[1] Здесь покоится высокородная дама... *(фр.)*
[2] Здесь покоится сердце маркиза... *(фр.)*
[3] «В комнате короля! В комнате короля!» *(фр.)*

ноги в лосинах и ботфортах, но лица никак разглядеть не могу. Если бы я разглядел лицо, я бы узнал, может быть, в какое время я жил в этом замке, но именно этого я не вижу, какой-то тугой, упрямый клапан в моей памяти не хочет открыться. «Zorobabel! Zorobabel!» — кричит повелительный голос. Я напрягаю все силы, и вдруг в капризной памяти открывается совсем другой клапан. Замок Ларош-Моден исчезает, и новая, неожиданная картина развертывается предо мною!

VI

Я увидел большое русское село. Бревенчатые избы, крытые соломой, тянулись под гору по обеим сторонам широкой улицы. Был серый осенний день, а может быть, и вечер. Холодный дождь падал мелкими и частыми каплями с одноцветного неба, ветер гудел и свистал по широкой улице, и, поднимая солому с полуразобранных крыш, крутил ее в воздухе. Внизу маленькая речонка быстро катила свои свинцовые вздувшиеся волны. Я перешел на ту сторону реки, горбатый мост без перил задрожал под моими ногами. С моста были две дороги: налево, в гору, продолжалось село, направо, словно нагнувшись над оврагом, стояла старая деревянная церковь с зеленым куполом. Я пошел направо. За церковью виднелось несколько насыпей с почерневшими от времени крестами, между могилами качались по ветру мокрые, почти обнаженные ветви молодых берез; вся земля, словно ковром, была покрыта желто-бурыми листьями. Дальше шло черное, совсем голое поле. И, несмотря на эту безотрадную картину, чем-то родным и хорошим повеяло на меня из далекой протекшей там жизни. Но отчего же такой мрак и такое безлюдье кругом? Отчего не видно ни одного живого лица? Отчего все избы растворены настежь? В какое время жил я в этом селе? Было ли это во времена нашествий татарских или позже? Иноземный ли разорил это гнездо, или свои внутренние воры выгнали жителей в леса и степи?

Я вернулся к мостику и пошел налево в гору. И там то же безлюдье, те же следы разрушения. Около обвалившегося колодца я увидел, наконец, живое существо. Это была старая, страшно исхудалая собака, вероятно,

умиравшая от голода. Вся шерсть ее вылезла, спина и бока представляли почти обнаженные кости. Увидев меня, она с невероятными усилиями поднялась на ноги, но двинуться не могла и, упав в грязь, жалобно завыла.

Всеми силами души своей я старался представить себе это родное село при какой-нибудь другой обстановке. Ведь и здесь вставали румяные зори, и солнце пышно закатывалось за горой, и поле колосилось рожью, и речка замерзала, и вся гора искрилась серебром в морозные лунные ночи... Но как ни напрягал я свою память, не мог вспомнить ничего подобного. Словно круглый год серое небо поливало несчастное село мелким дождем, да ветер свободно входил в раскрытые избы и вырывался на простор через праздные, никому не нужные трубы. <...>

VII

Рамки моей памяти раздвигались все шире и шире. Предо мной проходили далекие, давно забытые и, как мне казалось, никогда не виданные страны, дикие леса, какие-то гигантские бои, в которых к людям примешивались и звери. Но это были туманные очертания, из которых еще не складывалось никакого определенного образа. Среди этих картин промелькнула девочка в голубом платье. Эта девочка была мне давно знакома: во время моего последнего существования она изредка являлась мне во сне, и я всегда считал такой сон дурным предзнаменованием. Это была девочка лет десяти, худая, бледная и некрасивая, только глаза у нее были чудесные: черные, глубокие, с серьезным, совсем не детским выражением. Иногда эти глаза выражали такое страдание и такой испуг, что, встретившись с ее взглядом, я немедленно просыпался с биением сердца и с каплями холодного пота на лбу. После этого я бывал уже не в силах заснуть и несколько дней находился в раздраженном, нервном состоянии. Теперь я убедился в том, что девочка эта действительно существовала и что я ее знал когда-то... Но кто была она? Была ли она мне дочь, или сестра, или совсем посторонняя? И отчего в ее испуганных глазах выражалось такое нечеловеческое страдание? Какой из-

верг мучил этого ребенка? А может быть, я сам мучил ее когда-то, и она являлась мне во сне, как наказание и упрек.

Странно, что среди моих воспоминаний не было вовсе веселых, радостных, что мои внутренние очи читали только страницы зла и горя. Конечно, бывали в моих существованиях и радостные дни, но, вероятно, их было немного, потому что они забылись и потонули в море всяких страданий. А если это так, то к чему же самая жизнь? Нельзя же предположить, что жизнь устроена для одного страдания. Есть ли у нее какая-нибудь другая конечная цель? Вероятно, есть, но узнаю ли я ее когда-нибудь?

Ввиду этого незнания мое теперешнее положение, т. е. состояние безусловной неподвижности и покоя, должно бы было мне казаться верхом блаженства. А между тем из всего этого хаоса неясных воспоминаний и отрывочных мыслей начало у меня выделяться одно странное чувство: меня потянуло опять в ту юдоль мрака и скорби, из которой я только что вышел. Я старался заглушить в себе это ощущение, но оно росло, крепло, побеждало все доводы,— и, наконец, перешло в страстную, неудержимую жажду жизни.

VIII

О, только бы жить! Я вовсе не прошу продолжения моего прежнего существования, мне все равно, чем родиться: князем или мужиком, богачом или нищим. Люди говорят: «Не в деньгах счастье» — и, однако, считают счастьем именно те блага жизни, которые приобретаются за деньги. Между тем счастье не в этих благах, а во внутреннем довольстве человека. Где начинается и где кончается это довольство? Все сравнительно, все зависит от горизонта и от масштаба. Нищий, протягивающий руку за грошом и получающий от неизвестного благодетеля рубль, испытывает, быть может, большее удовольствие, нежели банкир, выигрывающий неожиданно двести тысяч. Я и прежде так думал, но утвердиться в этих мыслях мешали мне предрассудки, внушенные с детства и признававшиеся

мной за аксиомы. Теперь эти миражи рассеялись, и я вижу все гораздо яснее. Я, например, страстно любил искусство и думал, что чувство красоты доступно только людям культурным, богатым, а без этого элемента вся жизнь казалась мне слишком скудной. Но что такое искусство? Понятия об искусстве так же условны, как понятия о добре и зле. Каждый век, каждая страна смотрят на добро и зло различно; что считается доблестью в одной стране, то в другой признается преступлением. К вопросу об искусстве, кроме этих различий времени и места, примешивается еще бесконечное разнообразие индивидуальных вкусов. Во Франции, считающей себя самой культурной страной мира, до нынешнего столетия не понимали и не признавали Шекспира: таких примеров можно вспомнить много. И мне кажется, что нет такого бедняка, такого дикаря, в которых не вспыхивало бы подчас чувство красоты, только их художественное понимание иное. Весьма вероятно, что деревенские мужики, усевшиеся в теплый весенний вечер на траве вокруг доморощенного балалаечника или гитариста, наслаждаются не менее профессоров консерватории, слушающих в душной зале фуги Баха.

О, только бы жить! Только бы видеть человеческие лица, слышать звуки человеческого голоса, войти опять в общение с людьми... со всякими людьми: хорошими и дурными! Да и есть ли на свете безусловно дурные люди? И если вспомнить те ужасные условия бессилия и неведения, среди которых осужден жить и вращаться человек, то скорей можно удивляться тому, что есть на свете безусловно хорошие люди. Человек не знает ничего из того, что ему больше всего нужно знать. Он не знает, зачем он родился, для чего живет, почему умирает. Он забывает все свои прежние существования и не может даже догадываться о будущих. Он не понимает цели всех этих последовательных существований и совершает непонятный для него обряд жизни среди мрака и разнородных страданий. А как ему хочется вырваться из этого мрака, как он силится понять, как хлопочет устроить и улучшить свой быт, как напрягает он свой бедный ограниченный разум. И все его усилия

пропадают даром, все изобретения — часто гениальные — не разрешают ни одного из волнующих его вопросов. Во всех своих стремлениях он встречает предел, дальше которого идти не может. Он, например, знает, что, кроме Земли, существуют другие миры, другие планеты; с помощью математических выкладок он знает, как эти планеты движутся, когда они приближаются к Земле и когда от нее удаляются; но что происходит на этих планетах и есть ли там подобные ему существа,— об этом он может догадываться, но наверное не узнает никогда. А он все-таки надеется и ищет. В Америке, на одной из самых высоких гор, собираются зажечь электрический костер, чтобы подать сигнал обитателям Марса. Разве не трогателен этот костер по своей детской наивности?

О, я хочу вернуться к этим несчастным, жалким, терпеливым и дорогим существам! Я хочу жить общей с ними жизнью, хочу опять вмешаться в их мелкие интересы и дрязги, которым они придают такое важное значение. Многих из них я буду любить, с другими бороться, третьих ненавидеть,— но я хочу этой любви, этой ненависти, этой борьбы!

О, только бы жить! Я хочу видеть, как солнце опускается за горой, и синее небо покрывается яркими звездами, как на зеркальной поверхности моря появляются белые барашки, и целые скалы волн разбиваются друг о друга под голос неожиданной бури. Я хочу броситься в челнок навстречу этой буре, хочу скакать на бешеной тройке по снежной степи, хочу идти с кинжалами на разъяренного медведя, хочу испытать все тревоги и все мелочи жизни. Я хочу видеть, как молния разрезает небо и как зеленый жук переползает с одной ветки на другую. Я хочу обонять запах скошенного сена и запах дегтя, хочу слышать пение соловья в кустах сирени и кваканье лягушек у пруда, звон колокола в деревенской церкви и стук дрожек по мостовой, хочу слышать торжественные аккорды героической симфонии и лихие звуки хоровой цыганской песни.

О, только бы жить! Только бы иметь возможность дохнуть земным воздухом и произнести одно человеческое слово, только бы крикнуть, крикнуть!..

IX

И вдруг я вскрикнул, всей грудью, изо всей силы вскрикнул. Безумная радость охватила меня при этом крике, но звук моего голоса поразил меня. Это не был мой обыкновенный голос: это был какой-то слабый, тщедушный крик. Я раскрыл глаза; яркий свет морозного ясного утра едва не ослепил меня. Я находился в комнате Настасьи. Софья Францевна держала меня на руках. Настасья лежала на кровати, вся красная, обложенная подушками, и тяжело дышала.

— Слушай, Васютка,— раздался голос Софьи Францевны,— продерись как-нибудь в залу и вызови Семена на минутку.

— Да как же я туда продерусь, тетенька? — отвечала Васютка.— Сейчас князя выносить будут, гостей собралось там видимо-невидимо.

— Ну, как-нибудь продерись, на минутку всего вызови, ведь все-таки отец.

Васютка исчезла и через минуту воротилась с Семеном. Он был в черном фраке, обшитом плерезами, и держал в руке какое-то огромное полотенце.

— Ну, что? — спросил он, вбегая.

— Все благополучно, поздравляю,— произнесла торжественно Софья Францевна.

— Ну, слава тебе, господи,— сказал Семен и, даже не посмотрев на меня, побежал обратно.

— Мальчик или девочка? — спросил он уже из коридора.

— Мальчик, мальчик!

— Ну, слава тебе, господи,— повторил Семен и скрылся.

В это время Юдишна оканчивала свой туалет перед комодом, на котором стояло старое кривое зеркало в медной оправе. Повязав голову черным шерстяным платком, чтобы идти на вынос, она обратила негодующий взгляд на Настасью.

— Нашла тоже время,— нечего сказать. Князя выносят, а она в это время рожать вздумала. О, чтоб тебя!..

Юдишна с ожесточением плюнула и, набожно крестясь, поплыла по коридору. Настасья ничего ей не от-

ветила, только улыбнулась ей вслед какой-то блаженной улыбкой.

А меня выкупали в корыте, спеленали и уложили в люльку. Я немедленно заснул, как странник, уставший после долгого утомительного пути, и во время этого глубокого сна забыл все, что происходило со мной до этой минуты.

Чрез несколько часов я проснулся существом беспомощным, бессмысленным и хилым, обреченным на непрерывное страдание.

Я вступал в новую жизнь...

[1892]

Валерий БРЮСОВ

Республика Южного Креста

Статья в специальном №
«Северо-Европейского Вечернего Вестника»

За последнее время появился целый ряд описаний страшной катастрофы, постигшей Республику Южного Креста. Они поразительно разнятся между собой и передают немало событий явно фантастических и невероятных. По-видимому, составители этих описаний слишком доверчиво относились к показаниям спасшихся жителей Звездного города, которые, как известно, *все были поражены психическим расстройством.* Вот почему мы считаем полезным и своевременным сделать здесь свод всех *достоверных* сведений, какие пока имеем о трагедии, разыгравшейся на Южном полюсе.

Республика Южного Креста возникла сорок лет тому назад из треста сталелитейных заводов, расположенных в южно-полярных областях. В циркулярной ноте, разосланной правительствам всего земного шара, новое государство выражало притязания на все земли, как материковые, так и островные, заключенные в пределах Южно-Полярного круга, равно как на все части этих земель, выходящие из указанных пределов. Земли эти оно изъявляло готовность приобрести покупкой у государств, считавших их под своим протекторатом. Претензии новой Республики не встретили противодействия со стороны пятнадцати великих держав мира. Спорные вопросы о некоторых островах, всецело лежащих за Полярным кругом, но тесно примыкавших к южно-полярным областям, потребовали отдельных трактатов. По исполнении различных формальностей

Республика Южного Креста была принята в семью мировых государств и представители ее аккредитованы при их правительствах.

Главный город Республики, получивший название Звездного, был расположен на самом полюсе. В той воображаемой точке, где проходит земная ось и сходятся все земные меридианы, стояло здание городской ратуши, и острие ее шпиля, подымавшегося над городской крышей, было направлено к небесному надиру. Улицы города расходились по меридианам от ратуши, а меридиональные пересекались другими, шедшими по параллельным кругам. Высота всех строений и внешность построек были одинаковы. Окон в стенах не было, так как здания освещались изнутри электричеством. Электричеством же освещались и улицы. Ввиду суровости климата над городом была устроена непроницаемая для света крыша, с могучими вентиляторами для постоянного обмена воздуха. Те местности земного шара знают в течение года лишь один день в шесть месяцев и одну долгую ночь, тоже в шесть месяцев, но улицы Звездного города были неизменно залиты ясным и ровным светом. Подобно этому, во все времена года температура на улицах искусственно поддерживалась на одной и той же высоте.

По последней переписи число жителей Звездного города достигало 2 500 000 человек. Все остальное население Республики, исчислявшееся в 50 000 000, сосредоточивалось вокруг портов и заводов. Эти пункты образовывали тоже миллионные скопления людей и по внешнему устройству напоминали Звездный город. Благодаря остроумному применению электрической силы входы в местные гавани оставались открытыми весь год. Подвесные электрические дороги соединяли между собой населенные места Республики, перекидывая ежедневно из одного города в другой десятки тысяч людей и миллионы килограммов товара. Что касается внутренности страны, то она оставалась необитаемой. Перед взорами путешественников в окно вагона проходили только однообразные пустыни, совершенно белые зимой и поросшие скудной травой в три летних месяца. Дикие животные были давно истреблены, а человеку нечем было существовать там. И тем поразительнее была напряженная жизнь порто-

вых городов и заводских центров. Чтобы дать понятие об этой жизни, достаточно сказать, что за последние годы около *семи десятых* всего металла, добываемого на земле, поступало на обработку в государственные заводы Республики.

Конституция Республики по внешним признакам казалась осуществлением крайнего народовластия. Единственными полноправными гражданами считались работники металлургических заводов, составлявшие около 60 процентов всего населения. Заводы эти были государственной собственностью. Жизнь работников на заводах были обставлена не только всевозможными удобствами, но даже роскошью. В их распоряжение, кроме прекрасных помещений и изысканного стола, предоставлены были разнообразные образовательные учреждения и увеселения: библиотеки, музеи, театры, концерты, залы для всех видов спорта и т. д. Число рабочих часов в сутки было крайне незначительно. Воспитание и образование детей, медицинская и юридическая помощь, отправление религиозных служений разных культов было государственной заботой. Широко обеспеченные в удовлетворении всех своих нужд, потребностей и даже прихотей, работники государственных заводов не получали никакого денежного вознаграждения; но семьи граждан, прослуживших на заводе 20 лет, а также скончавшихся или лишившихся в годы службы работоспособности, получали богатую пожизненную пенсию с условием не покидать Республики. Из среды тех же работников, путем всеобщего голосования, избирались представители в Законодательную Палату Республики, ведавшую всеми вопросами политической жизни страны без права изменять ее основные законы.

Однако эта демократическая внешность прикрывала чисто самодержавную тиранию членов — учредителей бывшего треста. Предоставляя другим места депутатов в Палате, они неизменно проводили своих кандидатов в директора заводов. В руках совета этих директоров сосредоточивалась экономическая жизнь страны. Они принимали все заказы и распределяли их по заводам; они приобретали материалы и машины для работы; они вели все хозяйство заводов. Через их руки проходили громадные суммы денег, считавшиеся миллиарда-

ми. Законодательная Палата лишь утверждала представляемые ей росписи приходов и расходов по управлению заводами, хотя баланс этих росписей далеко превышал весь бюджет Республики. Влияние совета директоров в международных отношениях было громадно. Его решения могли разорить целые страны. Цены, устанавливаемые им, определяли заработок миллионов трудящихся масс на всей земле. В то же время, хотя и не прямое, влияние совета на внутренние дела Республики всегда было решающим. Законодательная Палата, в сущности, являлась лишь покорным исполнителем воли совета.

Сохранением власти в своих руках совет был обязан прежде всего беспощадной регламентации всей жизни страны. При кажущейся свободе жизнь граждан была нормирована до мельчайших подробностей. Здания всех городов Республики строились по одному и тому же образцу, определенному законом. Убранство всех помещений, предоставляемых работникам, при всей его роскоши было строго единообразным. Все получали одинаковую пищу в одни и те же часы. Платье, выдававшееся из государственных складов, было неизменно в течение десятков лет, одного и того же покроя. После определенного часа, возвещавшегося сигналом с ратуши, воспрещалось выходить из дома. Вся печать страны подчинена была зоркой цензуре. Никакие статьи, направленные против диктатуры совета, не пропускались. Впрочем, вся страна настолько была убеждена в благодетельности этой диктатуры, что наборщики сами отказывались набирать строки, критикующие совет. Заводы были полны агентами совета. При малейшем проявлении недовольства советом агенты спешили на быстро собранных митингах страстными речами разубедить усомнившихся. Обезоруживающим доказательством служило, конечно, то, что жизнь работников в Республике была предметом зависти для всей земли. Утверждают, что в случае неуклонной агитации отдельных лиц совет не брезговал политическим убийством. Во всяком случае, за все время существования Республики общим голосованием граждан не было избрано в совет ни одного директора, враждебного членам-учредителям.

Население Звездного города состояло преимущественно из работников, отслуживших свой срок. То были, так сказать, государственные рантье. Средства, получаемые ими от государства, давали им возможность жить богато. Неудивительно поэтому, что Звездный город считался одним из самых веселых городов мира.

Для разных антрепренеров и предпринимателей он был золотым дном. Знаменитости всей земли несли сюда свои таланты. Здесь были лучшие оперы, лучшие концерты, лучшие художественные выставки; здесь издавались самые осведомленные газеты. Магазины Звездного города поражали богатством выбора; рестораны — роскошью и утонченностью сервировки; притоны соблазняли всеми формами разврата, изобретенными древним и новым миром. Однако правительственная регламентация жизни сохранялась и в Звездном городе. Правда, убранство квартир и моды платья не были стеснены, но оставалось в силе воспрещение выхода из дому после определенного часа, сохранялась строгая цензура печати, содержался советом обширный штат шпионов. Порядок официально поддерживался народной стражей, но рядом с ней существовала тайная полиция всеведущего совета.

Таков был в самых общих чертах строй жизни в Республике Южного Креста и ее столице. Задачей будущего историка будет определить, насколько повлиял он на возникновение и распространение роковой эпидемии, приведшей к гибели Звездного города, а может быть, и всего молодого государства.

Первые случаи заболевания «противоречием» были отмечены в Республике уже лет 20 тому назад. Тогда болезнь имела характер случайных, спорадических заболеваний. Однако местные психиатры и невропатологи заинтересовались ею, дали ее подробное описание, и на состоявшемся тогда международном медицинском конгрессе в Лхассе ей было посвящено несколько докладов. Позднее ее как-то забыли, хотя в психиатрических лечебницах Звездного города никогда не было недостатка в заболевших ею. Свое название болезнь получила оттого, что больные ею постоянно сами противоречат своим желаниям, хотят одного, но говорят

и делают другое. (Научное название болезни — mania contradicens.) Начинается она обыкновенно с довольно слабо выраженных симптомов, преимущественно в форме своеобразной афазии. Заболевший вместо «да» говорит «нет»; желая сказать ласковые слова, осыпает собеседника бранью и т. д. Большею частью одновременно с этим больной начинает противоречить себе и своими поступками: намереваясь идти влево, поворачивает вправо, думая поднять шляпу, чтобы лучше видеть, нахлобучивает ее себе на глаза и т. д. С развитием болезни эти «противоречия» наполняют всю телесную и духовную жизнь больного, разумеется, представляя бесконечное разнообразие, сообразно с индивидуальными особенностями каждого. В общем, речь больного становится непонятной, его поступки нелепыми. Нарушается и правильность физиологических отправлений организма. Сознавая неразумность своего поведения, больной приходит в крайнее возбуждение, доходящее часто до исступления. Очень многие кончают жизнь самоубийством, иногда в припадке безумия, иногда, напротив, в минуту душевного просветления. Другие погибают от кровоизлияния в мозг. Почти всегда болезнь приводит к летальному исходу; случаи выздоровления крайне редки.

Эпидемический характер mania contradicens приняла в Звездном городе со средних месяцев текущего года. До этого времени число больных «противоречием» никогда не превышало 2% общего числа заболевших. Но это отношение в мае месяце (осеннем месяце в Республике) сразу возросло до 25% и все увеличивалось в следующие месяцы, причем с такой же стремительностью возрастало и абсолютное число заболеваний. В средних числах июня уже около 2% *всего населения,* т. е. около 50000 человек, официально признавались больными «противоречием». Статистических данных позже этого времени у нас нет. Больницы переполнились. Контингент врачей быстро оказался совершенно недостаточным. К тому же сами врачи, а также и больничные служащие стали подвергаться тому же заболеванию. Очень скоро больным стало не к кому обращаться за врачебной помощью, и точная регистрация заболеваний стала невозможной. Впрочем, показания всех очевидцев сходятся на том, что в июле месяце

нельзя было встретить семьи, где не было бы больного. При этом число здоровых неизменно уменьшалось, так как началась массовая эмиграция из города, как из зачумленного места, и число больных увеличивалось. Можно думать, что не далеки от истины те, кто утверждает, что в августе месяце *все* оставшиеся в Звездном городе были поражены психическим расстройством.

За первыми проявлениями эпидемии можно следить по местным газетам, заносившим их во все возраставшую у них рубрику: Mania contradicens. Так как распознание болезни в ее первых стадиях очень затруднительно, то хроника первых дней эпидемии полна комических эпизодов. Заболевший кондуктор метрополитена вместо того, чтобы получать деньги с пассажиров, сам платил им. Уличный стражник, обязанностью которого было регулировать уличное движение, путал его в течение всего дня. Посетитель музея, ходя по залам, снимал все картины и поворачивал их к стене. Газета, исправленная рукой заболевшего корректора, оказывалась переполненной смешными нелепостями. В концерте больной скрипач вдруг нарушал ужаснейшими диссонансами исполняемую оркестром пьесу и т. д. Длинный ряд таких случаев давал пищу остроумным выходкам местных фельетонистов. Но несколько случаев иного рода скоро остановили поток шуток. Первый состоял в том, что врач, заболевший «противоречием», прописал одной девушке средство, безусловно смертельное для нее, и его пациентка умерла. Дня три газеты были заняты этим происшествием. Затем две няньки в городском детском саду в припадке «противоречия» перерезали горло сорока одному ребенку. Сообщение об этом потрясло весь город. Но в тот же день вечером из дома, где помещались городские милиционеры, двое больных выкатили митральезу и осыпали картечью мирно гулявшую толпу. Убитых и раненых было до пятисот человек.

После этого все газеты, все общество закричали, что надо немедленно принять меры против эпидемии. Экстренное заседание соединенных городского совета и Законодательной Палаты порешило немедленно пригласить врачей из других городов и из-за границы, расширить существующие больницы, открыть новые и везде устроить покои для изоляции заболевших «противо-

речием», напечатать и распространить в 500 000 экземпляров брошюру о новой болезни, где указывались бы ее признаки и способы лечения, организовать на всех улицах специальные дежурства врачей и их сотрудников и обходы частных квартир для оказания первой помощи и т. д. Постановлено было также отправлять ежедневно и по всем дорогам поезда исключительно для больных, так как врачи признавали лучшим средством против болезни перемену места. Сходные мероприятия были в то же время предприняты различными частными ассоциациями, союзами и клубами. Организовалось даже особое «Общество для борьбы с эпидемией», члены которого скоро проявили себя действительно самоотверженной деятельностью. Но, несмотря на то, что все эти и сходные меры проводились с неутомимой энергией, эпидемия не ослабевала, но усиливалась с каждым днем, поражая равно стариков и детей, мужчин и женщин, людей работающих и пользующихся отдыхом, воздержанных и распутных. И скоро все общество было охвачено неодолимым, стихийным ужасом перед неслыханным бедствием.

Началось бегство из Звездного города. Сначала некоторые лица, особенно из числа выдающихся сановников, директоров, членов Законодательной Палаты и городского совета, поспешили выслать свои семейства в южные города Австралии и Патагонии. За ними потянулось случайное пришлое население — иностранцы, охотно съезжавшиеся в «самый веселый город южного полушария», артисты всех профессий, разного рода дельцы, женщины легкого поведения. Затем, при новых успехах эпидемии, кинулись и торговцы. Они спешно распродавали товары или оставляли свои магазины на произвол судьбы. С ними вместе бежали банкиры, содержатели театров и ресторанов, издатели газет и книг. Наконец дело дошло и до коренных, местных жителей. По закону, бывшим работникам был воспрещен выезд из Республики без особого разрешения правительства, под угрозой лишения пенсии. Но на эту угрозу уже не обращали внимания, спасая свою жизнь. Началось и дезертирство. Бежали служащие городских учреждений, бежали чины народной милиции, бежали сиделки больниц, фармацевты, врачи. Стремление бе-

жать, в свою очередь, стало манией. Бежали все, кто мог бежать.

Станции электрических дорог осаждались громадными толпами. Билеты в поездах покупались за громадные суммы и получались с бою. В минуту отхода поезда врывались в вагоны новые лица и не уступали завоеванного места. Толпы останавливали поезда, снаряженные исключительно для больных, вытаскивали их из вагонов, занимали их койки и силой заставляли машиниста дать ход. Весь подвижной состав железных дорог Республики с конца мая работал только на линиях, соединяющих столицу с портами. Из Звездного города поезда шли переполненными; пассажиры стояли во всех проходах, отваживались даже стоять снаружи, хотя при скорости хода современных электрических дорог это грозит смертью от задушения. Пароходные компании Австралии, Южной Америки и Южной Африки несообразно нажились, перевозя эмигрантов Республики в другие страны. По направлению к Звездному городу, напротив, поезда шли почти пустыми; ни за какое жалованье нельзя было найти лиц, согласных ехать на службу в столицу; только изредка отправлялись в зачумленный город эксцентричные туристы, любители сильных ощущений. Вычислено, что с начала эмиграции по 22 июня, когда правильное движение поездов прекратилось, по всем шести железнодорожным линиям выехало из Звездного города полтора миллиона человек, т. е. почти две трети всего населения.

Своей предприимчивостью, силой воли и мужеством заслужил себе в это время вечную славу председатель городского совета Орас Дивиль. В экстренном заседании 5 июня городской совет по соглашению с Палатой и с советом директоров вручил Дивилю диктаторскую власть над городом, со званием Начальника, передав ему распоряжение городскими суммами, народной милицией и городскими предприятиями. Вслед за этим правительственные учреждения и архив были вывезены из Звездного города в Северный порт. Имя Ораса Дивиля должно быть записано золотыми буквами среди самых благородных имен человечества. В течение полутора месяцев он боролся с возрастающей анархией в городе. Ему удалось собрать вокруг себя группу столь же самоотверженных помощников. Он

сумел долгое время удерживать дисциплину и повиновение в среде народной милиции и городских служащих, охваченных ужасом перед общим бедствием и постоянно децимируемых эпидемией. Орасу Дивилю обязаны сотни тысяч своим спасением, так как благодаря его энергии и распорядительности им удалось уехать. Другим тысячам людей он облегчил последние дни, дав возможность умереть в больнице, при заботливом уходе, а не под ударами обезумевшей толпы. Наконец, человечеству Дивиль сохранил летопись всей катастрофы, так как нельзя назвать иначе краткие, но содержательные и точные телеграммы, которые он ежедневно и по нескольку раз в день отправлял из Звездного города во временную резиденцию правительства Республики, в Северный порт.

Первым делом Дивиля, при вступлении в должность Начальника города, была попытка успокоить встревоженные умы населения. Были изданы манифесты, указывавшие на то, что психическая зараза легче всего переносится на людей возбужденных, и призывавшие людей здоровых и уравновешенных влиять своим авторитетом на лиц слабых и нервных. При этом Дивиль вошел в сношение с «Обществом для борьбы с эпидемией» и распределил между его членами все общественные места, театры, собрания, площади, улицы. В эти дни почти не проходило часа, чтобы в любом месте не обнаруживались заболевания. То там, то здесь замечались лица или целые группы лиц, своим поведением явно доказывающие свою ненормальность. Большей частью у больных, понявших свое состояние, являлось немедленное желание обратиться за помощью. Но под влиянием расстроенной психики это желание выражалось у них какими-нибудь враждебными действиями против близ стоящих. Больные хотели бы спешить домой или в лечебницу, но вместо этого испуганно бросались бежать к окраинам города. Им являлась мысль просить кого-нибудь принять в них участие, но вместо того они хватали случайных прохожих за горло, душили их, наносили им побои, иногда даже раны ножом или палкой. Поэтому толпа, как только оказывался поблизости человек, пораженный «противоречием», обращалась в бегство. В эти-то минуты и являлись на помощь члены «Общества». Одни из них овладевали

больным, успокаивали его и направляли в ближайшую лечебницу; другие старались вразумить толпу и объяснить ей, что нет никакой опасности, что случилось только новое несчастье, с которым все должны бороться по мере сил.

В театрах и собраниях случаи внезапного заболевания очень часто приводили к трагическим развязкам. В опере несколько сот зрителей, охваченных массовым безумием, вместо того чтобы выразить свой восторг певцам, ринулись на сцену и осыпали их побоями. В Большом Драматическом театре внезапно заболевший артист, который по роли должен был окончить самоубийством, произвел несколько выстрелов в зрительный зал. Револьвер, конечно, не был заряжен, но под влиянием нервного напряжения у многих лиц в публике обнаружилась уже таившаяся в них болезнь. При происшедшем смятении, в котором естественная паника была усилена «противоречивыми» поступками безумцев, было убито несколько десятков человек. Но всего ужаснее было происшествие в Театре фейерверков. Наряд городской милиции, назначенный туда для наблюдения за безопасностью от огня, в припадке болезни поджег сцену и те вуали, за которыми распределяются световые эффекты. От огня и в давке погибло не менее 200 человек. После этого события Орас Дивиль распорядился прекратить все театральные и музыкальные исполнения в городе.

Громадную опасность для жителей представляли грабители и воры, которые при общей дезорганизации находили широкое поле для своей деятельности. Уверяют, что иные из них прибывали в это время в Звездный город из-за границы. Некоторые симулировали безумие, чтобы остаться безнаказанными. Другие не считали нужным даже прикрывать открытого грабежа притворством. Шайки разбойников смело входили в покинутые магазины и уносили более ценные вещи, врывались в частные квартиры и требовали золота, останавливали прохожих и отнимали у них драгоценности, часы, перстни, браслеты. К грабежам присоединились насилия всякого рода и прежде всего насилия над женщинами. Начальник города высылал целые отряды милиции против преступников, но те отваживались вступать в открытые сражения. Были страшные

случаи, когда среди грабителей или среди милиционеров внезапно оказывались заболевшие «противоречием», обращавшие оружие против своих товарищей. Арестованных грабителей Начальник сначала высылал из города. Но граждане освобождали их из тюремных вагонов, чтобы занять их место. Тогда Начальник принужден был приговаривать уличенных разбойников и насильников к смерти. Так, после почти трехвекового перерыва была возобновлена на земле открытая смертная казнь.

В июне в городе стала сказываться нужда в предметах первой необходимости. Недоставало жизненных припасов, недоставало медикаментов. Подвоз по железной дороге начал сокращаться, в городе же почти прекратились всякие производства. Дивиль организовал городские хлебопекарни и раздачу хлеба и мяса всем жителям. В городе были устроены общественные столовые по образцу существовавших на заводах. Но невозможно было найти достаточного числа работающих для них. Добровольцы-служащие трудились до изнеможения, но число их уменьшалось. Городские крематории пылали круглые сутки, но число мертвых тел в покойницких не убывало, а возрастало. Начали находить трупы на улицах и в частных домах. Городские центральные предприятия, по телеграфу, телефону, освещению, водопроводу, канализации, обслуживались все меньшим и меньшим числом лиц. Удивительно, как Дивиль успевал всюду. Он за всем следил, всем руководил. По его сообщениям можно подумать, что он не знал отдыха. И все спасшиеся после катастрофы свидетельствуют единогласно, что его деятельность была выше всякой похвалы.

В середине июня стал чувствоваться недостаток служащих на железных дорогах. Не было машинистов и кондукторов, чтобы обслуживать поезда, 17 июня произошло первое крушение на Юго-Западной линии, причиной которого было заболевание машиниста «противоречием». В припадке болезни машинист бросил весь поезд с пятисаженной высоты на ледяное поле. Почти все ехавшие были убиты или искалечены. Известие об этом, доставленное в город со следующим поездом, было подобно удару грома.Тотчас был отправлен санитарный поезд. Он привез трупы и изувечен-

ные полуживые тела. Но к вечеру того же дня распространилась весть, что аналогичная катастрофа разразилась и на Первой линии. Два железнодорожных пути, соединяющих Звездный город с миром, оказались испорченными. Были посланы и из города и из Северного порта отряды для исправления путей, но работа в тех странах почти невозможна в зимние месяцы. Эти две катастрофы были лишь образцами для следующих. Чем с большей тревогой брались машинисты за свое дело, тем вернее, в болезненном припадке, они повторяли проступок своих предшественников. Именно потому, что они *боялись*, как бы не погубить поезд, они губили его. За пять дней от 18 по 22 июня семь поездов, переполненных людьми, было сброшено в пропасть. Тысячи людей нашли себе смерть от ушибов и голода в снежных равнинах. Только у очень немногих достало сил вернуться в город. Вместе с тем все шесть магистралей, связывающих Звездный город с миром, оказались испорченными. Население города, доходившее в то время до 600 000 человек, оказалось отрезанным от всего человечества. Некоторое время их связывала только телеграфная нить.

24 июня остановилось движение по городскому метрополитену ввиду недостатка служащих, 26 июня была прекращена служба на городском телефоне. 27 июня были закрыты все аптеки, кроме одной центральной. 1 июля Начальник издал приказ всем жителям переселиться в Центральную часть города, совершенно покинув периферии, чтобы облегчить поддержание порядка, распределение припасов и врачебную помощь. Люди покидали свои квартиры и поселялись в чужих, оставленных владельцами. Чувство собственности исчезло. Никому не жаль было бросить свое, никому не странно было пользоваться чужим. Впрочем, находились еще мародеры и разбойники, которых скорее можно было признать психопатами. Они еще продолжали грабить, и в настоящее время в пустынных залах обезлюдевших домов открывают целые клады золота и драгоценностей, около которых лежит полусгнивший труп грабителя.

Замечательно, однако, что при всеобщей гибели жизнь еще сохраняла свои прежние формы. Еще находились торговцы, которые открывали магазины, прода-

вая — почему-то по неимоверным ценам — уцелевшие товары: лакомства, цветы, книги, оружие... Покупатели, не жалея, бросали ненужное золото, а скряги-купцы прятали его неизвестно зачем. Еще существовали тайные притоны — карт, вина и разврата, — куда убегали несчастные люди, чтобы забыть ужасную действительность. Больные смешивались там со здоровыми, и никто не вел хроники ужасных сцен, происходивших там. Еще выходили две-три газеты, издатели которых пытались сохранить значение литературного слова в общем разгроме. Номера этих газет, уже в настоящее время перепродающиеся в десять и двадцать раз дороже настоящей своей стоимости, должны стать величайшими библиографическими редкостями. В этих столбцах текста, написанных среди господствующего безумия и набранных полусумасшедшими наборщиками, — живое и страшное отражение всего, что переживал несчастный город. Находились репортеры, которые сообщали «городские происшествия», писатели, которые горячо обсуждали положение дел, и даже фельетонисты, которые пытались забавлять в дни трагизма. А телеграммы, приходившие из других стран, говорившие об истинной, здоровой жизни, должны были наполнять отчаянием души читателей, обреченных на гибель.

Делались безнадежные попытки спастись. В начале июля громадная толпа мужчин, женщин и детей, руководимая неким Джоном Дью, решилась идти пешком из города в ближайшее населенное место, Лёндонтоун. Дивиль понимал безумие их попытки, но не мог остановить их и сам снабдил теплой одеждой и съестными припасами. Вся эта толпа, около 2000 человек, заблудилась и погибла в снежных полях полярной страны, среди черной, шесть месяцев не рассветающей ночи. Некто Уайтинг начал проповедовать иное, более героическое средство. Он предлагал умертвить *всех* больных, полагая, что после этого эпидемия прекратится. У него нашлось немало последователей, да, впрочем, в те темные дни самое безумное, самое бесчеловечное предложение, сулящее избавление, нашло бы сторонников. Уайтинг и его друзья рыскали по всему городу, врывались во все дома и истребляли больных. В больницах они совершали массовые избиения. В исступлении убивали и тех, кого только можно было заподозрить, что

он не совсем здоров. К идейным убийцам присоединились безумные и грабители. Весь город стал ареной битв. В эти трудные дни Орас Дивиль собрал своих сотрудников в дружину, одушевил их и лично повел на борьбу со сторонниками Уайтинга. Несколько суток продолжалось преследование. Сотни человек пали с той и с другой стороны. Наконец, был захвачен сам Уайтинг. Он оказался в последней стадии mania contradicens, и его пришлось вести не на казнь, а в больницу, где он вскоре и скончался.

8 июля городу был нанесен один из самых страшных ударов. Лица, наблюдавшие за деятельностью центральной электрической станции, в припадке болезни поломали все машины. Электрический свет прекратился, и весь город, все улицы, все частные жилища погрузились в абсолютный мрак. Так как в городе не пользовались никаким другим освещением и никаким другим отоплением, кроме электричества, то все жители оказались в совершенно беспомощном положении. Дивиль предвидел такую опасность. Им были заготовлены склады смоляных факелов и топлива. Везде на улицах были зажжены костры. Жителям факелы раздавались тысячами. Но эти скудные светочи не могли озарить гигантских перспектив Звездного города, тянувшихся на десятки километров прямыми линиями, и грозной высоты тридцатиэтажных зданий. С наступлением мрака пала последняя дисциплина в городе. Ужас и безумие окончательно овладели душами. Здоровые перестали отличаться от больных. Началась страшная оргия отчаявшихся людей.

С поразительной быстротой обнаружилось во всех падение нравственного чувства. Культурность, словно тонкая кора, наросшая за тысячелетия, спала с этих людей, и в них обнажился дикий человек, человек-зверь, каким он, бывало, рыскал по девственной земле. Утратилось всякое понятие о праве, признавалась только сила. Для женщин единственным законом стала жажда наслаждений. Самые скромные матери семейства вели себя как проститутки, по доброй воле переходя из рук в руки и говоря непристойным языком домов терпимости. Девушки бегали по улицам, вызывая, кто желает воспользоваться их невинностью, уводили своего избранника в ближайшую дверь и отдавались ему на не-

известно чьей постели. Пьяницы устраивали пиры в разоренных погребах, не стесняясь тем, что среди них валялись неубранные трупы. Все это постоянно осложнялось припадками господствующей болезни. Жалко было положение детей, брошенных родителями на произвол судьбы. Одних насиловали гнусные развратники, других подвергали пыткам поклонники садизма, которых внезапно нашлось значительное число. Дети умирали от голода в своих детских, от стыда и страданий после насилий; их убивали нарочно и нечаянно. Утверждают, что нашлись изверги, ловившие детей, чтобы насытить их мясом свои проснувшиеся людоедские инстинкты.

В этот последний период трагедии Орас Дивиль не мог, конечно, помочь всему населению. Но он устроил в здании Ратуши приют для всех сохранивших разум. Входы в здание были забаррикадированы и постоянно охранялись стражей. Внутри были заготовлены запасы пищи и воды для 3000 человек на сорок дней. Но с Дивилем было всего 1800 человек мужчин и женщин. Разумеется, в городе были и еще лица с непомраченным сознанием, но они не знали о приюте Дивиля и таились по домам. Многие не решались выходить на улицу, и теперь в некоторых комнатах находят трупы людей, умерших в одиночестве от голода. Замечательно, что среди запершихся в Ратуше было очень мало случаев заболевания «противоречием». Дивиль умел поддерживать дисциплину в своей небольшой общине. До последнего дня он вел журнал всего происходящего, и этот журнал вместе с телеграммами Дивиля служит лучшим источником наших сведений о катастрофе. Журнал этот найден в тайном шкафу Ратуши, где хранились особо ценные документы. Последняя запись относится к 20 июля. Дивиль сообщает в ней, что обезумевшая толпа начала штурм Ратуши и что он принужден отбивать нападение залпами из револьверов. «На что я надеюсь,— пишет Дивиль,— не знаю. Помощи раньше весны ждать невозможно. До весны прожить с теми запасами, какие в моем распоряжении, невозможно. Но я до конца исполню мой долг». Это последние слова Дивиля. Благородные слова!

Надо полагать, что 21 июля толпа взяла Ратушу приступом и что защитники ее были перебиты или рассе-

ялись. Тело Дивиля пока не разыскано. Сколько-нибудь достоверных сообщений о том, что происходило в городе после 21 июля, у нас нет. По тем следам, какие находят теперь при расчистке города, надо полагать, что анархия достигла последних пределов. Можно представить себе полутемные улицы, озаренные заревом костров, сложенных из мебели и из книг. Огонь добывали ударами кремня о железо. Около костров дико веселились толпы сумасшедших и пьяных. Общая чаша ходила кругом. Пили мужчины и женщины. Тут же совершались сцены скотского сладострастия. Какие-то темные, атавистические чувства оживали в душах этих городских обитателей, и, полунагие, немытые, нечесаные, они плясали хороводами пляски своих отдаленных пращуров, современников пещерных медведей, и пели те же дикие песни, как орды, нападавшие с каменными топорами на мамонта. С песнями, с бессвязными речами, с идиотским хохотом сливались выклики безумия больных, которые теряли способность выражать в словах даже свои бредовые грезы, и стоны умирающих, корчившихся тут же, среди разлагающихся трупов. Иногда пляски сменялись драками — за бочку вина, за красивую женщину или просто без повода, в припадке сумасшествия, толкавшего на бессмысленные, противоречивые поступки. Бежать было некуда: везде были те же сцены ужаса, везде были оргии, битвы, зверское веселье и зверская злоба — или абсолютная тьма, которая казалась еще более страшной, еще более нестерпимой потрясенному воображению.

В эти дни Звездный город был громадным черным ящиком, где несколько тысяч еще живых человекоподобных существ были закинуты в смрад сотен тысяч гниющих трупов, где среди живых уже не было ни одного, кто сознавал свое положение. Это был город безумных, гигантский дом сумасшедших, величайший и отвратительнейший Бедлам, какой когда-либо видела земля. И эти сумасшедшие истребляли друг друга, убивая кинжалами, перегрызая горло, умирали от безумия, умирали от ужаса, умирали от голода и от всех болезней, которые царствовали в зараженном воздухе.

Само собой разумеется, что правительство Республики не оставалось равнодушным зрителем жестокого бедствия, постигшего столицу. Но очень скоро пришлось отказаться от всякой надежды оказать помощь. Врачи, сестры милосердия, военные части, служащие всякого рода решительно отказывались ехать в Звездный город. После прекращения рейсов электрических дорог прямая связь с городом утратилась, так как суровость местного климата не позволяет иных путей сообщения. К тому же все внимание правительства скоро обратилось на случаи заболевания «противоречием», которые стали обнаруживаться в других городах Республики. В некоторых из них болезнь тоже грозила принять эпидемический характер и начиналась общественная паника, напоминавшая события в Звездном городе. Это повело к эмиграции жителей изо всех населенных пунктов Республики. Работы на всех заводах были остановлены, и вся промышленная жизнь страны замерла. Однако благодаря решительным мерам, принятым вовремя, в других городах эпидемию удалось остановить, и нигде она не достигла тех размеров, как в столице.

Известно, с каким тревожным вниманием весь мир следил за несчастьями молодой Республики. Вначале, когда никто не ожидал, до каких неимоверных размеров разрастется бедствие, господствующим чувством было любопытство. Выдающиеся газеты всех стран (в том числе и наш «Северо-Европейский Вечерний Вестник») отправили специальных корреспондентов в Звездный город — сообщать о ходе эпидемии. Многие из этих храбрых рыцарей пера сделались жертвой своего профессионального долга. Когда же стали приходить вести угрожающего характера, правительства различных государств и частные общества предложили свои услуги правительству Республики. Одни отправили свои войска, другие сформировали кадры врачей, третьи внесли денежные пожертвования, но события шли с такой стремительностью, что большая часть этих начинаний не могла быть исполнена. После прекращения железнодорожного сообщения со Звездным городом единственными сведениями о жизни в нем были телеграммы Начальника. Эти телеграммы немедленно рассылались во все концы земли и расходились в миллионах экземпляров. После поломки электрических

машин телеграф действовал еще несколько дней, так как на станции были заряженные аккумуляторы. Точная причина, почему телеграфное сообщение совершенно прекратилось, неизвестна; может быть, были испорчены аппараты. Последняя телеграмма Ораса Дивиля помечена 27 июня. С этого дня в течение почти полутора месяцев все человечество оставалось без вестей из столицы Республики.

В последних числах августа до Звездного города достиг на своей летательной машине аэронавт Томас Билли. Он подобрал на крыше города двух человек, давно лишенных рассудка и полумертвых от стужи и голода. Через вентиляторы Билли видел, что улицы погружены в абсолютный мрак, и слышал дикие крики, показывавшие, что в городе есть еще живые существа. В самый город Билли не решился спуститься. К началу сентября удалось восстановить одну линию электрической железной дороги до станции Лиссис, в ста пяти километрах от города. Отряд хорошо вооруженных людей, снабженных припасами и средствами для оказания первой помощи, вошел в город через Северо-Западные ворота. Этот отряд, однако, не мог проникнуть дальше первых кварталов вследствие страшного смрада, стоявшего в воздухе. Пришлось подвигаться шаг за шагом, очищая улицы от трупов, оздоравливая воздух искусственными средствами. Все люди, которых встречали в городе живыми, были невменяемы. Они походили на диких животных по своей свирепости, и их приходилось захватывать силой. Наконец, к середине сентября удалось организовать правильное сообщение со Звездным городом и начать систематическое восстановление его.

В настоящее время большая часть города уже очищена от трупов. Электрическое освещение и отопление восстановлено. Остаются незанятыми лишь американские кварталы, но полагают, что там нет живых существ. Всего спасено до 10000 человек, но большая часть их является людьми, неизлечимо расстроенными психически. Те, которые более или менее оправляются, очень неохотно говорят о пережитом ими в бедственные дни. К тому же рассказы их полны противоречий и очень часто не подтверждаются документальными данными. В различных местах разысканы номера газет, выходивших в городе до конца июля. Последний

из найденных до сих пор, помеченный 22 июля, содержит в себе сообщение о смерти Ораса Дивиля и призыв восстановить убежище в Ратуше. Правда, найден еще листок, помеченный августом, но содержание его таково, что необходимо признать его автора (который, вероятно, лично и набирал свой бред) решительно невменяемым. В Ратуше открыт дневник Ораса Дивиля, дающий последовательную летопись событий за три недели, от 28 июня по 20 июля. По страшным находкам на улицах и внутри домов можно составить себе яркое представление о неистовствах, совершавшихся в городе за последние дни. Всюду страшно изуродованные трупы: люди, умершие голодной смертью, люди, задушенные и замученные, люди, убитые безумцами в припадке исступления, и, наконец, полуобглоданные тела. Трупы находят в самых неожиданных местах: в тоннелях метрополитена, в канализационных трубах, в разных чуланах, в котлах — везде потерявшие рассудок жители искали спасения от окружающего ужаса. Внутренности почти всех домов разгромлены, и добро, оказавшееся ненужным грабителям, запрятано в потайные комнаты и подземные помещения.

Несомненно, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Звездный город станет вновь обитаемым. Теперь же он почти пуст. В городе, который может вместить до 3000000 жителей, живет около 30000 рабочих, занятых расчисткой улиц и домов. Впрочем, прибыли и некоторые из прежних жителей, чтобы разыскивать тела близких и собирать остатки истребленного и расхищенного имущества. Приехало и несколько туристов, привлеченных исключительным зрелищем опустошенного города. Два предпринимателя уже открыли две гостиницы, торгующие довольно бойко. В скором времени открывается и небольшой кафешантан, труппа для которого уже собрана.

«Северо-Европейский Вечерний Вестник», в свою очередь, отправил в город нового корреспондента, г. Андрю Эвальда, и намерен в подробных сообщениях знакомить своих читателей со всеми новыми открытиями, которые будут сделаны в несчастной столице Республики Южного Креста.

[1904—1905]

Петр ДРАВЕРТ

Повесть о мамонте и ледниковом человеке

Совершенно фантастическая история

ЧАСТЬ I

На Крайнем Севере

ГЛАВА I

Летом 19... года ламут Джергили, расставляя капканы на песцов по берегу речки Абагы-юрях, впадающей в Ледовитый океан, наткнулся на труп мамонта. От своих сородичей он слышал, что за это может быть награда — большой серебряный рубль на красной ленте,— и потому, вернувшись домой, сообщил о находке Усть-Ямскому уряднику. Урядник доложил заседателю. Заседатель отправил рапорт Верхоямскому капитан-исправнику, а капитан-исправник послал донесение Начальнику Ленской области. А так как от места обнаружения мамонта до резиденции высшего начальства было около 3000 верст расстояния, то извещение пришло в областной город зимой, приблизительно к новому году.

Начальник края немедленно по телеграфу известил о редкой находке Столичную академию Естественных и Сверхъестественных Наук, откуда через три дня пришел ответ, что организуется экспедиция, а пока — до ее приезда — необходимо принять меры к охране трупа. Начальник области задумался, кого бы ему послать на Север. Простым сторожем нельзя ограничиться. Кто знает, может быть, мамонт вымыт водой из вечной мерзлоты берега, и в таком случае его угрожает при весеннем разливе унести рекой. Тогда еще до наступления весны придется извлечь его на безопасное место, а такую работу нельзя поручать за глаза туземцам. Чиновников неудобно было отвлекать от исполнения их

прямых обязанностей, а местная интеллигенция в это время воодушевленно занималась постановкой спектаклей на сербском, болгарском и других наречиях, которые усиленно старались привить населению.

Наконец подходящий человек нашелся в лице молодого натуралиста Виктора Антрацитова. Это был государственный ссыльный, который в долгие и томительные часы вынужденного досуга занимался кой-какими исследованиями и писал диссертацию на тему «О влиянии низких температур на степень удобоваримости малосъедобных предметов». Конечно, соответствующие опыты он производил над собой, а отчасти и над своей женой, которая самоотверженно предложила свой желудок для научных экспериментов. Это было легче, тем более, что предметы съедобные и удобоваримые редко имели случай попадать в домашний обиход супругов.

Когда Начальник края предложил Виктору отправиться на Север для охраны мамонта, тот с удовольствием согласился, причем в его решении играли роль два фактора — идеологический и экономический. С одной стороны, улыбалась возможность посетить малознакомые, интересные страны, с другой — обеспечивалась семья. Было хорошо во всех отношениях. Диссертацию отложили до черных дней, и Виктор стал готовиться в дорогу. Для услуг ему прикомандировали казака, добродушно-хитрая физиономия которого носила отпечаток слияния двух племен — монголо-тюркского и славянского. Он был вполне грамотен, читал, писал; исколесил область по всем направлениям и ездил однажды в Иркутск. Начальник края выдал Виктору деньги и охранный лист, а местная полицейская префектура снабдила казака секретной инструкцией: по ней он должен был заботиться 1) о том, чтобы вверенный его попечению натуралист не сбежал и 2) не занимался зловредной пропагандой и агитацией...

Скоро сборы были кончены, Виктор простился с женой и товарищами, и маленькая экспедиция выехала из города Ленска.

До Алдана ехали на лошадях, отсюда через Верхоямск до Усть-Ямска на оленях, а далее разрешалось де-

лать выбор между оленями и собаками... Мы не станем описывать первую часть путешествия, а желающих ознакомиться с его условиями отсылаем к запискам барона Майделя, где читатель найдет описание перевала через Верхоянский хребет и много других не менее интересных вещей[1]. Скажем только, что станций — в примитивном, конечно, смысле этого слова — было немного, расстояния между ними достигали порой 230 верст, а в промежутках находились так называемые «поварни», где путники останавливались для отдыха и кормежки оленей. Поварня — это низенькое строение, кое-как сооруженное из самого разнообразного материала: дерева, камней, моха и снега. Необходимую ее принадлежность составляют камелек — род камина и ороны — нары. Олени освобождаются от упряжки и пускаются на волю, где без посторонней помощи вырывают себе пищу из-под снега, а путешественник входит в поварню. Это учреждение необитаемо, и желающий согреться, закусить и отдохнуть должен сначала нарубить дров и развести огонь в камельке, ибо температура помещения одинакова с температурой наружного воздуха. Пока труба прогревается, дым из нее нейдет и заполняет собой все пространство под потолком. В это время рекомендуется вырубить на близлежащем озере или тарыне[2] кусок льда или нагрести снега, чтобы приготовить воду для чая. После этого вы входите в поварню и, наслаждаясь негой теплоты у ярко пылающих дров, можете заняться вычислением, какое количество больших или малых калорий потребно для обращения в кипящую воду кусков льда, положенных в чайник и котелок. Хлеб и другие съестные припасы тоже кладутся к огню, ибо дорогой они превращаются в камень; по обыкновению хлеба не берут, а возят с собой муку. Разболтав ее в воде до надлежащей консистенции, полученную массу жарят на сковородке, после чего получаются удивительно вкусные оладьи. Заку-

[1] Путешествие по северо-восточной части Якутской области в 1868—1870 годах барона Гергарда Майделя. Перевод с немецкого. Приложение к 74-му тому. Зап. Имп. Ак. Н. Спб., 1894, № 3.

[2] Тарын — покров из слоистого льда, возникающий зимой на дне долин рек (главным образом в Восточной Сибири).

сив, путешественники ложатся спать, укутавшись с головой в заячьи одеяла. Это необходимо, так как температура возвращается к первоначальному состоянию, едва только сгорят дрова. Утром пьют чай, запрягают оленей — и снова в путь... Так поступали Виктор и казак — и благополучно доехали до Усть-Ямска.

ГЛАВА II

Усть-Ямск — самый северный из населенных пунктов Ленской области[1]. Отсюда до Абагы-юрях оставалось 400 верст по направлению к С.-В. Виктор, пользуясь кратковременной задержкой, отдохнул, нанял 4 рабочих ламутов, купил две ровдужные урасы и приводил в порядок путевые записки. Казак же принялся за составление доклада начальству о поведении «поднадзорного» натуралиста.

Этот акт ничуть не знаменовал собою отрицательного и враждебного отношения его к Виктору. Наоборот, дорогой наши путешественники сблизились и даже подружились; лишения в полярных странах часто сглаживают классовые и интеллектуальные перегородки; на угрюмом лоне северной природы как-то не приходит в голову ощущение разницы исповедуемых политических убеждений. Здесь во всем могуществе проявляет себя высокий инстинкт общественности и вытекающие из него разнообразные формы содружества и взаимной поддержки в борьбе с суровыми естественными силами... Казак писал свое донесение потому, что это было ему приказано, а сила дисциплины порой выступает ярче, чем сила внутреннего этического уклада, ибо первая никогда не входит в сферу сознания. Власть гипноза колоссальна...

«Г-н Антрацитов,— писал между прочим казак,— вел себя дорогой почти всегда мирно и по закону, и хотя обзывал меня несколько раз забастовочным словом «товарищ», то — надо полагать — по обмолвке. С усть-ямскими жителями преступных разговоров не ведет, но про себя читает недозволенные книги; одну

[1] Шаронов. Устья Яны. Казачье. Усть-Янск и его окрестности. «Сибирь», 1884. №№ 9, 10, 40 и 42.

из них я осмотрел, и она оказалась сочинением какого-то иностранца, а какого, не сказано. В ней, между прочим, говорится, как делать земляные трясения и потопы, а также о разных учениях запрещенных партий, например «приогидатоморфизме» и др.»[1].

— Ну, вот и кончил,— сказал, написав, казак,— посмотрите, барин, хорошо ли?

Виктор посмотрел и сказал, что хорошо.

Через три дня они выехали к Абагы-юрях. Путь лежал по голой безлесной тундре, где лишь чахлые кусты тальника подымались над необозримой снежной поляной. Бледное солнце только на два часа показывало свой лик, зато огненные пальцы, пурпурно-лиловые складки и красочные дуги северного сияния проявлялись во всей красе. На остановках наши путешественники разбивали свои две урасы, прочно укрепляли их, чтобы отдохнуть и ехать далее. Прутьев тальника едва хватало на то, чтобы вскипятить чай...

Наконец, желанная цель была достигнута. Скованная льдом Абагы-юрях представилась глазам Виктора и его утомленных спутников: довольно высокие берега реки слагались, где это было видно, постплиоценовыми отложениями, и стройные лиственницы, во множестве растущие здесь и там, оживляли пейзаж. Как известно, по берегам рек полярная граница распространения лесов отодвигается к северу.

Проводник указал место, в окрестностях которого должен находиться труп мамонта, и Виктор отдал приказ остановиться. Подкрепившись пищей и отдохнув, рабочие принялись рубить деревья, чтобы соорудить несколько юрт для себя и имеющей прибыть из столицы экспедиции. Мерзлое дерево с трудом поддавалось клинообразному железу, порой искры летели от топоров[2], но к вечеру благодаря дружным усилиям масса бревен лежала уже на снегу.

На другой день Виктор с Джергили и двумя ламутами отправились осмотреть мамонта. Но когда раскопали снег у высокого шеста, стоящего как отметка, то

---

[1] Очевидно, казаку попалась в руки книга профессора Иностранцева «Курс геологии».

[2] Аналогичное явление см. у Маака: «Вилюйский округ», ч. II. Спб., 1886.

Виктор чуть не сошел с ума, а Джергили взвыл не хуже полярного волка. Мамонта не было; дикие звери, по-видимому, еще до зимы растаскали его по частям, и только несколько крупных костей с уцелевшими кое-где сухожилиями кусков кожи сиротливо лежали под разрытым снегом. Один хвост сохранился в неприкосновенности и, изогнувшись наподобие вопросительного знака, как бы недоумевал, что ему теперь делать. Даже бивней не было; какой-то проезжавший здесь промышленник вырубил их и увез с собой на память.

Взяв под мышку хвост, Виктор грустно направился в лагерь; невеселые мысли бродили у него в голове. Какая потеря для науки! Сколько энергии пропало даром и еще будет затрачено, ведь нельзя уже остановить экспедицию, которая, вероятно, выехала теперь из Ленска... Что, если бы к услугам его был беспроволочный телеграф?.. А долгие дни прозябания в этой глуши, отягченные созерцанием рыжего хвоста?..

Но предаваться унынию было по меньшей мере бесполезно, и, чтобы скоротать время, Виктор принял деятельное участие в постройке. Через несколько дней три юрты красиво выделялись на фоне опушенных инеем лиственниц.

ГЛАВА III

Время шло. Дни удлинялись медленно, но упорно. Пользуясь стоящими холодами, наш натуралист решил заняться получением крио- и кристаллогидратов из растворов различных солей, которые он извлек из походной аптечки. К сожалению, приходилось ограничиваться только созерцанием красивых форм получаемых кристаллов да записью t° и весовых отношений берущихся веществ. При этом он вспоминал свою Alma mater, ее музеи и кабинеты и думал, как рад был бы старик профессор, если бы хотя одна комната его лаборатории имела бы температуру, равную —50° С. Но пока еще не принято строить университеты под 73° северной широты... Потом Виктор увлекся охотой, а казак производил начатые им метеорологические наблюдения; он вел свою работу точно и аккуратно, что впоследствии было по достоинству оценено Иркутской

Следующие дни Виктор посвятил тщательному отпрепарированию трупа от окружающей его породы. Это была трудная, кропотливая работа, так как приходилось [illegible] не только це-

Метеорологической Обсерваторией. Ламуты спали большую часть времени.

Однажды, когда Виктор возвращался с довольно удачной охоты (в его сумке лежало около 5 мышей и 1 лемминг), он увидел в разрезе берега торчащие наружу чьи-то голые волосатые ноги. Невероятное предположение осенило его мозг. Вся кровь прихлынула к голове, холодный ужас перед величественной загадкой сковал его члены. Придя в себя, он бросился к обнажению и, сдерживая внутреннее волнение, принялся внимательно читать раскрытые страницы гигантской книги, где бесстрастное Время отпечатало и сохранило сказание о начале четвертичного периода в истории Земли. Сомнения не было — данный слой принадлежал к ледниковой эпохе, и перед Виктором были ноги трупа (in situ!) первобытного человека, современника мамонта. Неописуемый восторг овладел душой молодого натуралиста. Да будет благословен случай, приведший его в эту страну! Да будет благословен камень, споткнувшись о который он обратил глаза на бесценное отныне место в береговом разрезе Абагы-юрях.

Эту ночь Виктор совершенно не спал; а на другой день его рабочие с раннего утра приступили к раскопкам с целью изолировать часть вечно мерзлой почвы, содержащую в себе необыкновенные останки, от общей массы берега. Наконец, большая параллелепипедальная глыба была отделена со всевозможными предосторожностями, положена на две соединенные нарты, — и легконогие олени помчались к жилищу, пугливо озираясь на свою странную кладь. Их острое обоняние говорило им больше, чем могли бы предполагать управлявшие ими люди...

Следующие дни Виктор посвятил тщательному отпрепариванию трупа от окружающей его породы. Это была трудная, кропотливая работа, так как приходилось щадить не только целость кожи, но и по возможности сохранить все волосы на ней. На трупе оказалось подобие одежды из шкуры мускусного быка, закрывшей случайно голову человека, что отчасти облегчило отделение посторонних частей... Кончен утомительный, но приятный труд. Вздох восхищения и радости вырвался из груди Виктора, когда он взглянул на лежа-

щее перед ним тело. Потом оно было положено на высокий, специально для него построенный арангас (платформа на четырех столбах) и заботливо укрыто. Собаки подняли ужасный вой, когда убедились, что им не добраться до трупа. Они очень мешали во время препарирования: прыгали, нюхали, облизывались, видимо, думая полакомиться мясом двуногого неизвестного им зверя, так что постоянно приходилось их отгонять...

— Воля ваша, барин,— говорил казак Виктору,— а только беспременно надо донести по начальству: как-никак, а все мертвое тело.

— Друг мой,— отвечал ему Виктор,— начальство тут ни при чем. Этот человек жил и умер в то время, когда никаких властей не было на земле, и за смерть его уже никто не может ответить, ведь ему около пятидесяти тысяч лет.

— Шутить изволите,— сказал казак,— как это можно, чтобы не было тогда начальства, оно испокон века ведется на земле. Нет, надо доложить; кстати, ламуты наши на днях собираются в Усть-Ямск, боязно им здесь с покойником.

Через три недели Верхоямский капитан-исправник получил следующую бумагу:

«Честь имею донести Вашему Вы-дию, что в пределах управляемого Вами округа, на берегу р. Абагы-юрях откопано мертвое тело неизвестного звания. Знаков насилия на оном не замечено, а принадлежит оно человеку нехристианской веры, о чем заключаю по неимению креста» и т. д.

Капитан-исправник послал распоряжение о доставке трупа для освидетельствования окружным врачом; а через три месяца после этого в «Центральных Столичных Ведомостях» было напечатано объявление:

«На берегу р. Абагы-юрях, впадающей в Ледовитый океан, обнаружено тело неизвестного человека. Всякий, кому известно звание и местожительство покойного, обязан известить немедленно Верхоямскую полицейскую префектуру».

Между тем на место находки мамонта прибыла так долго ожидаемая экспедиция. Едва показались в просветах деревьев олени и нарты с людьми, на крыше юрты взвился флаг, залп ружейных выстрелов огласил окрестности, и собаки подняли невообразимый лай и визг: встреча вышла торжественной.

Виктор представился начальнику экспедиции, который оказался профессором геологии N. В свою очередь, тот познакомил с натуралистом своих спутников. Один — зоолог-препаратор Шамиоль, француз по происхождению, другой — доктор Сабуров из Ленска, два остальные были студенты Коко Загуляев и Серж Лимонадов. Виктор обнялся с доктором, которого хорошо знал в Ленске, и радостно приветствовал гостей из далекой России. Ему передали письма и целый ворох газет.

...Когда улеглось немного волнение встречи и приехавшие утолили свой голод, первым вопросом их было, в каком состоянии находится труп мамонта.

Невозможно описать тот взрыв отчаяния, который последовал за коротким печальным рассказом Виктора. Профессор рвал на себе волосы, доктор потому не рвал, что их у него почти не было, но кричал, что это «провокация»; препаратор жестикулировал так энергично, что вышиб льдину, заменявшую окно, и с уст его слетали только «morbleu», «sacre chien!» и другие маловразумительные слова. Студенты прямо расплакались, да так, что испугавшийся казак бросился их утешать. Со всею нежностью, на какую была способна его суровая душа, он говорил молодым людям, что все в руке божией, что мамонт не приходился им ни отцом, ни братом, что авось, быть может, они найдут еще другого, получше...

Но пока экспедиция в полном составе предается своему горю, мы вкратце ознакомим читателя с ее членами.

Профессор N. был известный не только в России, но и за границей, прекрасный геолог. Его первая крупная работа — диссертация на степень магистра «О форме и размерах дельтидиального отверстия у спирифе-

ров из пермского цехштейна» — считается классической и единственной в своем роде. Он был прямой, стойкий в своих убеждениях человек и пользовался огромной популярностью среди своих слушателей. Любимой фразой его были слова Бокля «храм науки — храм демократии», хотя он не принадлежал ни к одной из существующих партий.

Зоолог был выходец из Франции, откуда эмигрировал в Россию, благодаря перепроизводству ученых на своей прекрасной родине. Экспансивный, горячий, подвижной, как ртуть, он был, однако, чрезвычайно аккуратен и предусмотрителен и, отправляясь в какую-либо экскурсию, брал с собой румяна, белила, помаду для рук и тому подобные вещи. По-русски он совсем не говорил, ибо считал бесполезной тратой времени изучать этот варварский язык, но считал себя знатоком России и писал корреспонденции в «Figaro». Одна из них в свое время наделала шума в Парижском Обществе Антропологии и Культуры. Шамиоль подробно описал процесс зимней спячки мужика. Выходило так, что на зиму русский крестьянин (moujik) забирается на раскаленную добела печку, где лежит вплоть до весны, жуя кожаную перчатку (la roucavitza). Далее следовало описание подобного же занятия у медведя и — на основании сходства в анатомическом строении его подошвы с подошвой мужика — выводилось заключение о близком их родстве.

Доктор Сабуров был старожил города Ленска. Когда-то давно, еще молодым человеком, он попал в область и превосходно здесь акклиматизировался, не утратив ни одной из светлых юношеских сторон своего характера.

Как врач он прославился необыкновенно быстро.

В Колымске, где он начал свою деятельность, до сих пор помнят первый серьезный случай из его практики. Больной, страдавший хроническим туберкулезом почек, без хлороформа перенес операцию, а Сабуров, вооруженный одним якутским ножом, блистательно произвел нефрэктомию. Операционной комнатой служила баня, в качестве ассистента был местный дьячок. Все обошлось благополучно. Через несколько лет Сабуров перебрался в Ленск. Круглый и живой, как мячик, с ясными детскими глазами, он был везде — и всегда

успевал делать самые разнообразные дела. С раннего утра его можно было встретить разъезжающим от одного своего пациента к другому. В полдень он защищал в окружном суде какого-нибудь неудачника. Затем следовали дежурство и прием больных в гражданской лечебнице. Потом мы встречаем его на заседании родительского комитета; немного спустя он доказывает в думе необходимость канализации. А вечером граждане видят доктора в роли Уриеля Акосты в любительской постановке пьесы на крошечной сцене местного клуба. Поздней ночью он писал в своем маленьком кабинете монографию о Верльгофовой болезни, а у ног его лежала большая коричневая собака и думала, когда же отдохнет ее хозяин... У доктора было немало врагов, но он ни к кому не питал злобного и враждебного чувства, он знал всю подноготную города, знал всех обывателей до мозга костей; а все знать, значит все прощать.

Одна слабость была у Сабурова: это — страсть отыскивать провокации. Оттого ли, что лучшая пора его деятельности протекала в те времена, когда приходилось много бороться с дегаевщиной, или от чего иного, только доктору везде чудились провокации. И, надо сказать правду, он раскрывал их удивительно ловко. В то время, когда какой-нибудь пропившийся и скучающий абориген, желая взбудоражить общественную атмосферу, выпускал прокламации за подписью «Карающий Попугай» и полиция сбивалась с ног, отыскивая преступное сообщество, доктор уже знал все подробности дела и, летая по городу, успокаивал встревоженных перспективой обыска обывателей: «Пустяки! Это одна провокация»... Но объем понятия провокации у Сабурова был порою необычайно широк; под это определение подходило иногда всякое неожиданное событие. Рассказывают, что, когда от удара молнии загорелась сторожка на городском выгоне, доктор воскликнул: «Это провокация».

Неизвестно, что заставило его примкнуть к экспедиции, — желание ли отдохнуть, или инстинкт подсказывал ему, что он будет играть крупную роль в необыкновенном событии, — так или иначе, но в настоящее время мы видим доктора на берегу реки Абагы-юрях.

Студенты Коко Загуляев и Серж Лимонадов были питомцы столичного университета. Они состояли в студенческой фракции Союза 17-го октября, науку любили до безумия, но имели к ней такое же отношение, в каком находится кембрийский трилобит к японской хризантеме. В России они носили монокли, но в Сибири пришлось оставить эту привычку, так как охлажденная морозом металлическая оправа обжигала нежную кожу лица, а к тому же зрение было у них прекрасное. Зато, проездом в Ленске, они отдали портному подбить свои студенческие мундиры белым песцовым мехом; выходило тепло и по моде. Сам профессор-геолог точно не знал, как они попали в его распоряжение, но примирился с существующим фактом, видя, насколько безвредны эти юноши...

Таков был ученый персонал экспедиции, снаряженной на Крайний Север Столичной Академией Естественных и Сверхъестественных Наук.

ГЛАВА V

Острый фазис горя у вновь приехавших путешественников миновал. Первыми пришли в себя студенты. Серж Лимонадов, пользуясь тем, что он как бы у себя дома, достал монокль и быстро вскинул его в правый глаз; а Коко Загуляев машинально взял хвост мамонта и начал смахивать им соринки, приставшие к мундиру. Но Шамиоль не преминул заметить, насколько кощунственно такое отношение к объектам науки, и отнял у него злополучный хвост. Доктор уже усмотрел трахоматозные фолликулы на соединительной оболочке нижних век Джергили и приготовлял раствор аргентамина для глазных капель. А профессор, вооружившись цейссовской лупой, внимательно разглядывал доставленные ему Усть-Ямским священником кусочки янтаря с оз. Хрома, ища в них третичных насекомых.

Все, как бы по внутреннему молчаливому соглашению, избегали пока говорить о том, что следует теперь делать...

На другой день утром, когда публика мрачно собралась у стола и, угрюмо пережевывая пищу, запивала ее

чаем, Виктор рассказал о своей находке. Эффект был поразительный. Профессор едва не подавился юколой и сейчас же бросился искать доху; Шамиоль побежал за ним, причем изрыгал страшные клятвы, где брюхо ихтиозавра фигурировало рядом с о. Игнатием Лойолой; доктор завопил «провокация!», но тут же прибавил, что в наш век все возможно; а студенты кинулись обнимать казака и чуть не откусили ему усы.

Через две минуты все находились перед трупом ледникового человека; профессор поднял шкуры, покрывавшие тело, взглянул — и обнажил свою седеющую голову. Только раз в жизни он испытал подобное ощущение; это было в начале его научной карьеры, когда он под величественными сводами Вестминстерского Аббатства впервые остановился перед могилой Дарвина. Все последовали примеру почтенного геолога и, сняв свои шапки, долго стояли в благоговейно-восторженном созерцании.

Доктор первый разрушил торжественность минуты. Нагнувшись к трупу, он тщательно разглядывал все детали, сравнивал цвет кожных покровов в различных частях тела, даже обнюхал его и, наконец, сбегав в юрту, вернулся оттуда с полоской шведской бумаги, пропитанной раствором уксусно-кислого свинца (Plumbum aceticum neutr). Очистив от земли ноздри человека, он всунул в них по кусочку реактивной бумаги[1] и, прождав некоторое время, вытянул ее обратно. Бумажка была по-прежнему бесцветна, что указывало на отсутствие в легких сернистых газов — признаков разложения. Все с недоумением смотрели на доктора, у которого странная складка легла между бровей...

Потом все разом заговорили, какая прекрасная сохранность трупа, какое ценное приобретение, эта находка стоит десяти мамонтов — в какой восторг придут академики; ждали четвероногое, получат двуногое животное, ждали разрезанного на части мамонта, а вместо него цельный, без единой царапинки человек ледниковой эпохи; необходимо теперь же, совершенно обледенив труп, отправить его в Академию, чтобы он дошел туда зимним путем, во избежание порчи от гниения...

[1] Метод д-ра Икара (Icard) из Марселя.

Доктор прервал эти разговоры и предположения категорическим заявлением, что труп надо осторожно оттаять.

— Коллега! — сказал ему профессор. — Это выполнят в Академии перед рассечением. При вскрытии будут присутствовать выдающиеся представители кафедр анатомии человека, сравнительной анатомии, палеонтологии и, как мне кажется, не обойдется и без патологоанатома. Содержимое желудка и кишечника, несомненно, перейдет в распоряжение наших лучших паразитологов и бактериологов... Я полагаю, что в кишечном тракте человека ледниковой эпохи обнаружится флора и фауна...

— Мне в настоящий момент нет никакого дела до ледниковой эпохи, — отвечал доктор, к ужасу присутствующих. — Передо мной просто тело замерзшего человека. Есть основания думать, что он не умирал, и мой долг — подать ему медицинскую помощь.

— Разве это возможно? — вскричал Коко Загуляев. — Вы забываете, как сильно могли измениться за 50000 лет форменные элементы его крови.

— А выкристаллизование под влиянием холода воды из плазмы? — поддержал товарища Серж Лимонадов.

— Дети мои, — сказал доктор, — как жалка была бы наука, если бы она умещалась в одних учебниках! Но для споров по этому предмету у нас еще найдется немало времени. А теперь, — и голос Сабурова зазвучал твердо и неумолимо, — я, как врач, вступаю в свои права, чтобы разбудить в этом теле не угаснувшую в нем жизнь!..

Среди жуткого молчания замерли последние слова доктора. Здесь, в необычайной обстановке, на Крайнем Севере, за лентой Полярного круга в зачарованном сознании исчезала грань между возможным и невозможным, действительность перемешивалась с фантазией. И дерзость безумной идеи ударяла по скрытому желанию чуда, а ожидаемое чудо казалось простым и естественным явлением...

Без прений, единогласно было постановлено передать тело доктору.

Человека перенесли в одну из трех юрт, которую Сабуров выговорил исключительно для своего личного пользования. Затем он попросил товарищей по экспедиции не посещать его до тех пор, пока он не разрешит этого. Все выразили полное согласие и искренне пожелали доктору успеха.

Казак обратился к Виктору за советом, не написать ли ему донесение в Ленск, что доктор занимается воскрешением мертвых.

— Не человеческое это дело,— тоном глубокого убеждения добавил он,— не по чину поступает Сабуров; как бы чего не вышло?..

Но Виктор отговорил казака от его намерения, указав на то, что доктор действует с разрешения начальника экспедиции. Казак несколько успокоился.

Мало-помалу жизнь колонии вступила в нормальное русло, каждый нашел какое-нибудь дело,— и публика не скучала.

Дни прибывали. В полдень глазам было больно смотреть на ослепительно-яркий снег. Солнце значительно дольше оставалось на небе и, казалось, говорило угасавшей зиме: «Погоди, старая колдунья, скоро я разобью твои белые чары...»

Только раз спокойствие членов экспедиции было нарушено. Из Усть-Ямска прибыл урядник с бумагой, предписывающей ему доставить мертвое тело в Верхоямск для судебно-медицинского вскрытия. В это время доктор выглянул из своей юрты и, узнав в чем дело, завопил: «Провокация! Здесь нет никакого мертвого тела». Студенты встревожились и, забыв мирную тактику октябристов, полезли в сундук за своими шпагами, чтобы оказать вооруженное сопротивление (злые языки говорят, что клинки шпаг были из жести); но профессор охладил их пыл и, любезно пригласив урядника закусить и выпить стаканчик коньяка марки President, спокойно объяснил ему, что произошло маленькое недоразумение. Затем он написал капитан-исправнику, что труп перешел в собственность Академии Естественных и Сверхъестественных Наук, которая и принимает на себя все последствия этого дела. Урядник уехал

весьма обрадованный, ибо ему вовсе не хотелось путешествовать в компании с мертвецом.

А Сабуров работал. Мы не можем пока ознакомить читателя с тем, что творилось в юрте доктора. Но думаем, что скоро все будут иметь удовольствие читать новую книгу уважаемого врача, которую он на днях заканчивает к печати; она носит название «О радиоактивности почвенного льда в связи с сохранением в нем древних трупов и тел, а также о новом способе оживления замерзших людей». Прибавим, что Сабурову много пришлось потрудиться, пока он не попал на верную дорогу. Якут, носивший ему пищу в юрту, передавал Джергили, как сильно похудел доктор, как он мало ест и спит...

Однажды, когда вся публика сидела за обеденным столом и Шамиоль откупоривал бутылку хорошего красного вина (был 1-й день Пасхи), в комнату вошел доктор. Он весь сиял торжеством победившего; молнии гордости с быстрыми искрами радости сверкали в его глазах, придавая лицу его какое-то необычайное выражение.

«Таким, вероятно, выглядел Прометей после своего подвига»,— мелькнуло в голове у Виктора.

Доктор взял бутылку, наполнил всем присутствующим стаканы и, подняв свой, сказал:

— Люди XX столетия! Я с помощью науки вернул к жизни ледникового человека... Он теперь спит. Выпьем за его здоровье. Пусть этот сон, первый в его новой жизни, будет ему легким мостом для перехода к нам через пропасть 50 000 лет!

Все с громкими криками вскочили из-за стола и бросились к доктору. Ему жали руки, обнимали, целовали его и наперерыв поздравляли с победой; всякое другое слово — успех, счастье — было бы тут тривиально и неуместно.

Профессор, как глава экспедиции, обратился к доктору:

— Досточтимый коллега! Вы своим проникновенным взором усмотрели огонек жизни, теплившийся в долговечном ледяном безмолвии. Вы своей сильной рукой исторгли из когтей Смерти ее добычу и возвратили Земле и Солнцу первобытного человека. Вы осязательно соединили нас с отдаленной ледниковой эпо-

хой в лице высшего представителя ее органического мира. Приветствую вас и поздравляю!

Дружное «ура» буквально потрясло стены юрты. Доктор хотел что-то сказать, но вдруг побледнел, покачнулся и упал без чувств на руки товарищей. Бессонные ночи, усиленная мозговая деятельность и страшное нервное напряжение последних дней сказались на организме престарелого врача и вызвали глубокий обморок. Все приняли живейшее участие в уходе за доктором, и к вечеру он, уже пришедший в себя и оправившийся, пригласил желающих взглянуть на ледникового человека.

ГЛАВА VII

В гробовом молчании, тихо вошли члены экспедиции в запретную до сего дня юрту. Окна ее были завешены зеленой материей, через которую слабо пробивался лунный свет. Доктор подбросил дров в камин и зажег свечу. Испуганные тени беспокойно задвигались, разбежались и притаились в темных углах комнаты. Прежде всего бросились в глаза большой стол и две полки, занятые разнообразной химической посудой: среди приборов выделялись румкорфова спираль, радиоскоп и еще несколько предметов неизвестного назначения. В наиболее удаленной от камина части на широком ложе, устланном оленьими шкурами, лежал Человек. Он был наг, но мягкие рыжеватые волосы, покрывавшие почти все его тело, производили впечатление оригинальной ткани и не давали у наблюдателя развиваться ощущению наготы. Лицо его, почти до глаз заросшее бородой, было бы красиво, если бы не узкий лоб и несколько выдающаяся вперед нижняя челюсть. Впрочем, не видно было еще глаз, которые могли бы смягчить грубое выражение физиономии... Человек все еще спал. Из ноздрей вылетало дыхание жизни. Широкая грудь мерно подымалась и опускалась.

Со странным чувством глядели гости доктора на своего предка. Теперь, когда они видели и могли осязать его, им меньше верилось в реальность происходя-

щего, чем несколько часов тому назад — в момент торжествующего заявления Сабурова.

Это была какая-то фантасмагория...

Спустя несколько минут доктор знаком руки попросил товарищей удалиться. Все медленно, один за другим, вышли, а доктор, подвинув табурет, сел около спящего Человека.

Он ждал...

Конец 1-й части

Якутск, 1909 г.

Александр КУПРИН

Жидкое солнце

Я, Генри Диббль, приступаю к правдивому изложению некоторых важных и необыкновенных событий моей жизни с большой осторожностью и вполне естественной робостью. Многое из того, что я нахожу необходимым записать, без сомнения вызовет у будущего читателя моих записок удивление, сомнение и даже недоверие. К этому я уже давно приготовился и нахожу заранее такое отношение к моим воспоминаниям вполне возможным и логичным. Да и надо признаться,— мне самому часто кажется, что годы, проведенные мною частью в путешествиях, частью на высоте шести тысяч футов на вершине вулкана Каямбэ в южноамериканской республике Эквадор, не прошли в реальной действительной жизни, а были лишь странным фантастическим сном или бредом мгновенного, потрясающего безумия.

Но отсутствие четырех пальцев на левой руке, но периодически повторяющиеся головные боли и то поражение зрения, которое называется в простонародье «куриной слепотой», каждый раз своей фактической неоспоримостью вновь заставляют меня верить в то, что я был на самом деле свидетелем самых удивительных вещей в мире. Наконец вовсе уж не бред, и не сон, и не заблуждение те четыреста фунтов стерлингов, что я получаю аккуратно по три раза в год из конторы «Э. Найдстон и сын», Реджент-стрит, 451. Это — пенсия, которую мне великодушно оставил мой учитель и патрон, один из величайших людей во всей

человеческой истории, погибший при страшном крушении мексиканской шкуны «Гонзалес».

Я окончил математический факультет по отделу физики и химии в Королевском университете в тысяча... Вот, кстати, и опять новое и всегдашнее напоминание о пережитых мною приключениях. Кроме того, что каким-то блоком или цепью мне отхватило во время катастрофы пальцы левой руки, кроме поражения зрительных нервов и прочего, я, падая в море, получил, не знаю, в какой момент и каким образом, жестокий удар в правую верхнюю часть темени. Этот удар почти не оставил внешних следов, но странно отразился на моей психике: именно на памяти. Я прекрасно припоминаю и восстановляю воображением слова, лица, местность, звуки и порядок событий, но для меня навеки умерли все цифры и имена собственные, номера домов и телефонов и историческая хронология; выпали бесследно все годы, месяцы и числа, отмечающие этапы моей собственной жизни, улетучились все научные формулы, хотя любую я могу очень легко вывести из простейших последовательным путем, исчезли фамилии и имена всех, кого я знал и знаю, и это обстоятельство для меня очень мучительно. К сожалению, я не вел тогда дневника, но две-три уцелевшие записные книжки и кое-какие старые письма помогают мне до известной степени ориентироваться.

Словом, я окончил курс и получил звание магистра физики за два, три, четыре года, а может быть даже и за пять лет до начала XX столетия. Как раз к этому времени разорился и умер муж моей старшей сестры Мод, фермер из Норфолька, который нередко поддерживал меня во время моего студенчества материально, а главное — нравственно. Он твердо верил, что я останусь для продолжения ученой карьеры при одном из английских университетов и со временем воссияю яркой звездой просвещения, от которой падет луч славы и на его скромное семейство. Это был здоровый, крепкий весельчак, сильный, как бык, не дурак выпить, спеть куплет и побоксировать,— совсем молодчина в духе доброй, старой, веселой Англии. Он умер от апоплексического удара, ночью, объевшись за ужином четвертью беркширской баранины, которую он запра-

вил крепкой соей, бутылкой виски и двумя галлонами шотландского светлого пива.

Его предсказания и пожелания не исполнились. Я не попал в комплект будущих ученых. Еще больше: мне не посчастливилось даже достать место преподавателя или тутора в каком-нибудь из лицеев или в средней школе: я попал в какую-то заколдованную, неумолимую, свирепую, равнодушную, длительную полосу неудачи. Ах, кто, кроме редких баловней судьбы, не знает и не нес на своих плечах этого безрассудного, нелепого, слепого ожесточения судьбы? Но меня она била чересчур упорно.

Ни на заводах, ни в технических конторах — нигде я не мог и не умел пристроиться. Большей частью я приходил слишком поздно: место уже бывало занято.

Во многих случаях мне почти сразу приходилось убеждаться, что я вхожу в соприкосновение с темной, подозрительной компанией. Еще чаще мне ничего не платили за мой двух-, трехмесячный труд и выбрасывали на улицу, как котенка. Нельзя сказать, чтобы я был особенно нерешителен, застенчив, ненаходчив или, наоборот, обидчив, самолюбив и строптив. Нет, просто обстоятельства жизни складывались против меня.

Но я был прежде всего англичанином и уважал себя, как джентльмена, представителя величайшей нации в мире. Мысль о самоубийстве в этот ужасный период жизни никогда не приходила мне в голову. Я боролся против несправедливости рока с холодным, трезвым упорством и с твердой верой в то, что никогда, никогда англичанин не будет рабом. И судьба, наконец, сдалась перед моим англосаксонским мужеством.

Я жил тогда в самом грязнейшем из грязных переулков Бетналь Грина, в забытом богом Ист Энде и ютился за ситцевой перегородкой у портового рабочего, носильщика угля. За квартиру я платил ему четыре шиллинга в месяц и, кроме того, должен был помогать стряпать его жене, учить читать и писать трех его старших детей, а также мыть кухню и черную лестницу. Хозяева всегда радушно приглашали меня обедать, но я не решался обременять их нищенский бюджет. Я обедал напротив, в мрачном подвале, и бог ведает, сколько кошачьих, собачьих и конских существований

лежат невольно на моей мрачной совести. Но за эту естественную деликатность мастер Джон Джонсон, мой хозяин, платил мне большим вниманием: когда в доках Ист Энда случалось много работы и не хватало рук, а цена на них поднималась страшно высоко, он всегда умудрялся устраивать меня на не особенно тяжелую разгрузку или нагрузку, где я шутя мог зарабатывать восемь — десять шиллингов в сутки. Жаль только, что этот прекрасный, добрый и религиозный человек по субботам аккуратно напивался, как язычник, и имел в эти дни большую склонность к боксу.

Кроме обязательных кухонных занятий и случайной работы в порту, я перепробовал множество смешных, тяжелых и оригинальных профессий. Помогал стричь пуделей и обрезать хвосты фокстерьерам, торговал в колбасной лавке во время отсутствия ее владельца, приводил в порядок запущенные библиотеки, считал выручку в скаковых кассах, давал урывками уроки математики, психологии, фехтования, богословия и даже танцев, переписывал скучнейшие доклады и идиотские повести, нанимался смотреть за извозчичьими лошадьми, пока кучера ели в трактире ветчину и пили пиво; иногда, одетый в униформу, скатывал ковры в цирке и выравнивал граблями тырсу манежа во время антрактов, служил сандвичем, а иногда выступал на состязаниях в боксе, в разряде среднего веса, переводил с немецкого языка на английский и наоборот, писал надгробные эпитафии, и мало ли чего я еще не делал! По совести говоря, благодаря моей неистощимой энергии и умеренности я не особенно нуждался. У меня был желудок, как у верблюда, сто пятьдесят английских фунтов весу без одежды, здоровые кулаки, крепкий сон и большая бодрость духа. Я так приспособился к бедности и к необходимым лишениям, что мог не только посылать время от времени кое-какие гроши моей младшей сестре Эсфири, которую бросил в Дублине с двумя детьми муж ирландец, актер, пьяница, лгун, бродяга и развратник,— но и следить напряженно за наукой и общественной жизнью, читал газеты и ученые журналы, покупал у букинистов книги, абонировался в библиотеке. В эту пору мне даже удалось сделать два незначительных изобретения: очень дешевый прибор, механически предупреждающий паровозного

машиниста в тумане или в снежную бурю о закрытом семафоре, и особую, почти неистощимую паяльную лампу, давая водородный пламень. Надо сказать, что не я воспользовался плодами моих изобретений — ими воспользовались другие. Но я оставался верен науке, как средневековый рыцарь своей даме, и никогда не переставал верить, что настанет миг, когда возлюбленная призовет меня к себе светлой улыбкой.

Эта улыбка озарила меня самым неожиданным и прозаическим образом. В одно осеннее туманное утро мой хозяин, добрый мастер Джонсон, побежал в лавку напротив за кипятком для чая и за молоком для детей. Вернулся он с сияющим лицом, с запахом виски изо рта и с газетой в руках. Он сунул мне под нос газету, еще сырую и пахнувшую типографской краской, и, указывая на место, отчеркнутое краем грязного ногтя, воскликнул:

— Поглядите-ка, старик. Пусть я не разберу антрацита от кокса, если эти строки не для вас, парень.

Я прочитал не без интереса следующее (приблизительно) объявление:

«Стряпчие «Э. Найдстон и сын», Реджент-стрит, 451, ищут человека для путешествия к экватору, до места, где ему придется остаться не менее трех лет для научных занятий. Условия: возраст от 22-х до 30 лет, англичанин, безукоризненно здоровый, неболтливый, смелый, трезвый и выносливый, знающий один, а лучше два европейских языка (французский и немецкий), несомненно холостой и по возможности без больших фамильных или иных связей на родине. Первоначальное жалованье 400 фунтов стерлингов в год. Желательно университетское образование, в частности же больше шансов на получение службы имеет джентльмен, знающий теоретически и практически химию и физику. Являться ежедневно от 9 до 10 часов».

Я потому так твердо цитирую это объявление, что в моих немногих бумагах сохранился до сих пор его текст, хотя и очень небрежно записанный и смытый морской водою.

— Тебе природа дала длинные ноги, сынок, и хорошие легкие,— сказал Джонсон, одобрительно хлопнув меня по спине.— Разводи же машину и давай полный

ход. Теперь там, наверно, набралось молодых джентльменов безупречного здоровья и честного поведения гораздо больше, чем их бывает на розыгрыше Дэрби. Анна, сделай ему сандвичи с мясом и вареньем. Почем знать, может быть, ему придется ждать очереди часов пять. Ну, желаю успеха, мой друг. Вперед, храбрая Англия!

На Реджент-стрит я попал как раз в обрез. И я мысленно поблагодарил природу за свой хороший шаговой аппарат. Отворяя мне дверь, слуга сказал с небрежной фамильярностью: «Ваше счастье, мистер. Вы как раз захватили последний номер». И тотчас же укрепил на дверях, снаружи, роковой анонс:

«Прием по объявлению окончен».

В полутемной, тесной и достаточно грязной приемной — таковы почти все приемные этих волшебников из Сити, ворочающих миллионными делами,— дожидалось человек десять, пришедших раньше. Они сидели вдоль стен на деревянных, потемневших, засаленных и блестевших от времени скамьях, над которыми, на высоте человеческих затылков, старые обои хранили грязную широкую полосу. Боже мой, какой жалкий сброд, голодный, оборванный, загнанный вконец нуждою, больной и забитый, собрался здесь, как на выставку уродов. Невольно мое сердце защемило от жалости и оскорбленного самолюбия. Землистые лица, косые и злобно-ревнивые, подозрительные взгляды исподлобья, трясущиеся руки, лохмотья, запах нищеты, скверного табака и давнишнего алкоголя. Иные из этих молодых джентльменов не достигли еще семнадцатилетнего возраста, а другим давно перевалило за пятьдесят. Один за другим они бледными тенями проскальзывали в кабинет и возвращались оттуда с видом утопленников, только что вытащенных из воды. Мне как-то болезненно стыдно было сознавать себя бесконечно более здоровым и сильным, чем все они взятые вместе.

Наконец дошла очередь до меня. Кто-то приотворил изнутри кабинетную дверь и, невидимый за нею, крикнул отрывисто и брезгливо, кислым голосом:

— Номер восемнадцатый и, слава аллаху, последний!

Я вошел в кабинет, почти такой же запущенный, как и приемная, с тою только разницей, что он украшался облупленной клеенчатой мебелью: двумя стульями, диваном и двумя креслами, в которых сидели два пожилых господина, по-видимому, одинакового, небольшого роста, но старший из них, в длинном рабочем вестоне[1], был худ, смугл, желтолиц и суров с виду, а другой, одетый в новенький с шелковыми отворотами сюртук, наоборот, был румян, пухл, голубоглаз и сидел, небрежно развалившись и положив нога на ногу.

Я назвал себя и сделал неглубокий, но довольно почтительный поклон. Затем, видя, что мне не предлагают места, я сел было на диван.

— Подождите,— сказал смуглый.— Сначала снимите ваш пиджак и жилет. Вот доктор, он вас выслушает.

Я вспомнил тот пункт объявления, где говорилось о безукоризненном здоровье, и молча скинул с себя верхнюю одежду. Румяный толстяк лениво выпростался из кресла и, обняв меня, прилип ухом к моей груди.

— Наконец-то хоть один в чистом белье,— сказал он небрежно.

Он прослушал мои легкие и сердце, постучал пальцами по спине и грудной клетке, потом посадил меня и проверил коленные рефлексы и, наконец, сказал лениво:

— Здоров, как живая рыба. Немного недоедал в последнее время. Это пустяки, вопрос двух недель хорошего питания. Даже, к его счастью, я не заметил у него никаких следов обычного у молодежи переутомления от спорта. Словом, мистер Найдстон, я передаю вам джентльмена, как удачный, почти совершенный образчик здоровой англосаксонской расы. Я думаю, что я вам более не нужен?

— Вы свободны, доктор,— сказал стряпчий.— Но вы, конечно, позволите известить вас завтра утром, если мне понадобится ваша компетентная помощь?

— О мистер Найдстон, я всегда к вашим услугам.

Когда мы остались одни, стряпчий уселся против меня и внимательно взглянул мне в переносицу. У него были маленькие зоркие глаза цвета кофейных зерен

[1] Пиджаке (от *фр.* veston).

и совсем желтые белки. Когда он глядел пристально, то казалось, что из его крошечных синих зрачков время от времени выскакивают тоненькие, острые, блестящие иголочки.

— Поговорим,— сказал он отрывисто.— Ваше имя, фамилия, происхождение, место рождения?

Я отвечал ему в таком же сухом и кратком тоне.

— Образование?

— Королевский университет.

— Специальность?

— Математический факультет. В частности, физика.

— Иностранные языки?

— Немецким владею довольно свободно. По-французски понимаю, когда говорят раздельно, не торопясь, могу и сам слепить десятка четыре необходимых фраз, читаю без затруднения.

— Родственники и их социальное положение?

— Это разве вам не безразлично, мистер Найдстон?

— Мне? Совершенно все равно. Я действую в интересах третьего лица.

Я рассказал ему сжато о положении моих двух сестер. Он во время моего доклада внимательно разглядывал свои ногти, потом бросил в меня две иглы из своих глаз и спросил:

— Пьете? И сколько?

— Иногда во время обеда полпинты пива.

— Холост?

— Да, сэр.

— Собираетесь сделать эту глупость? Жениться?

— О нет.

— Мимолетная любовь?

— Нет, сэр.

— Гм... Чем теперь занимаетесь?

Я и на этот вопрос ответил коротко и правдиво, опустив ради экономии времени пять или шесть моих случайных профессий.

— Так,— сказал он, когда я окончил.— Нуждаетесь сейчас в деньгах?

— Нет. Я сыт и одет. Всегда нахожу работу. Слежу по возможности за наукой. Верю твердо, что рано или поздно выплыву.

— Не хотите ли денег вперед? В задаток?

— Нет, это не в моих правилах. Брать деньги ни с того ни с сего... Да мы еще не покончили.

— Правила ваши не дурны. Очень может быть, что мы и сойдемся с вами. Запишите вот здесь ваш адрес. Я вас извещу. И, вероятно, очень скоро. Доброго пути.

— Простите, мистер Найдстон,— возразил я.— Я только что отвечал вам с полной искренностью на все ваши вопросы, порою даже несколько щекотливые. Надеюсь, вы и мне позволите задать вам один вопрос?

— Прошу вас.

— Цель поездки?

— Эге! Разве вам не все равно?

— Предположим, что нет.

— Цель чисто научная.

— Этого мало.

— Мало?— вдруг закричал на меня мистер Найдстон, и из его кофейных глаз посыпались снопы иголок.— Мало? Да неужели у вас хватает дерзости предполагать, что фирма «Найдстон и сын», существующая уже полтораста лет и пользующаяся уважением всей коммерческой и деловой Англии, может вам предложить что-нибудь бесчестное или просто компрометирующее вас? Или что мы возьмемся за какое-нибудь дело, не имея в руках верных гарантий его безусловной законности?

— О сэр, я не сомневаюсь,— возразил я сконфуженно.

— Хорошо,— прервал он, мгновенно успокаиваясь, точно бурное море, в которое вылили несколько тонн масла.— Но видите ли, во-первых, я связан условием не сообщать вам существенных подробностей до тех пор, пока вы не сядете на пароход, отходящий от Соутгэмптона...

— Куда?— спросил я быстро.

— Пока этого я не могу сказать вам. А во-вторых, цель вашей поездки (если она вообще состоится) для меня самого не совсем ясна.

— Странно,— сказал я.

— Удивительно странно,— охотно подхватил стряпчий.— И даже, если угодно, я вам скажу больше: это фантастично, грандиозно, неслыханно, великолепно и смело до безумия!

Теперь была моя очередь сказать «гм», и я это сделал с некоторою осторожностью.

— Подождите,— воскликнул с внезапной горячностью мистер Найдстон.— Вы молоды. Я старше вас лет на двадцать пять — тридцать. Вы уже многим великим завоеваниям человеческого гения совершенно не удивляетесь. Но если бы мне в ваши годы кто-нибудь предсказал, что я сам буду заниматься по вечерам при свете невидимого электричества, текущего по проволоке, или что я буду разговаривать с моим знакомым за восемьдесят миль расстояния, что я увижу на полотне экрана двигающиеся, смеющиеся, нарисованные образы людей, что можно телеграфировать без проволоки, и так далее и так далее,— то я бы поставил свою честь, свободу, карьеру против одной пинты плохого лондонского пива за то, что со мной говорит сумасшедший.

— Значит, дело заключается в каком-нибудь новейшем изобретении или величайшем открытии?

— Если хотите,— да. Но, прошу вас, не глядите на меня с недоверием или подозрением. Ну, что вы сказали бы, например, если бы к вашей молодой энергии, силе и знаниям обратился великий ученый, который, положим, работает над проблемой — из простых элементов, входящих в воздух, составить вкусное, питательное и съедобное, почти бесплатное вещество? Если бы вам предложили работать ради будущего устроения и украшения Земли? Посвятить свое творчество и душевную мощь счастию будущих поколений? Что вы сказали бы? Да вот вам живой пример. Поглядите в окно.

Я невольно привстал, повинуясь его властному резкому жесту, и посмотрел в мутные стекла. Там, на улицах, висел от неба до земли густой, как грязная вата, черно-ржаво-серый туман. И в нем едва-едва намечались мутно-желтые расплывчатые пятна фонарей. Это было в одиннадцать часов дня.

— Да, да, поглядите,— произнес мистер Найдстон,— поглядите внимательно. Теперь предположите, что гениальный самоотверженный человек зовет вас на великое дело оздоровления и украшения Земли. Он говорит вам, что все, что есть на Земле, зависит от ума, воли и рук человека. Он говорит, что если бог

в своем справедливом гневе отвернулся от человечества, то человеческий необъятный ум сам придет себе на помощь. Этот человек скажет вам, что туманы, болезни, крайности климатов, ветры, извержения вулканов — все подвержено влиянию и контролю человеческой воли, что, наконец, можно сделать земной шар настоящим раем и продлить его существование на несколько сотен тысяч лет. Что вы сказали бы этому человеку?

— Но что, если тот, кто предлагает мне эту радужную мечту, сам ошибается? Если я окажусь невольной игрушкой в руках мономана? Капризного безумца?

Мистер Найдстон встал и, протягивая мне руку в знак прощания, сказал твердо:

— Нет. На борту парохода, месяца через два-три (если, понятно, мы сговоримся), я скажу вам имя этого ученого и смысл его великой задачи, и вы снимете вашу шляпу в знак величайшего благоговения перед человеком и идеей. Но я, к сожалению, профан, мистер Диббль. Я только стряпчий — хранитель и представитель чужих интересов.

После этого приема я почти не сомневался в том, что судьбе, наконец, надоело мое неизменное созерцание ее непреклонной спины и что она решилась показать мне свое таинственное лицо. Поэтому в тот же вечер я устроил на остаток моих скудных сбережений неслыханно роскошное пиршество, которое состояло из вареного окорока, пунша, пломпудинга и горячего шоколада и в котором принимала участие, кроме меня, почтенная чета старых Джонсонов и, не помню, — человек шесть или семь Джонсонов младших. Левое плечо у меня совсем посинело и отвисло от дружеских шлепков доброго хозяина, сидевшего рядом со мною, слева.

И я не ошибся. На другой день вечером я получил телеграмму:

«ЖДУ ЗАВТРА В ПОЛДЕНЬ. РЕДЖЕНТ-СТРИТ, 451. НАЙДСТОН».

Я пришел к нему секунда в секунду в назначенное время. Его не было в конторе, но слуга предупредительно проводил меня в небольшой кабинет ресторана, помещавшегося за углом, шагах в двухстах. Мистер

Найдстон был один. Ничто в нем сначала не напоминало того экспансивного и даже, пожалуй, поэтично настроенного человека, который так горячо говорил мне третьего дня о счастье будущих поколений. Нет. Это опять был тот сухой и немногоречивый стряпчий, который при первой встрече со мной в то утро повелительно приказал мне раздеться и потом допрашивал меня, как следователь.

— Здравствуйте, садитесь,— сказал он, указывая на стул.— Сейчас время моего завтрака, и у меня самый свободный час. Я хотя и зовусь Найдстон и сын, но сам — холостой и одинокий человек. Итак,— есть? Пить?

Я поблагодарил и спросил чаю с поджаренным хлебом. Мистер Найдстон неторопливо ел, пил маленькими глотками старый портвейн и молча время от времени пронзал меня сверкающими иглами своих глаз. Наконец он вытер губы, бросил салфетку на стол и спросил:

— Итак, согласны?

— Купить кота в мешке? — спросил я в свою очередь.

— Нет,— воскликнул он громко и сердито.— Прежние условия остаются in status quo[1]. Перед отправлением на юг вы получите все наиболее полные сведения, какие я только смогу и сумею вам сообщить. Если они не удовлетворят вас, то вы с своей стороны можете не подписывать контракт, а я плачу вам некоторое вознаграждение за то время, которое вы потеряли в праздных разговорах со мной.

Я внимательно поглядел на него. В это мгновенье он весь был занят тем, что старался, обняв правой рукой кисть левой, раздавить два ореха. Острые иглы глаз были скрыты занавесками век. И тут я, точно в каком-то озарении, вдруг увидел в лице этого человека всю его душу — странную душу формалиста и игрока, узкого специалиста и необычайно широкую натуру, раба своих конторских профессиональных привычек и в то же время тайного искателя приключений, сутягу, готового засадить за два пенни своего противника в долговое отделение, и в то же время чудака, способ-

[1] В прежнем положении *(лат.)*.

ного пожертвовать все свое состояние, накопленное десятками лет каторжного труда, ради призрака прекрасной идеи. Эта мысль промелькнула у меня быстро, как молния, и Найдстон тотчас же, как будто наши души соединил какой-то незримый ток, открыл свои глаза, крепким усилием раздавил в мелкие куски орехи и улыбнулся мне ясной, детской, почти проказливой улыбкой.

— В конце концов вы мало чем рискуете, дорогой мистер Диббль. Прежде чем вы отправитесь на юг, я дам вам несколько поручений на континент. Эти поручения не требуют от вас большой затраты научного багажа, но потребуют большой механической аккуратности, точности и предусмотрительности. Это займет у вас на крайний случай месяца два,— может быть, неделей больше или меньше. Вы должны будете принять в разных местах Европы несколько очень дорогих и очень хрупких стекол, а также несколько чрезвычайно тонких и чувствительных физических инструментов. Их упаковку, доставку на железную дорогу, транзит морем и железной дорогой я целиком вверю вашей наблюдательности, ловкости и умению. Согласитесь с тем, что какому-нибудь пьяному матросу или носильщику ничего не стоит сбросить в люк ящик и разбить вдребезги маленькое двояковыпуклое стеклышко, над которым десятки людей работали десятки лет...

«Обсерватория! — радостно подумал я.— Конечно, это обсерватория! Какое счастье! Наконец-то я поймал тебя за хвост, неуловимая судьба».

Но я уже видел, что он понял мою мысль, а глаза его сделались еще веселее.

— Не будем говорить об оплате этого вашего первоначального труда. В мелочах мы, понятно, с вами сговоримся, это я вижу по вас, но,— и он вдруг совсем уже беззаботно, по-мальчишески расхохотался,— но мне хочется обратить ваше внимание на очень курьезную вещь. Смотрите, через мои руки прошло тысяч около десяти, двадцати чрезвычайно интересных дел. Из них некоторые на громадные суммы. Несколько раз я попадался впросак, и это несмотря на всю нашу утонченную казуистическую точность и аккуратность. И вот, представьте себе, каждый раз, когда я отбрасывал в сторону все ухищрения ремесла и глядел челове-

ку ясно и просто в глаза, как я сейчас гляжу на вас, я никогда не впадал в ошибку и не раскаивался. Итак?

Его глаза были ясны, тверды, доверчивы и ласковы. В эту секунду этот маленький, смуглый, сморщенный, желтолицый человек точно взял руками мою душу и покорил ее.

— Хорошо,— сказал я.— Я вам верю. С этой минуты я в вашем распоряжении.

— О, зачем так скоро,— возразил добродушно мистер Найдстон.— У нас впереди пропасть времени. Мы еще успеем с вами выпить бутылку кларета.— Он надавил кнопку висячего звонка.— Затем вы устроитесь со своими вещами и со всеми личными делишками, и сегодня же, в восемь часов вечера, вы ко времени отлива должны быть на борту парохода «Лев и Магдалина», куда я вам привезу ваш точный маршрут, чеки на различные банки и деньги для ваших собственных расходов. Милый юноша, пью за ваше здоровье и за ваши успехи. Ах, если бы вы знали,— вдруг воскликнул он с неожиданным энтузиазмом,— если бы вы знали, как я вам завидую, дорогой мистер Диббль!

Чтобы немножко и совсем невинно польстить ему, я возразил почти искренно:

— За чем же дело стало, дорогой мистер Найдстон? Клянусь, что душой вы так же молоды, как и я.

Смуглый стряпчий опустил свой тонко очерченный, длинный нос в стакан с кларетом, помолчал немного и вдруг сказал с искренним вздохом:

— Эх, мой милый! Контора, существующая чуть ли не со времен Плантагенетов, честь фирмы, предки, десятки тысяч уз, связывающих меня с клиентами, сотрудниками, друзьями и врагами... всего я и не перечислю... Значит, больше никаких сомнений?

— Нет.

— Итак, чокнемся и споем: «Roule Britannia!»[1]

И мы чокнулись и запели — я, почти мальчишка, вчерашний бродяга, и этот сухой деловой человек, влиявший из мрака своей грязной конторы на судьбы европейских держав и капиталов,— запели самыми невероятными и фальшивыми голосами в мире:

[1] «Правь, Британия!» *(англ.)*

Правь, Британия,
Правь через волны,
Никогда, никогда, никогда
Англичанин не будет рабом!

Вошел слуга и, обращаясь почтительно к мистеру Найдстону, сказал:

— Простите меня, я с истинным наслаждением слушал ваше пение. Ничего более прекрасного я не слышал даже в Королевской опере, но рядом с вами, за стеной, собрание клуба любителей французской средневековой музыки. Может быть, я не так назвал собрание джентльменов... но у всех у них очень капризный музыкальный слух.

— Вы правы,— кротко ответил стряпчий,— и потому прошу вас принять на память этот маленький круглый желтый предмет с изображением нашего доброго короля.

Вот краткий список тех городов и мастерских, которые я посетил с тех пор, как впервые переплыл канал. Выписываю их целиком из своей записной книжки: Пражмовский в Париже и инструментальная фирма Репсольдов в Гамбурге, Цейсс, братья Шотт и Сляттф в Иене; в Мюнхене Фраунгоферский и оптический институт Уитшнейдера и там же Мерц; Шик в Берлине, Беннех и Вассерман там же. И там же неподалеку, в Потсдаме, чудесное отделение фабрики Пражмовского, работающего в сотрудничестве с весьма обязательным и просвещенным доктором Э. Гартнак.

Маршруты, составленные мистером Найдстоном, были необычайно точны, вплоть до указаний времени пересадок и адресов недорогих, но комфортабельных английских отелей. Он делал маршрут собственноручно. Но и тут сказалась его странная, способная на всякие неожиданности натура. На углу одной из страниц его угловатым твердым почерком, карандашом, была записана краткая сентенция: «Если бы Чанс и компания были настоящими англичанами, то они не забросили бы своего дела и нам не приходилось бы ездить за стеклами и инструментами к французам и немецким шнурбартбинтхалтерам»[1].

[1] Наусникам (от *нем.* Schnurbartbindhalter).

Скажу по правде, не хвастаясь, что всюду я держал себя с надлежащим весом и достоинством, потому что много раз, в критические минуты, в моих ушах раздавался ужасный козлиный голос мистера Найдстона: «Никогда англичанин не будет рабом».

Впрочем, надо сказать, что я не мог пожаловаться на недостаток внимания и предупредительности ко мне со стороны ученых оптиков и знаменитых инструменталистов. Мои рекомендательные письма, подписанные какими-то крупными, черными, совершенно неразборчивыми каракулями и скрепленные внизу четким автографом мистера Найдстона, служили в моих руках подобием волшебной палочки, открывавшей мне все двери и сердца. С неослабным глубоким интересом наблюдал я за приготовлением и шлифовкой выпуклых и вогнутых стекол и за выделкой тончайших остроумных и прекрасных инструментов, сверкавших медью и сталью, сиявших всеми своими винтами, трубами и нарезами. Когда мне впервые показали в одной из самых знаменитых мастерских мира почти законченный пятидесятидюймовый рефрактор, который нуждался всего лишь в каких-нибудь годах двух-трех окончательной шлифовки,— у меня остановилось сердце и захватило дыхание от восторга и умиления перед мощью человеческого ума.

Но меня чрезвычайно смущало то настойчивое любопытство, с которым все эти серьезные, ученые люди старались, поочередно, по секрету друг от друга, проникнуть в тайные замыслы моего, неведомого мне самому, патрона. Иногда тонко и искусно, иногда с грубой неловкостью они старались выпытать у меня подробности и цель моей поездки, адреса фирм, с которыми мы имеем дело, характер и назначение наших заказов в других мастерских и т. д. и т. д. Но, во-первых, я твердо помнил очень серьезное предостережение мистера Найдстона насчет болтливости, а во-вторых, что я мог бы им ответить, если бы даже добросовестно согласился на это? Я сам ничего не знал и бродил ощупью, точно ночью в незнакомом лесу. Я принимал, сверяясь с чертежами и вычислениями, какие-то странные, чечевицеобразные стекла, металлические трубы и трубочки, нониусы, мельчайшие микрометрические винты, миниатюрные поршневые цилиндры, обтюрато-

ры, тяжелые, стеклянные, странной формы, колбы, манометры, гидравлические прессы, множество совершенно мне непонятных, доселе не виданных мною электрических приборов, несколько сильных луп, три хронометра и два водолазных скафандра со шлемами. Одно лишь становилось мне все более ясным: загадочное предприятие, которому я служил, ничего не имело общего с постройкой обсерватории, а по виду принимаемых мною предметов я даже и приблизительно не мог догадаться о цели, которой они были предназначены служить. Я только с напряженным вниманием следил за их тщательной упаковкой, изобретая постоянно хитроумные способы, предохраняющие от тряски, поломки и погнутия.

От назойливых расспросов я отделывался тем, что внезапно умолкал и, не произнося ни звука, начинал глядеть каменными глазами в самую переносицу любопытного. Но однажды мне поневоле пришлось прибегнуть к весьма убедительному красноречию: толстый, наглый, самоуверенный пруссак осмелился предложить мне взятку в двести тысяч германских марок за то, чтобы я выдал ему тайну нашего предприятия. Это случилось в Берлине, в моей отельной комнате, расположенной в четвертом этаже. Я коротко и строго заметил этому жирному, наглому животному, что он разговаривает с английским джентльменом. Но он заржал, как настоящий першерон[1], хлопнул меня фамильярно по плечу и воскликнул:

— Э, бросьте, мой милейший, эти штучки. Мы прекрасно понимаем их цену и значение. Вы находите, что я предложил вам мало? Но ведь мы можем, как умные и деловитые люди, сойтись на...

Его пошлый тон и грубый жест совсем не понравились мне. Я распахнул огромное окно моей комнаты и, указывая вниз, на мостозую, сказал твердо:

— Еще одно слово — и вам для того, чтобы убраться отсюда, не надо будет прибегать к помощи лифта. Ну, раз, два...

Он встал, побледневший, струсивший и разъяренный, хрипло выругался на своем картавом берлинском

[1] Порода лошадей (от *фр.* percheron).

жаргоне и, уходя, так хлопнул дверью, что пол моей комнаты задрожал и все предметы на столе запрыгали.

Последняя моя остановка на континенте была в Амстердаме. Там я должен был вручить рекомендательные письма двум владельцам двух всемирно известных гранильных фабрик — Маасу и Даниэльсу. Это были умные, вежливые, важные и недоверчивые евреи. Когда я посетил их поочередно, то Даниэльс первым делом спросил меня лукаво: «Конечно, вы имеете поручение также и к господину Маасу?» А Маас, только что прочитав адресованное ему письмо, сказал пытливо: «Несомненно, вы уже виделись с господином Даниэльсом?»

Оба они проявили в сношениях со мною крайнюю осторожность и подозрительность, долго совещались между собою, посылали куда-то простые и шифрованные телеграммы, наводили точнейшие и подробнейшие сведения о моей личности и так далее. В день моего отъезда они оба явились ко мне. В их словах и движениях чувствовалась какая-то библейская торжественность.

— Извините нас, молодой человек, и не сочтите за знак недоверия то, что мы вам сейчас сообщим,— сказал старший из них и более важный — Даниэльс.— На линии Амстердам — Лондон все пароходы обыкновенно кишмя кишат международными ворами самых высших марок. Правда, мы держим в строжайшем секрете исполнение вашего почтенного заказа, но кто же может ручаться за то, что один или двое из этих пронырливых, умных, порою даже почти гениальных международных рыцарей индустрии не ухитрились проникнуть в нашу тайну? Поэтому мы считаем далеко не лишним окружить вас незримой, но верной охраной из опытных полицейских агентов. Вы, пожалуй, даже и не заметите их. Вы сами знаете, что осторожность никогда не помешает. Согласитесь, что и вашим доверителям и нам будет гораздо спокойнее, ежели то, что вы повезете, будет во все время пути под надежным, зорким и неусыпным надзором? Ведь здесь дело идет не о кожаном портсигаре, а о двух вещах, которые стоят в сложности около миллиона трехсот тысяч франков и которым нет ничего подобного на всем земном шаре, а пожалуй, и во всей Вселенной.

Я самым искренним и любезным тоном поспешил уверить почтенного бриллиантщика о моем полнейшем согласии с его мудрыми и дальновидными словами. По-видимому, эта доверчивость еще более расположила его ко мне, и он спросил пониженным голосом, в котором я уловил какую-то благоговейную дрожь:

— Не хотите ли теперь взглянуть на них?

— Если это удобно и возможно для вас, то пожалуйста,— сказал я, с трудом скрывая свое любопытство и недоумение.

Оба еврея, почти одновременно, с видом священнодействующих жрецов, вынули из боковых карманов своих длинных сюртуков два небольших футляра,— Даниэльс дубовый, а Маас красный сафьяновый; осторожно отворили золотые застежки и подняли крышки. Оба ящичка внутри были выложены белым бархатом и сначала показались мне пустыми. Только нагнувшись совсем низко над ними и внимательно приглядевшись, я заметил две круглые выпуклые стеклянные, совершенно бесцветные чечевицы такой необычайной чистоты и прозрачности, что они казались бы совсем незаметными, если бы не тонкие, круглые, геометрически правильные очертания их окружности.

— Удивительная работа! — воскликнул я, восхищенный.— Вероятно, вам очень долго пришлось трудиться над этими стеклами?

— Молодой человек! — произнес Даниэльс испуганным шепотом.— Это не стекла, а два брильянта. Один, вышедший из моей мастерской, весит тридцать с половиною каратов, а брильянт господина Мааса целых семьдесят четыре.

Я был так поражен, что даже потерял свою обычную хладнокровную сдержанность.

— Брильянты? Брильянты, принявшие сферическую поверхность? Но ведь это чудо, о котором мне ни разу не приходилось ни читать, ни слышать. Ведь ничего подобного до сих пор не было достигнуто человеком!

— Я и говорил вам, что эти вещи единственные в мире,— важно подтвердил ювелир,— но меня, простите, немного озадачивает ваше изумление. Неужели

это новость для вас? Неужели вы в самом деле никогда не слыхали о них?

— Ни разу в жизни. Ведь вы сами знаете, что предприятие, которому я служу, держится в строжайшем секрете. Не только я, но и мистер Найдстон не посвящен в его подробности. Я знаю только то, что в разных местах Европы я принял части и приборы для какого-то грандиозного сооружения, в цели и смысле которого я сам — ученый по образованию — пока ровно ничего не понимаю.

Даниэльс пристально взглянул мне в глаза своими спокойными, умными глазами табачного цвета, и его библейское лицо омрачилось.

— Да... это так,— сказал он медленно и задумчиво после небольшого молчания.— По-видимому, вам известно не более, чем нам, но я сейчас только заглянул вам в душу и чувствую, что все равно, если бы вы были в курсе дела, вы, конечно, не поделились бы с нами вашими сведениями?

— Я связан словом, господин Даниэльс,— возразил я по возможности мягко.

— Да, это так... это так. Не думайте, молодой человек, что вы явились сюда, в наш город каналов и бриллиантов, совершенным незнакомцем.

Еврей усмехнулся тонкой улыбкой.

— Мы знаем даже подробности о том, как вы в Берлине предложили одному известному коммерции советнику совершить воздушный полет из вашего окна.

— Неужели это могло быть кому-нибудь известно, кроме нас двоих? — удивился я.— Ну, и болтун же этот немецкий боров.

Лицо еврея сделалось загадочным. Он медленно и многозначительно провел рукой по своей длинной бороде.

— Представьте себе, немец никому не говорил о своем позоре. Но мы узнали об этом происшествии на другой день. Что делать! Нам, у которых в блиндированных несгораемых подвалах сохраняются свои и чужие драгоценности, иногда на многие сотни миллионов франков, приходится иметь свою собственную полицию. Да. А через три дня о вашем поступке узнал и мистер Найдстон.

— Этого еще недоставало! — воскликнул я в смущении.

— Вы здесь ничего не потеряли, молодой англичанин. Скорее выиграли. Знаете, как отозвался о вас мистер Найдстон, когда узнал о берлинском случае? Он сказал: «Я заранее был уверен, что этот славный малый Диббль иначе и не мог бы поступить». И я с своей стороны могу только поздравить мистера Найдстона и его главного доверителя с тем, что их интересы попали в такие верные руки. Хотя... хотя... Хотя все это разрушает мои некоторые соображения, планы и надежды...

— Да, — подтвердил немногословный Маас.

— Да, — повторил тихо библейский Даниэльс, и снова лицо его заволоклось грустью. — Нам привезли эти брильянты почти в том же самом виде, в каком вы их теперь рассматриваете, но их поверхности, только что вынутые из матриц, были грубы и неровны. Мы отшлифовали их так терпеливо и любовно, как не сделали бы этого по заказу любого императора в мире. Вернее сказать, что лучше невозможно было сделать. Но мне, старику, старому профессионалу и одному из лучших знатоков камней на свете, — мне уже давно не дает покоя проклятый вопрос: кто мог придать алмазу такую форму. И притом взгляните, — вот вам лупа, — ни трещинки, ни пятнышка, ни пузырька внутри. До какой, однако, температуры были доведены эти цари камней и какому чудовищному давлению они потом подвергались. И я, — вздохнул грустно Даниэльс, — и я должен признаться, что очень сильно рассчитывал на ваш приезд и вашу откровенность.

— Простите, мне очень жаль, что я не в состоянии...

— Оставьте. Я знаю. Ну, желаем вам счастливого пути.

Вечером мой пароход отошел от Амстердама. Посланные со мной агенты вели себя так умело, что я действительно мог подозревать в любом пассажире мою охрану и в то же время не подозревать никого. Но когда к полуночи мне захотелось спать и я спустился в занятую мною каюту, то, к своему удивлению, нашел там бородатого, широкоплечего незнакомца, которого я раньше не видел на палубе. Он расположился не на запасной койке, а прямо на полу, у дверей, подо-

стлав под себя пальто, положив под голову надувную резиновую подушку и покрывшись пледом. Не без сдерживаемого гнева я заметил ему, что вся каюта, со всеми местами и со всем кубическим содержанием воздуха, принадлежит мне. Но он возразил мне спокойно и на хорошем английском языке:

— Не волнуйтесь, сэр. Моя обязанность — провести эту ночь около вас, на положении верного дога. Кстати, вот вам письмо и пакетик от господина Даниэльса.

Старый еврей писал коротко и любезно:

«Не откажите мне в маленьком удовольствии: примите на память о нашей встрече прилагаемое кольцо. В нем нет большой ценности, но это амулет, предостерегающий от морской опасности. Надпись на нем древняя, едва ли не на языке вымерших инков.

Даниэльс».

В пакетике было кольцо с небольшим плоским рубином, на поверхности которого были вырезаны диковинные знаки.

А мой «дог» запер каюту на ключ, положил около себя револьвер и, по-видимому, мгновенно заснул.

— Благодарю вас, дорогой Мистер Диббль,— говорил мне через день мистер Найдстон, крепко пожимая мою руку.— Вы прекрасно справились со всеми поручениями, порою довольно сложными, сэкономили много времени и вдобавок держали себя с надлежащим достоинством. Теперь в продолжение недели отдыхайте и развлекайтесь, как хотите. В воскресенье утром мы с вами пообедаем и выедем в Соутгэмптон, а утром в понедельник вы уже будете плыть через океан на борту великолепного парохода «Южный крест». Кстати, не забудьте зайти к моему клерку и получить ваше двухмесячное жалованье и суточные деньги, а я за эти дни пересмотрю и вновь упакую накрепко весь ваш багаж. Опасно доверяться чужим рукам, а в деле упаковки деликатных вещей вряд ли во всем Лондоне найдется мне хоть один соперник.

В воскресенье я распростился с милым мистером Джоном Джонсоном и его многочисленной семьей и уехал, сопровождаемый общими теплыми напутствиями. А в понедельник утром мы с мистером Найдстоном сидели в роскошной кают-компании гигантского парохода «Южный крест» в ожидании отплытия и пили кофе. По океану разгуливал довольно свежий ветер, и зеленые волны с белыми пенными гребнями бились о крепкие круглые стекла иллюминаторов.

— Я должен вас предупредить, мой милый, что вы поедете не один,— говорил мистер Найдстон.— С вами вместе отправляется некий мистер де Мон де Рик. Он по образованию электротехник и механик, за ним несколько лет безукоризненной практики, и я слышал о нем самые лестные отзывы как о работнике. Мне лично этот парень не по сердцу, но очень может быть, что в данном случае во мне говорит ошибочная беспричинная антипатия, попросту — старческий каприз. Его отец был французом, принявшим английское подданство, а мать ирландка, но в нем самом, в его жилах, очень много крови от галльского петуха. Он фат, красавец в шаблонном виде, страшно занят собой и своей наружностью и вечно трется около женских юбок. Его выбирал не я. Я только повиновался инструкциям, данным мне лордом Чальсбери, вашим будущим руководителем и наставником. Де Мон де Рик приедет минут через двадцать — двадцать пять с утренним поездом из Кардифа, и мы с вами успеем поговорить. Во всяком случае, советую вам войти с ним в ровные, хорошие отношения. Как-никак, а ведь вам придется прожить три-четыре года бок о бок черт знает в какой пустыне, на экваторе, на самой макушке потухшего вулкана Каямбэ, где вас, белых людей, будет всего пять-шесть человек, остальные же негры, метисы, индейцы и другой сброд. Вас, может, пугает такая невеселая перспектива? Помните — вы совершенно свободны. Мы сию минуту можем разорвать подписанный вами контракт и вместе возвратиться с одиннадцатичасовым поездом обратно в Лондон. И поверьте, это ничуть не уменьшит моего уважения и расположения к вам.

— Нет, дорогой мистер Найдстон, я уже на Каямбэ,— возразил я смеясь.— Я положительно стосковался по регулярному, в особенности научному, труду, и ко-

гда думаю о нем, то облизываюсь, как голодный оборванец из Уайтчэпля перед колбасной лавкой. Надеюсь, что у меня будет достаточно интересной работы, чтобы я не скучал и не погрязнул в мелких дрязгах и личных ссорах.

— О да, мой дорогой, у вас будет много прекрасной и возвышенной по своей идее работы. Теперь наступила пора быть мне с вами откровенным, и я передам вам то немногое, что мне известно. Лорд Чальсбери вот уже девять лет трудится над неимоверным по своей грандиозности предприятием. Он во что бы то ни стало решил достигнуть возможности сгустить материю солнечных лучей в газ, и даже еще больше — сжать этот газ при страшно низкой температуре и колоссальном давлении до жидкого состояния. Если ему бог поможет довести до конца свой план, то его открытие будет прямо неизмеримо велико по своим результатам...

— Неизмеримо! — повторил я тихо, подавленный и восхищенный словами мистера Найдстона.

— Вот и все, что я знаю,— произнес стряпчий.— Нет, знаю еще из личного письма лорда Чальсбери ко мне, что теперь он более, чем когда-либо, близок к счастливому окончанию своего труда и менее, чем когда-либо, сомневается в близком разрешении своей задачи. Я должен сказать вам, дорогой друг, что лорд Чальсбери — это одно из величайших светил науки, один из гениальнейших вдохновенных умов. Кроме того, он истинный аристократ по рождению и духу, бескорыстный и самоотверженный друг человечества, терпеливый и любезный учитель, очаровательный собеседник и верный друг. И, кроме того, он человек такой обаятельной душевной красоты, которая притягивает к нему все сердца... Но вот подымается по сходне и ваш спутник,— вдруг круто оборвал свою восторженную речь мистер Найдстон.— Возьмите же себе этот конверт. Там ваши пароходные билеты, точный дальнейший маршрут и деньги. Вам придется плыть дней шестнадцать — восемнадцать. На другой же день вами овладеет фиолетовая тоска. На этот случай я приобрел и оставил у вас в каюте штук тридцать кое-каких книжек. Да еще среди вашего багажа вы найдете чемодан с запасом теплой одежды и обуви. Вы сами не подума-

ли заранее о том, что вам придется жить в такой горной полосе, где лежит вечный снег. Я старался выбрать вещи по вашей мерке, но так как боялся сделать ошибку, то предпочел более широкие, чем узкие. Там же среди ваших мелочей вы найдете небольшой ящик со средствами против морской болезни. По правде, я в них не верю, но на всякий случай... Кстати, вас укачивает в море?

— Да, но не особенно мучительно. Впрочем, у меня есть талисман против всех опасностей на море.

Я показал ему рубин, подарок Даниэльса. Он внимательно рассмотрел, покачал головой и сказал задумчиво:

— Я где-то видел подобный же камень и, кажется, с совершенно одинаковой надписью. Но вот я вижу, что француз заметил нас и идет прямо сюда. От души желаю вам, дорогой Диббль, счастливого плавания, бодрости и здоровья... Здравствуйте, мистер де Мон де Рик. Познакомьтесь, господа. Мистер Диббль, мистер де Мон де Рик — будущие коллеги и сотрудники.

Мне самому тоже не особенно понравился этот франт. Он был высокого роста, худощав, изнежен и выхолен, но в то же время в его фигуре и движениях чувствовалась какая-то грациозная, ленивая и гибкая сила, подобная той, какую мы замечаем у больших хищников кошачьей породы. Скорее всего он походил наружностью на левантинца, со своими прекрасными, влажными темными глазами и блестящими черными небольшими усами, коротко подстриженными над красным ртом античного рисунка. Мы перебросились несколькими незначительными любезными фразами. Но в это время прозвонили наверху и заревела, сотрясая палубу своим густым мощным голосом, сигнальная труба.

— Ну, теперь прощайте, господа, — сказал мистер Найдстон, — от души желаю, чтобы вы сделались друзьями. Привет лорду Чальсбери. Желаю во время переезда через океан счастливой погоды. До свидания.

Он живо спустился по сходне с парохода, сел в дожидавшийся его на пристани кеб, сделал рукой в нашу сторону последний ласковый знак и, уже не оборачиваясь, скрылся из наших глаз. Не знаю сам почему, но меня на несколько минут охватила тихая нежная

грусть, как будто бы вместе с этим исчезнувшим человеком я потерял верную, дружескую опору и моральную поддержку.

Я ничего не могу припомнить значительного из дней нашего океанского перехода. Скажу только, что эти семнадцать дней тянулись для меня, как сто семьдесят лет, но были так однообразны и скучны, что теперь издали представляются мне одним бесконечно длинным днем.

С де Мон де Риком мы встречались по нескольку раз в день за столом в кают-компании. Близких отношений между нами так и не завязалось. Он был холодно вежлив со мною, я тоже платил ему равнодушной предупредительностью, но все время я чувствовал, что его совершенно не интересует ни моя духовная личность, ни личность кого бы то ни было на свете. Зато, когда у нас случайно заходила речь о наших ученых специальностях, он прямо поражал и увлекал меня своими знаниями, смелостью и оригинальностью гипотез и, главное, удивительно точным, живописным изложением мысли.

Я пробовал читать книги, оставленные мне мистером Найдстоном. Большинство их были узко научные сочинения, заключавшие в себе теорию света и оптических стекол, наблюдения над высокими и низкими температурами и описания опытов над сгущением и разжижением газов. Было также несколько томов описаний замечательных путешествий и две-три книжки об экваториальных странах Южной Америки. Но читать было трудно, потому что все время дул сильный ветер и пароход качало длинными скользящими размахами. Все пассажиры отдали дань морской болезни, кроме де Мон де Рика, который, несмотря на свой длинный рост и изнеженный вид, держался до конца крепко, как старый опытный моряк.

Наконец-то мы прибыли в Аспинваль (он же Колон), на севере Панамского перешейка. Когда я вышел на берег, то ноги у меня были тяжелы и никак не хотели подчиняться моей воле. Согласно инструкциям мистера Найдстона мы сами лично должны были следить за перевозкой нашего багажа на вокзал железной дороги и за установкой его в багажных вагонах. Самые нежные, чувствительные инструменты мы взяли с собою

в купе. Драгоценные шлифованные брильянты были, конечно, при мне, но я — теперь мне стыдно в этом сознаться — не только не показал их моему спутнику, но даже не упомянул о них ни слова.

Дальнейший наш путь был утомителен и вследствие этого мало интересен. По железной дороге от Аспинваля до Панамы, от Панамы двухдневный переход на старом, зыбком пароходе «Гонзалес» до бухты Гваякиль, оттуда на лошадях и опять по железной дороге до г. Квито. В Квито, следуя указаниям мистера Найдстона, мы разыскали гостиницу «Эквадор» и там нашли ожидавший нас караван при проводниках и погонщиках. Мы переночевали в гостинице, а ранним утром, со свежими силами, тронулись в путь, в горы. Что за умные, добрые, прелестные животные — эти мулы. Позванивая бубенчиками, мерно покачивая головами, украшенными розетками и султанами, осторожно ставя на камень узкой неровной дорожки свои длинные стаканчиками копыта, они спокойно идут по самому краю обрыва над такой крутизной, что невольно зажмуриваешь глаза и хватаешься за луку высокого седла.

К пяти часам вечера мы вступили в снежную полосу. Дорога расширилась и стала ровной. Видно было, что над ней трудились культурные люди. Крутые завороты были повсюду обнесены невысокими каменными перилами.

В шестом часу, когда мы прошли небольшой туннель, пред нашими глазами вдруг открылось жилье: несколько белых одноэтажных домов, над которыми гордо возвышался белый купол, похожий на куполы византийских церквей и обсерваторий. Еще дальше торчали в небо железные и кирпичные трубы. Через четверть часа мы уж были на месте.

Из дверей одного дома, который был выше и просторнее других, вышел нам навстречу высокий сухощавый старик с длинной, безукоризненно белой бородой. Он назвал себя лордом Чальсбери и с непринужденной ласковостью поздоровался с нами. Трудно было сказать по внешнему виду, сколько ему лет: пятьдесят или семьдесят пять. Его большие, немного выпуклые голубые глаза, настоящие глаза породистого англичанина, были юношески ясны, блестящи и зорки. Пожатие его руки было мужественно, тепло и откровенно, а высокий об-

ширный лоб отличался изящно очерченными и благородными линиями. И когда, любуясь его тонким прекрасным лицом, я отвечал на его пожатие,— в моей голове вдруг мгновенно и ярко мелькнула мысль, что где-то очень давно я видел физиономию этого человека и неоднократно слышал его фамилию.

— Я бесконечно рад вашему приезду,— говорил лорд Чальсбери, поднимаясь с нами на ступеньки крыльца.— Хорошо ли вы доехали? Как поживает мой добрый друг Найдстон? Не правда ли, замечательный человек? Впрочем, вы, господа, расскажете мне все за обедом. Идите освежиться и привести себя в порядок. Вот наш метрдотель, почтенный Самбо,— указал он на рослого старого негра, встретившего нас в передней.— Он покажет вам ваши комнаты. Ровно в семь мы обедаем, об остальном распределении времени вам расскажет Самбо.

Почтенный Самбо весьма любезно, но без всякой тени рабской искательности, проводил нас к небольшому дому рядом. Каждому из нас были приготовлены по три комнаты,— простые, но в то же время как-то особенно уютные, светлые, веселые. Помещения наши были разделены каменной стеной, и на каждое приходился отдельный ход. Это обстоятельство почему-то мне было приятно.

С неописуемым наслаждением погрузился я в огромную мраморную ванну (на пароходе благодаря качке я был лишен этого удовольствия, а в гостиницах Аспинваля, Панамы и Квито ванны не внушили бы своей чистотой доверия даже моему другу Джону Джонсону). И во все время, пока я нежился в теплой воде, брал холодный душ, брился и потом одевался с особою тщательностью, меня не переставала преследовать мысль: почему мне так знакомо лицо лорда Чальсбери? И что такое, почти сказочное, как мне казалось, я давно-давно слышал о нем? Временами где-то в затаенном углу моего сознания скользило неясное предчувствие, что вот-вот сейчас я вспомню, но оно тотчас же исчезало, подобно тому как сбегает легкий след дыхания с поверхности полированной стали.

Из окон моего кабинета был виден весь этот оригинальный поселок с пятью или шестью домами, с конюшнями и оранжереями, с низкими закопченными

машинными зданиями, с массой воздушных проводов, с вагонетками, влекомыми по узким рельсам бойкими выхоленными мулами, с паровыми кранами, переносившими высоко и плавно по воздуху железные чаны, беспрерывно наполняемые из ряда штабелей каменным углем и горючим сланцем. Там и сям сновали рабочие, большинство из них полуголые, несмотря на температуру —5°, которую показывал термометр, привинченный снаружи моего окна, и почти все разных цветов: белого, желтого, бронзового, кофейного и блестяще-черного.

Я смотрел и думал: какая же, однако, пламенная воля и какое колоссальное богатство могли обратить бесплодную вершину потухшего вулкана в настоящее культурное место, в завод, мастерскую и лабораторию, поднять на высоту вечных снегов камни, деревья и железо, провести воду, построить дома и машины, завести драгоценные физические инструменты, из которых только две привезенные мною чечевицы стоят миллион триста тысяч франков, нанять десятки рабочих, пригласить дорогостоящих помощников... Опять в моем воображении четко встал образ лорда Чальсбери и вдруг — стоп! — внезапный свет озарил мою память. Я очень точно вспомнил, как пятнадцать лет тому назад, когда я был еще зеленым учеником лицея, все газеты в течение целого месяца трубили на разные лады о необычайном таинственном исчезновении лорда Чальсбери, пэра Англии, единственного представителя древнейшего рода, знаменитого ученого и миллионера. Повсюду печатались его портреты и комментировались причины этого странного события. Одни объясняли его убийством лорда Чальсбери, другие тем, что он попал под влияние злодея гипнотизера, для преступных целей заставившего лорда уехать из Англии, скрыв свои следы, третьи предполагали, что лорд находится в руках бандитов, держащих его в плену в расчете на громадный выкуп, четвертые, и наиболее догадливые, уверяли, что ученым секретно предпринята экспедиция к Северному полюсу.

Вскоре стало известным, что до своего исчезновения лорд Чальсбери очень выгодно ликвидировал и обратил в деньги, очевидно, руководимый чьим-то тонким дальновидным финансовым умом, все свои земли,

леса, парки, фермы, угольные и каолиновые копи, дворцы, картины и коллекции. Но куда девались эти огромные суммы, никому не было известно. Также с его исчезновением пропали, неизвестно куда, знаменитые фамильные алмазы рода Чальсбери, алмазы, которыми по справедливости могла гордиться вся Англия. Никакие розыски полиции и добровольных сыщиков не осветили этого странного дела. Через два месяца пресса и общество забыли о нем, поглощенные другими животрепещущими интересами. Только ученые журналы, посвятившие много страниц памяти пропавшего лорда, долго еще перечисляли с проникновенным вниманием и благоговейной почтительностью его великие заслуги перед наукой в областях, касающихся света и теплоты, в частности расширения и сгущения газов, термостатики, термометрии и термодинамики, преломления световых лучей, теории оптических стекол и фосфоресценции.

Извне раздался протяжный, заунывный звон гонга. И почти тотчас же в мою дверь постучался и вошел маленький, веселый, ловкий, как обезьяна, мальчик-негритенок и, кланяясь мне, с дружелюбной улыбкой доложил:

— Мистер, я назначен лордом в ваше распоряжение. Не угодно ли вам, сэр, отправиться к обеду?

В моей гостиной на столе в фарфоровой вазе стоял небольшой изящный букет цветов. Я выбрал гардению и продел ее в петлицу смокинга. Но одновременно со мною вышел из своих дверей мистер де Мон де Рик. В петлице его фрака скромно красовалась ромашка. Какое-то смутное чувство недовольства шевельнулось во мне. И, должно быть, в то давнее время во мне много еще было юношеской, мелочной вздорности, потому что я очень утешился тем, что встретивший нас в гостиной лорд Чальсбери был не во фраке, а, подобно мне, в смокинге.

— Сейчас выйдет леди Чальсбери,— сказал он, посмотрев на часы.— Я предлагаю вам, джентльмены, собираться для обеда у меня. Во время обеда и после него у нас всегда найдутся два-три часа свободного времени для разговора о деле и безделье. Кстати, здесь же

к вашим услугам есть библиотека, кегельбан и бильярд с курильной. Ими, как и всем, что я имею, прошу вас пользоваться по вашему усмотрению. Что же касается утреннего завтрака и ленча, то в этом отношении предоставлю вам полную свободу. Впрочем, то же относится и к обеду. Но я знаю, как ценно и плодотворно для молодых англичан дамское общество и потому...— Он встал и указал на дверь, через которую в эту минуту входила стройная, молодая, золотоволосая дама в сопровождении другой особы женского пола, плоскогрудой и желтой, одетой во все черное.— Потому, леди Чальсбери, я имею честь и удовольствие представить вам моих будущих сотрудников, и, надеюсь, друзей мистера Диббля и мистера де Мон де Рика.

— Мисс Соутни,— обратился он к увядшей спутнице своей жены (она потом оказалась дальней родственницей и компаньонкой леди Чальсбери),— это мистер Диббль, а это мистер де Мон де Рик. Прошу не отказать им в вашей любезности и внимании.

За обедом, одинаково простым и изысканным, лорд Чальсбери оказался самым радушным хозяином и прекрасным собеседником. Он с живостью расспрашивал нас о политике, о последних газетных и научных новостях, о здоровье и жизни того или другого крупного общественного деятеля. Впрочем, как это ни странно, он оказался в этих предметах гораздо осведомленнее нас обоих. Кроме того, надо сказать, что его погреб оказался выше всяких похвал.

Я изредка, украдкой, быстро поглядывал на леди Чальсбери. Она почти не принимала участия в разговоре и только изредка медленно поднимала темные ресницы в сторону говорившего. Она была на много, даже очень на много лет моложе своего мужа. Странной, нездоровой красотой было красиво ее бледное, не тронутое экваториальным загаром лицо, в рамке густых золотых волос, с темными, глубокими, серьезными, почти печальными глазами. И вся она своей наружностью, своей стройной, очень тонкой фигурой в белом газе, нежными белыми руками с длинными узкими пальцами напоминала какой-то редкий, прекрасный, а может быть, и ядовитый экзотический цветок, выращенный без света, во влажной темной теплице.

Но я также заметил во время обеда, что и де Мон де Рик, сидевший напротив меня, часто останавливал на хозяйке ласковый и значительный взгляд своих прекрасных глаз, взгляд, задерживавшийся, может быть, только на полсекунды дольше, чем это требуется приличием. Все мне в нем становилось более и более неприятным: изнеженная выхоленность лица и рук, томные и сладкие, какие-то обволакивающие глаза, самоуверенность поз, движений, интонаций. На мой мужской взгляд он казался противным, но я и тогда ни на минуту не сомневался в том, что в нем совокупились черты и качества настоящего, призванного от рождения, жестокого и неразборчивого в средствах покорителя женских душ.

После обеда, когда все перешли в гостиную и мистер де Мон де Рик попросил позволения пойти курить, я передал лорду Чальсбери футляр с брильянтами и сказал:

— Это от Мааса и Даниэльса из Амстердама.

— Вы везли их при себе?

— Да, сэр.

— И прекрасно сделали. Эти два камушка для меня дороже всей моей лаборатории.

Он ушел в свой кабинет и вернулся оттуда с восьмисильной лупой. Долго и внимательно рассматривал он брильянты на свет электрической лампы и, наконец, укладывая их обратно в футляр, сказал довольным тоном, хотя без всякого волнения:

— Шлифовка прямо безукоризненна. Она идеально точна. Сегодня вечером я проверю инструментами размеры чечевиц и кривизну их поверхностей. Завтра же утром, мистер Диббль, мы закрепим их на место. До десяти часов я займусь с вашим товарищем, мистером де Мон де Риком, покажу ему все его будущее хозяйство, а в десять прошу вас ждать меня у себя дома. Я зайду за вами. Ах, дорогой мистер Диббль, я предчувствую, как мы с вами дружно двинем вперед одно из самых величайших дел, когда-либо предпринятых величайшим существом — Homo sapiens[1].

Когда он говорил, то глаза его горели голубым

[1] Мыслящим человеком *(лат.)*.

огнем, а руки ласково поглаживали крышку футляра. А жена пристально смотрела на него глубоким, темным, бездонным взором.

На другой день, ровно в десять часов, у моей двери раздался звонок, и шустрый негритенок, кланяясь до земли, впустил лорда Чальсбери.

— Вы готовы. Я очень рад,— сказал патрон, здороваясь со мной.— Вчера я пересмотрел привезенные вами вещи, и они все оказались в блестящем порядке. Благодарю вас за внимание и заботу.

— Три четверти этой чести, если не больше, сэр, по совести, принадлежат мистеру Найдстону.

— Да, это прекрасный человек и верный друг,— заметил со светлой улыбкой лорд.— А теперь, если вас ничто не задерживает, может быть, мы с вами пройдем в лабораторию?

Лабораторией оказалось массивное, круглое, похожее на башню, белое здание, увенчанное тем самым куполом, который вчера первый бросился мне в глаза по выходе из туннеля.

Не раздеваясь, прошли мы сквозь маленькую переднюю, слабо освещенную одной электрической лампочкой, и затем очутились в совершенной темноте. Но лорд Чальсбери щелкнул где-то вблизи меня электрическим выключателем, и яркий свет мгновенно залил огромную, совершенно круглую залу с поднимавшимся над нею правильным сферическим куполом сажен семи или восьми высотою. Посредине залы возвышалось нечто похожее на небольшую стеклянную комнату, вроде тех изолирующих врачебный персонал комнат, что недавно стали устраивать в университетских медицинских клиниках, посреди операционных зал, на случай тяжких и сложных операций, требующих особенно строгой чистоты и полной дезинфекции воздуха. От этой стеклянной камеры, занятой странными, невиданными мною приборами, поднимались вверх три солидных медных цилиндра. На высоте около двух человеческих ростов каждый из этих цилиндров как бы разветвлялся на три, более широкого диаметра, трубы; те в свою очередь тоже утраивались, а верхние концы последних медных, массивных труб, упирались вплотную в самый верх, в выгнутую стену купола. Множество ма-

нометров, рычагов, круглых и прямых стальных рукояток, вентилей, изолированных проволок и гидравлических прессов довершали обстановку этой необыкновенной, совсем ошеломившей меня лаборатории. Крутые винтовые лестницы, железные столбы и стропила, воздушные узкие с тонкими поручнями мостки, переброшены здесь и там высоко вверху, электрические висячие фонари, множество спускавшихся вниз толстых гуттаперчевых шлангов и длинных медных трубочек — все это переплеталось между собою, утомляло глаз и производило впечатление хаоса.

Точно угадав мое настроение, лорд Чальсбери заговорил спокойно:

— Когда человек впервые увидит незнакомый механизм, вроде механизма часов или швейной машины, он сначала опускает руки перед их сложностью. Когда я первый раз увидел разобранный на части велосипед, то мне казалось, что никакой самый мудрый механик в мире не сможет его собрать. А через неделю я его сам собирал и разбирал, удивляясь простоте его конструкции. Будьте же добры, терпеливо выслушайте мои объяснения. Если чего-нибудь не схватите сразу, не стесняйтесь предлагать мне сколько угодно вопросов. Это для меня будет только приятно.

Итак, в крыше здания проделано двадцать семь близко расположенных друг к другу отверстий. А в эти отверстия вставлены цилиндры, которые вы видите на самом верху, выходящие на воздух двояковыпуклыми стеклами громадной собирательной силы и великолепной прозрачности. Теперь, наверно, вы и сами понимаете идею? Мы собираем солнечные лучи в фокусы и затем благодаря целому ряду зеркал и оптических стекол, сделанных по моим чертежам и вычислениям, проводим их, то собирая, то рассеивая, через всю систему труб, пока самые нижние трубы не вольют концентрированную струю солнца вот сюда, под изолированный колпак, в самый узкий и прочный цилиндр из ванадиевой стали, в котором двигается целая система поршней, снабженных затворами, наподобие фотографических, абсолютно не пропускающих света, когда они закрыты. Наконец к свободному концу этого главного внутреннего защищенного цилиндра я герметически привинчиваю приемник в виде колбы, в горлышке

которой также имеются несколько затворов. Когда мне понадобится, я прекращаю действие затворов, затем изнутри, механически, ввожу в горлышко колбы винтовую втулку и свинчиваю весь приемник с конца цилиндра, и вот у меня готово превосходное хранилище солнечной сгущенной эманации.

— Значит, Гук, и Эйлер, и Юнг?..

— Да,— прервал меня лорд Чальсбери,— и они, и Френель, и Коши, и Малюс, и Гюйгенс, и даже великий Араго — все они ошибались, рассматривая явление света как одно из состояний мирового эфира. И это я докажу вам через десять минут самым наглядным образом. Правыми все-таки оказались мудрый старый Декарт и гений из гениев, божественный Ньютон. Труды Био и Брюстера в этом направлении лишь поддержали и укрепили меня в изысканиях, но гораздо позднее, чем я их начал. Да! Теперь для меня ясно, а скоро и для вас будет несомненным, что солнечный свет есть плотный поток страшно малых, упругих тел, вроде мячиков, которые со страшной силой и энергией несутся в пространство, пронизывая в своем стремлении массу мирового эфира... Впрочем, о теории после. Теперь я, для того чтобы быть последовательным, покажу вам манипуляции, которые вы должны будете производить ежедневно. Выйдем наружу.

Мы вышли из лаборатории, поднялись по винтовой лестнице почти на вершину купола и очутились на легкой сквозной галерее, обвивавшей спиралью в полтора оборота всю сферическую крышу.

— Вам не надо трудиться открывать поочередно все крышки, предохраняющие нежные стекла от пыли, снега, града и птиц,— сказал лорд Чальсбери.— Тем более что это, пожалуй, не под силу даже и атлету. Просто вы поворачиваете к себе этот рычаг, и все двадцать семь обтюраторов поворачиваются своими гуттаперчевыми кольцами в соответствующих кругообразных пазах в сторону, обратную движению часовой стрелки, словом, так, как отвинчивают все винты. Теперь крышки стекол освобождены от давления. Вы нажимаете вот эту небольшую ножную педаль. Глядите!

Кляк! И двадцать семь крышек, металлически щелкнув, мгновенно раскрылись внаружу, открыв засверкавшие на солнце стекла.

— Каждое утро вы, мистер Диббль,— продолжал ученый,— должны будете открывать чечевицы и тщательно чистой замшей вытирать их. Поглядите, как это делается.

И он, точно привычный рабочий, ловко, внимательно, почти любовно протер все стекла кусками замши, которую достал из бокового кармана завернутой в папиросную бумагу

— Теперь пойдемте вниз,— продолжал он,— я вам покажу ваши дальнейшие обязанности.

Внизу в лаборатории он продолжал свои объяснения:

— Затем вы должны «поймать солнце». Для этого вы ежедневно в полдень проверяете вот эти два хронометра по солнцу. Кстати, они вчера мною уже проверены. Способ вам, конечно известен. Узнайте, который теперь час. Определите среднее время: десять часов тридцать одна минута десять секунд. Вот три кривых рычага: большой — часовой, средний — минутный, малый — секундный. Глядите: поворачиваю большой круг до тех пор, пока стрелка индикатора не покажет десяти часов. Готово. Ставлю средний рычаг немного вперед, с запасом на тридцать шесть минут. Есть. Перевожу малый — это моя личная фантазия — еще на пятьдесят секунд. Теперь вставляю вот этот штепсель в гнездо. Вы слышите, как внизу под вами шипят и скрежещут шестерни. Это приходит в движение часовой завод, который заставляет всю лабораторию, вместе с ее куполом, инструментами, стеклами и с нами обоими, следовать неуклонно за движением солнца. Смотрите на хронометр, мы приближаемся к десяти часам тридцати минутам. Еще пять секунд. Дошли. Слышите, как звук часового завода изменился? Это вступают в ход минутные шестерни. Еще несколько секунд... Внимание! Момент! Теперь новый звук, тонко и отчетливо отбивающий секунды. Конец. Солнце поймано. Но дело далеко не кончено. По своей громоздкости и вполне понятной грубости этот часовой завод не может быть особенно точным. Поэтому как можно чаще заглядывайте на этот циферблат, указывающий его ход. Здесь часы, минуты, секунды; вот регулятор — вперед, назад. А по хронометрам, чрезвычайно точным, вы

уравниваете как можно чаще все круговое движение мастерской с точностью до десятой доли секунды.

Теперь солнце уже поймано нами. Но это не все. Свет должен проникать непременно сквозь безвоздушное пространство, иначе он нагреет и расплавит все наши приборы. А в замкнутых оболочках, откуда выкачан весь воздух, свет находится почти в том же холодном состоянии, в каком он проходит через бесконечные междупланетные области, вне земной атмосферы. Поэтому: присмотритесь,— вот кнопка электромагнитной катушки. В каждом из цилиндров есть притертая втулка, и около каждой из них — стальная полоса, обмотанная проволокой. Раз. Я нажимаю на кнопку и ввожу ток. Все полосы мгновенно намагничены, и втулки вышли из своих гнезд. Теперь пускаю этим медным рычагом в действие воздушный высасывающий насос, рукава от которого, как вы видите, проведены к каждому из цилиндров. Мельчайшая пыль, микроскопические соринки выкачиваются вместе с воздухом. Присматривайте за манометром F, на нем есть красная черта, предел давления. Прислушивайтесь к акустической трубе, ведущей вниз в насосный аппарат. Вот шипение прекратилось. Манометр переходит за красную черту. Размыкайте ток вторичным нажиманием на ту же кнопку. Стальные полосы размагничены. Втулки, повинуясь всасывающей силе пустоты, плотно втискиваются в конусообразные гнезда. Теперь свет проходит сквозь почти абсолютную пустоту. Для точности нашей работы и этого мало. Мы обращаем всю нашу лабораторию в безвоздушный колокол. Поэтому со временем мы будем работать в водолазных скафандрах. Нам подают воздух извне по гуттаперчевым трубам и регулярно выводят его наружу отработанным. А из самой лаборатории воздух все время выкачивается мощными насосами. Понимаете ли? Вы будете в положении водолаза, с той только разницей, что у вас на спине находится баллон с сгущенным воздухом: в случае какой-нибудь катастрофы, порчи машины, разрыва подающих шлангов и мало ли чего еще — вы нажимаете на маленький клапан в шлеме, и дыхание вам обеспечено на четверть часа. Надо лишь не теряться, и вы выходите из лаборатории свежий и цветущий, как дижонская роза.

Теперь нам остается еще проверить наиболее точным образом установку труб. Каждая из них связана с другой очень прочно, но в местах их тройных соединений допущена некоторая, незначительная, в два-три миллиметра, поворотливость и возможность уклона. Таких пунктов тринадцать, и вы должны их все контролировать раза три в день сверху донизу. Поэтому пройдемте наверх.

Мы поднялись по узким ступенькам и по гибким мосткам к самому верху купола. Учитель впереди, легкой юношеской походкой, а я сзади, не без труда, от непривычки. У соединения первых трех труб он указал мне небольшую крышку, которую он отвинтил одним поворотом руки и откинул так, что она в пружинных защелках приняла строго вертикальное положение. Дно ее представляло из себя крепкое серебряное, превосходно отшлифованное зеркало с вырезанными по окружности делениями и цифрами. Три параллельные ярко-золотые полосы, тонкие, как телескопические паутинки, почти соприкасающиеся одна с другой, пересекали гладкую поверхность зеркальца.

— Это — маленький колодезь, через который мы будем тайно следить за течением света. Три полосы — это три отблеска от трех внутренних зеркал. Соедините их в одну. Нет, сделайте это сами. Вот здесь вы видите три микрометрических винта для управления изменением положения чечевиц. Вот очень сильная лупа. Соедините все три световые полосы в одну, но так, чтобы общий луч пришелся на 0. Это пустая работа. Вы скоро приучитесь исполнять ее в одну минуту.

Действительно, механизм оказался очень послушным, и минуты через три я, едва прикасаясь к нежным винтам, соединил световые полосы в одну резкую черту, на которую было почти больно смотреть, и ввел ее в тонкую насечку под нулем. Потом я закрыл крышку и завинтил ее. Следующие двенадцать контрольных колодцев я проверял уже один, без помощи лорда Чальсбери. Дело шло у меня успешнее с каждым разом. Но уже на втором этаже лаборатории у меня от яркого света так заболели глаза, что слезы невольно покатились по лицу.

— Наденьте консервы. Вот они, — сказал патрон, протягивая мне футляр.

Но от последнего цилиндра, для проверки положения которого мы вошли в изолированную камеру, я должен был отказаться. Глаза не терпели больше.

— Возьмите более темные очки,— сказал лорд Чальсбери,— у меня их заготовлено до десяти номеров. Сегодня мы заключим в главный цилиндр привезенные вами вчера чечевицы, и тогда наблюдение станет втрое затруднительнее. Хорошо. Так. Теперь я пускаю в ход внутренние поршни. Открываю кран гидравлического насоса системы Натерера. Открываю другой кран с жидкой углекислотой. Теперь внутри цилиндра температура — сто пятьдесят градусов и давление равно двадцати атмосферам; первое показывает манометр, а второе термометр Витковского, усовершенствованный мной. В цилиндре сейчас происходит следующее: свет проходит сквозь него по вертикальной оси плотной, ослепительно яркой струей, приблизительно в карандаш толщиною. Поршень, приводимый в движение электрическим током, раскрывает и закрывает свой внутренний затвор в одну стотысячную секунды, то есть почти в один момент. Поршень посылает свет дальше, сквозь небольшую, очень выпуклую чечевицу. Из последней световая струя выходит еще более плотной, более тонкой и более яркой. Таких поршней и таких чечевиц в цилиндре пять. Под давлением последнего, самого маленького и самого прочного поршня, тонкая, как иголка, струя света вонзается в приемник, проходя последовательно через три его затвора, или, вернее, шлюза.

— Вот основа моего собирателя жидкого солнца,— сказал торжественно учитель.— И чтобы устранить в вас всякую тень сомнения, мы сейчас произведем опыт. Нажмите кнопку А. Это вы прекратили ход поршня. Подымите вверх этот медный рычаг. Теперь закрылись наружные крышки собирательных стекол в куполе здания. Поверните вправо до отказа красный вентиль и опустите вниз рукоятку С. Прекращено давление и приток углекислоты. Остается завинтить изнутри колбу. Это достигается десятью поворотами маленького круглого рычажка. Все кончено, дорогой мой; следите теперь за тем, как я отвинчиваю приемник от цилиндра. Вот он у меня в руках. В нем не более двадцати фунтов. Его внутренние затворы изолируются

fig. 1

Явление это продолжалось не более секунды, секунды с половиной

микрометрическими винтами снаружи. Я открываю во всю ширину отверстия первый, самый большой затвор. Затем средний. Последний я отворю всего на диаметр величиною в половину микрона. Но прежде пойдите и закройте выключатель электрического освещения.

Я повиновался, и в зале наступила непроницаемая темнота.

— Внимание! — услышал я из другого конца лаборатории голос лорда Чальсбери.— Открываю!

Необычайный золотистый свет, нежный, рассеянный, точно призрачный, вдруг разлился по зале, мягко, но четко осветив ее стены, и блестящие приборы, и фигуру самого учителя. В тот же момент я почувствовал на лице и на руках нечто вроде теплого дыхания. Явление это продолжалось не более секунды, секунды с половиной. Потом густая мгла скрыла от меня все предметы.

— Дайте свет! — крикнул лорд Чальсбери, и я опять увидел его, выходящего из дверей стеклянного колпака. Лицо его было бледно и дышало отражением счастья и гордости.

— Это только первые шаги, первые ученические попытки, первые семена,— говорил он возбужденно.— Это еще не солнце, сгущенное в газ, а всего лишь уплотненная невесомая материя. Я целыми месяцами нагнетал солнце в мои хранилища, но ни одно из них не стало тяжелее кончика человеческого волоса. Вы видели этот чудесный, ровный, ласкающий свет. Верите вы теперь в мою задачу?

— Да,— ответил я горячо, с глубоким убеждением.— Верю и преклоняюсь перед величием человеческого гения.

— Но мы с вами пойдем дальше. Еще дальше! Мы доведем температуру внутри цилиндра до минус двести семьдесят три градуса, до абсолютного нуля. Мы возвысим гидравлическое давление до тысячи, двадцати, тридцати тысяч атмосфер. Мы заменим наши восьмидюймовые верхние лучесобиратели могучими пятидесятидюймовыми. Мы расплавим по найденному мною способу фунты, пуды алмазов, сплавим их в чечевицы нужной нам кривизны и вставим в наши светопроводные трубы!.. Может быть, я не доживу до того времени, когда люди сожмут солнечные лучи до жид-

кого состояния, но я верю и чувствую, что сгущу их до плотности газа. Мне бы только увидеть, что стрелка электрических часов подвинулась хоть на один миллиметр влево,— и я буду безмерно счастлив.

Однако время бежит. Пойдем завтракать, а перед обедом займемся установкой новых алмазных чечевиц. С завтрашнего дня начнем втягиваться в работу. Одну неделю вы будете при мне в качестве обыкновенного рабочего, в качестве простого, послушного исполнителя. Через неделю мы поменяемся ролями. На третью неделю я вам дам помощника, которого вы при мне научите всем приемам с аппаратами. Потом я предоставлю вам полную свободу. Я верю вам,— сказал он живо, с очаровательной, прелестной улыбкой и протянул мне руку.

Мне очень памятен остался вечер этого дня и обед у лорда Чальсбери. Леди была в красном шелковом платье, и ее красный рот на бледном, немного усталом лице рдел, как пурпуровый цветок, как раскаленный уголь. Де Мон де Рик, с которым я впервые за этот день увиделся за столом, был свеж, красив и изящен, как никогда ни прежде, ни потом, между тем как я чувствовал себя утомленным и переполненным сверху донизу наплывом нынешних впечатлений. Я подумал было сначала, что ему выпала на сегодня привычная, нетрудная, наблюдательная работа. Но, однако, не я, а леди Чальсбери первая обратила внимание на то, что левая рука электротехника перевязана выше кисти марлевым бинтом. Де Мон де Рик очень скромно рассказал о том, как сполз с вала слишком слабо натянутый приводный ремень и как, падая, он оцарапал руку с наружной стороны. Вообще он в этот вечер владел разговором, но владел очень мило, с большой тактичностью. Он рассказывал о своих путешествиях в Абиссинию, где разыскивал золото в горных долинах на границе Сахары, об охоте на львов, о последних Ипсомских скачках, о лисьих охотах на севере Англии, о вошедшем тогда в моду писателе Оскаре Уайльде, с которым он был лично знаком. У него в разговоре была одна удивительная и, вероятно, слишком редкая черта, какой я, кажется, не встречал никогда у других. Расска-

зывая, он был чрезвычайно эпичен: он никогда не говорил ни о себе, ни от себя. Но каким-то загадочным путем его личность, оставаясь на заднем плане, все время освещалась то нежными, то героическими полутонами.

Теперь он глядел на леди Чальсбери гораздо реже, чем она на него. Он лишь изредка скользил по ней ласково-томными, из-под длинных спущенных ресниц, глазами. Но она почти не отрывала от него своих темных серьезно-загадочных глаз. Ее взгляд следил за движением его рук и головы, за его ртом и глазами. Странно! Она в этот вечер напомнила мне детскую игру: в чаше с водой плавает жестяная рыбка или уточка с железом во рту и безвольно, покорно тянется за магнитной палочкой, влекущей ее издали. Часто я с тревожным вниманием следил за выражением лица хозяина. Но он был безмятежно весел и спокоен.

После обеда, когда де Мон де Рик отпросился курить, леди Чальсбери сама первая предложила ему сыграть партию на бильярде. Они ушли, а мы с хозяином перебрались в кабинет.

— Давайте сыграем в шахматы,— сказал он.— Вы играете?

— Неважно, но всегда с удовольствием.

— И знаете что еще? Давайте выпьемте какого-нибудь веселого ароматного вина.

Он нажал кнопку звонка.

— По какому-нибудь поводу?— спросил я.

— Вы угадали. Потому, что мне кажется, что я нашел в вашей особе моего помощника, и если будет угодно судьбе, то и продолжателя моего дела!

— О, сэр!

— Погодите. Какой напиток вы больше всего предпочитаете?

— Мне, право, стыдно сознаться, что я ни в одном из них ничего не понимаю.

— Хорошо, в таком случае я назову вам четыре напитка, которые я люблю, и пятый, который я ненавижу. Бордоские вина, портвейн, шотландский эль и вода. А не терплю я шампанского. Итак, выпьем шатоля-роз. Почтенный Самбо,— приказал он безмолвно дожидавшемуся метрдотелю,— итак, бутылку шатоля-роз.

Играл лорд Чальсбери, к моему удивлению, почти плохо. Я быстро сделал шах и мат его королю. После первой партии мы бросили играть и опять говорили о моих утренних впечатлениях.

— Послушайте, дорогой Диббль,— сказал лорд Чальсбери, кладя на кисть моей руки свою маленькую, горячую, энергичную руку.— И я и вы, конечно, много раз слыхали о том, что настоящее правильное мнение о человеке создается в наших сердцах исключительно по первому взгляду. Это, по-моему, глубочайшая неправда. Множество раз мне приходилось видеть людей с лицами каторжников, шулеров или профессиональных лжесвидетелей,— кстати, вы увидите через несколько дней вашего помощника,— и они потом оказывались честными, верными в дружбе, внимательными и вежливыми джентльменами. С другой же стороны, очень нередко, обаятельное, украшенное сединами и цветущее старческим румянцем, благодушное лицо и благочестивая речь скрывали за собой, как оказывалось впоследствии, такого негодяя, что перед ним любой лондонский хулиган являлся скромной овечкой с розовым бантиком на шее. Вот теперь я и прошу вас, если можете, помогите мне разобраться в моем затруднении. Мистер де Мон де Рик до сих пор ни на иоту не посвящен в смысл и значение моих научных изысканий. Он по своей матери приходится мне дальним родственником. Мистер Найдстон, который знает его с детства, однажды сообщил мне, что де Мон де Рик находится в чрезвычайно тяжелом (только не в материальном смысле) положении. Я тотчас же предложил ему место у меня, и он за него ухватился с такой радостью, которая ясно свидетельствовала об его крайнем положении. Я кое-что слыхал о нем, но слухам и сплетням не верю. На меня лично он произвел такое впечатление, как будто не произвел совсем никакого впечатления. Может быть, я вижу первого такого человека, как он. Но мне почему-то кажется, что я видал таких уже миллионы. Я сегодня следил за ним на деле. По-моему, он ловок, знающ, находчив и работящ. Кроме того, он хорошо воспитан, умеет держать себя в любом, как мне кажется, обществе, притом энергичен и умен. Но в одном отношении какое-то странное ко-

лебание овладевает мной. Скажите мне откровенно, милый мистер Диббль, ваше мнение о нем.

Этот неожиданный и неделикатный вопрос покоробил и смутил меня; по правде сказать, я совсем не ожидал его.

— Но, право, я не знаю, сэр. Я, вероятно, знаком с ним меньше, чем вы и мистер Найдстон. Я увидал его впервые на борту парохода «Южный крест», а во время пути мы чрезвычайно редко соприкасались и разговаривали. Да и надо сказать, что меня мучила качка в продолжение всего перехода. Однако из немногих встреч и разговоров я вынес о нем приблизительно такое же впечатление, как и вы, сэр: знание, находчивость, энергия, красноречие, большая начитанность и... несколько странная, но, может быть, чрезвычайно редкая смесь сердечного хладнокровия с пылкостью головного воображения.

— Так, мистер Диббль, так. Прекрасно. Почтенный мистер Самбо, принесите еще бутылку вина, и затем вы свободны. Так. Иной характеристики я от вас почти и не ожидал. Но я еще раз возвращаюсь к моему затруднению: открыть ли ему, или не открыть все то, чему вы сегодня были свидетелем и слушателем? Представьте, что пройдет два года или год, а даже, может быть, и меньше, и вот ему, денди, красавцу, любимцу женщин, вдруг надоест пребывание на этом чертовском вулкане. По-моему, в этом случае он не прибегнет ко мне за благословением и разрешением. Он просто-напросто в одно прекрасное утро уложит свои вещи и уедет. Что я останусь без помощника, и очень дорогого помощника,— этот вопрос второстепенный, но я не ручаюсь, что он, приехав в Старый Свет, не окажется болтуном, может быть, даже совершенно случайным болтуном.

— О, неужели вы этого боитесь, сэр?

— Говорю вам искренно — боюсь! Я боюсь шума, рекламы, нашествия интервьюеров. Я боюсь того, что какой-нибудь влиятельный, но бездарный ученый рецензент и обозреватель, основывающий свою известность на постоянном хулении новых идей и смелых начинаний, повернет в глазах публики мою идею, как праздный вымысел, как бред сумасшедшего. Наконец я еще больше боюсь того, что какой-нибудь голодный

выскочка, жадный неудачник, бездарный недоучка схватит мою мысль нюхом на лету, заявит, как это бывало уже тысячи раз, о случайном совпадении открытий и унизит, опошлит и затопчет в грязь то, что я родил в муках и восторге. Надеюсь, что вы понимаете меня, мистер Диббль?

— Совершенно, сэр.

— Если это будет так, то я и мое дело погибли. Впрочем, что значит маленькое «я» в сравнении с идеей? Я твердо уверен в том, что в первый вечер, когда в одной из громадных лондонских аудиторий я прикажу погасить электричество и ослеплю десять тысяч избранной публики потоками солнечного света, от которого раскроются цветы и защебечут птицы,— в тот вечер я приобрету миллиард для моего дела. Но пустяк, случайность, незначительная ошибка, как я вам уже говорил, способны роковым образом умертвить самое бескорыстное и самое великое дело. Итак, я спрашиваю ваше мнение, довериться ли мистеру де Мон де Рику, или оставить его в фальшивом и уклончивом неведении. Это дилемма, из которой я не могу сам выйти без посторонней помощи. В первом случае возможность всемирного скандала и краха, а во втором — верный путь к возбуждению в человеке благодаря недоверию чувств озлобления и мести. Итак, мистер Диббль?..

Мне напрашивался на язык простой ответ: «Отправьте завтра же этого Нарцисса со всем почетом ко всем чертям, и вы сразу успокоитесь». Теперь я глубоко жалею, что дурацкая деликатность помешала мне подать этот совет. Вместо того чтобы так поступить, я напустил на себя холодную корректность и ответил:

— Надеюсь, сэр, что вы не рассердитесь на меня за то, что я не возьмусь быть судьей в таком сложном деле?

Лорд Чальсбери пристально поглядел на меня, печально покачал головой и сказал с невеселой усмешкой:

— Давайте допьем вино и пройдемте в бильярдную. Я хочу выкурить сигару.

В бильярдной мы увидали следующую картину. Де Мон де Рик стоял, опершись локтями на бильярд, и что-то оживленно рассказывал, а леди Чальсбери,

прислонившись к облицовке камина, громко смеялась. Это меня гораздо более поразило, чем если бы я увидал ее плачущей. Лорд Чальсбери заинтересовался причиной смеха, и когда де Мон де Рик повторил свой рассказ об одном тщеславном снобе, который из желания прослыть оригиналом завел себе ручного леопарда и потом три часа сидел на чердаке от страха перед животным, мой патрон громко, совсем по-детски, рассмеялся...

Все в мире самым странным образом сцепляется. В этом вечере также неисповедимыми путями сошлись вступление, завязка и трагическая развязка наших существований.

Первые два дня моего пребывания в Каямбэ для меня памятны до мелочей, но остальное чем ближе к концу, тем туманнее. С тем большим основанием я теперь прибегаю к помощи моей записной книжки. В ней морская вода выела первые и последние страницы, а частью и середину. Но кое-что я могу, хотя и с большим трудом, восстановить. Итак:

11 декабря. Сегодня мы ездили с лордом Чальсбери в Квито верхом на мулах за медными гальванизированными проводами. Случайно зашел разговор о материальной обеспеченности нашего дела (причиной его вовсе не было мое праздное любопытство). Лорд Чальсбери, который уже давно, как мне кажется, дарит меня своим доверием, вдруг быстро повернулся на седле лицом ко мне и спросил неожиданно:

— Ведь вы знаете мистера Найдстона?

— Конечно, сэр.

— Не правда ли, прекрасный человек?

— Превосходный.

— И не правда ли, в деловом смысле сухой и немного формалист?

— Да, сэр. Но также и со способностью к большому душевному подъему и даже к пафосу.

— Вы наблюдательны, мистер Диббль,— ответил учитель.— Да, так знайте же, что этот чудак вот уже в продолжение пятнадцати лет упорно, как магометанин в свою Каабу, верит в меня и мою идею. Подумайте только, он лондонский стряпчий. Он не только ни-

чего не берет с меня за мои поручения, но недавно предложил мне распоряжаться его собственным капиталом, в случае надобности, как я захочу. А я глубоко уверен в том, что он не единственный чудак в старой Англии. Поэтому будем бодры.

12 декабря. В первый раз лорд Чальсбери обратил мое внимание на силу, которая приводит в движение часовой механизм, вращающий лабораторию по солнцу. Это наивно, просто и остроумно. По склону кратера потухшего вулкана скользит вдоль крутых, почти отвесных, рельс базальтовый окованный монолит в две тысячи пудов весом, на стальном тросе в мужскую ляжку толщиной. Эта тяжесть приводит в движение механизм. Ее работы хватает ровно на восемь часов, а рано утром старый слепой мул поднимает эту часовую гирю при помощи другого троса и системы блоков опять наверх без всякого усилия для себя.

20 декабря. Сегодня мы долго сидели с лордом Чальсбери после обеда в оранжерее среди одурманивающего запаха нарциссов, померанцев и тубероз. За последнее время патрон очень осунулся, и глаза его как будто начали терять свой прекрасный юношеский блеск. Объсняю это переутомлением, потому что мы в эти дни очень много работаем. Я уверен, что он *ни о чем* не догадывается. Он вдруг, странно поворачивая, по своему обыкновению, разговор, заговорил:

— Наша с вами работа самая бескорыстная и честная на свете. Ведь думать о счастии своих детей или внуков так вполне естественно и так эгоистично. Но мы с вами думаем о жизни и счастии человечества таких отдаленных времен будущего, в которых не будут знать не только о нас, но и наших поэтах, королях и завоевателях, о нашем языке и религии, об очертаниях и даже названиях наших стран. «Не ближнему, а дальнему», не так ли сказал ваш теперешний любимый философ? В этом бескорыстном, чистом служении отдаленному грядущему я почерпаю свою гордую уверенность и силы.

3 января. Ездил сегодня в Квито принимать пришедшие из Лондона заказы. С мистером де Мон де Риком отношения становятся холодными, почти враждебными.

Февраль. Мы сегодня закончили работу по заключению всех наших труб в футляры с понижающими тем-

пературу растворами. Лед-соль дает — 21°, твердая углекислота плюс эфир — минус 80°, кислород — 118°, испарение углекислоты — 130°, атмосферическое давление мы способны, кажется, развить до бесконечности.

Апрель. Мой помощник продолжает не на шутку интересовать меня. Он, кажется, какой-то славянин. Не то русский, не то поляк и, кажется, анархист. Он интеллигент, хорошо говорит по-английски, но, кажется, предпочитает не говорить ни на каком языке, а молчать. Вот его наружность: он высок, худ, сутуловат в плечах; волосы прямые и длинные и так падают на лицо, что лоб имеет форму трапеции, суженной кверху, нос, вздернутый кверху, с огромными, открытыми, волосатыми, но очень нервными ноздрями. А глаза у него ясные, серые, до безумия дерзкие. Он слышит и понимает все, что мы говорим о счастии будущих поколений, и часто усмехается добродушно-презрительной улыбкой, которая напоминает мне выражение лица большого старого бульдога, наблюдавшего развозившихся той-терьеров. Но к учителю он относится — это я не только знаю, но чувствую всей душой — с безграничным обожанием. Совсем наоборот поступает мой коллега де Мон де Рик. Он часто говорит учителю об идее жидкого солнца с таким неестественным восторгом, что я вчуже краснею от стыда и боюсь, не насмехается ли электротехник над патроном. Но он ничуть не интересуется им, как человеком, и самым неприличным образом и именно в присутствии его жены пренебрегает его положением мужа и хозяина дома, хотя это у него выходит, вероятно, против расчета и здравого смысла, под влиянием исказившейся воли, а может быть, и ревности.

Май. Да здравствуют три талантливых поляка — Врублевский, Ольшевский и Витковский и завершивший их опыты Дэвар. Сегодня мы, обратив гелий в жидкое состояние и мгновенно уменьшив давление, довели температуру в главном цилиндре до −272°, и стрелка электрических весов впервые подвинулась не на один, а на *целых пять миллиметров.* Безмолвно, в одиночестве, я становлюсь пред вами на колени, дорогой мой наставник и учитель.

26 июня. По-видимому, де Мон де Рик поверил в жидкое солнце, и теперь — уже без слащавого за-

игрывания и наигранного восхищения. По крайней мере сегодня за обедом он отличился удивительной фразой. Он сказал, что, по его мнению, жидкому солнцу предстоит громадная будущность в качестве взрывчатого вещества или приспособления для мин и огнестрельных ружей.

Я возразил, правда, довольно грубо, на немецком языке.

— Так говорит прусский лейтенант.

Но лорд Чальсбери возразил кратко и примирительно:

— Мы мечтаем не о разрушении, а о созидании.

27 июня. Пишу впопыхах, и руки у меня дрожат. Вчера ночью я задержался в лаборатории до двух часов. Была спешная работа по установке охладителей. Я возвращался к себе. Очень ярко светил месяц. На мне были теплые сапоги из тюленьей кожи, и шаги мои по обледенелой дорожке не издавали никакого звука. Дорога у меня шла все время в тени. Почти у самых моих дверей я остановился, потому что услышал голоса.

— Зайдите же, дорогая Мери, ради бога, зайдите ко мне хоть на минуту. Почему вы каждый раз боитесь этого? И каждый раз убеждаетесь, что ваши страхи напрасны?

Я тотчас же увидал их обоих при ярком, южном свете луны. Он обнимал ее за талию, а ее голова покорно лежала на его плече. О, как они оба были прекрасны в это мгновение!

— Но ваш товарищ...— робко произнесла леди Чальсбери.

— Какой же он мне товарищ? — беспечно рассмеялся де Мон де Рик.— Это только скучный и сентиментальный сурок, который каждый день аккуратно ложится спать в десять часов, чтобы проснуться в шесть. Мисс Мери, идемте, умоляю вас.

И оба они, не размыкая объятий, взошли на крыльцо, освещенное голубым сиянием луны, и скрылись за дверью.

28 июня, вечером. Сегодня утром я пришел к мистеру де Мон де Рику, не принял его протянутой руки, не сел на указанный им стул и сказал ему спокойно:

— Сэр, я должен высказать вам свое мнение о вас. Я полагаю, сэр, что в том месте, где мы должны бы

были с вами работать радостно и самоотверженно на пользу человечества, вы ведете себя самым недостойным и бесстыдным образом. Вчера в два часа ночи я видел, как вы вошли к себе домой.

— Вы подглядывали, негодяй? — закричал де Мон де Рик, и глаза его заблестели фиолетовым огнем, как у кошки ночью.

— Нет, я сам очутился в наиболее неприятном положении, какое только может придумать воображение. Я не выдал своего присутствия единственно из-за того, чтобы не причинить страданий не вам, а другому человеку. И это тем более дает мне право сказать вам теперь один на один, что вы, сэр, настоящий подлец и гадина.

— Вы заплатите мне за это кровью, с оружием в руках, — крикнул де Мон де Рик, вскакивая и разрывая ворот своей сорочки.

— Нет, — твердо ответил я. — Во-первых, у нас к этому нет повода, кроме того, что я назвал вас подлецом, но без свидетелей, а второе, вот что: я нахожусь при деле огромной, мировой важности и не считаю возможным уйти от него из-за вашей дурацкой пули, пока дело не дойдет до конца. В-третьих, не проще ли вам сейчас же, захватив лишь необходимый багаж, сесть на первого попавшегося мула, спуститься вниз, в Квито, а затем прежней дорогой вернуться в гостеприимную Англию? Или и там вы украли чью-нибудь честь или чьи-нибудь деньги, господин подлец?

Он прыгнул к столу и судорожно схватил с него хлыст из гиппопотамовой кожи.

— Я изобью вас, как собаку! — заревел он.

Тогда во мне проснулась старая боксерская школа. Не давая ему опомниться, я обманул его левой рукой, а кулаком правой нанес быстрый удар в нижнюю челюсть между ухом и подбородком. Он завыл, завертелся, как волчок, и из носу у него хлынула черная кровь.

Я вышел.

29 июня. — Отчего я сегодня не видел целый день мистера де Мон де Рика? — вдруг спросил лорд Чальсбери.

— Кажется, ему нездоровится, — ответил я, внимательно глядя в землю.

Мы сидели с ним на северном склоне вулкана. Было девять часов вечера, луна еще не всходила. Около нас стояли два негра-носильщика и мой таинственный помощник Петр. На спокойной темной синеве неба едва рисовались тонкие линии электрических проводов, установленных нами за сегодняшний день. А на большом возвышении, сооруженном из камня, покоился приемник № 6, прочно укрепленный среди базальтовых глыб и готовый каждую секунду привести в движение затворы.

— Приготовьте шнур,— приказал лорд Чальсбери,— прокатите катушку вниз, я слишком устал и взволнован, поддержите меня, помогите мне спуститься. Вот здесь как будто хорошо. И мы не рискуем ослепнуть. Подумайте, дорогой Диббль, подумайте, милый мой мальчик, сейчас мы с вами, во имя славы и радости будущего человечества, озарим весь мир солнечным светом, сгущенным в газ. Алло! Зажгите стопин.

Быстро побежала вверх огненная змея пороховой нитки и скрылась вверху над нами, за краем глубокого уступа, под которым мы сидели. Мой напряженный слух уловил мгновенное щелканье соединившихся контактов и пронзительный визг моторов. По нашим расчетам, солнечный газ должен был выходить из кювета рядом последовательных взрывов, приблизительно около шести тысяч в секунду. И в тот же момент над нами взошло ослепительное солнце, навстречу которому зашелестели внизу деревья, зарозовели облака, засверкали дальние крыши и окна домов города Квито и громким криком разразились наши домашние петухи в поселке.

А когда свет так же мгновенно погас, как и загорелся, учитель щелкнул секундомером, посветил на него карманным электрическим фонариком и сказал:

— Время горения одна минута одиннадцать секунд. Это настоящая победа, мистер Диббль. Ручаюсь вам, что через год мы наполним громадные резервуары жидким и густым, как ртуть, золотым солнцем и заставим его светить нам, греть нас и еще приводить в движение все наши машины.

А когда мы вернулись около полуночи домой, то мы узнали, что за наше отсутствие леди Чальсбери и мистер де Мон де Рик еще засветло, тотчас же после

нашего ухода, пошли как будто для прогулки, а потом на заранее оседланных мулах спустились вниз, в Квито.

Лорд Чальсбери и тут остался верен себе. Он сказал без горечи, но с печалью и страданием:

— Ах, зачем они не сказали мне об этом? Зачем ложь? Разве я не видел, что они любят друг друга? Я не стал бы им мешать.

Тут кончаются мои записки, впрочем, так попорченные водою, что я восстановил их лишь с большим трудом и не совсем ручаюсь за их точность. Да и в дальнейшем я не ручаюсь за свою память. Ведь это и всегда так бывает: чем ближе к развязке, тем путаннее воспоминания.

Около двадцати пяти дней мы напряженно работали в лаборатории, наполняя все новые и новые кюветы золотым солнечным газом. За это время мы успели придумать остроумные регуляторы к нашим солнцеприемникам. Мы снабдили каждый из них часовым механизмом и таким же простым указателем времени, как у будильника. Перемещая известным образом указатели трех циферблатов, мы достигли возможности получить свет через любой промежуток времени, растянуть время его горения и его интенсивность от слабого получасового мерцания до мгновенного взрыва — все зависело от часового завода. Мы работали без увлечения, точно нехотя, но надо сказать, что этот период был самым плодотворным за все время моего пребывания на Каямбэ. Но все это окончилось внезапно, фантастично и страшно.

Однажды, в начале августа, ко мне в лабораторию зашел лорд Чальсбери, еще более усталый и постаревший, чем в предыдущие дни; он сказал мне с брезгливым спокойствием:

— Милый друг, я чувствую, что близится моя смерть, и во мне проснулись старые предрассудки. Хочу умереть и быть похороненным в Англии. Оставляю вам немного денег, все дома, машины, землю и мастерские. Денег вам хватит, соразмерно с теми расходами, которые я имел, года на два-три. Вы моложе и энергичнее меня, и, может быть, у вас что-нибудь выйдет. Милый наш друг мистер Найдсон поддержит

вас с радостью в любую минуту. Подумайте же хорошенько.

Этот человек давно стал мне дороже отца, матери, брата, жены или сестры. И поэтому я ответил ему с глубоким убеждением:

— Дорогой сэр, я не оставлю вас ни на одну секунду.

Он обнял меня и поцеловал в лоб.

На другой день он созвал всех служащих и, заплатив каждому из них двухгодовое жалованье, сказал, что дело его на Каямбэ пришло к концу и что всем им он приказывает сегодня же спуститься с Каямбэ вниз, в долины.

Они ушли веселые, неблагодарные, предвкушавшие сладкую близость пьянства и разврата в бесчисленных притонах, которыми кишит город Квито. Один лишь мой помощник, молчаливый славянин,— не то албанец, не то сибиряк,— долго не хотел уходить от своего хозяина. «Я останусь при вас до моей или вашей смерти»,— сказал он. Но лорд Чальсбери поглядел на него убедительно, почти строго, и сказал:

— Я еду в Европу, мистер Петр.

— Все равно, и я с вами.

— Но ведь вы знаете, что вам грозит там, мистер Петр.

— Знаю. Веревка. И, однако, все равно я не покину вас. Я все время в душе смеялся над вашими сентиментальными заботами о счастии людей миллионных столетий, но никому не говорил об этом, но, узнавши близко вас самого, я также узнал, что чем ничтожнее человечество, тем ценнее человек, и поэтому я привязался к вам, как старый, бездомный, озлобленный, голодный, шелудивый пес к первой руке, приласкавшей его искренно. И поэтому же я остаюсь при вас. Баста.

Я с изумлением и с восторгом глядел на этого человека, которого я раньше считал окончательно не способным на какие-нибудь возвышенные чувства. Но учитель сказал ему мягко и повелительно:

— Нет, вы уйдете. И сейчас же. Мне дорога ваша дружба, мне дорога ваша неутомимая работа. Но я еду умирать к себе на родину. И ваши возможные страда-

ния только отяготят мой уход из мира. Будьте мужчиной, Петр. Возьмите деньги, обнимите меня на прощание, и расстанемся.

Я видел, как они обнялись и как суровый Петр несколько раз горячо поцеловал руку лорда Чальсбери, а потом бросился прочь от нас, не оборачиваясь назад, почти бегом, и скрылся за ближайшими зданиями.

Я поглядел на учителя: он, закрыв лицо руками, плакал...

Через три дня мы шли на знакомом мне пароходе «Гонзалес» из Гваякиля в Панаму. Море было неспокойно, но ветер дул попутный, и в подмогу слабосильной машине капитан распорядился поставить паруса. Мы с лордом Чальсбери все время не покидали каюты. Его состояние внушало мне серьезные опасения, и временами я даже думал, что он мешается в уме. Я глядел на него с беспомощной жалостью. Особенно поражало меня то, что через каждый две-три фразы он непременно возвращался мыслями к оставленному им на Каямбэ кювету № 21б и каждый раз, вспоминая о нем, твердил, стискивая руки: «Неужели я забыл, ах, неужели я мог забыть?» Но потом речь его становилась опять печальной и возвышенной.

— Не думайте,— говорил он,— что маленькая личная драма заставила меня сойти с того пути трудов, упорных изысканий и вдохновений, который я терпеливо прокладывал в течение всей моей сознательной жизни. Но обстоятельства дали толчок моим размышлениям. За последнее время я многое передумал и переоценил, но только в иной плоскости, чем раньше. Если бы вы знали, как тяжело в шестьдесят пять лет перестраивать свое мировоззрение. Я понял, вернее, почувствовал, что не стоит будущее человечество ни забот о нем, ни нашей самоотверженной работы. Вырождаясь с каждым годом, оно становится все более дряблым, растленным и жестокосердым. Общество подпадает власти самого жестокого деспота в мире — капитала. Тресты, играя в своих публичных притонах на мясе, хлебе, керосине, сахаре, создают поколения сказочных полишинелей-миллиардеров и рядом миллионы голодных оборванцев, воров и убийц. И так будет вечно.

И моя идея продлить солнечную жизнь Земли станет достоянием кучки негодяев, которые будут править ею или употреблять мое жидкое солнце на пушечные снаряды и бомбы безумной силы... Нет, не хочу этого... Ах, боже мой, этот кювет! Ах, неужели я забыл! Неужели! — вдруг воскликнул лорд Чальсбери, хватаясь за голову.

— Что вас так тревожит, дорогой учитель? — спросил я.

— Видите ли, милый Генри... Я опасаюсь того, что сделал маленькую, но, может, очень роковую...

Больше я ничего не слышал. На востоке вдруг вспыхнуло огромное, как вселенная, золотое, огненное пламя. И небо и море точно потонули на мгновение в нестерпимом сиянии. Тотчас же вслед за этим оглушительный гром и какой-то горячий вихрь свалил меня на палубу.

Я потерял сознание и пришел в себя, только услышав над собою голос учителя.

— Что? — спрашивал лорд Чальсбери. — Вас ослепило?

— Да, я ничего не вижу, кроме радужных кругов перед глазами. Ведь это катастрофа, профессор? Зачем вы сделали или допустили это? И разве вы не предвидели этого?

Но он мягко положил мне на плечо свою маленькую прекрасную белую руку и сказал глубоким нежным голосом (и от этого прикосновения и от этого уверенного тона его слов я сразу стал спокоен):

— Неужели вы не верите мне? Подождите, зажмурьте крепко глаза и закройте их ладонью правой руки и держите так, пока я не перестану говорить или пока у вас не пройдет в глазах световое мелькание, потом, прежде чем открыть глаза, наденьте очки, которые я вам сейчас сую в левую руку. Это очень сильные консервы. Слушайте, мне казалось, что вы успели узнать меня гораздо лучше за это короткое время, чем знали меня самые близкие люди. Уже ради только вас, моего настоящего друга, я не взял бы на свою совесть такого жестокого и бесцельного опыта, который грозит смертью нескольким десяткам тысяч людей. Да и то сказать, чего стоит существование этих развратных негров, пьяных индейцев и вырождающихся испанцев?

Образуйся сейчас на месте республики Эквадор с ее сплетнями, торгашеством и революциями сплошная дыра в преисподнюю, от этого ни на грош не потеряют ни наука, ни искусство, ни история. Немножко жаль моих умных, терпеливых, милых мулов. Правда, скажу вам по совести, я ни на секунду не задумался бы принести в жертву торжеству идеи и вас и вместе с вами миллион самых ценных человеческих жизней, если бы только я был убежден в правоте этой идеи, но ведь всего три минуты тому назад я вам говорил о том, что я окончательно разуверился в способности грядущего человечества к счастью, любви и самопожертвованию. Неужели вы можете подумать, что я стал бы мстить маленькому кусочку человечества за мою громадную философскую ошибку? Но вот чего я себе не прощаю: это чисто технической ошибки, ошибки рядового привычного работника. Я в данном случае похож на мастера, который стоял двадцать лет около сложной машины, а через двадцать лет и один день вдруг взгрустнул о своих личных семейных делах, забыл о деле, перестал слушать ритм, и вот сорвался приводный ремень и своим страшным размахом убил несколько муравьев-рабочих. Видите ли, меня все время мучила мысль о том, что я по рассеянности, приключившейся со мной первый раз за все эти двадцать лет, забыл остановить часовой завод у кювета № 216 и поставил его нечаянно на полный взрыв. И это сознание все время, точно во сне, преследовало меня на пароходе. Так и оказалось. Кювет взорвало, и от детонации взорвались и другие хранилища. Опять моя ошибка. Прежде чем хранить в таком громадном запасе жидкое солнце, мне нужно было бы раньше, хотя бы с риском для собственной жизни, проделать в малых размерах опыты над взрывчатыми качествами сгущенного света. Теперь оглянитесь сюда,— и он мягко, но настойчиво повернул мою голову на восток.— Отнимите руку и теперь медленно, медленно откройте глаза.

В один момент с необычайной яркостью, как это, говорят, бывает в предсмертные минуты, я увидел полыхавшее на востоке, то сжимавшееся, то разжимавшееся, точно дышащее зарево, накрененный борт парохода, волны, хлеставшие через перила, мрачно-кровавое море и тускло-пурпуровые тучи на небе и прекрас-

ное спокойное лицо, все в седых шелковистых сединах, с глазами, сиявшими, как скорбные звезды. Удушливый жаркий ветер дул с берега.

— Пожар? — спросил я вяло, точно во сне, и обернулся к югу. Там, над вершиной Каямбэ, стоял густой дымный огонь, который прорезывали быстрые молнии.

— Нет, это извержение нашего доброго старого вулкана. Взрыв жидкого солнца разбудил и его. Согласитесь, все-таки черт знает какая сила! И подумать только, что все это напрасно.

Я ничего не понимал. У меня кружилась голова. И вот я услышал около себя странный голос, одновременно нежный, как у матери, и повелительный, как у деспота:

— Сядьте на этот корабельный бунт и повинуйтесь слепо всему, что я вам прикажу. Вот вам спасательный круг, наденьте его сейчас же на себя, завяжите крепко под мышками, но не стесняйте дыхания; вот вам фляжка с коньяком, спрячьте ее в левый боковой карман вместе с тремя плитками шоколада, вот вам пергаментный конверт с деньгами и письмами. Сейчас «Гонзалес» будет опрокинута таким страшным валом, который вряд ли видало человечество со времен потопа. Лягте вдоль правого борта. Так. Обвейтесь руками и ногами о поручни. Хорошо. Голова у вас за железным щитом. Это поможет, чтобы вас не оглушило ударом. Когда вы почувствуете, что вал обрушился на палубу, постарайтесь задержать дыхание секунд на двадцать, затем бросайтесь вправо, и да благословит вас бог! Это все, что я могу вам пожелать и посоветовать. А затем еще, если вам суждено умереть так рано и так нелепо... То мне хотелось бы услышать, что вы мне прощаете. Понимаете ли, другому я не сказал бы этого, но я знаю, что вы англичанин и настоящий джентльмен.

Его слова, исполненные хладнокровия и достоинства, вернули мне самообладание. Я нашел в себе достаточно силы, чтобы, пожимая ему крепко руку, ответить спокойно:

— Верьте, дорогой учитель, что никакие радости жизни не изменили бы мне тех прекрасных часов, которые я провел под вашим мудрым руководством.

Я бы хотел только спросить, почему вы сами о себе не заботитесь?

Я до сих пор ясно помню его, прислонившегося к ящику с запасным компасом, помню, как ветер трепал его одежду и седую бороду, такую страшную на красном фоне вулканического извержения. Тут же я на секунду с удивлением заметил, что уже не было нестерпимо горячего ветра с берега, наоборот — с запада дул порывистый, холодный ураган, и судно наше почти лежало на боку.

— Э! — воскликнул небрежно лорд Чальсбери и устало махнул рукой.— Мне нечего терять. Я одинок во всем этом мире. У меня есть единственная привязанность — это вы, но и вас я подвергаю смертельной опасности, из которой вам выкарабкаться — только один шанс на миллион. У меня есть богатство, но, право, я не знаю, что с ним делать, разве только,— и голос его зазвучал печальной и кроткой насмешкой,— разве только раздать его неимущим Норфолькского графства и расплодить лишнюю банду тунеядцев и попрошаек. У меня есть знания, но вы сами видите, что они потерпели крах. У меня есть энергия, но уже теперь я не смог бы найти для нее приложения. О нет, дорогой друг, я не самоубийца; если в эту ночь мне не суждено погибнуть, я употреблю мой остаток жизни на то, чтобы скромно возделывать спаржу, артишоки и дыни на каком-нибудь маленьком клочке земли, где-нибудь подальше от Лондона. А если смерть,— он снял шляпу, и странно было мне видеть его развевающиеся волосы, мечущуюся бороду и ласковые, печальные глаза и слышать его голос, звучавший, как органный хорал.— А если смерть, то с покорностью предаю мое тело и мой дух вечному богу, который да простит мне заблуждения моего слабого человеческого ума.

— Аминь,— сказал я.

Он повернулся спиной к ветру и закурил сигару. Четким, фантастическим, великолепным видением рисовалась его черная фигура на фоне багряного неба. До меня долетел тонкий запах прекрасной гаванны.

— Готовьтесь. Еще останется минута, две. Не трусите?

— Нет... Но экипаж, пассажиры!..

— Я во время вашего обморока предупредил их. Впрочем, на всем судне нет ни одного трезвого человека и ни одного спасательного пояса. За вас я не боюсь, у вас на руке надет талисман. У меня, представьте, был такой же, но я его потерял. Эй! держитесь!.. Генри!..

Я обернулся к востоку и обомлел от смертельного ужаса. На наш скорлупу-пароход быстро двигался от берега огромный вал с Эйфелеву башню высотой, весь черный, с розово-белым, пенистым гребнем наверху. Что-то заревело, задрожало... и точно весь мир обрушился на палубу.

Я опять потерял сознание и пришел в себя через несколько часов в небольшой рыбачьей барке, спасшей меня. Моя изуродованная левая рука была грубо перевязана тряпкой, а голова замотана какими-то лохмотьями. Через месяц, поправившись от ран и душевных потрясений, я уже плыл обратно в Англию.

История моих странных приключений окончена. Мне остается только прибавить, что я теперь скромно живу в самой тихой части Лондона и ни в чем не нуждаюсь благодаря щедрой доброте покойного лорда Чальсбери. Я много занимаюсь наукой и даю частные уроки. Каждое воскресенье мы с милым мистером Найдстоном обедаем поочередно друг у друга. Нас связывают самые тесные дружеские узы, и наш первый тост всегда бывает в честь и память великого лорда Чальсбери.

Г. Диббль.

P. S. Все имена собственные в моем рассказе не настоящие, а нарочно изобретены мною.

Г. Д.

[1912]

Велимир ХЛЕБНИКОВ

Кол из будущего

Мы и дома

МЫ И УЛИЦЕТВОРЦЫ

Вонзая в человечество иглу обуви, шатаясь от тяжести лат, мы, сидящие на крупе, показываем дорогу туда! и колем усталые бока колесиком на железной обуви, чтобы усталое животное сделало прыжок и вяло взяло, маша от удовольствия хвостом, забор перед собой.

Мы, сидящие в седле, зовем: туда, где стеклянные подсолнечники в железных кустарниках, где города, стройные как невод на морском берегу, стеклянные как чернильница, ведут междуусобную борьбу за солнце и кусок неба, будто они мир растений: «по-солонь» ужасно написано в них азбукой согласных из железа и гласных из стекла!

И если люди — соль, не должна ли солонка идти по-солонь? Положив тяжелую лапу на современный город и его улицетворцев, восклицая: «Бросьте ваши крысятники» и страшным дыханием изменяя воздух, мы, будетляне, с удовольствием видим, что многое трещит под когтистой рукой. Доски победителей уже брошены, и победители уже пьют степной напиток, молоко кобылиц; тихий стон побежденных.

Мы здесь расскажем о вашем и о нашем городе.

I. Черты якобы красивого города прошлецов (пращурское зодчество).

1. Город сверху: сверху сейчас он напоминает скребницу, щетку. Это ли будет в городе крылатых жителей? В самом деле, рука времени повернет вверх ось зрения, увлекая за собой и каменное щегольство прямой угол. На город смотрят сбоку, будут — сверху.

Крыша станет главное, ось стоячей. Потоки летунов и лицо улицы над собой город станет ревновать своими крышами, а не стенами.

Крыша, как таковая, нежится в синеве, она далека от грязных туч пыли. Она не желает, подобно мостовой, мести себя метлой из легких, дыхательного горла и нежных глаз; не будет выметать пыль ресницами и смывать со своего тела грязь черную губкой из легкого. Прихорашивайте ваши крыши; уснащайте эти прически узкими булавками. Не на порочных улицах с их грязным желанием иметь человека, как вещь, на своем умывальнике, а на прекрасной и юной крыше будет толпиться люд, носовыми платками приветствуя отплытие облачного чудовища, со словами «до свиданья» и «прощай!» провожая близких.

Как они одевались? Они из черного или белого льна кроили латы, поножи, нагрудники, налокотники, горла, утюжили их и таким образом вечно ходили в латах цвета снега или сажи, холодных, твердых, но размокающих от первого дождя, доспехах из льна. Вместо пера у иных над головой курилась смола. В глазах у иных взаимное смелое, утонченное презрение. Поэтому мостовая прошла выше окон и водосточных труб. Люд столпился на крыше, а земля осталась для груза; город превратился в сеть нескольких пересекающихся мостов, положивших населенные своды на жилые башни — опоры; жилые здания служили мосту быками и стенами площадей колодцев. Забыв ходить пешком или на собратьях, вооруженных копытами, толпа научилась летать над городом, спуская вниз дождь взоров, падающих сверху; над городом будет стоять облако оценки труда каменщиков, грозящее стать грозой и смерчем для плохих кровель. Люд на крыше вырвет у мотыги ясную похвалу крыше, и улице, проходящей над зданиями. Итак, его черты: улица над городом, и глаз толпы над улицей!

2. Город сбоку. «Будто красивые» современные города на некотором расстоянии обращаются в ящик с мусором. Они забыли правило чередования в старых постройках (греки, Ислам) сгущенной природы камня с разреженной природой — воздухом (собор Воронихина), вещества с пустотой; то же отношение ударного и не ударного места — сущность стиха. У улиц нет би-

ения. Слитные улицы так же трудно смотрятся, как трудно читаются слова без промежутков и выговариваются слова без ударений. Нужна разорванная улица с ударением в высоте зданий, этим колебанием в дыхании камня. Эти дома строятся по известному правилу для пушек: взять дыру и облить чугуном. И точно, берется чертеж и заполняется камнем. Но в чертеже имеет существование и весомость — черта, отсутствующая в здании, и наоборот: весомость стен здания отсутствует в чертеже, кажется в нем пустотой; бытие чертежа приходится на небытие здания, и наоборот. Чертежники берут чертеж и заполняют его камнем, т. е. основное соотношение камня и пустоты умножают (в течение веков не замечая) на отрицательную единицу, от чего у самых безобразных зданий самые изящные чертежи, и Мусоргский чертежа делается ящиком с мусором в здании. Этому должен быть положен конец! Чертеж годится только для проволочных домов, так как заменять черту пустотой, а пустоту камнем — то же, что переводить папу римского, знакомым римской мамы. Близкая поверхность похищена неразберихой окон, подробностями водосточных труб, мелкими глупостями узоров, дребеденью, отчего большинство зданий в лесах лучше законченных. Современный доходный дом (искусство прошлецов) растет из замка; но замки стояли особняком, окруженные воздухом, насытив себя пустынником, походя на громкое междометие! А здесь, сплющенные общими стенами, отняв друг от друга кругозор, сдавленный в икру улицы, — чем они стали с их прыгающим узором окон, как строчки чтения в поезде! Не так ли умирают цветы, сжатые в неловкой руке, как эти дома крысятники? (потомки замков?)

3. Что украшает город? На пороге его красоты стоят трубы заводов. Три дымящиеся трубы Замоскворечья напоминают подсвечник и три свечи невидимых при дневном свете. А лес труб на северном безжизненном болоте заставляет присутствовать при переходе природы от одного порядка к другому; это нежный, слабый мох леса второго порядка; сам город делается первым опытом растения высшего порядка, еще ученическим. Эти болота — поляна шелкового мха труб. Трубы это прелесть золотистых волос.

4. Город внутри. Только немногие заметили, что вверить улицы союзу алчности и глупости домовладельцев и дать им право строить дома — значит без вины вести жизнь одиночного заключения; мрачный быт внутри доходных домов очень мало отличается от быта одиночного заключения; это жизнь гребца на дне ладьи, под палубой; он ежемесячно взмахивает веслом, и чудовище алчности темной и чужой воли идет к сомнительным целям.

5. Так же мало замечали, что путешествия лишены полноты удобств и неприятны.

II. Лекарства Города Будрых.

1. Был выдуман ящик из гнутого стекла или походная каюта, снабженная дверью, с кольцами, на колесах, со своим обывателем внутри, она становилась на поезд (особые колеи, площадки с местами) или пароход, и в ней ее житель, не выходя из нее, совершал путешествие. Иногда раздвижной, этот стеклянный шатер был годен для ночлега. Вместе с тем, когда было решено строить не из случайной единицы кирпича, а с помощью населенной человеком клетки, то стали строить дома-остовы, чтобы обитатели сами заполняли пустые места подвижными стеклянными хижинами, могущими быть перенесенными из одного здания в другое. Таким образом было достигнуто великое завоевание: путешествовал не человек, а его дом на колесиках, или, лучше сказать, будка, привинчиваемая то к площадке поезда, то к пароходу.

Как зимнее дерево ждет листвы или хвои, так эти дома-остовы, подымая руки с решеткой пустых мест, свой распятый железный можжевельник, ждут стеклянных жителей, походя на ненагруженное невооруженное судно, то на дерево смерти, на заброшенный город в горах. Возникло право быть собственником такого места в неопределенно каком городе. Каждый город страны, куда прибывал в своем стеклянном ящике владелец, обязан был дать на одном из домов-остовов место для передвижной ящико-комнаты (стекло-хаты). И на цепях с визгом подымался путешественник в оболочке. Ради этого размеры шатра во всей стране — одного и того же образца. На стеклянной поверхности чернело число, порядок владельца. Сам он во время подъема что-нибудь читал. Таким образом, воз-

ник владелец: 1) не на землю, а лишь на площадку в доме-остове, 2) не в каком-нибудь определенном городе, а вообще в городе страны, одном из вошедших в союз для обмена гражданами. Это было сделано для польз подвижного населения.

Строились остовы городами; они опирались на союз стекольщиков и железников Урала. Похожий на кости без мышц, чернея пустотой ячеек для вставных стеклянных ящиков, ставших деньгами объема, в каждом городе стоял наполовину заполненный железный остов, ожидавший стеклянных жителей. Нагруженные ими же, плавали палубы и ходили поезда, носились по дорогам площадки. Такие же остовы-гостиницы строились на берегу моря, над озерами, вблизи гор и рек. Иногда в одном владении были две или три клетки. 1) Шатры в домах чередовались с гостиными, столовыми и резварнями. 2) Современные дома-крысятники строятся союзом глупости и алчности. Если прежние замки-особняки распространяли власть вокруг себя, то замки-сельди, сплющенные бочонком улиц, устанавливают власть над живущими в нем, внутри его. В неравной борьбе многих обитающих в доме с одним владеющим им, многих, не сделавших ни одного яркого душегубства, но живущих в мрачной темнице, в заключении в доходном доме, под тяжелой лапой союза алчности и глупости; на помощь многим сначала приходили отдельные союзы, а потом государство. Было признано, что город — точка узла лучей общей силы и в известной доле есть достояние всех жителей страны и что за попытку жить в нем гражданин страны не может быть брошен (одним из случайно отнявших у него город) в каменный мешок крысятника и вести там жизнь узника пусть по приговору только быта, а не суда. Но не все ли равно сурово наказанному, даже если он не подозревает о страшном равенстве своего жилища: суд или быт бросил его, как военного пленника, в темный подвал, отрезанный от всего мира?

Было понято, что постройка жилищ должна быть делом тех, кто их будет населять. Сначала отдельные улицы объединились в товарищества на паях, чтобы строить, чередуя громады с пустотой, общие замкоулицы и заменить грязный ящик улицы одним прекрасным улочертогом; в основу лег порядок древнего Нов-

города. Вот вид большой улицы Тверской. Высокий избоул окружался площадью. Тонкая башня соединялась мостом с соседним замкоулом. Дома стены стояли рядом, как три книги, стоящие ребром.

Жилая башня двумя висячими мостами соединялась с другой такой же, высокой, тонкой. Еще один дворцеул. Все походило на сад. Дома соединялись мостами, верхними улицами градоула. Так были избегнуты ужасы произвола частного зодчества. Растительный яд стал караться наравне с зодческим мышьяком. За частными лицами осталось право строить дома: 1) вне города, 2) на окраинах его, в деревнях, пустынях, но и то для своего личного пользования. Позднее к улицетворству перешла государственная власть. Это были казенные улочертоги.

Присвоив права улицетворца и очертив кругом своих забот жианиц и жиянство (от жить, словопроизводство по словам: пианство и пианиц), власть стала старшим каменщиком страны и на развалинах частного зодчества оперлась о щит благодарности умученных в современных крысятниках.

Нашли, что черпать средства из постройки стеклянных жилищ нравственно. Измученные равнодушным ответом: «Пущай дохнут, пущай живут», ушли под крыло государства-зодчего.

Запрет на частное зодчество не распространялся на избы, хаты, усадьбы и жилища семей. Война велась с крысятниками. Занятая избоулом, земля оставалась во владении прежних собственников. Житеул: 1) сдавался обществам городов, врачей, путешествий, улиц, приходам; 2) оставался у строителя; 3) продавался на условиях, ограничивающих алчность, право содержания. Это был могучий источник доходов. Градоулы, построенные на берегах моря и в живописных местах, оживили ее высокими стеклянными замками. Итак, основным строителем стало государство; впрочем, оно стало таким в силу превосходства своих средств как самое могучее частное общество.

III. Что строилось? Теперь внимание. Здесь рассказывается про чудовище будетлянского воображения, заменившее современные площади, грязные как душа Измайлова.

a) Дома-мосты; в этих домах и дуги моста и опорные сваи были населены зданиями. Одни стекложелезные соты служили соседям частями моста. Это был мостоул. Башни-сваи и полушария дуг.

(Корень *ул* от слов: улица, улей, улика, улыбка, Ульяна). Мостоулы нередко воздвигались над рекой.

b) Дом-тополь. Состоял из узкой башни, сверху донизу обвитой кольцами из стеклянных кают. Подъем был в башне, у каждой светелки особый выход в башню, напоминавшую высокую колокольню (100—200 саж.). Наверху площадка для верхнего движения. Кольца светелок тесно следовали одно за другим на большую высоту. Стеклянный плащ и темный остов придавали ему вид тополя.

c) Подводные дворцы; для говорилен строились подводные дворцы из стеклянных глыб, среди рыб, с видом на море, и подводным выходом на сушу. Среди морской тишины давались уроки красноречия.

d) Дома-пароходы. На большой высоте искусственный водоем заполнялся водой и в нем на волнах качался настоящий пароход, населенный главным образом моряками.

e) Дом-пленка. Состоял из комнатной ткани, в один ряд натянутой между двумя башнями. Размеры 3×100×100 сажен. Много света! Мало места. Тысяча жителей. Очень удобен для гостиниц, лечебниц, на гребне гор, берегу моря. Просвечивая стеклянными светелками, казался пленкой. Красив ночью, когда казался костром пламени среди черных и угрюмых башен-игл. Строится на бугре холмов. Служит хорошим домом-остовом.

f) Тот же с двойной тканью комнат.

g) Дом-шахматы. Пустые комнаты отсутствовали в шахматном порядке.

i) Дом-качели. Между двумя заводскими трубами привешивалась цепь, а на ней привешивается избушка. Мыслителям, морякам, будетлянам.

k) Дом-волос. Состоит из боковой оси и волоса комнат будетлянских, подымающихся рядом с нею на высоту 100—200 саж. Иногда три волоса вьются вдоль железной иглы.

l) Дом-чаша; железный стебель 5—200 сажен вышиной подымает на себе стеклянный купол для 4—5 комнат. Особняк для ушедших от земли; на ножке железных брусьев.

m) Дом-трубка. Состоял из двойного комнатного листа, свернутого в трубку, с широким двором внутри, орошенным водопадом.

1) Порядок развернутой книги; состоит из каменных стен, под углом и стеклянных листов комнатной ткани, веером расположенной внутри этих стен. Это дом-книга. Размеры стены 200—100 саж.

2) Дом-поле, в нем полы служат опорой пустынным покоям, лишенным внутренних стен, где в живописном беспорядке раскинуты стеклянные хижины, шалаши, не достающие потолка, особо запирающиеся вигвамы и чумы; на стенах грубо сколоченные природой оленьи рога придавали вид каждому ярусу охотничьего становища; в углах домашние купанья. Нередко полы подымаются один над другим в виде пирамиды.

3) Дом на колесах: на длинном маслоеде одна или несколько кают; гостиная, светская ульская для цыган 20 века.

Начала: 1) Оседлый остов дома, бродячая каюта.
2) Человек ездит по поезду, не выходя из своей комнаты.
3) Право собственности на жилище в неопределенно каком городе.
4) Казна-строитель.
5) Правило построек особняков; гибель улиц; удары замкоулов, междометия башен.

Прогулка; читая изящное стихотворение из 4-х слов гоум, моум, суум, туум и вдумываясь в его смысл, казавшийся прекраснее больших созвучьерубных приборов, я не выходя из шатра был донесен поездом через материк к морю, где надеялся увидеть сестру. Я почувствовал скрип и покачивание. Это железная цепь подымала меня вдоль дома-тополя; мелькали клетки стеклянного плаща и лица. Остановка; здесь, в пустой ячейке дома, я оставил свое жилище; зайдя к водопаду и надев стиль одежд дома, я вышел на мостик. Изящный, тонкий, он на высоте 80 сажен соединял два дома-тополя. Я наклонился и вычислял себя, что я дол-

жен делать, чтобы исполнить волю его в себе. Вдали, между двух железных игл, стоял дом-пленка. 1000 стеклянных жилищ, соединяемых висячей тележкой с башнями, блестели стеклом. Там жили художники, любуясь двойным видом на море, так как дом иглой-башней выдвинулся к морю. Он был прекрасен по вечерам. Рядом на недосягаемую высоту вился дом-цветок, с красновато-матовым стеклом купола, кружевом изгороди чашки и стройным железом лестниц ножки. Здесь жили И. и Э. Железные иголки дома-пленки и плотно стеклянных сот озарялись закатом. У угловой башни начинался другой протянутый в поперечном направлении дом. Два дома-волоса вились рядом один около другого. Там дом-шахматы; я задумался. Роща стеклянных тополей сторожила море. Между тем четыре «Чайки № 11» несли по воздуху сеть, в которой сидели купальщики, и положили ее на море. Это был час купанья. Сами они качались на волнах рядом. Я думал про сивок-коурок, ковры-самолеты и думал: сказки, память старца или нет? Иль детское ясновидение? Другими словами, я думал: потоп и гибель Атлантиды была или будет? Скорее я склонен был думать — будет.

Я был на мостике и задумался.

Лебедия будущего

НЕБОКНИГИ

На площадях, около садов, где отдыхали рабочие или творцы, как они стали себя называть, подымались высокие белые стены, похожие на белые книги, развернутые на черном небе. Здесь толпились толпы народа и здесь творецкая община, тенепечатью на тенекнигах, сообщала последние новости, бросая из блистающего глаза светоча нужные тенеписьмена. Новинки Земного Шара, дела Соединенных Станов Азии, этого великого союза трудовых общин, стихи, внезапное вдохновение своих членов, научные новинки, изве-

щения родных своих родственников, приказы советов. Некоторые, вдохновленные надписями тенекниг, удалялись на время, записывали свое вдохновение и через полчаса брошенное световым стеклом, оно, теневыми глаголами, показывалось на стене. В туманную погоду пользовались для этого облаками, печатая на них последние новости. Некоторые, умирая, просили, чтобы весть о их смерти была напечатана на облаках. В праздники устраивалась «живопись пальбой». Снарядами разноцветного дыма стреляли в разные точки неба. Например, глаза — вспышкой синего дыма, губы — выстрелом алого дыма, волосы — серебряного. Среди безоблачной синевы неба знакомое лицо, вдруг выступившее на небе, означало чествование населением своего вождя.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
ПАХАРЬ В ОБЛАКАХ

Весною можно было видеть, как два облакохода, ползая мухами по сонной щеке облаков, трудолюбиво боронили поля, вспахивая землю прикрепленными к ним боронами. Иногда небоходы скрывались. Когда туча скрывала их из виду, казалось, что борону везут трудолюбивые облака, запряженные в ярмо как волы. Позднее неболеты пролетали как величественные лейки, спрятанные облаками, чтобы оросить пашню искусственным дождем и бросить оттуда целые потоки семян. Пахарь переселился в облака и сразу возделывал целые поля, земли всей задруги. Земли многих семей возделывались одним пахарем, закрытым весенними облаками.

ПУТИ СООБЩЕНИЯ
ИСКРОПИСЬМА

Подводная дорога со стеклянными стенами местами соединяла оба берега Волги. Степь еще более стала походить на море. Летом по бесконечной степи двигались сухопутные суда, бегая на колесах с помощью ветра и парусов. Грозоходы, коньки и парусные сани соединяли села. Каждый ловецкий поселок обзаводился своим полем для спуска воздушных

челнов и своим приемником для лучистой беседы со всем земным шаром. Услышанные искровые голоса, поданные с другого конца земли, тотчас же печатались на тенекнигах.

ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗАМИ

Засев полей из облаков, тенекниги, сообщающие научную общину со всей звездой, паруса сухопутных судов, покрывавшие степь точно море, стены площадей, как великие учителя молодости, сильно изменили Лебедию за два года. В теневых читальнях дети сразу читали одну и ту же книгу, страница за страницей, перевертываемую перед ними человеком сзади них... В отгороженном месте получали право жить, умирать и расти растения, птицы и черепахи. Было поставлено правилом, что ни одно животное не должно исчезнуть. Лучшие врачи нашли, что глаза живых зверей излучают особые токи, целебно действующие на душевно расстроенных людей. Врачи предписывали лечение духа простым созерцанием глаз зверей, будут ли это кроткие покорные глаза жабы, или каменный взгляд змеи, или отважные — льва, и приписывали им такое же значение, какое настройщик имеет для расстроенных струн. Лечение глазами использовалось в таких же размерах, как теперь лечебные воды.

Деревня стала научной задругой, управляемой облачным пахарем. Крылатый творец твердо шел к общине не только людей, но и вообще живых существ земного шара.

И он услышал стук в двери своего дома крохотного кулака обезьяны.

Радио будущего

Радио будущего — главное дерево сознания — откроет ведение бесконечных задач и объединит человечество. Около главного стана Радио, этого железного замка, где тучи проводов рассыпались точно волосы, наверное будет начертана пара костей, череп и знакомая надпись: «Осторожно», ибо малейшая оста-

новка работы Радио вызвала бы духовный обморок всей страны, временную утрату ею сознания.

Радио становится духовным солнцем страны, великим чародеем и чарователем.

Вообразим себе главный стан Радио: в воздухе паутина путей, туча молний, то погасающих, то зажигающихся вновь, переносящихся с одного конца здания на другой. Синий шар круглой молнии, висящий в воздухе точно пугливая птица, косо протянутые снасти. Из этой точки земного шара, ежесуточно, похожие на весенний пролет птиц, разносятся стаи вестей из жизни духа. В этом потоке молнийных птиц дух будет преобладать над силой, добрый совет над угрозой.

Дела художника пера и кисти, открытия художников мысли (Мечников, Эйнштейн), вдруг переносящие человечество к новым берегам...

Советы из простого обихода будут чередоваться с статьями граждан снеговых вершин человеческого духа. Вершины волн научного моря разносятся по всей стране к местным станам Радио, чтобы в тот же день стать буквами на темных полотнах огромных книг, ростом выше домов, выросших на площадях деревень, медленно переворачивающих свои страницы.

РАДИОЧИТАЛЬНИ

Эти книги улиц — читальни Радио! Своими великанскими размерами обрамляют села, исполняют задачи всего человечества.

Радио решило задачу, которую не решил храм как таковой, и сделалось так же необходимым каждому селу, как теперь училище или читальня.

Задача приобщения к единой душе человечества, к единой ежесуточной духовной волне, проносящейся над страной каждый день, вполне орошающей страну дождем научных и художественных новостей, — эта задача решена Радио с помощью молнии. На громадных теневых книгах деревень Радио отпечатало сегодня повесть любимого писателя, статью о дробных степенях пространства, описание полетов — и новости соседних стран. Каждый читает, что ему любо. Эта книга, одна и та же для всей страны, стоит в каждой деревне, веч-

но в кольце читателей, строго набранная, молчаливая читальня в селах.

Но вот черным набором выступила на книгах громкая научная новость: химик X., знаменитый в узком кругу своих последователей, нашел способы приготовления мяса и хлеба из широко распространенных видов глины.

Толпа волнуется и думает: что будет?

Землетрясение, пожар, крушение в течение суток будут печатаны на книгах Радио... Вся страна будет покрыта станами Радио...

РАДИОАУДИТОРИИ

Железный рот самогласа пойманную и переданную ему зыбь молнии превратил в громкую разговорную речь, в пение и человеческое слово.

Все село собралось слушать.

Из уст железной трубы громко несутся новости дня, дела власти, вести о погоде, вести из бурной жизни столиц.

Кажется, что какой-то великан читает великанскую книгу дня. Но это железный чтец, это железный рот самогласа; сурово и четко сообщает он новости утра, посланные в это село маяком главного стана Радио. Но что это? Откуда этот поток, это наводнение всей страны неземным пением, ударом крыл, свистом и цоканием и целым серебряным потоком дивных безумных колокольчиков, хлынувших оттуда, где нас нет, вместе с детским пением и шумом крыл?

На каждую сельскую площадь страны льются эти голоса, этот серебряный ливень. Дивные серебряные бубенчики, вместе со свистом, хлынули сверху. Может быть, небесные звуки — духи — низко пролетели над хаткой. Нет...

Мусоргский будущего дает всенародный вечер своего творчества, опираясь на приборы Радио в пространном помещении от Владивостока до Балтики, под голубыми стенами неба... В этот вечер ворожа людьми, причащая их своей душе, а завтра обыкновенный смертный! Он, художник, околдовал свою страну; дал ей пение моря и свист ветра! Каждую деревню и каждую лачугу посетят божественные свисты и вся сладкая нега звуков.

РАДИО И ВЫСТАВКИ

Почему около громадных огненных полотен Радио, что встали как книги великанов, толпятся сегодня люди отдаленной деревни? Это Радио разослало по своим приборам цветные тени, чтобы сделать всю страну и каждую деревню причастницей выставки художественных холстов далекой столицы. Выставка перенесена световыми ударами и повторена в тысячи зеркал по всем станам Радио. Если раньше Радио было мировым слухом, теперь оно глаза, для которых нет расстояния. Главный маяк Радио послал свои лучи, и Московская выставка холстов лучших художников расцвела на страницах книг читален каждой деревни огромной страны, посетив каждую населенную точку.

РАДИОКЛУБЫ

Подойдем ближе... Гордые небоскребы, тонущие в облаках, игра в шахматы двух людей, находящихся на противоположных точках земного шара, оживленная беседа человека в Америке с человеком в Европе... Вот потемнели читальни; и вдруг донеслась далекая песня певца, железными горлами Радио бросило лучи этой песни своим железным певцам: пой, железо! И к слову, выношенному в тиши и одиночестве, к его бьющим ключам, причастилась вся страна.

Покорнее, чем струны под пальцами скрипача, железные приборы Радио будут говорить и петь, повинуясь ее волевым ударам.

В каждом селе будут приборы слуха и железного голоса для одного чувства и железные глаза для другого.

ВЕЛИКИЙ ЧАРОДЕЙ

И вот научились передавать вкусовые ощущения — к простому, грубому, хотя и здоровому, обеду Радио бросит лучами вкусовой сон, призрак совершенно других вкусовых ощущений.

Люди будут пить воду, но им покажется, что перед ними вино. Сытый и простой обед оденет личину ро-

скошного пира... Это даст Радио еще большую власть над сознанием страны...

Даже запахи будут в будущем покорны воле Радио: глубокой зимой медовый запах липы, смешанный с запахом снега, будет настоящим подарком Радио стране.

Современные врачи лечат внушением на расстоянии по проволоке. Радио будущего сумеет выступить и в качестве врача, исцеляющего без лекарства.

И далее:

Известно, что некоторые звуки, как «ля» и «си», подымают мышечную способность, иногда в шестьдесят четыре раза, сгущая ее на некоторый промежуток времени. В дни обострения труда, летней страды, постройки больших зданий эти звуки будут рассылаться Радио по всей стране, на много раз подымая ее силу. И наконец — в руки Радио переходит постановка народного образования. Верховный совет наук будет рассылать уроки и чтение для всех училищ страны — как высших, так и низших.

Учитель будет только спутником во время этих чтений. Ежедневные перелеты уроков и учебников по небу в сельские училища страны, объединение ее сознания в единой воле.

Так Радио скует непрерывные звенья мировой души и сольет человечество.

Утес из будущего

Люди сидят и ходят, скрытые в пятнах слепых лучей светлыми облаками лучевого молчания, лучевой тишины.

Некоторые сидят на высоте, на воздухе, в невесомых креслах. Иногда заняты живописью, мажут кисточкой. Общества других носят круглые стеклянные полы и столы.

Другие шагают по воздуху, опираясь на посох, или бегают по воздушному снегу, по облачному насту на лыжах времени; большая дорога для ходьбы по воздуху, большак для толп небесных пешеходов, проходит над осями низких башен для скрученной в катушки молнии. По тропинке отсутствия веса ходят люди точ-

но по невидимому мосту. С обеих сторон обрыв в пропасть падения; черная земная черта указывает дорогу.

Точно змея, плывущая по морю, высоко поднявшая свою голову, по воздуху грудью плывет здание, похожее на перевернутое Гэ. Летучая змея здания. Оно нарастает как ледяная гора в северном море.

Прямой стеклянный утес отвесной улицы хат, углом стоящий в воздухе, одетый ветром — лебедь этих времен.

На крылечках здания сидят люди — боги спокойной мысли.

— Второе море сегодня безоблачно.

— Да! Великий учитель равенства, второе море над нами, нужно поднять руку, чтобы показать на него. Оно потушило пожар государств, лишь только к нему был приставлен рукав насоса, пожарной кишки. Это было очень трудно в свое время сделать.

Это была великая заслуга второго моря! В знак благодарности, вечно на одном из облаков отпечатано лицо человека, точно открытка знакомому другу.

— Борьба островов с сушей, бедной морем, окончилась. Мы равны морем, заметив его над головой. Но мы не были зорки. Песок глупости засыпал нас курганами.

Я сейчас курю восхитительную мысль с обаятельным запахом. Ее смолистая нега окутала мой разум точно простыней.

Именно мы не должны забывать про нравственный долг человека перед гражданами, населяющими его тело. Эту сложную звезду из костей.

Правительство этих граждан, человеческое сознание, не должно забывать, что счастье человека есть мешок песчинок счастья его подданных. Будем помнить, что каждый волосок человека — небоскреб, откуда из окон смотрят на солнце тысячи Саш и Маш. Опустим свой мир сваями в прошлое.

Вот почему иногда просто снять рубашку или выкупаться в ручье весной дает больше счастья, чем стать самым великим человеком на земле. Снять одежды — понежиться на морском песке, снова вернуть убежавшее солнце — это значит дать день искусственной ночи своего государства; перестроить струны государства, боль-

шого ящика звенящих проволок, по звукам солнечного лада.

Не надо быть Аракчеевым по отношению к гражданам своего собственного тела. Не бойтесь лежать голыми в море солнца. Разденем тело и наши города. Дадим им стеклянные латы от стрел мороза.

С другой стороны:

— С вами спички еды?

— Давайте, закурим снедать.

— Сладкий дым? Клейма Гзи-Гзи?

— Да, они дальнего происхождения из материка А. Превосходный съедобный дым, очаровательны голубые пятна неба, тихая звездочка, в одиноком споре спорящая с синим днем.

Прекрасны тела, освобожденные из темниц одежд. В них голубая заря борется с молочной.

Впрочем, уравнение человеческого счастья было решено и найдено только тогда, когда поняли, что оно вьется слабым хмелем около ствола мирового. Слышать шелест рагоз, узнавать глаза и душу своего знакомого в морском раке, вбок убегающем, с поднятой клешней, не забывая военного устава,— часто дает большее счастье, чем все, что делает славу и громкое имя, например, полководца.

Счастье людей — вторичный звук; оно вьется, обращается около основного звука мирового.

Оно — слабый месяц около земель вокруг солнца, коровьих глаз нежного котенка, скребущего за ухом, весенней мать-мачехи, плеска волн моря.

Здесь основные звуки счастья, его мудрые отцы, дрожащая железная палочка раньше семьи голосов. Проще говоря, ось вращения. Вот почему городские дети в разлуке с природой всегда несчастливы, а сельским оно знакомо и неразлучно, как своя тень.

Человек отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал одинок: ему не с кем играть в пятнашки и жмурки; в пустом покое темнота небытия кругом, нет игры, нет товарищей. С кем ему баловаться? Кругом пустое нет. Изгнанные из туловищ души зверей бросились в него и населили своим законом его степи.

Построили в сердце звериные города.

Казалось, человек захлебнется в углероде себя.

Его счастье было печатный станок, в котором для счета не хватало знаков многих чисел, двоек, троек; и прекрасная задача без этих чисел не могла быть написана. Их уносили с собой в могилу уходящие звери, личные числа своего вида.

Целые части счета счастья исчезали, как вырванные страницы рукописи. Грозил сумрак.

Но свершилось чудо: храбрые умы разбудили в серой святой глине, пластами покрывавшей землю, спящую ее душу хлеба и мяса. Земля стала съедобной, каждый овраг стал обеденным столом. Зверям и растениям было возвращено право на жизнь, прекрасный подарок.

И мы снова счастливы: вот лев спит у меня на коленях, и теперь я курю мой воздушный обед.

Закон множеств царил в этой бочке сельдей больших городов. Туго набитая человеческая селедка принимала очертания своих соседей. Сосед давил соседа в этом могучем бочонке, полном небоскребов, и на боку одной сельди, быстро носившейся с бумагами по городу, выдавливалась худая с острой хищной челюстью голова ее соседа.

Я узнавал своих знакомых, выдавленных под мышками быстро пробежавшего молодого человека: там они ухитрились отпечатать свои лица. И вообразите: на одной пятке оказалось отпечатанным лицо одной прехорошенькой девушки. Не удивительно, что я любил идти сзади и следить за мелькающей пяткой и смеющейся головкой девушки на ней. Итак, закон бочонка работал над населением города, туго набитого духовными селедками с зелеными вытянутыми лицами и впалыми глазами. Странное дело: туловища этих людей торопились, спешили по улицам, бегали по делам, в то время как рядом громадно и неподвижно, с мертво-раскрытым ртом, лежали их души страшной тяжестью, оправдывая слова одного мудреца: «Не надо светописца, не надо художника там, где теснота: роковым образом вы оставите ваше лицо в его зрачках, на голенище его сапог, на рукаве локтя. Это зовется законом сельди больших городов». Но вообразите прекрасный лоб мыслителя, узнающего свое лицо на пятке пробегающего мальчишки! Он остановится в недоумении на углу улицы и долго будет махать палкой! На большие

здания, с золотыми прямоугольными ночными очами, надвигался первобытный лес другой правды. Дикий, прекрасный лес новых видений надвигался на человечество, лес сновидений, недоступный старому железу. Уравнения нравов, уравнения смерти, сверкающим почерком, висели в воздухе среди больших улиц. Скитаться среди огромных стволов. Хвататься за невидимые суки воздушных деревьев, вставших среди города. Одиноким зверем в множестве листьев скользить среди стволов второго мира, дремучей чащей обступившего первый. Люди стали хитры и осторожны и, бессильные победить судьбы всего мира, стали относиться к ней как к мертвой природе.

Грибок жрецов, ведущих куда-то милостью чисел по закону рождения, быстро опутывал человечество, и слова их проповеди звучали набатом дальнего пылающего храма. Шест сетки был у меня. «Хорошо! — подумал я, — теперь я одинокий игрок, а остальные — весь большой ночной город, пылающий огнями, — зрители. Но будет время, когда я буду единственным зрителем, а вы — лицедеями». — Эти бесконечные толпы города я подчиню своей воле. Волнующий разум материка, как победитель, выезжающий из тупиков наречий, победа глаза над слухом, вихрь мировой живописи и чистого звука, уже связавший в один узел глаза и уши материка, и дружба зелено-черных китайских лубков и миловидных китаянок с тонкими бровя́ми, всегда похожих на громадных мотыльков, с тенями Италии на одной и той же пасмурной стене городской комнаты, и ногти, любовно холимые славянкой, все говорило: час близок!

Не даром пришли эти божества — мотыльки Востока с кроткими птичьими глазами на свидание с небесными лицами Италии. Вернее — это черные мотыльки уселись на белые цветы лица. Золотые луковицы соборов, приседая на голубых стенах, косым столбняком рушились и падали в пропасть. Колокольни с высокими просветами клонились как перешибленный палкой и вдруг согнувшийся и схватившийся за живот человек или сломанный в нескольких местах колос.

Это сквозь живопись прошла буря; позднее она пройдет сквозь жизнь, и много поломится колоколен. Я простился с художником и ушел.

Лысый мерин через синее прясло глядит — хорошо, а? Так на море во время учебной стрельбы сначала блестит огонь, потом доносятся раскаты выстрела и наконец, долго спустя, подымается столб воды — весть того, что ядро долетело.

— Ну, что же это? что же это? — воскликнула Бэзи, хлопнув в ладоши. — Боже, как глупо! боже, как глупо! В самом деле на Западе, северные откосы Монблана, с большого плоскогорья черным потоком камней ринувшиеся вниз, а выше — стеной подымавшиеся по отвесу, были искажены в суровой красоте столетних сосен правильным очерком человеческой головы. Как мухи, в вышине неба жужжали летчики и суровые тени в черных пятнах собрались на нахмуренный лоб пророка и черные, спрятанные под нависшими бровями глаза, похожие на чаши с черной водой. Это была голова Гайаваты, высеченная на северных склонах Монблана, вырезанная ножом великана художника.

В знак единства человеческого рода Новый свет поставил этот камень на утесах старого материка, а взамен этого как подарок Старого света, одна из отвесных стен Анд была украшена головой Зардушта.

Голова божественного учителя была вырублена так, что ледники казались белой бородой и волосами древнего учителя, струясь снежными нитями.

— Этой каменной живописи натянуты паруса взаимности между обоими материками, — заметил Смурд.

— Паруса из множества людских сердец.

— Не правда ли, хороши эти пласты острого каменного угля, обработанные в черные глаза пророка? Говорят, что пастухи по ночам жгут из пламенной руды свои голубые костры, и тогда его глаза блещут гневом. Между тем столетние сосны были раскинуты на разных высотах лица.

— Боже, как глупо! Зачем портить природу? — недоумевала Бэзи.

— Если горы вторят гулким раскатом, отчего не искать каменных созвучий лицу?

— Друзья, знаете что, проведемте ночь на поверхности сурового глаза Гайаваты! Едва заметная тропинка ведет к нему.

— Я согласна! Ура, за мною бегом! — Этот голос был Бэзи. Но уже с третьего шага молодая девушка присела и произнесла: — Здесь чертовски острые камни. Я не понимаю, как можно идти? Разве стать козой? Что делать?

— Нет, нет, мы провели бы ночь как боги сумрака там наверху! Каменные терновники гор в уме мы бы венцами возложили на седые и черные кудри.

— Я полагаю, что хороший ужин внизу стоит воображаемых богов в воображаемых кудрях.

— Внизу есть сливки!

— Целый кувшин сливок.

— И чай, дивный золотой чай, старого душистого настоя! Что делать?

— И все же, и все же — вперед!

— Когда взойдет солнце, мы огласим горы древними криками и предложим святому бычка. — Закури солнце!

— Молодые боги, не слишком ли тяжелая участь — мерзнуть и дрожать? — А там внизу настоящие сливки.

— Зашейте рты!

— На чем ты сидишь?

— На мертвеце. Он шел, боясь смерти, и умер.

Высокомерно пышны щеки дитяти. Мать печальна. Угол здания каменного зверя спереди, — воздуха сзади вонзен в толпу. Дом этот — лоб слона.

Трубы незримых голосов приклеены к нему, как свернутые рукописи ученого, идущего учить.

Три черных знака Е, И, Т, чернеют голосом другой воли Т, упав на развалины, темнее воли, как листья других столетий.

Завитки улитки, кривые близорукие глазки слона на доске лица, яйцевидной стены здания. Плачет ли оно? Окон ливень, жилой водопад.

Ножик плоскостей, чешуйчатое пространство. Панцирь досок залит дождем теней.

Толпы или прямоугольные глыбы?

Лезут, тянутся, громоздятся.

На сером рубле подпись казначея — это подпись месяца.

Дикий запорожец-свет разрубил на камни ночные облака, или юноша из ряда серых плоскостей склонен трудолюбиво над рукописью?

Но там, за облаками, как увядший осенний лист, изгрызенный червями, лице.— Одетый одеждою площадей, Город встал и несет рукопись.

Мне понятно только первое слово из его свертка.

А на ремнях, на горбу пустой и дикий небоскреб темнеет мертвыми дырами окон точно ранец.

Город съеден червями окон, как осени лист.

[1914—1915]

ТАМ ЛЕС И ДОЛ ВИДЕНИЙ ПОЛНЫ...

«...не один я в мире, и не безответен я пред моими собратьями — кто бы они ни были: друг, товарищ, любимая женщина, соплеменник, человек с другого полушария.— То, что я творю,— волею или неволею приемлется ими; не умирает сотворенное мною, но живет в других жизнию бесконечною».

В. Ф. Одоевский

Вот пример реальной «машины времени»: археологи обнаружили в погребальной амфоре египетского фараона пшеничные зерна, догадались посеять — и несколько зеленых росточков к всеобщему изумлению взошло, пробившись сюда, к нам, через несколько тысячелетий. Факт этот, обошедший всю мировую печать, возможно, навел кое-кого и на такой вопрос: почему одни зерна взошли, а другие оказались мертвы — условия-то были для всех одинаковыми? Увы, загадку эту не разгадать даже с помощью нынешней всемогущей микромолекулярной аппаратуры.

Таковы и загадки литературы. Почему произведение, напрочь забытое еще при жизни автора, вдруг опять оживает через столетие-другое? Или — если обратимся к бурным общественным событиям в нашем Отечестве последних трех-четырех лет — кто мог предсказать, что большинство возвращенных из забвения шедевров окажутся значащимися по ведомству фантастики? Это и «Мы» Замятина, и «Час Быка» Ефремова, и «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» Чаянова, и «Котлован», «Чевенгур», «Ювенильное море» Платонова, и «Роковые яйца», «Дьяволиада», «Собачье сердце» Булгакова. Или наконец — теперь уже применительно к теме нашего сборника — почему столь долго пребывала в забвении русская фантастическая литература?

«Говорят астрономы, что есть бесчисленное множество таких же темных планет, как наша Земля, носятся выше нас по воздуху, кото-

рых кроме прозрительных труб, простыми глазами видать не можем. И на них есть жители, а какие неизвестно. Конечно, можно оставаться в той уверенности, что подобные нам люди. Теперь представим пример. Вот сошел с одной из тех планет один человек к нам на землю, имевший неограниченную власть, и, во-первых, спрашивает у меня, Бондарева:

— Как у вас делается на земле, все ли хорошо (...) Говори истину.

— У нас на земле,— отвечаю я ему,— у нас глупые люди умных людей хлебом кормят и от голодной смерти, как маленьких детей, спасают.

Он и вытаращил на меня пытливые глаза.

— Ты чего это говоришь? — переспросил он.— Может ли статься, чтобы умный человек без крайне уважительных и неизбежных причин согласился бы чужих трудов хлеб есть? (...) Нужно тех признать умными, которые кормят, а тех глупыми и даже умалишенными, которых кормят...»

Так в конце прошлого века читающая Россия познакомилась с «Небесным посланником» — фантастическим сочинением, автором которого был не писатель, не ученый, а ссыльный крестьянин из села Иудино Минусинского уезда Енисейской губернии — народный утопист Тимофей Бондарев. О «гениальном минусинском мужике» ходили легенды, его стиль сравнивали с такими произведениями древнерусской литературы, как «Слово» Даниила Заточника и «Житие» Аввакума. Сочинение Бондарева «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледелия» Лев Толстой рассматривал как «проект, план спасения человечества» и способствовал его опубликованию во Франции (в 1890 г.). В предисловии к русскому изданию «Трудолюбия» (1906 г.) Лев Николаевич писал: «...странно и дико должно показаться людям теперешнее мое утверждение, что сочинение Бондарева, над наивностью которого мы снисходительно улыбаемся с высоты своего умственного величия, переживет все сочинения, описываемые в истории русской литературы, и произведет больше влияния на людей, чем все они, вместе взятые. А между тем я уверен, что это так и будет».

Подобные «проекты, планы спасения человечества» составлялись и до и после Бондарева. «Чаемая благодать грядущего» обосновывалась в «едином обществе» Ермолая Еразма, в «общности имуществ»

Феодосия Косого, в исканиях Квирина Кульмана, Евфимия, во всех этих учениях о «новом человеке», «благости свободы», «любови братства», об «общем уповании». При этом важно отметить: «литература мечты» использовала фантастические образы и ситуации не забавы ради, не для прихоти публики и умозрительных игр, но для решения вечного вопроса о всеобщем счастье. Фантастика и ее социальное ответвление — утопия — порождались кризисным сознанием. Неудовлетворенностью существующим порядком вещей. Жаждой личной и вселенской гармонии. Оттого-то к фантастике, начиная с XVIII века, прибегали — если говорить о среде дворянской — и мыслитель-революционер А. Н. Радищев, и консерватор М. М. Щербатов, автор памфлета «О повреждении нравов в России» и утопии «Путешествие в землю Офирскую», и декабристы В. К. Кюхельбекер и А. Д. Улыбышев, и даже такой крайний реакционер, как Фаддей Булгарин, сочинитель «Правдоподобных небылиц, или Странствований по свету в XXIX веке».

Отметим и еще одно основополагающее свойство русской фантастики. Для этого обратимся к сюжету романа Александра Вельтмана «Предки Калимероса. Александр Филиппович Македонский». Его герой отправляется на гиппогрифе — живой «машине времени» — в глубокую древность, дабы распознать ход истории, разгадать загадку могущества таких личностей, как Аристотель, Фессалина, Александр Македонский. Намек на перекличку времен дается уже в самом названии романа: Калимерос в буквальном переводе с древнегреческого означает Наполеон. Похитив из дельфийского святилища прорицательницу Пифию, путешественник во времени попадает в лагерь царя Филиппа Македонского, а затем продолжает свои странствия с его сыном Александром. К какому же выводу приходит наш герой после многих приключений? Что даже великая личность зависит всецело от неумолимых обстоятельств, от законов истории. Что люди с их страстями, привязанностями, сомнениями во все века были одинаковы. В конце концов все на том же гиппогрифе странник возвращается в свой XIX век...

«Вельтман создал первое в России научно-фантастическое произведение оригинального жанра. Он впервые применил столь распространенный впоследствии прием «путешествия во времени», использованный потом Г. Уэллсом и многими беллетристами XX века», — отмечает современный исследователь (подробнее см. Ю. Аку-

тин. Александр Вельтман и его роман «Странник». В книге А. Ф. Вельтман. Странник. Изд-во «Наука», М., 1977).

«Александр Македонский» вышел в свет в 1836 году. В. Г. Белинский в отдельной статье определил произведение так: «Сказка не сказка, роман не роман, а если и роман, то совсем не исторический, а разве этимологический...» И подытожил: «...мило, остро, увлекательно, очаровательно». Затруднение великого критика с определением жанра понятно: термина «научная фантастика» тогда еще не существовало. Однако на примере романа Вельтмана становится ясно: русской фантастике свойственна «сюжетная дерзость», свободное владение пространственно-временными формами.

Итак, забота о земной и вселенской гармонии, прежде всего социальной, о красоте человеческих отношений плюс оригинальность замысла и воплощения. К двум этим коренным свойствам литературы мечты добавим третье. Речь идет о прицельном взгляде писателя в будущее, о способности разглядеть в нем (намного опережая современников) отдельные детали, контуры, черты. Именно наши соотечественники, заглядывая в завтра, увидели в нем и кибернетику, и ракетоплавание, и централизованное снабжение городов горячей водой, и поселения на дне моря, и атомолеты, и парашюты, и крылатые «воздушные дилижансы», и водолазное снаряжение, и искусственный белок, и бунт машин против их создателя — человека, и даже, увы, использование отравляющих боевых газов и всеразрушительных бомб наподобие термоядерных. Однако сама по себе вся эта «машинерия» не играла решающей роли в создании художественного образа будущего — в отличие, например, от фантастики западной. На первое место ставились проблемы социальные, все та же мечта о благоденствии всеобщем, всечеловеческом. Так, один из родоначальников научной фантастики не только в русской, но и в мировой литературе, философ и энциклопедист Владимир Одоевский, размышлял в «Психологических заметках»:

«При всяком происшествии будем спрашивать самих себя, на что оно может быть полезно, но в следующем порядке:

1-е, человечеству,

2-е, родине,

3-е, кругу друзей или семейству,

4-е, самим себе.

Начинать эту прогрессию наизворот есть источник всех зол, ко-

торые окружают человека с колыбели. Что только полезно самим нам, то, отражаясь о семейство, о родину, о человечество, непременно возвратится к самому человеку в виде бедствия».

Таков круг идей и образов, четко обозначенных творениями и авторов нашего сборника и тех, кто в него не вошел. А среди невошедших можно назвать А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, В. А. Левшина, И. В. Киреевского, Г. П. Данилевского, Н. А. Некрасова, Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого, И. Г. Гончарова, Н. Н. Златовратского, П. И. Мельникова (Печерского) и многих других мастеров. Полная антология русской дореволюционной фантастики составила бы не один и не два, а десятки томов.

Трудные, мучительные поиски идеала человека и общества были подытожены в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» — первой русской социалистической утопии, созданной в казематах Петропавловской крепости в 1863 году.

Читатель вправе спросить: почему же до недавних пор исторический приоритет в развитии жанра научной фантастики безраздельно отдавался нашими литературоведами Западу? По этому поводу Е. П. Брандис писал: «Действительно, фантастов такого масштаба, как Жюль Верн или Уэллс, русская литература не выдвинула. Но, во-первых, фантастическая проза имеет множество разновидностей, включающих, иногда в полусказочной форме, социальные и технические идеи, обращенные к будущему, а во-вторых, школярское разграничение жанров заведомо сужает представление о месте и роли фантастики в общем литературном процессе. Исследования последних лет (работы А. Бритикова, В. Ревича, И. Семибратовой и др.) со всей очевидностью показали, что русская дореволюционная фантастика была куда более разветвленной и многоликой, чем утверждали иные литературоведы и критики, не вдаваясь в детальное изучение фактов».

Все лучшее и плодотворное... По существу, широкое знакомство с «фантастическим» наследием прошлого только начинается. И поневоле приходит на ум размышление нашего великого историка Карамзина: «Мы никогда не будем умны чужим умом и славны чужою славою: французские, английские авторы могут обойтись без наших похвал; но русским нужно по крайней мере внимание русских».

Открывают сборник произведения Осипа Сенковского (1800—1858). Особо отметим «Ученое путешествие на Медвежий остров». Повесть эта появилась в 1833 году в книге «Фантастические путешествия Барона Брамбеуса», была восторженно встречена читателями и... бранью критики. Как так? Еще не утихла скорбь по поводу кончины двух всемирно известных ученых, палеонтолога Жоржа Кювье и основателя египтологии Жана-Франсуа Шампольона-младшего, а уж Барон Брамбеус позволяет себе высмеивать их! Это была не первая (и не последняя) литературная мистификация Сенковского. Ученый-востоковед с европейской известностью, знаток древних языков, блистательный журналист, он был одной из самых противоречивых личностей эпохи. Издавая популярный журнал «Библиотека для чтения», «барон» помещал в ней рядом с творениями Пушкина, Жуковского, Вяземского ничтожные писания «корифеев вульгарного романтизма» — так сказать, все на продажу. «Пишите весело,— говаривал он,— давайте только то, что общественный желудок переваривает».

Известно, например, что Николай Полевой обличал барона сразу в шести грехах: 1) в неуемной жажде барыша от продажи своих (и чужих) творений; 2) в порче русского языка; 3) в писании «развращающих и ругательских статей»; 4) в грубом эмпиризме и практицизме; 5) во всезнайстве и гордом самоуверении, и наконец 6) в дерзости, самохвальстве и порче юного поколения. Казалось бы, литературный фат, срыватель мимолетных удовольствий... Но почему его «Сказку буланого коня» расхваливал Пушкин? Почему о его деятельности одобрительно отзывались Белинский, Чернышевский, Писарев, а Герцен в шутках «Мефистофеля николаевской эпохи» увидел «принужденные шутки человека, сидящего за тюремной решеткой»?..

Общество тех времен увлекалось «месмерическими опытами» на основе «животного магнетизма» и столоверчением, ходили настойчивые слухи о комете Галлея (или Беллы, или Вьелы), коя намерена «сделать удар в нашу бедную Землю», и т. д. Отголоски этих слухов и этих увлечений присутствуют и в «Ученом путешествии на Медвежий остров», рассказывающем о поездке по Сибири двух всемирно известных деятелей науки. Но время, как известно, все ставит на свои места, и ныне мы замечаем в первую очередь не иронию, пародию и самопародию повести, а изображенные в ней картины гибну-

щего человечества. Да, вот такие случаются в литературе «перевертыши». В наш термоядерный век произведение Сенковского вдруг предстает как одна из первых в мировой литературе антиутопий. Описание катастрофы, где сама планета сдвинулась в мировом пространстве так, что на месте прежнего Запада стал Север, вызывает в воображении отнюдь не удар кометы «в нашу бедную Землю». Сенковский, как беспощадный патологоанатом, не боится приблизить к нам мертвое тело Земли: волнуемые на поверхности воды странного вида предметы, темные, продолговатые, походившие издали на короткие бревна черного дерева, оказываются трупами воинов противоборствующих армий. Враги еще истребляли друг друга, когда грянула всеобщая катастрофа и умертвила тех и других, умертвила, перемешала, выбросив на скалу жалкий манускрипт — «Высокопарное слово, сочиненное накануне битвы для воспламенения храбрости воинов». Весьма современно и поучительно именно теперь, когда человечество начало осознавать возможность самоуничтожения...

«Ученое путешествие на Медвежий остров» и «Большой выход у Сатаны» (здесь автор высмеивает неприязненное отношение николаевской администрации к революционным волнениям 1830 года в Европе) — пример литературного гротеска. И понятно, почему подобный «грубый эмпиризм» и рационализм так раздражал Николая Алексеевича Полевого (1796—1846). Ведь знаменитый беллетрист, историк, критик, издатель журнала «Московский телеграф» был ярым поборником романтизма. Романтики верили безусловно в ощущения сверхчувственные, в существование некоей духовной субстанции, владычествующей бытием каждого.

Их фантастические повести явили целую галерею тем, образов, сюжетов, где так или иначе исследуется взаимосвязь двух миров — потустороннего (иррационального, стихийно-чувственного, метафизического) — и сущего (материального, вещественного). Читатель вынужден постоянно выбирать между рациональным и сверхъестественным, но интересно, что конфликта в его сознании не возникает. Это д в о е м и р и е обычно присутствует на равных правах, однако взор героев чаще всего обращается, особенно в минуту душевных волнений, к небесам. Именно так — подняв глаза свои к небу — уходит из жизни героиня «Блаженства безумия» Адельгейда, принятая Антиохом за земное воплощение своей души. Блаженству бытия

влюбленных противопоставлена грубая среда. Выход один, подсказывает автор: погибнуть вместе з д е с ь, чтобы воссоединиться для вечной гармонии там.

Идея двоемирия воплощена также в «Облаке» Константина Сергеевича Аксакова (1817—1860). И опять «небесное» буквально одолевает «земное»: смерть Лотария — лишь начало его горнего блаженства. Любопытно, что изящный сюжет «Облака» откликнется через столетие и в «Солярисе» С. Лема (разумный океан), и в «Черном облаке» Ф. Пола и П. Корнблата (разумное облако).

Наследника древнего великокняжеского рода Рюриковичей Владимира Федоровича Одоевского (1803—1869) не зря называли «русским Фаустом». Философ, музыкант, ученый, педагог, юрист, сотрудник Публичной библиотеки, директор Румянцевского музея, основатель Московской консерватории, Одоевский был истинным энциклопедистом. С ним дружили Пушкин, Белинский, Жуковский, Лермонтов, Веневитинов, Глинка, Чайковский. Он помог войти в литературу Гоголю, Достоевскому, Островскому. Его роман «Русские ночи», соединивший науку и искусство,— предтеча духовных поисков утопических социалистов, петрашевцев, «Доктора Фаустуса» Томаса Манна и многих других творений позднейших времен.

Не менее значительна его утопия «4338-й». Мотивы сатиры и гротеска здесь приглушены, хотя легко распознаются намеки и на «месмеризм», и на «падение Галлеевой кометы», и на борьбу литературных «аристократов» с «торговым» направлением (Одоевский иронически относился к творчеству О. Сенковского). Но во всей мощи в утопии проявился и провидческий дар мыслителя. В описываемом им будущем электроходы несутся по туннелям, проложенным под Каспийским морем и даже «насквозь земного шара». Работают магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далеком расстоянии разговаривают друг с другом. «Воздушные гальваностаты», электрические газосветные лампы, система теплохранилищ для управления климатом, что тянется почти по всему северному полушарию,— прообраз современных газопроводов. Всех чудес не перечесть, тем более что кое-что из предсказанного еще ждет своего осуществления: обогрев всей Камчатки теплом вулканов; снабжение нашей планеты лунными ресурсами, или «разными житейскими потребностями, чем отвращается гибель, грозящая Земле по причине ее огромного народоселения...»

Подчеркнем: и ныне удивляющие читателя предсказания и проекты Одоевского обнародованы *за четверть века* до первых романов Жюля Верна и *за полвека* с лишним до Уэллса.

В своей утопии Одоевский не зря изображает Россию будущего столь процветающей обителью поэзии и философии. Он верил, что «чудная понятливость русского народа, возвышенная умозрительными науками, могла бы произвести чудеса». Завершая «Русские ночи», он провозглашал на весь мир:

«Не бойтесь, братья по человечеству! Нет разрушительных стихий в славянском Востоке — узнайте его, и вы в том уверитесь, вы найдете у нас частию ваши же силы, сохраненные и умноженные, вы найдете и наши собственные силы, вам неизвестные, и которые не оскудеют от раздела с вами».

Да, Одоевский является основоположником русской научной фантастики. Но даже этот провидец, угадавший в будущем выход России в космос, вряд ли предполагал, что имя его вскоре после смерти забудется, а такой шедевр, как «Косморама», пропылится после единственной публикации в «Отечественных записках» почти полтора столетия! И лишь в самые последние годы «Косморама» начинает осознаваться всеми нами не как завершение «поэзии роковых тайн и ужасов», но как первый манифест «русской школы космизма». Ее ярчайшие представители — А. В. Сухово-Кобылин, Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, П. А. Флоренский, В. А. Вернадский, Н. К. Рерих, Н. Г. Холодный, А. Л. Чижевский — впоследствии подробно разработали бегло начертанную в «Космораме» модель космического единства прошедшего, настоящего, будущего, взаимовлияния поколений ушедших, живых, нерожденных. Модель драматического взаимопритяжения — взаимоотталкивания порока и добродетели, добра и зла. К древнему поверью о Вселенной как о живом организме русские космисты добавили еще и необходимость заботы каждого из нас о всем роде человеческом, заботы, спроецированной на времена, несовместимые с краткостью жизни индивидуума. Достаточно привести здесь известную «всемирную» программу К. Э. Циолковского, начертанную для человечества:

«1) Изучение Вселенной, общение с братьями.

2) Спасение от катастроф земных.

3) Спасение от перенаселения.

4) Лучшие условия существования, постоянно желаемая температура, удобство сношений, отсутствие заразных болезней, лучшая производительность солнца.

5) Спасение в случае понижения солнечной температуры и, следовательно, спасение всего хорошего, воплощенного человечеством.

6) Беспредельность прогресса и надежда на уничтожение смерти».

Земляне лишь сейчас начинают осознавать величие этих идей, а ведь первоисточник их — «Косморама». Воистину сбывается пророчество Одоевского: «Мысль, которую я посеял сегодня, взойдет завтра, через год, через тысячу лет; я привел в колебание одну струну, оно не исчезнет, но отзовется в других струнах...»

Как говорили в старину, судьбе было угодно распорядиться, чтобы в год смерти Одоевского появилось произведение, по новаторству стоящее вровень с загадочной «Космoрамой», — научно-художественная фантазия «За пределами истории (за миллионы лет)». Это первая в мировой литературе пассеистическая (обращенная в прошлое) утопия, изображающая первобытного человека. Романы на эту тему братьев Рони — «Хищник-гигант», «Борьба за огонь» — появятся много позднее.

Создатель этой утопии Михаил Ларионович Михайлов (1829—1865) — известный поэт и переводчик, революционер-демократ, сподвижник Н. Г. Чернышевского и А. И. Герцена. 14 сентября 1861 года он был арестован царской охранкой по обвинению в написании прокламации «К молодому поколению» и приговорен к вечному поселению в Сибирь после отбытия двенадцатилетней каторги. 14 декабря того же года (в годовщину восстания декабристов на Сенатской площади) Михайлова на «позорной колеснице» вывезли из Петропавловской крепости и препроводили на Сытную площадь. Палач поставил узника в арестантской одежде на колени и переломил шпагу (вскоре этот позорный фарс будет повторен с Чернышевским). В Сибири Михайлов встретится с Николаем Гавриловичем, будет читать другу и наставнику «свои переводы иностранных поэтов и сцены из быта первых людей» (Н. Шаганов. Воспоминания. Спб., 1907). Не вынеся ужасов каторги, М. Л. Михайлов через 4 года скончался. Утопия, как и многие другие сочинения, была опубликована только после его смерти.

И еще один автор нашего сборника, потомок обрусевшего наполеоновского офицера Петр Людовикович Драверт (1879—1945), угодил в ссылку за причастность к освободительному движению — сначала в Пермскую губернию (1901), затем в Якутию (1905). «Страна-холодырь» стала подлинной родиной для бывшего студента Казанского университета, изгнанник изъездил Якутию вдоль и поперек, открыл несколько месторождений полезных ископаемых.

В «Повести о мамонте и ледниковом человеке» сбывшихся идей вроде бы нет. «Совершенно фантастическая история» сильна другим. Во-первых, резкой сатирой на правительственную администрацию, во-вторых, гимном таким подвижникам, как доктор Сабуров, взявший на себя ответственность оживить нашего далекого пращура.

Эту повесть также можно рассматривать как антиутопию: за последнее десятилетие на Западе добровольно согласились себя заморозить уже несколько тысяч людей (преимущественно смертельно больных), желающих проснуться через пятьдесят, сто и более лет. В капсулах, заполненных жидким азотом, они — буквально между жизнью и смертью! — ждут, когда всемогущая медицина будущего снова вдохнет в них жизнь, разум, здоровье. Для них ледниковый период еще не закончен, как и для замерзшего аборигена в повести якутского ссыльного. Как тут не вспомнить ждавшие урочного часа зерна пшеницы в погребальной урне фараона!

Между жизнью и смертью... Словосочетание, несущее оттенок трагизма, позволило поэту Алексею Николаевичу Апухтину (1840—1893) создать злую сатиру на светское общество. Для контраста автор, последний романтик пушкинской ориентации, ввел в повествование тонко прописанные картины природы, деревенской жизни, философские размышления. В литературоведении утвердилось мнение, что рассказ сочинен под сильнейшим воздействием «Сна смешного человека» Ф. М. Достоевского, где главный герой тоже как бы онемел и лежит «на чем-то твердом» и не может сделать ни малейшего движения. Однако можно указать и на связь с «Косморамой» (тема генетической памяти об ушедших поколениях), и даже на источник гораздо более ранний. В известном произведении древнерусской литературы XVI века «Повесть о споре жизни и смерти» проблема, волновавшая и Достоевского, и Апухтина, и Одоевского (рассказ «Живой мертвец»), уже получила завершенное художественное воплощение. «И отнялся язык, и омертвело все тело мое, не мог

никак пошевелиться от страха перед всеми орудиями, которыми терзала она (смерть) меня»,— говорится в повести от имени безымянного героя. И далее следуют строки, равных которым мало сыщется в русской прозе:

«И исторгла мою душу, и стремительно вылетела душа из меня, из тела моего, как птица из тенет. И тотчас прекрасные юноши взяли душу мою на руки свои и держали ее, а я оглянулся назад и увидел тело мое, лежащее бездушно и неподвижно...»

Значит, вон когда, еще при деспоте всероссийском Иоанне Грозном, посеяно зернышко-то, а проросло — через триста с лишним годочков!

Среди крупных писателей начала XX века увлечение жанром фантастики наиболее заметно у В. Я. Брюсова и А. И. Куприна.

Валерий Яковлевич Брюсов (1873—1924) известен скорее как поэт-символист и переводчик, как автор исторических романов «Огненный ангел» и «Алтарь победы», однако следует отметить и его фантастический роман «Гора Звезды», драматические сцены «Земля», повесть «Первая междупланетная», рассказы «Восстание машин» (1908) и «Мятеж машин»(1914).

Антиутопия «Республика Южного Креста» (1904—1905) продолжает тему «Города без имени» Одоевского, где была жестоко высмеяна теория родоначальника утилитарной морали Иеремии Бентама. Английский правовед свято верил, что «польза есть единственное основание нравственности и единственный закон для всех действий человека». Но если у Одоевского терпит крах небольшая колония поселившихся на неприступном утесе, то Брюсов показывает крах многомиллионного государства, где безраздельно господствует дух рационализма, «казарменного равенства», где все нормировано до мельчайших подробностей, включая одинаковую одежду и пищу. «И эта демократическая внешность прикрывала чисто самодержавную тиранию»,— ставит социальный диагноз автор, а мы поражаемся точности его предсказания. Господство монополий превращает Республику в «величайший и отвратительнейший бедлам».

Обличению безраздельной власти капитала, бездуховности, торгашества посвящена и научно-фантастическая повесть Александра Ивановича Куприна (1870—1938) «Жидкое солнце». Главное в ней — не идея концентрации солнечной энергии, а идея моральной ответственности ученого перед обществом за свои открытия. Гени-

альный изобретатель Чальсбери хочет облагодетельствовать весь мир, залить его потоками золотого солнечного сияния. Но беда в том, что в нем самом очень заметна нравственная недостаточность, выражающаяся в сознании им своей элитарности. По забывчивости ученого (а может, по злому умыслу) обещанные человечеству потоки солнечного сияния обращаются в «огромное, как вселенная, золотое, огненное пламя», по существу, в термоядерный взрыв. И что из того, что «прозревший» Чальсбери обличает «полишинелей-миллиардеров», «кучку негодяев», готовых употребить жидкое солнце «на пушечные бомбы и снаряды безумной силы»! Ведь и сам лорд пользуется услугами именно таких полишинелей — благообразных банкиров Мааса и Даниэльса.

Куприн оказался провидцем. Изобретение атомной и нейтронной бомбы, лазерного оружия, перемещаемого ныне и в космоземное пространство, подтвердили самые мрачные опасения автора «Жидкого солнца».

И все же Куприна не упрекнешь в пессимизме. Писатель верил в победу светлого начала в человеке над темным, злым. В рассказе «Тост» (1906) Земля XXX столетия показана А. И. Куприным как союз свободных людей, преодолевших болезни, подчинивших себе неистощимую магнитную силу планеты, поддерживающих постоянную связь с жителями других миров, познавших «целые бездны мировых тайн», «бесконечность и всесильность знания».

Завершают сборник утопические наброски Велимира Хлебникова (1885—1922), известного поэта-символиста, затем футуриста, принявшего полушутовской обряд посвящения в «Председатели Земного шара». Как и другие талантливые поэты (Есенин, Маяковский, Блок), Хлебников чувствовал удары волн революционной бури в двери старого мира. И попытался распознать образы мира нового. Он «угадал» и генную инженерию, и «дороги для ходьбы по воздуху», и многие другие диковины, прежде всего архитектурные. Но, пожалуй, самое важное — это то, что эти чудесные образы были перевоплощением фольклорных сивок-каурок и ковров-самолетов, тех дворцов, где из окошек «вся Вселенная видна». Иными словами, в воображении поэта-утописта и в истории фантастики сомкнулись тысячелетия.

«Одно только время может удостоверить в справедливости описываемого события, — размышлял А. Ф. Вельтман. — Воображение

человека не создавало еще вещи несбыточной; что не было, чего нет, то будет. Обычаи, нравы и мнения людей описывают параболу в пространстве времен, как кометы в пространстве Вселенной. Если б человек был бессмертен, то в будущем он встретил бы прошедшее, ему знакомое».

Иными словами: как бы далеко ни отстояли друг от друга стволы разных исторических эпох и явлений, корни их тесно переплетены в земле.

Человек смертен. Но бессмертно человечество, которому не мешает знать те мировые силы, что могут его погубить. В распознании этих чужеродных разуму сил велика роль научной фантастики, хаосу и разрушению противопоставляющей гармонию и красоту.

Юрий Медведев

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящий сборник фантастической прозы включает в себя (в хронологической последовательности) произведения XIX — начала XX столетия. В конце каждого произведения приводится в скобках дата его создания или, если таковая неизвестна, первопубликации (авторская датировка дается без скобок).

Осип (Юлиан) Сенковский

БОЛЬШОЙ ВЫХОД У САТАНЫ

Печатается по изданию: Собрание сочинений Сенковского (барона Брамбеуса). Спб., 1858. Т. 1. С. 384—428.

С. 3. *...но «Отечественным запискам» ни в чем... верить невозможно...* — Ежемесячный журнал под таким названием выходил в Петербурге в 1818—1830 годах. Его издатель П. П. Свиньин хотя и обладал разнообразными дарованиями (писатель, географ, историк), однако слыл человеком ненадежным.

Бузенбаум Герман (1600—1663) — немецкий богослов, автор иезуитского трактата (переизданного свыше 50 раз), где разрешалось даже цареубийство. После покушения на Людовика XV трактат предали проклятию и публично сожгли.

С. 4. *Обер-гофмейстер* — придворный чин (соответствовал чину действительного тайного советника).

Лукулл Луций Луциний (106—56 до н. э.) — римский полководец, славившийся богатством и пирами («Лукуллов пир»).

...портерные котла... — т. е. котлы для варки черного пива (портера).

С. 6. *Харон...* — В древнегреческой мифологии перевозчик душ умерших через *Лету* — реку забвения в подземном мире.

«...ец...оман...торич...сочин...н...830» — намек на книгу «Дмитрий Самозванец, роман исторический, сочинение Ф. Булгарина, 1830».

С. 7. *Вельзевул.* — В древнееврейской мифологии — дьявол, «повелитель скверн», по христианским представлениям — «князь бесов».

Он взял «Гернани», «Исповедь», «Петра Выжигина», «Рославлева», «Шемякин суд»... — «Гернани» — драма В. Гюго «Эрнани»; «Исповедь» — произведение Ж.-Ж. Руссо; «Петр Иванович Выжигин» — роман Ф. В. Булгарина; «Рославлев, или Русские в 1812 году» — роман М. Н. Загоскина; «Шемякин суд» — лубочное издание произведения древнерусской литературы XVII века.

С. 8. *Юнта* (хунта) — название комитетов, сообществ, объединений в Испании.

Архитрава (архитрав) — основа верхней части здания.

С. 9. *«Умозрительная физика В***»* — Имеется в виду неоднократно высмеянная Сенковским «Опытная, наблюдательная и умозрительная физика» Д. М. Велланского, русского философа.

Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854) — немецкий философ-идеалист, оказавший известное влияние на русских писателей-романтиков.

С. 10. *...шепнул***ову, известному любителю Канта, Окена, Шеллинга, магнетизма и пеннику...* — ***ов. — Подразумевается русский философ-шеллингианец М. Г. Павлов. *Пенник* — хлебная водка.

*...как***ой о древней российской истории.* — Намек на сочинение Н. А. Полевого «История русского народа», написанное в противовес «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

С. 11. *Белландисты* — монахи, которые разрабатывали свод житийной литературы о святых католической церкви (1643—1749). Основания этому труду положили бельгийские иезуиты Г. Росвейд и И. Белланд. В XIX веке издание возобновилось и ныне насчитывает свыше 70 томов.

Петр Пустынник — организатор первого крестового похода монах Петр Амьенский (1050—1115).

...прикинуться несколько раз кряду Димитрием... — Подразумевается Димитрий Самозванец — одна из ключевых фигур так называемого Смутного времени.

С. 12. *...в стычке, последовавшей близ Кракова...* — Намек на события революции 1830 года в Польше.

...года два тому назад я произвел прекрасную суматоху в Париже. — Имеется в виду Июльская революция 1830 года во Франции.

С. 13. *...три четверти и два четверика...* — Четверть — мера сыпучих тел, соответствующая по весу примерно 1 пуду; в четверти восемь четвериков.

Блонды — шелковые кружева.

С. 15. *...речей, произнесенных в Гамбахе...* — 27 мая 1832 года близ замка Гамбах в Баварии состоялось многотысячное празднество под лозунгом объединения Германии и выработки конституции.

С. 16. *...какой-то капуцин гнался за мною...* — Нищенствующий орден монахов-капуцинов был основан в XVI столетии в Италии и существует поныне.

Теперь прошел билль о реформе... — В 1832 году в Англии был принят законопроект, изменивший избирательную систему в пользу средних классов.

С. 17. *Вергилий* Публий Марон (70—19 до н.э.) — римский поэт, автор эпической поэмы «Энеида».

С. 18. *...после изобретения Фрауэнгоферова телескопа...* — Фрауэнгофер Йозеф (1787—1826) — немецкий физик, усовершенствовавший оптическую систему в телескопе.

Лафайет Мари Жозеф (1757—1834) — французский политический деятель, во время Июльской революции 1830 года командовал Национальной гвардией.

Наполеон II (Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт, 1811—1832) — сын Наполеона I, не сумевший получить престола.

С. 26. *...напевал... арию из «Фрейшюца»* — опера немецкого композитора Карла Вебера (1786—1826) «Вольный стрелок».

С. 30. *Жанен* Жюль Габриэль (1804—1874) — французский писатель, представитель «неистового романтизма». В своих романах описывал ужасы трущоб, ночлежных домов, тюрем и т. д.

Магомет II Буюк (Великий) — турецкий султан; в 1453 году его армия завоевала Константинополь.

УЧЕНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА МЕДВЕЖИЙ ОСТРОВ

Текст печатается по изданию: Взгляд сквозь столетия. Русская фантастика XVIII и первой половины XIX века. М., 1977. С. 130—214.

С. 34. Эпиграфы — придумал сам Сенковский.

С. 36. *Потопы... в одном Париже было их четыре!..* — Это установил геолог и палеонтолог Александр Броньяр (1770—1847), изучавший совместно с Ж. Кювье третичные отложения Парижского бассейна.

С. 39. *... к Египетскому мосту...* — Был воздвигнут через Фонтанку; его чугунные ворота испещряли металлические иероглифы. Мост украшал Петербург 80 лет, пока в 1905 году не обрушился под тяжестью отряда кавалерии.

Берд К. И. — владелец чугунолитейного завода в Петербурге.

С. 41. *Паллас* Петр-Симон (1741—1811) — немецкий естествоиспытатель. Был приглашен в Россию, где по поручению петербургской академии наук совершил несколько путешествий от Урала до Китая, а также на Кавказ.

Гмелин Иоганн-Георг (1709—1755) — немецкий ботаник. Вместе с Витусом Берингом побывал на севере России. Автор трудов «Путешествие по Сибири» и «Флора Сибири».

С. 42. *Клапрот* Генрих Юлий (1783—1835) — немецкий востоковед, автор сочинений по истории и этнографии Азии и Кавказа. Известен также как автор книги на французском языке о Сибири, вышедшей в 1823 г.

Плано Карпини (1182—?) — итальянский путешественник, побывавший у монгольского императора. Среди правдивых описаний в его сочинениях содержатся и вымыслы о мифических существах, однако упоминаний о «любопытной пещере» с надписями на языке, «которым говорили в раю», нет.

С. 50. *Шейхцер И.-Я.* (1672—1733) — швейцарский естествоиспытатель, веривший в гибель древних организмов от «всемирного потопа».

С. 51. *...могущественной Барабии* — фантастическая страна выдумана О. Сенковским по названию Барабинской степи.

С. 91. *Вертеп* — здесь: пещера.

Персть — земля, прах.

С. 96. *Кислотвор (устар.)* — кислород.

С. 105. *Просяклою* — т. е. пронизанною.

С. 107. *Десть* — мера бумаги: 24 листа.

Николай Полевой

БЛАЖЕНСТВО БЕЗУМИЯ

Публикуется по изданию: Николай Полевой. Избранные произведения и письма. Л., 1986. С. 89—133.

С. 117. *«Повелитель блох»* — повесть немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776—1882). В русском переводе появилась в 1840 году, спустя 18 лет после ее создания.

С. 119. *Есть многое в природе, друг Горацио...* — Из трагедии Шекспира «Гамлет» в переводе М. Вронченко (Спб., 1828).

С. 120. *...об осаде Антверпена.* — В 1832 году французские войска осадили антверпенскую крепость во время войны с Нидерландами.

С. 121. *Велланский* Данило Михайлович (1774—1847) — профессор Петербургской медико-хирургической академии.

С. 122. *Ораниенбаум* — дачная местность под Петербургом (ныне Ломоносов).

С. 128. *...великан, которому мечами вырубили народы могилу...* — Наполеон Бонапарт (1769—1821), умерший в изгнании на острове святой Елены.

С. 129. *...смотря на небесную Мадонну, слушая* «Requiem» и читая «Resignation»? — Речь идет о картине Рафаэля Санти, о «Реквиеме» Вольфганга Амадея Моцарта и о стихотворении Иоганна Фридриха Шиллера «Отречение».

Его пример будь нам наукой... — неточная цитата из начальной строфы «Евгения Онегина».

...не слишком высоко залетать на наших восковых крыльях. — Намек на древнегреческий миф об Икаре, который воспарил на крыльях, скрепленных воском. Солнце расплавило воск, и смельчак упал в море.

С. 130. *Исследования магнетизма, феософия... Знания, известные нам под названиями каббалистики, хиромантии, физиогномики...* — «Магнетизм», или «животный магнетизм» был объявлен австрийским врачом Ф. Месмером (1733—1815) психической субстанцией, характеризующей живые существа и способной к взаимопроникновению. Долгое время последователи Месмера пытались использовать «животный магнетизм» для лечения душевных недугов. Феософия (теософия) — религиозно-мистическое учение о возможности общения с потусторонними существами. Каббалистика — средневековое мистическое течение в иудаизме, разработанное в книге «Зогар» («Книга

сияния»). Каббалисты веруют, что они способны управлять космическими стихийными силами. Хиромантия — древнее учение о зависимости характера человека и его судьбы от расположения линий на ладони. Физиогномика — учение о связи между интеллектом человека и строением его черепа. Впервые изложено швейцарским философом И. Лафатером (1741—1801) в трактате «Физиогномические фрагменты для поощрения познания человека и любви к людям».

Шведенборг (Сведенборг) Эмануэль (1688—1772) — шведский философ, физик, астроном, создатель учения о потустороннем мире и его обитателях.

Бем (Беме) Якоб (1575—1624) — немецкий философ-пантеист, близкий в своих построениях к каббалистам.

С. 131. *...Пифагор не ошибался...* — Греческий мыслитель Пифагор Самосский (VI в. до н.э.) и его ученики разработали мистическое учение о метемпсихозе — переселении душ.

Шреккенфельд — эта фамилия в дословном переводе с немецкого звучит как «долина ужасов».

С. 132. *Фантасмагория.* — В данном случае речь идет о показе причудливых образов с помощью зеркал, проецирующих изображения на стену или на экран. *Кинезотография* — показ движущихся изображений, прообраз кинематографа. *Китайские тени* — игрушечный картонный театр с движущимися на экране силуэтами.

Текла — героиня поэмы Шиллера «Валленштейн».

Миньона — героиня романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера».

С. 133. *...звуки невидимой гармоники...* — Таинственные пленительные звуки, исторгавшиеся стеклянной гармоникой — музыкальным инструментом, который состоял из стеклянных вращающихся полусфер.

С. 134. *Каталани* Анджелика (1780—1849) — итальянская певица, в начале 1820-х годов гастролировала в России.

Малибран Мария Фелисита (1808—1836) — французская певица.

Паста Джудита (1797—1867) — итальянская певица.

С. 136. *Опять ты здесь, мой благодатный гений...* — В 1817 г. В. А. Жуковский опубликовал свой перевод посвящения первой части «Фауста», озаглавив его «Мечта. Подражание Гете».

С. 137. *Лаго Маджиоре* — озеро у южного подножия Альп.

С. 138. *«Голос с того света»* — стихотворение Жуковского, являющееся вольным переводом стихов Шиллера «Текла. Голос духа».

С. 139. *Адельгейда декламировала песню Миньоны...* — Перевод Жуковского («Мина») приводится Полевым неточно.

S'amor non è... — строка из 88-го сонета цикла «Сонеты и канцоны» Франческо Петрарки (1303—1374).

С. 144. *...этих бумажных духов «Фрейшица»* — см. прим. к с. 26.

С. 145. *Помните ли вы слова Байрона...* — Далее следует цитата из стихотворения Байрона «Сон».

С. 148. *Изида* (Исида).— В древнеегипетской мифологии супруга и сестра Осириса, богиня плодородия и волшебства. «Покрывало Исиды» — воплощение таинственного.

С. 149. *Зефирот* — один из терминов каббалистики (см. прим. к с. 130).

Соломонов храм — храм на горе Сион, возведенный древнееврейским царем Соломоном (965—928 до н. э.).

С. 151. *...нет презренной клеветы...* — Далее неточная цитата из 4-й главы «Евгения Онегина».

С. 152. *...дышала тяжело, тяжко, бурно, как говорит Пушкин...* — Подразумевается следующий отрывок из 5-й главы «Евгения Онегина»: «Она темнеющих очей не поднимает: пышет бурно в ней страстный жар; ей душно, дурно...»

С. 160. *...страшно зреть, как силится преодолеть смерть человека...* — Цитата из поэмы Байрона «Шильонский узник» в переводе Жуковского.

С. 161. *Тугендбунд* (Союз добродетели) — тайное антинаполеоновское общество, действовавшее по всей Пруссии в 1808—1810 гг.

С. 162. *Минутна скорбь — блаженство бесконечно!* — Последняя строка трагедии Шиллера «Орлеанская дева» в переводе Жуковского.

Константин Аксаков

ОБЛАКО

Текст приводится по изданию: Русская фантастическая проза XIX — начала XX века. М., 1986. С. 224—237.

С. 171. *fashionables* — модники, франты *(англ.)*.

Владимир Одоевский

КОСМОРАМА

Публикуется по изданию: В. Ф. Одоевский. Повести и рассказы. М., 1988. С. 195—243.

«Косморама» посвящена известной русской писательнице — графине Евдокии Петровне Ростопчиной (1811—1858).

С. 189. *Сплин* — уныние, тоска *(англ.)*.

С. 192. *...пошлый вид...* — В данном случае: обыкновенный, заурядный вид.

С. 198. *«Россиада»* — эпическая поэма Михаила Матвеевича Хераскова (1733—1807), повествующая о взятии воинством Ивана Грозного Казани.

...сочинитель этой басни... — Подразумевается французский баснописец Жан де Лафонтен (1621—1695).

С. 201. *Вокабулы* — (vocabulum — *лат.)* — иностранные слова, выписываемые с переводом на родной язык для заучивания наизусть.

С. 203. *...аполог Круммахера...* — Фридрих-Адольф Круммахер (1767—1845) — немецкий поэт, профессор богословия. Некоторые притчи и басни (апологи) Круммахера переводились на русский язык.

С. 223. *Маршнер* Генрих (1795—1861) — немецкий оперный композитор, автор опер «Генрих IV», «Лукреция», «Али-Баба» и других.

Михаил Михайлов

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСТОРИИ (ЗА МИЛЛИОНЫ ЛЕТ)

Публикуется с небольшими сокращениями по изданию: М. Михайлов. Сочинения в 3 томах. М., 1958. Т. 2. С. 458—521.

С. 252. *Гексли* Томас Генри (1825—1895) — английский биолог, пропагандист учения Ч. Дарвина, автор трудов «Место человека в царстве животных», «Начальные основания сравнительной анатомии» и др.

С. 258. *Первым оружием были руки...* — Из поэмы «О природе вещей» Тита Лукреция Кара (98—55 до н. э.), древнеримского философа и поэта.

...были Бартами и Ливингстонами — Барт Генрих (1821—1865) — немецкий исследователь Африки; Ливингстон Давид (1813—1873) — английский исследователь Африки.

С. 268. *...у циклопа Полифема...* — Эпизод из IX песни «Одиссеи» Гомера в переводе В. Жуковского.

С. 271. *Мандевил Джон* (1300—1372) — автор многочисленных компилятивных сочинений о путешествиях.

С. 289. *Векша* — белка.

С. 293. *...огонь Весты...* — В римской мифологии покровительница очага.

Зенд-Авеста — священная религиозная книга древних персов, в основе которой лежит учение о вселенском торжестве светлого начала (огня) над темным, злым.

Алексей Апухтин

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

Публикуется с небольшими сокращениями по изданию: Сочинения А. Н. Апухтина. Спб., 1905. С. 429—456.

Валерий Брюсов

РЕСПУБЛИКА ЮЖНОГО КРЕСТА

Печатается по изданию: В. Я. Брюсов. Земная ось. Рассказы и драматические сцены. М., «Скорпион», 1907. С. 3—25.

С. 331. *Надир* — нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой.

Петр Драверт

ПОВЕСТЬ О МАМОНТЕ
И ЛЕДНИКОВОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Печатается по изданию: П. Драверт. Незакатное вижу я солнце. Новосибирск, 1979. С. 163—180.

С. 354. *Ровдужные урасы* — легкие чумы с покрытием из оленьих кож.

С. 362. *...бороться с дегаевщиной.* — Деятель организации «Народная воля» С. П. Дегаев стал провокатором, «дегаевщина» — синонимом провокаторства.

С. 364. *Игнатий Лойола* (1491—1556) — основатель ордена иезуитов.

Николай Морозов

ЭРЫ ЖИЗНИ

Публикуется по изданию: Н. Морозов. На границах неведомого (научные полуфантазии). М., 1910. С. 10—29.

Александр Куприн

ЖИДКОЕ СОЛНЦЕ

Печатается по изданию: А. И. Куприн. Собрание сочинений. М., «Художественная литература», 1972. С. 396—450.

С. 373. *Тырса* — смесь опилок и песка для посыпания манежа.

...служил сандвичем... — т. е. человеком-рекламой, носящим щиты с объявлениями на спине и на груди.

С. 404. *Гук* Роберт (1635—1703) — математик, физик, астроном. Значительную часть своих открытий сделал в России.

Юнг Томас (1773—1829) — английский ученый, один из создателей волновой теории света.

Френель Огюстен Жан (1788—1827) — французский физик, один из основоположников волновой оптики.

Коши Огюстен Луи (1789—1857) — французский математик.

Малюс Этьенн Луи (1775—1812) — французский физик, исследователь явлений поляризации света.

Гюйгенс Христиан (1629—1695) — нидерландский ученый, один из создателей волновой теории света.

Араго Доминик Франсуа (1786—1853) — французский физик и астроном, исследователь поляризации света.

Декарт Рене (1596—1650) — французский философ, физик, математик, автор трудов «Начало философии», «Рассуждение о методе» и др.

Био Жан Батист (1774—1862) — французский физик, работавший в области оптики и акустики.

Брюстер Дейвид (1781—1868) — шотландский физик, исследователь поляризации света.

С. 408. *Витковский* Август Виктор (1854—1913) — польский физик, автор трудов по термодинамике и метеорологии.

С. 418. *Врублевский, Ольшевский... и завершивший их опыты Дэвар.* — Польские физики Вроблевский Зыгмунт Флоренты (1845—1888) и Ольшевский Станислав (1845—1915), впервые полу-

чившие жидкий кислород. Дэвар Дьюар Джемс (1842—1923) — английский химик, получивший жидкий и твердый водород.

С. 421. *Зажгите стопин* — т. е, бумажную нить, обмазанную пороховой массой, прообраз бикфордова шнура.

Велимир Хлебников

КОЛ ИЗ БУДУЩЕГО

Публикуется по изданию: Собрание произведений В. Хлебникова. Л., 1931. С. 275—299.

С. 430. *Прошлецы* — люди прошлого. Так именует автор своих современников, противопоставляя их «будрым» — «будущим, бодрым».

С. 431. *Собор Воронихина* — Казанский собор в Петербурге, возведенный А. Н. Воронихиным в начале прошлого века.

С. 434—435. *Улочертог, избоул* — неологизмы из слов улица, чертог, изба.

С. 435. *Измайлов А. А.* (1873—1921) — литературный критик, противник модернизма и футуризма.

В послесловии и примечаниях использованы наблюдения и факты, которые содержатся в трудах ученых: Е. М. Беленького, В. В. Виноградова, В. М. Гуминского, С. Б. Джимбинова, Р. В. Иезуитовой, А. А. Карпова, А. И. Клибанова, Г. Ф. Коган, Е. А. Маймина, В. И. Сахарова, И. Н. Фоминой, К. В. Чистова, И. Г. Ямпольского и других.

Юрий Медведев

СОДЕРЖАНИЕ

ОСИП СЕНКОВСКИЙ

Большой выход у Сатаны 3

Ученое путешествие на Медвежий Остров 34

НИКОЛАЙ ПОЛЕВОЙ

Блаженство безумия 117

КОНСТАНТИН АКСАКОВ

Облако 168

ВЛАДИМИР ОДОЕВСКИЙ

Косморама 183

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

За пределами истории 234

АЛЕКСЕЙ АПУХТИН

Между жизнью и смертью 302

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

Республика Южного Креста 330

ПЕТР ДРАВЕРТ

Повесть о мамонте и ледниковом человеке 351

АЛЕКСАНДР КУПРИН

Жидкое солнце 370

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ

Кол из будущего 430

Ю. Медведев. Там лес и дол видений полны... 453

Примечания 467

Р 89 Русская фантастическая проза XIX — начала XX века / Сост., послесл. и прим. Ю. М. Медведева; Ил. И. Н. Мельникова. — М.: Правда, 1989. — 480 с., ил.

В настоящий сборник вошли фантастические произведения писателей-классиков: Осипа Сенковского, Николая Полевого, Константина Аксакова, Владимира Одоевского, Александра Куприна, Михаила Михайлова и др.

Р $\frac{4702010100-1908}{080(02)-89}$ 1908—89 84 Р 1

Литературно-художественное издание

РУССКАЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ПРОЗА XIX — начала XX века

Составитель
Медведев Юрий Михайлович

Редактор
Н. А. Преснова

Оформление художника
Г. А. Раковского

Художественный редактор
Т. Н. Костерина

Технический редактор
Т. С. Трошина

ИБ 1908

Сдано в набор 12.10.88. Подписано к печати 16.04.89.
Формат 84x108 1/32. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,62. Уч.-изд. л. 26,69.
Тираж 500 000 экз. (1-й завод: 1—100 000 экз.).
Заказ № 2300. Цена 2 р. 30 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Тюменская правда»
Тюменского обкома КПСС. 625002, г. Тюмень, Осипенко, 81.

2 р. 30 к.